ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

# ЧЕСТЬ ИМЕЮ




ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

# Честь имею

## Валентин Саввич Пикуль

Аннотация
Валентин Пикуль. Честь имею. Человек без имени
Часть первая. Лучше быть, чем казаться. Глава первая. «Правоведение»
Глава вторая. Разбег над пропастью
Глава третья. Прыжок
Часть вторая. Живу, чтобы служить. Глава первая. Ивиковы журавли
Глава вторая. Пляска святого витта
Глава третья. Париж был спасен
Часть третья. При исполнении долга. Глава первая. Долгий путь
Глава вторая. Крутые перемены
Глава третья. Последняя ставка

## Аннотация

«Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего профессиональным разведчиком и свидетелем политических и дипломатических интриг, которые привели к Первой мировой войне.

# Валентин Пикуль
# Честь имею
# Человек без имени

Эта книга имеет давнюю историю, и работал я над нею непростительно долго, иногда прерывая свой труд внутренними сомнениями — стоит ли продолжать? Была и своя предыстория. Я хорошо помню: это случилось в августе 1964 года, когда у нас и за рубежом отмечался трагический юбилей — ровно полвека со времени возникновения первой мировой войны.

Всегда свободный в выборе тем, я старательно вникал в подоплеку тех загадочных событий, которые эту войну вызвали. Мне было интересно забираться в дебри Большой Политики, которая выражалась в ультиматумах берлинской Вильгельмштрассе, в туманной казуистике лондонского Уайтхолла, в гневных нотациях венской Балльплатцен; мне хотелось знать, что думали тогда французские дипломаты на набережной Кэ д'Орсэ, как лихорадило римскую Консульту и чего боялись в Петербурге — в здании у Пев-

ческого моста, где располагалось министерство иностранных дел. Наконец, я был сильно заинтригован, прикоснувшись к тайнам разгрома армии генерала Самсонова… Какие злобные силы завели ее в топи Мазурских болот и оставили там на погибель? Кто виноват? И почему не сработала русская разведка?

Именно в эти давние дни, дни кровавого юбилея, мне привелось быть гостем в приятельском доме.

* * *

Возник, помнится, разговор о Версальском мире. Казалось бы, немцам, потерпевшим поражение, только и радоваться условиям мира — ведь целостность Германии не пострадала, победители великодушно сохранили единство страны и нации. Но Германия взревела, словно бык, которого повели кастрировать. Немцы в 1919 году были раздавлены не тем, что Германия проиграла войну, — их угнетало сознание, что загублен идеал империи (с колониями и рабами). Таким образом, для немцев имперские понятия стояли выше национальных. В этом отчасти и кроется секрет успеха, с каким Гитлер пришел к власти, обещая воскресить «третий рейх» — с ко-

лониями и рабами. Фюрера вознесло на дрожжах, заквашенных задолго до него. От крестоносцев-тевтонов до Гитлера — слишком большой путь, но он старательно обвехован для прихода фашизма — маркграфами, курфюрстами, канцлерами, кайзерами, писателями, епископами, философами и лавочниками…

Напротив меня сидела миловидная дама с удивительно живыми глазами, она держала на коленях большую муфту. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина последовала за мной.

— Необходимо поговорить. Именно с вами, — сказала она. — Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас как исторического беллетриста должны бы заинтересовать…

Я смолчал, ибо к чужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пауза, весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил — кто же автор этих воспоминаний?

— А разве не все равно? — ответила женщина. — Сейчас некрасивое слово «шпион» принято заменять нейтральным — «разведчик». Пусть даже так! Но дурной привкус от «шпиона» сразу же улетучится, если я вам сообщу: автор записок до революции был видным офицером российского

Генштаба, он получил Георгия высшей степени за неделю до того дня, когда германский посол Пурталес вручил Сазонову ноту, которой кайзер объявил войну России… Россия еще не начинала мобилизации, когда автор записок эту войну уже выиграл!

— Ситуация забавная, — согласился я. — Но я, мадам, терпеть не могу «шпионских» романов, в которых главный герой совершает массу глупостей и все равно остается хитрее всех. Я таких романов не пишу и сам их никогда не читаю.

— Рукопись не содержит ничего детективного, — возразила дама. — Все было гораздо серьезнее. Автор воспоминаний предупреждал внезапность вражеского нападения, он имел прямое отношение к анализу пресловутого «плана Шлифена». Но и тогда имя его не было опубликовано! После революции служба этого человека, как вы и сами догадываетесь, тоже не афишировалась. Генерал-майор старой армии, он закончил жизнь генерал-майором Советской Армии. Согласитесь, что в течение одной жизни дважды стать генералом не так-то уж просто…

Я согласился. Из глубины обширной муфты женщина извлекла рукопись, скрученную в плотный рулон.

— Копий нету, — предупредила она. — Это единственный экземпляр. Скажу больше: я дарю вам записки. Вы вольны поступать с ними, как вам заблагорассудится…

Мне показалось странным, что титульный лист в рукописи отсутствовал — ни названия, ни дат, ни имени. Повествование начиналось сразу — как обрыв в загадочную пропасть.

— Мадам, но тут не хватает многих страниц.

— Да, они изъяты умышленно. И пусть таинственный автор всегда останется для нас безымянным. Мало того, считайте, что этот человек был, но его и не было…

— Неужели при всех его заслугах перед отечеством он никогда не поминался в печати?

— Однажды, — тихо произнесла дама. — Совсем недавно о нем кратко сообщил Владимир Григорьевич Федоров.

— Напомните, какой это Федоров?

— Генерал-лейтенант. Ученый-конструктор.

— Федоров тоже не назвал его имени?

— Нет.

— Странно…

— Думаю, что Федоров имени его и не знал. Зато он хорошо запомнил внешность: когда этот офицер Генштаба поворачивался в профиль, это

был профиль… Наполеона!

Я сказал, что образцовый агент должен обладать заурядной внешностью, чтобы ничем не выделяться из публики:

— А с лицом Наполеона разоблачение неизбежно.

Дама до конца затянула на муфте застежку-молнию.

— Значит, повезло, — последовал ответ. — Не забывайте, что у французов есть хорошая поговорка: если хочешь остаться незаметным на улице, остановись под фонарем…

Прошло немало лет, и я начал думать, что этой женщины давно нет в живых, она никогда не напоминала о себе. Между тем шли годы. Я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал, в ней заключенный. Лишь после написания романа «Битва железных канцлеров» я начал улавливать взаимосвязь между зарождением Германской империи времен Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора.

Так по воле случая безымянные мемуары легли на мой письменный стол, я перекроил записки на свой лад. Читатель и сам догадается, где говорю я,

беллетрист, а где говорит автор воспоминаний.

Анонимный мемуарист нигде не раскрыл секретной специфики русской разведки, и мне лишь остается следовать этому правилу. Впрочем, автор проделал эту работу за меня, о чем красноречиво свидетельствуют вырванные из рукописи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Но вот что удивительно — этот загадочный человек нигде не пытался предстать в лучшем свете, будто заранее уверенный в том, что все им сделанное совершалось ради высшей идеи — ради ОТЕЧЕСТВА, и потому, даже в своих ошибках, он оставляет за собой великое право мыслить самостоятельно.

Конечно, нелегко объяснять подоплеку той великой тайны, в которой войны рождаются! Но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путем. Путем самых крайних возможностей, иначе говоря — следуя за историей путем литературным, наиболее для меня приемлемым…

Я предлагаю читателю роман-биографию человека, суть которого образно выразил Павел Антокольский:

*В этой биографии богато*

*отразился наш XX век –*
*много от Берлина до Белграда*
*истрепал подметок человек,*
*много он испортил оробелых*
*девушек, по свету колеся…*
*Биография его в пробелах.*
*Но для нас существенна не вся!*

# Часть первая
# Лучше быть, чем казаться
## Глава первая
## «Правоведение»

*Над желтизной правительственных зданий*
*Кружилась долго мутная метель.*
*И правовед опять садится в сани,*
*Широким жестом запахнув шинель…*

***Осип Мандельштам***

НАПИСАНО В 1934 ГОДУ:

…дождь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки — без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему, умирающему от ран, не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив аншлюса, то подобные настроения мне знакомы: в 1919 году сторонников аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо — когда-то великая — Австрия (после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Юго-

славии) превратилась в ничтожную федерацию — подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность.

По слухам, Муссолини пребывает в ярости и выставил войска на границе с Тиролем; его нагоняй, сделанный Гитлеру, по-моему, превосходен. Дуче объявил, что XXX веков истории смотрят на Рим, а за Альпами живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия еще не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами… Пока что Муссолини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и зажиревший бульдог глядит на жалкого и бездомного щенка… Посмотрим, что будет дальше!

Опять дождь. Паршивейший дождь. Никак не ожидал, что надобность в моей поездке отпадет, о чем мне и сообщили сегодня в Генштабе, а я уже настроился побывать в Белграде.

— Не есть ли это знак недоверия к моей персоне?

— Нет, — успокоили меня. — Просто вы опоздаете в Сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном миноносце «Дубровник». Конечно, его встреча с французским министром Барту интересна, но ваша поездка… рискованна.

Я ответил, что в роли нейтрального наблю-

дателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска:

— Осложнений не возникнет, паче того, я до сих пор дружески переписываюсь с Виктором Алексеевичем Артамоновым.

В. А. Артамонов до революции был военным атташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения с королевской семьей Карагеоргиевичей. К тому времени белоэмиграция уже рассеялась по «лавочкам»: Югославия пригрела военщину, Париж и Прага — интеллигенцию, Америка дала приют инженерам и дельцам, а Берлин всосал в свои трущобы наше отребье… Продолжая беседу, я сказал, что зарождение «Восточного пакта» укрепит связи Москвы с Парижем:

— Именно через Белград и Прагу! В этом случае поведение короля Югославии важно и для безопасности Франции…

Со мною согласились: Луи Барту — реальный политик, и он прежде других политиков Европы ощутил угрозу, исходящую от Германии, ставшей гитлеровской, но Варшава уже предупредила Париж, что Польша не даст гарантий ни в отношении Литвы, ни в отношении Чехословакии:

— Напротив, пан Юзеф Пилсудский отказыва-

ется от участия в «Восточном пакте», беря в этом пример с Гитлера… Ваше приятное знакомство с Карагеоргиевичами — это лирика юности, а с начальником сербской разведки Аписом вы так наследили от Сараево до Берлина, что теперь по вашим кровавым следам до сих пор шляются всякие там историки…

Я ответил, что не «всякие», а весьма почтенные:

— Хотя бы Покровский или Тарле, но они еще не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком овраге на захолустной окраине греческих Салоник.

На это мне чересчур резко ответили:

— Останься вы тогда с Аписом, Карагеоргиевичи не пощадили бы и вас — за компанию с этим авантюристом… Так и догнивали бы оба во рву с простреленными головами!

В этот день у меня была лекция по военной статистике в Академии Генерального штаба РККА. По плану я должен был говорить о железных дорогах Бельгии, но в связи с визитом короля Югославии во Францию задержал внимание слушателей на Балканах. Чтобы оживить скучный предмет статистики, я всегда прибегал к личным

воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Цетине. Меня просили объяснить — что такое конак?

— Конак — от слова «конаковати», что значит по-сербски обитать, жительствовать. Так же называется и дворец. Кстати, — сказал я, — из окна белградского конака был выброшен король Александр с его дражайшею королевой. Только прошу не путать двух Александров: тот, что сейчас спешит на миноносце в Марсель, из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно, из рода Обреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов. Балканы этим характерны: там сын разбойника служил в полиции, а внук разбойника становился министром внутренних дел, и это никого не шокировало…

В перерыве между лекциями я навестил начальника нашей Академии, милейшего Б. М. Ш[апошникова] в его кабинете. Он предложил мне билет на прием в литовском посольстве.

— Это сегодня вечером, — сказал он мне. — Москвичи не очень-то любят навещать чужеземные посольства, но обстановка в мире сейчас

такова, что литовцев надо уважать…

В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис.

— Рад видеть вас у себя, — сказал Юрий Казимирович. — Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве.

— А не догадались, где я?

— Говорят, большевикам пригодились ваши старые связи на Балканах, и вы уже гуляете по набережной Савы…

Не скрою, мне иногда было жаль Балтрушайтиса: видный поэт-символист, приятель Брюсова и Бальмонта, он всей душой хотел бы войти в среду наших писателей, но они явно сторонились его, ибо теперь Балтрушайтис выступал перед ними в роли посла буржуазной Литвы. Мы поговорили, и поэт был рад слышать, что недавно я с удовольствием перечитал д'Аннунцио и Гауптмана в его прекрасных переводах на русский язык.

— Все это в прошлом, — вздохнул Балтрушайтис. — Сейчас у мира иные заботы. Меня беспокоит, что Пилсудский вступил в сговор с Гитлером, а этот ненормальный альянс заострен не только против вас, но и против моего бедного народа.

— Что может сделать Пилсудский? — спро-

сил я.

— Он считает Вильно-Вильнюс польским городом.

— А что может сделать Гитлер?

— Он считает Мемель-Клайпеду городом немецким.

— Они так считают, но боюсь, просчитаются…

Дома я прослушал белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский эсминец «Дубровник»; по его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню еще лопоухим и скромным мальчиком. Простой подсчет времени и скорости миноносца показывает, что Александр Карагеоргиевич прибудет в Марсель завтра около полудня…

А для чего мне это писать? Для чего, если мемуары пишут, как правило, только те люди, которые в чем-то хотят оправдать себя и свалить все грехи на чужие головы?

Тяжко! Пожилой человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я одинок. Виноват в этом не я — судьба…

Не сходить ли мне завтра в церковь? Как хорошо, что в античном мире боги частенько спускались с Олимпа и жили среди людей, помо-

гая им или карая их… Господи, внемлешь ли?

Годы берут свое. Если забылся номер телефона венской акушерки Шраат, любовницы императора Франца Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне Портенштрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары…

Новый день. Страшный день! 9 октября 1934 года.

ТАСС передал сообщение: в Марселе король Александр встречен министром Луи Барту. Мобильный эскорт выделен не был. Барту и Александр ехали в открытом лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую подножку. Международный протокол для передвижения глав правительств издавна предусматривал скорость не меньше 18 километров, а сегодня они тащились на скорости 4 километра. Из публики вдруг раздался свист — как сигнал! Убийца прыгнул на подножку автомобиля. Барту закрыл лицо руками и был тут же застрелен. Югославский король рванул дверцу автомобиля, чтобы выскочить, но точная пуля пронзила его между лопатками, раздробив позвоночник. Смерть короля была мгновенна, а министр Барту через три минуты был мертв…

Когда радио умолкло, я сидел в оцепенении.

«Неужели новое Сараево?» — спрашивал я себя.

1934-1914 = 20 лет. Всего двадцать лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир теряется в догадках. Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона — всюду недоумение. Вроде бы никто не знает — в чем смысл убийства? Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю — не сознательно ли его прикончили с таким неловким усердием? Я попытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратительная… Между тем анализ политической обстановки привел меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин, прямо в отель «Колумбия», где ныне расположилось гестапо.

Барту совсем недавно посещал нашу Москву — и это понятно: гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а Барту смело шел на сотрудничество с Россией; к созданию «Восточного пакта» он привлекал и короля Югославии; таким образом, убийство в Марселе вполне отвечает целям политики Гитлера…

Что-то частенько стали постреливать в Ев-

ропе!

Сегодня в Столешниковом переулке я нечаянно обнаружил за собой наблюдение. Если мне стали не доверять, к чему эта примитивная слежка? Неужели я, опытный агент с большим стажем работы в Европе, не замечу за собой индифферентного дяденьку в демократической кепочке? Уж кого-кого, а меня-то обмануть трудно: я шкурой предчувствую любую опасность… В свое время я отлопатил срок на Беломорско-Балтийском канале в обществе всяких пижонов: неожиданно посаженный, я неожиданно был освобожден, хотя никаких оправдательных «слезниц» к Ягоде и Сталину не сочинял, ибо считал это бесполезным занятием…

P. S. Вот еще новость! Я просмотрел «Petit Parisien», и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки с рук убийцы. Теперь он эксгумирован. На трупе обнаружена едва заметная татуировка, якобы указывающая на принадлежность к македонским нацистам. Может, македонца спутали с усташом из Хорватии? Мне, офицеру старого русского Генштаба, который столько лет варился в котле Европы, многое сейчас подозрительно.

Ночью зарубежное радио передавало, что в конаке Белграда появился новый король — малолетний Петр II, регентом при нем назначен принц Павел Арсеньевич, мать которого сыграла такую зловещую роль в моей жизни. Стоит ли помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною еще в молодости, как весеннее облако…

Ночной звонок по телефону. В трубке — молчание. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я.

Вчера я был в церкви. Хорошо помолился…

Помню, как справедливо сказано у Мольера:

*Было время для любви,*
*Остались годы для молитвы…*

* * *

Неожиданный вызов в особый отдел Генштаба, где меня донимали двумя каверзными вопросами:

1. Почему я еще с дореволюционных времен значусь бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был?

2. Из каких соображений я скрываю свое дальнее родство с королевской династией Кара-

георгиевичей?

На первый вопрос я ответил, что у меня были особые причины скрывать перед царской охранкой свое отсутствие в Париже, ибо сам я тогда участвовал в кровавых событиях в белградском конаке; по второму вопросу я ответил, что моя мать была чистокровной сербкой:

— Где-то в дальнем генеалогическом колене, это правда, соприкоснулись линии предков матери с Карагеоргиевичами, которые в ту пору были, скорее, гайдуками и резали турецких янычар, еще не думая стать королями…

К этому времени Б. М. Ш[апошников] уже стал начальником Генерального штаба и депутатом Верховного Совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистике и военной администрации стран Европы в Академии нашего Генштаба.

Б. М., поздравляя меня, весело сказал:

— Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбы. И я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоо…

Очередную лекцию в Академии я начал с Германии:

— Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Луккенвальде с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины даже с больничными сиделками — и столь быстро, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланировано. Пусть этот факт послужит для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы, русские, к сожалению, еще не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы среди наших командиров не возникло шапкозакидательских настроений: Германия — мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения…

Мне возразили: Гитлер никогда не рискнет на войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба. На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком развитии агрокультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду.

— Еще раз коснемся военной статистики! — сказал я. — Английская блокада Германии в предыдущей мировой бойне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр: в те годы каждый датча-

нин съедал 750 килограммов масла — в неделю, а каждый швед поглощал 800 тонн шоколада — в месяц! Теперь вам ясно, что и в новой войне найдутся подобные «нейтралы», которые, закупая товары как бы для себя, тут же насытят ими магазины нашего эвентуального противника. Не забывайте, — напомнил я, — что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какой у нас с вами еще нету, а шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой крупповские домны…

Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Гревс, любимый кайзеровский шпион. Перевербованный англичанами, этот нахал писал в своих идиотских мемуарах: «Есть три вещи, до которых моему читателю нет никакого дела. Это мое происхождение, это моя национальность и моя нравственная физиономия…» Я сейчас благостно спокоен, желая рассказать о своем происхождении, а мнение о моей морали пусть сложится само по себе на этих страницах… Для меня всегда было существенно самое главное, ради чего я жил и страдал на белом свете:

— Я, русский офицер, честь имею!

Но пусть мое имя останется неизвестным в народе. Очевидно, так надо. Мы едим хлеб насущ-

ный, никогда не спрашивая: кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей?

## 1. Прощание Славянки

Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года, когда Бисмарк, ожесточив Германию легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня, они удивлялись — почему она не разгорелась вчера? И ложились спать в смутной тревоге — как бы война не грянула завтра! Мое время прошло среди кризисов, военных и политических, а моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов — личных и гражданских…

Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают, а живые проходят мимо, ничего обо мне не ведая. Почему я, уже старик, без слез не могу слышать музыку старинного марша «Прощание славянки»? Ах, мама, мама! Нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждый полтинник

жалованья.

Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое…

* * *

Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, за Московскою заставой Петербурга возвысились триумфальные ворота, под сень которых и вступила русская армия, принесшая свободу болгарам и сербам; тогда же и проспект, идущий от Пулкова в центр столицы, был наречен Забалканским — и это историческое название, казалось, донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики Российского государства…

Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю, памятуя о главном:

*Да возвеличится Россия,*

*Да сгинут наши имена!*

В этом вопросе я придерживаюсь того принципа, который сверхчетко выразил германский генерал Ханс фон Сект:

Офицеры генерального штаба не должны иметь имени.

Впрочем, моя фамилия внесена в знаменитую «Бархатную книгу»; читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать ее, советую раскрыть второй том «Бархатной книги», изданной Н. И. Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю: род мой числится происходящим в XX колене от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвание «Оладья».

Когда я появился на свет божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты, никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России, мы обнищали, разбазарив свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам, а потому, когда возникла «освободительная» реформа, нам уже некого было «освобождать». Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая «пришибленность» сделали из него

человека сухого и желчного, и теперь я понимаю, что под этой оболочкой, не совсем-то приятной для посторонних, скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас — столь безжалостно и по-женски эгоистично.

Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его крестили. Я не могу похвастать такой памятью. Но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, далеко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта (ныне проспект Майорова). Теплый воздух, выдуваясь из нашей квартиры, всплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем еще маленький, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку: мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери.

А внизу под нами — идут, идут, идут… идут!

Это русская гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Издалека колышется длинная полоса тысяч и тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец:

— Узнаю курносых — павловцы! А вот и преображенцы — краса и гордость лейб-гвардии, вологодские Гулливеры…

Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбурмажоров вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины. А потом вдруг ударили звончатые тарелки, трубачи в бронзовых наплечниках, гарцуя на белых конях, пропели на горнах щемяще-тревожно.

— Ага! — сказал папа. — Вот вам, сударыня, и конная артиллерия — полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бородино, за Плевну…

Шестерки могучих першеронов увлекали лафеты за повороты улиц. С тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома.

— Будто из крови вышли! — сказала мама. — Страшно…

— Апшеронцы, душечка, — пояснил отец. — У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунерсдорфе стоял Апшеронский полк в крови по

колено. Стоял — и выстоял!..

Войска прошли — наша улица разом поскучнела.

Для меня, еще ребенка, вдруг выяснилось, что рядом со мною живет нечто, осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое, — что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное и очень заманчивое.

Таково моепервое детское впечатление.

Я свято сберег его до седых волос.

И верю: русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя.

Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни.

Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь…

А трагический марш «Прощание славянки» до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов.

— Ах, мама, мама! Зачем ты оставила нас тогда?..

* * *

По словам Ларошфуко, «ум и сердце человека так же, как и его речь, хранят отпечаток страны,

в которой он родился». Вполне согласен, и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была сербкой, иной раз мне даже мнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян.

У нас дома было так принято: с няней я говорил по-русски, с бонною — по-французски, с отцом — по-немецки, с мамой — только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицей Николовной, я знал, что через нее — через ее кровь! — я родствен сербам, носившим прозвание Депрерадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России; это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службе сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками… Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден Почетного Легиона.

— Запомни этого несчастного человека, — сказала она. — Петр Александрович Карагеоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками «Кара», что значит — черный или страшный. А мать Петра была из рода Ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстича-

ми…

Я всегда был горд за своих родичей. Это мой пращур Милован Хорстич, раненный ятаганами, с последней пулей в ружье, горными тропами — вровень с облаками! — прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем — маленькой Зоркой. Это случилось в 1817 году, когда Обреновичи подло убили грозного Кара-Георгия: они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к Порогу Блистательной Порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обреновичам… Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обреновичей.

— Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Обреновичам вероломства, как не простила и вся Сербия…

Первые песни, которые я слышал, были «лбзарицы» матери, в которых не слышалось слов о любви и радости, зато всегда воспевались народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, были стихами Пушкина:

*Черногорцы? Что такое? –*

*Бонапарте вопросил. –*
*Правда ль, это племя злое*
*Не боится наших сил?..*

Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца:

— Серб обстоятелен в поступках, его поступь даже величава. Черногорец же весь настороже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной Горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу…

Но каждый год — в день 28 июня — мама погружалась в печаль. Это был день святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 28 июня 1389 года на печальном Косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломили мощь Сербии, и с того дня началась ее новая история — история борьбы за свободу… Я помню даже слова матери:

— А когда полегли витязи на Косовом поле, храбрый Обилич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Витта, сербы называют его Видовданом, и этот день стал для нас днем траура…

Поражение сербов на Косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победа русичей на поле Куликовом! Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видовдан выстрелы огласят Сараево, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску святого Витта, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке:

— Убили, значит, Фердинанда-то нашего… Укокошили его в Сараево. Из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней…

Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злющую «Тетку Фосс» из Берлина, а мама читала журнал «Славянский мир», я часто заставал ее с номером «Славянских известий» в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия, в 1889 году отмечалось пятьсот лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни «кружечных сборов», когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама жертвовала дважды — в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии… Не только она! В кружку опускали свои медяки прохожие, солдаты, дворники,

ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами.

* * *

Никак не могу объяснить, почему мой отец, потомственный русский дворянин, стал отчаянным германофилом, поклонником философской мысли старой Германии, почему он с удовольствием беседовал по-немецки; отец считал Германию чуть ли не идеальной страной, и я не раз слышал от него:

— Немцы любят порядок. У них попросту невозможны такие несуразности, какими преисполнена жизнь в России…

От папы же я слышал и такие сентенции:

— Француз работает ради славы, англичанин изо всего старается извлечь прибыль, и только немцы делают свое дело ради самого дела. Оттого и продукция Германии — лучшая в мире.

— А ради чего надрываются русские? — спросил я однажды.

— Русские? Они и сами того не ведают…

Замкнутый ипохондрик, гораздо старше матери, отец жестоко страдал от приступов ревности, никогда не ожидая от жизни ничего хорошего, всегда готовый к злоключениям судьбы. Не знаю,

чем он мог прельстить мою мать, но, кажется, я возник на свет против ее желания, явившись жертвой несчастного союза. Быстрое старение отца, женский расцвет мамы, пылкой и страстной, привели к тому, что бес ревности стал вроде домового в нашей захламленной квартире. Я не раз засыпал вечером под аккорды семейного скандала и просыпался средь ночи — от новых скандалов. Как это ни странно, папа с мамой заключали перемирие, когда возникал насущный вопрос о мерах воздействия на меня: отец с большим воодушевлением восхвалял достоинства своего ремня, мама нежным голосом ворковала о великом воспитательном значении классической розги, а бонна, не теряя времени даром, упражнялась в выкручивании моих ушей.

Конец нашей семьи был, кажется, запланирован свыше…

Как и все южные славянки, мама была натурою своевольной и экспансивной, живущей порывами души и сердца. Однажды, когда мы поселились на даче в Красном Селе, она вдруг пропала и вернулась через день, покорно-молчаливая, с затаенной улыбкой на тонких губах. Не желаю вникать, что случилось меж моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лу-

бяными коробками для шляп, в большие кофры укладывали туалеты мамы…

Поймите мое детское горе — мама уезжала!

Настал судный день. Мне уже не забыть сводов вокзала, прокопченных паровозами, поныне вижу таблички на зеленых вагонах: «С.-ПЕТЕРБУРГ — ВАРШАВА». Не знаю, какое невыносимое, какое преступное счастье ожидало маму в этой Варшаве, но в день расставания была она радостна, как весенний жаворонок. Отец скорбно молчал, а мне хотелось кричать: «Мама, не бросай нас… мама, не уезжай!» На прощание она, стройная и красивая, обнажила руку из перчатки, погладила меня по щеке.

— Будь умницей, — сказала мама. — И слушайся папу…

В тесном жакете с золотыми пуговицами, она поддернула тяжелый подол турнюра, смело шагнула в двери вагона.

Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал.

Колокола петербургских храмов звонили к вечерне.

Стали приходить письма — все реже и реже. Только первое из Варшавы, потом я разглядывал казенные штемпели Рима, Вероны, Праги, и

наконец письмо последнее — из Фиуме… Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире, а я остался со скучным отцом в пустой громадной квартире.

Где же ты, сербская гордячка? Ах, мама, мамочка!

Не грешно ли было тебе покидать бедного учителя и так жестоко забывать русского мальчика?

Потом в газетах промелькнет сообщение, что Обреновичи казнят и сажают в тюрьмы патриотов Сербии; в числе многих узников однажды вспыхнет, как искра на ветру, имя моей матери.

Но это случится гораздо позже, когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кащея Бессмертного.

Память снова возвращает меня в тускло освещенные казармы Дунайской дивизии, где я впервые повстречал балканского карбонария по кличке Апис…

О боже! Как все переплетается в этом подлунном мире, и я до сих пор ужасаюсь:

— Почему я тогда уцелел? Даже не верится…

Наверное, здесь будет уместно рассказать о той пакостной обстановке, какая царила в белградском конаке.

## 2. Драки в Конаке

Югославии тогда и в помине не было… Но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Истрия и независимое княжество Черногория. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян (каким позже и стала Югославия) не могли допустить ни султанская Турция, ни кайзеровская Германия, ни далекая Англия, ни близкая Австрия, ибо славянское возрождение обязательно станет союзно России, а царь не замедлит получить базы для своего флота в Адриатическом море.

Главным же врагом славян на Балканах была габсбургская Вена, уже наложившая свое гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, Габсбурги заливали улицы в Сараево асфальтом, они пустили по рельсам трамвай, но… бойтесь данайцев, дары приносящих! Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой, с австрийского берега крепостные орудия Землина держали столицу Сербии на постоянном прицеле…

Турки прозвали Белград «Вратами священной

войны», их зеленое знамя Пророка было спущено над столицей Сербии лишь в 1876 году, когда сербы, заодно с Россией, объявили войну за свободу славян. И сербы никогда не забывали об этом:

— Поговорим, друже, по-русски, — стало для них паролем.

Все было бы хорошо, если бы не династия Обреновичей!

* * *

Милан Обренович родился через 13 месяцев после смерти отца, но никто в королевстве не смел сомневаться в его законном происхождении, ибо его мать серьезно утверждала:

— На то я и королева, чтобы у меня было все не так, как у других женщин. Допустим, немножко запоздала с родами... Так и что с того? У меня просто не было времени родить к сроку.

Начиная с короля Милана династия Обреновичей стала позором для Сербии — при Милане были замучены тысячи патриотов, а страна обрела 255 миллионов государственного долга. Сам же король цинично признавался перед придворными:

— Едим прошеное, носим брошеное, живем краденым...

Мародер, хвастун, спекулянт, пьяница, игрок, предатель народа, распутник, трус и, наконец, он же генералиссимус великой Сербии — таков далеко не полный перечень криминальных заслуг короля Милана Обреновича!

Хроника династии Обреновичей — хроника скандальная.

Милан отыскал жену для себя в Одессе: красивая Наталья Петровна Кешко, дочь русского офицера, стала королевою сербов. Не станем преувеличивать ее «русофильство», ибо женщина, оскорбленная в своих чувствах, поступала чисто по-женски: она примыкала к той партии, которая осуждала ее мужа, а муж выдвигал в министры подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В таких-то безобразных условиях был зачат сын — Александр Обренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказали очень быструю карьеру дегенерата.

Стрельбу по Милану начали женщины-патриотки, и две из них, Елена Маркович и Елена Кничанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. Покои белградского конака король уже превратил в лупанарий; средь множества авантюристок одна только греческая гетера Артемизия брала из каз-

ны столько золота, сколько бережливым сербам и во сне не снилось. Все народные восстания Милан подавлял с жестокостью, напоминавшей прежние ужасы правления турецких султанов. Земля уже горела под ногами Милана, но пожарную команду он вызвал из Вены! В 1883 году король, втайне от Народной Скупщины и министров, вступил в сговор с Габсбургами, обещая им не претендовать на Боснию и Герцеговину, за что Вена сулила Милану беречь его престол от покушений народа и притязаний Карагеоргиевичей. С этого времени на смену турецкому угнетению пришло угнетение немецкое: Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Покорить Сербию венские Габсбурги вряд ли были способны, но они подчиняли ее своему грубому диктату, чтобы Сербия стала придатком Австрии — и политически и экономически. Милан Обренович грабил не только свой народ — к его услугам Габсбурги нарочно открыли сейфы венского Zdnder-Bank'a, закабаляя сербов займами.

Милан предал свою страну! Вместо того чтобы крепить славянское единство, он — по наущению Вены — втравил сербов в войну с Болгарией, и болгары в битве при Сливнице разгромили Ми-

лана, после чего он, побитый, и присвоил себе чин «генералиссимуса». Между тем скандалы в королевском семействе перешли в настоящие драки — король валтузил королеву, королева лупила короля. Желая оторвать сына от беспутного отца, Наталья хотела спровадить Александра в Одессу, а Милан утверждал, что и сам воспитает сыночка — какого надо! Наконец семейные свары в конаке увидели улицы Белграда; прохожие отбили королеву от короля, ибо никакой серб не выносит унижения женщины. Избитую до крови королеву спрятали от мужа в ближайшей пиварне, вмешалась полиция, но горожане побили и полицию; Милан вызвал войска — и мостовые Белграда окрасились кровью… А пока на улицах дрались, наследник престола играл в кегли!

Наталья обратилась с «меморандумом» в Скупщину:

— У меня больше нет сил скрывать слезы улыбкой, и вы сами видите, что муж способен погубить королевство…

Милан объявил брак с нею расторгнутым. Но вся эта мерзость конака, выплеснутая на страницы европейских газет, окончательно уронила престиж короля, и Милан был вынужден отречься от престола — в пользу сына-мальчика.

Но при этом он еще продолжал угрожать народу:

— Могу и совсем уехать, если дадите мне миллион…

Иначе говоря, король требовал с народа взятку. Патриархальная страна по грошику собрала для него деньги — только бы он убрался ко всем чертям и больше не осквернял их своим поведением. Милан получал «пенсию» и от сына, но все проигрывал — в рулетку или на скачках, продолжая шантажировать Скупщину:

— Не дадите денег — снова вернусь в конак!

Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него, — их душил сам министр внутренних дел Милутин Гарашанин. Гарашанин тоже выступил в печати: «Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде?» Тогда Милан стал оправдываться:

— Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы…

Наконец сербам надоело оплачивать долги короля.

— Хватит с него! — заявили в Народной Скупщине.

Но от Милана не так-то легко было избавиться.

— Еще один миллион франков, — требовал он. — Я продулся в Монте-Карло, и мне срочно следует отыграться…

В 1894 году король неожиданно вернулся в белградский конак, чтобы управлять страной из-за спины своего безвольного сына. Теперь Вена распоряжалась в Сербии, как в своей вотчине. В 1899 году, желая вызвать террор в стране, Милан спровоцировал покушение на самого себя. Именно тогда, в самый разгар бесчеловечных репрессий, наш писатель В. А. Гиляровский разоблачил перед Европой злодейские козни этой семейки!

Русская дипломатия вняла голосу писателя, и Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедля освободить арестованных патриотов… Сербы говорили:

— Спасибо России! Если б не наши друзья-русские, всем бы нам сидеть в тюрьме «Главняча», всем бы нам таскать в цепях тачки на Пожаревацкой каторге. Спасибо и друже Гиляровскому, который не испугался наших драконов…

На этот раз Милан собрал манатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и негодяй с титулом «его величество» был зарыт в австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных

лакеев господа хоронят подле своих фамильных усыпальниц.

Милана хорошо изобразил сербский писатель П. Тодорович в своем романе с характерным названием — «Долой с престола!».

* * *

На престоле остался его сын Александр, описанный Альфонсом Доде в его знаменитом романе «Короли в изгнании».

С явными признаками дегенерации на пасмурном челе, хмурый и некрасивый, коротко остриженный, словно прусский кадет, с очками на мутных беспокойных глазах, молодой Обренович блуждал по темным залам конака — слабосильный деспот в окружении всесильных деспотов-министров. Он не раз говорил:

— Я хочу любить и хочу быть любимым…

Еще мальчиком он привык сидеть на коленях фрейлины своей матери — это была вульгарная Драга Машина, урожденная Луневац. Драга качала толстого кретина-ребенка, еще не думая, что из него получится. А получился король! И, став королем, Александр навещал Драгу в ее доме на окраине столицы. Адъютант Лазарь Петрович, сопровождавший короля, однажды не вытерпел

и сказал, что сюда же возил и… короля Милана!

— Я это знаю, — отвечал Александр, — но знай и ты, что Драга станет твоей королевой, а потому… лучше молчи.

Сербы-эмигранты писали в газетах Парижа, что якобы Драга и спровадила Милана на тот свет чашечкой крепко заваренного кофе. Это похоже на правду, ибо в сомнительных случаях, подозревая в ком-либо врага, Драга подмигивала королю:

— А не заварить ли нам для него кофе покрепче?

Наталья Кешко, почуяв неладное, убралась в Биариц; опустевшие покои конака заняли братья Драги — молодые офицеры Никодим и Николай Луневацы; теперь уже не Милан, а семья Луневацев всосалась в народ Сербии, насыщая его кровью и золотом. Но король Александр очень любил Драгу, и вскоре женщина была объявлена королевой (так что недаром она качала его на своих коленях!). Александр в тронной речи публично объявил, что Сербия скоро может поздравить его с престолонаследником, и только теперь придворные заметили, что Драга имеет большущий живот… А жители Белграда уныло рассуждали:

— Видать, от этих Обреновичей не избавиться!

Ну кто бы думал, что у такой потасканной суки еще приплод будет?

Лучшие акушеры Вены и Петербурга, вызванные в Белград, ничего не понимали: живот у королевы растет, но в организме не обнаружить даже слабых признаков беременности. Этот конфуз дал богатую пищу для карикатуристов Европы, но через год Александр снова заявил с высоты престола, что положение легко исправить, — и объявил наследником в конаке брата королевы Никодима Луневаца. В пиварнях и кафанах негодовал народ:

— Мало нам Обреновичей, так теперь сядут на шею Луневацы, которые даже усов завить не могут, а ездят для этого в венские цирюльни. Что от них ожидать доброго, если их мать была пьяницей, а отец не вылезал из сумасшедшего дома?

Александр Обренович за время своего правления сменил 24 правительственных кабинета; заодно с министрами вылетали писаря, швейцары и подметалы. Конак кишел австрийскими агентами, а венский посол Думба стал лучшим гостем короля. Бедная страна, уже ограбленная, стала кормушкой для Австрии, и без того пресыщенной; теперь Габсбурги без стыда и совести выгребали из Сербии зерно, виноград, шерсть,

свинину с бараниной, чернослив, коринку, орехи, фанеру и кожи…

В это же время Петр Карагеоргиевич, проживая в изгнании, не раз делал заявления для печати, что от притязаний на сербский престол не отказывается: «Я вернусь в конак Белграда, когда обстоятельства призовут меня…» Он часто навещал Петербург, где имел немало друзей и где два его сына учились — один в Пажеском корпусе, другой — в Училище Правоведения.

А в казармах Белграда служил мрачный поручик Драгутин Дмитриевич — по кличке Апис, и для него все короли на свете были дешевле базарной репы.

### 3. Чижик-Пыжик, где ты был?..

Психологи давно доказали, что обширные помещения действуют на детей бодряще, побуждая их к активному настроению, и, напротив, тесные комнатенки с низкими потолками делают их вялыми, пассивными и сонливыми. Я благодарен высоким потолкам нашей квартиры, под сводами которых моя неукротимая фантазия уводила меня в иной мир. Наслушавшись сказок от няни и героических «лазариц» матери, я представлял битвы с драконом, который, истекая зловонной

кровью, был однажды побежден мною, и его зазубренный, как пила дворника, громадный хвост исчезал в черном проеме ночного окна… Не он ли, этот дракон, и был выброшен потом из окна белградского конака?

Мне было лет восемь, когда отец сказал:

— Я хочу поставить тебя на ноги, чтобы затем не пришлось краснеть за себя. Одно дело — песни матери, но ты обязан помнить и девиз нашего рода: «ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ…»

Суровейший ригорист, он никогда не баловал меня, за что я позже остался ему благодарен. Я учился сначала в Annen-Schule, славной отличным преподаванием иностранных языков. Учиться я очень любил. И по утрам первым делом бежал к окну, дабы увидеть — какие знаки вывешены на пожарной каланче; если на фоне неба виднелись черные шары, это значило, что мороз перевалил за тридцать градусов, все гимназисты и гимназистки могли радостно хлопать в ладоши, ибо в такие дни занятия прекращались, но для меня морозные дни оборачивались ничегонеделанием, которое я ненавидел. Анненской школе я благодарен — учили замечательно. А владение языками привило мне вкус к человеческой речи вообще: я всегда с охотным любопытством

вслушивался в разговоры татар-старьевщиков, в таинственный шепот менял-евреев, в звонкую перебранку чухонок-молочниц.

Единственное мотовство, какое позволял отец, — это субботние походы в бани г-на Мальцева. Отцу, наверное, казалось, что мальчик получит невыразимое удовольствие, если его чисто вымоют. Самый дешевый номер у Мальцева стоил 20 копеек, а самый дорогой — 6 рублей (в этом случае для мытья предоставлялась целая анфилада комнат с услугами банщиков и массажистов). Мы с отцом всегда мылись за 40 копеек в общем бассейне. Стены мальцевских бань были крыты корабельной обшивкой, а полы там заливал шершавый цемент. Убранство было в стиле древней Помпеи, из пены фонтана грациозно выступала мраморная Афродита, с нескромной улыбкой глядя на тощих санитаров и жирных купцов первой гильдии. Иногда под полом бань включали особую машину, отчего в бассейне начинался «шторм», как в море. Мне это безумно нравилось. Отец никогда не спрашивал, хочу ли я идти в баню, он просто брал меня за руку и отводил к Мальцеву. Так же никогда не интересовался, кем я хочу быть. Когда пришло время, отец деловито взял меня за руку и без лишних разговоров повел

за собою, как водил и в баню.

Я оказался на Большой Монетной улице (ныне улица Скороходова), в глубине садов которой размещался Лицей, переведенный сюда из Царского Села в 1837 году — трагическом году гибели Пушкина. Но, увы, попасть в когорту «славных» мне не довелось: записи предков в «Бархатную книгу» оказалось маловато, желательно иметь тетушку в статс-дамах или дядюшку камергером. Тут впервые в жизни я ощутил уязвленность своего самолюбия.

— А как же Пушкин? — говорил я весь зареванный. — Почему Пушкина в Лицей приняли, а меня не захотели?

— Ты не Пушкин и потому помалкивай, — отвечал отец, забирая меня с Монетной улицы, и повел на Фонтанку…

Здесь, напротив Летнего сада, издавна размещалось длинное, издали похожее на конюшни, некрасивое здание «Императорского Училища Правоведения» (в быту петербуржцев именуемого кратко — «Правоведение»). По преданию, когда-то на этом месте был манеж герцога Бирона, позже размещалась военная канцелярия графа Барклая-де-Толли, проживал тут и граф Сперанский, немало хлопотавший за образова-

ние школы русских юристов.

Вот сюда, в этот угрюмый дом, меня и поместили — словно пихнули в бассейн с холодной водой, и я вскрикнул от испуга, но было уже поздно. Кажется, была как раз суббота. Отец пошел в баню — на этот раз без меня. Я выразил свой протест тем, что притворился, будто не умею говорить по-русски, а только на языке сербов… Меня вздули! Трудно передать мое детское горе, когда я очутился в дортуарах пансиона для казеннокоштных. Экзекутор из немцев лишил меня «бульки»:

— Глуп мальшик, нет булька, зачем три раза сдох?

На русском языке это значило: я лишаюсь булки за то, что осмелился три раза подряд печально вздохнуть. По просьбе отца, снисходя к его доходам, меня зачислили на казенный кошт, почему я, выпущенный из «Правоведения», обязан шесть лет жизни посвятить служению при шатких весах Фемиды. А хочу ли я быть юристом — об этом меня никто не спрашивал…

Мораль среди будущих законников не радовала!

Младшие классы обязаны подчиняться старшим. Подросток намазывал горчицей кусок хлеба и указывал мальчику:

— Изобрази удовольствие!

И тот ел, плача.

Юноша, курящий папиросу, повелевал подростку:

— Зверь, тащи сюда пепельницу!

И тот покорно вытягивал раскрытую ладонь, в которую стряхивали горячий пепел…

Существовало и невидимое для начальства разделение на плебеев и аристократов. Все время вспыхивали драки, богатый унижал бедного, сильный побивал слабого. В дортуарах Училища случались и массовые побоища, когда один класс рукопашничал с другим, — все это мало говорило о пользе будущего «законоправия империи». Я не любил драться, но горячая кровь матери побеждала флегму отцовского характера, и потому не раз ходил с «фонарем» под глазом. А инспектор классов, человек очень грубый, донимал нас хамскими выкриками: «Кво вадис, инфекция?» (что в переводе с божественной латыни на язык родных осин значило: «Куда прешь, зараза?»).

Здесь мне предстояло учиться целых семь лет!

Попав в казеннокоштный капкан, я все-таки нашел в себе сил, чтобы покориться обстоятельствам, и учился очень хорошо. Меня выручало умение сосредоточиться, когда это было нужно.

Внимание человека — это ведь обычный приток крови к головным центрам его мозга, здоровью это никогда не вредит, и я никогда не боялся излишне напрягать свою сообразительность, а память у меня была превосходная.

Отец изредка навещал меня, каждый раз одаривал жалким фунтиком сушеной малины.

— У меня нет шестисот рублей, чтобы платить за тебя, как за «своекоштного», и потому радуйся, что здесь кормят четырежды в день, давая на обед даже бифштексы с поджаренным луком, за это ты должен только учиться, — внушал мне папа.

Ну что ж! «Лучше быть, чем казаться».

Впоследствии, когда я сидел над планами Шлифена о нападении Германии на Россию, в его наказе германскому генеральному штабу меня потрясли такие же слова: «Больше быть, чем казаться, много делать, но мало выделяться…»

Не правда ли, какое странное совпадение?

* * *

Лицеисты гордились именами Пушкина и Дельвига, канцлера Горчакова и сатирика Салтыкова-Щедрина, зато в «Правоведении» часто поминали поэта Апухтина и критика Стасова; отсюда, из этого несуразного дома-конюшни на

Фонтанке, вышли наши прославленные композиторы — Серов, Чайковский и Танеев, а позже прогремел на весь мир великий гроссмейстер Алехин.

Остальные же правоведы, не обладавшие «искрой божией», выходили на избитый проторенный путь: они метали с амвонов судилищ перуны смертных приговоров, из казенных канцелярий огненные рысаки увозили их в гудящие хмелем рестораны, они кутали в меха плечи драгоценных красавиц…

Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению «рвать» с несчастных бешеные гонорары. Напротив, в нас усердно втемяшивали идеалы гражданской добродетели. Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное: формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось отливать нас по единому стандарту, как отливают поковки в кузнечном цеху. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верноподданных чиновников, — не более того! В один и тот же день нас заставляли стричь ногти, мы одинаково причесывались, одинаково грассировали в разговоре и одинаково танцевали. Таковы были «чижики», как называ-

ли правоведов в петербургском обществе за наши форменные мундиры желто-зеленого колера. Отсюда, кстати, и произошла дурацкая песенка, в которой указан наш адрес:

*Чижик-пыжик, где ты был?*
*На Фонтанке водку пил.*
*Выпил рюмку, выпил две –*
*Зашумело в голове…*

Это про нас! Ибо среди будущих стражей народной нравственности издавна было развито потаенное пьянство и самые отвратительные пороки, известные с библейских времен Содома и Гоморры. Ваш покорный слуга тоже не миновал греха винопития, в чем и сознаюсь с глубоким раскаянием. Не было бы несправедливо сейчас, на склоне лет, швырять камни в огород, вскормивший мою юность. Доныне остаюсь благодарен Училищу Правоведения, развившему мой разум до понимания даже юридической казуистики, необходимой в сложнейших вопросах жизни — кто прав, а кто виноват? Профессура была у нас лучшая в столице, экзамены мы сдавали сразу на четырех-пяти языках.

Потом, когда мы подросли, наши головы основательно загрузили науками специальными,

как-то: финансоведение, история религии, философия права, судебная медицина и прочее. Нам читали всякие «права» — церковное, римское, гражданское, торговое, международное, государственное, тарифно-таможенное, морское и полицейское. Когда же мы вступили в пору цветущей юности, нас возили в анатомический театр с его тошнотворной изнанкой жизни. Желающие могли дежурить в полицейских участках, чтобы выезжать на места преступлений. Профессура не скрывала от нас, что «преступность — это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни». Мы часто посещали судебные процессы, на которых разбирались громкие дела, связанные с убийствами, подлогами, растлением малолетних. Иногда мы работали в архивах кассационного департамента Сената или в министерстве юстиции, где нам «давали для ознакомления запутанные дела, которые со времен Екатерины Великой никому не удалось разрешить. Помнится „дело о волчьих хвостах, оказавшихся собачьими“, мы потешались над „делом о неуместном употреблении латинских цитат при объявлении смертного приговора“. Но однажды мне попалось в руки „дело о желудочно-половых космополитах в Тамбовской

губернии“. Что это такое — не знал тогда, не знаю теперь и никогда не узнаю…

У меня уже заметно пробились усы, а бедный папа по-прежнему угощал меня сушеной малиной.

— Малина полезна во всех случаях, — говорил он, правильный человек, правильные истины. — Особенно во время простуды.

— Да, папа, спасибо тебе, — отвечал я.

Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани, а одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила все остальное: «Чему учат в высших школах, — писал Лютер, — как не тому, чтобы все были дубинами и олухами?»

Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь — сама жизнь! — уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамом вечерних ресторанов.

Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями. Понимая, что ни Апухтиным, ни Чайковским не стану, я не прельщался и адвокатской практикой, столь модной в ту пору, ибо пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, который они получали от «обиженного».

Но при этом, во многом сомневаясь, я про-

должал хорошо учиться, за что и приобрел «стипендию принца Ольденбургского».

— С такими успехами, — радовался отец, — ты можешь рассчитывать на завидное положение в министерстве юстиции.

— Да, папа, — соглашался я, не соглашаясь с ним…

С 1896 года для правоведов было введено обучение боксу, который преподавал француз Лустелло, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театра. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене: посредством грима и живости физиономии я умел изменять свой облик, и однажды на любительском спектакле, в присутствии корифеев русской сцены, даже заслужил похвалу Марьи Гавриловны Савиной… Любительское актерство пригодилось!

В аудиториях «Правоведения» разыгрывались настоящие драмы судебных заседаний — с преступниками, прокурорами, лжесвидетелями, роли которых импровизировали мы сами, будущие юристы. Иногда требовалось немало сноровки и хитрости, чтобы выпутаться из придуманных тут же — по ходу процесса — сложных юридических ситуаций. Я любил брать на себя

роль подсудимого, скоро обретя славу ловкого и закоренелого «преступника», которому не требуется даже услуг «адвоката».

Так проходило мое время, а вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за Фонтанкою, в зелени Летнего сада, разгораются цветные фонарики, под сводами «раковин» играют румынские оркестры, фланируют почтенные жуиры и кавалергарды, под купами старинных дерев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета…

Что я знаю об этой жизни? И что эта жизнь знает обо мне, маленьком и некрасивом юнце с острым неприятным профилем молодого и замкнутого в самом себе Бонапарта?

В один из дней меня вызвал инспектор Училища, генерал Василий Васильевич Ольдерогге, и представил мальчика:

— Это Александр, сын Петра Карагеоргиевича, проживающего в Женеве на положении изгнанника. По просьбе претендента на сербский престол он будет учиться у нас. Проследите за ним как старший товарищ. Сирота без матери будет рад, если вы, знающий его родной язык, поможете ему в учебе…

Сколько лет прошло с того дня! Зимою мы выбе-

гали на лед Фонтанки и лепили снежки, весною я гулял с Александром по островам русской столицы, угощая его мороженым и квасом, и, конечно, не мог же я знать, что он, тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом рухнет на улицах Марселя под пулями хорватского бандита. Но теперь-то я понимаю, что этот мальчик, поедающий мороженое, купленное на мои жалкие деньжата, наверняка расстрелял бы меня в Салониках, попадись тогда я в его королевские руки…

В эти годы — на переломе веков — русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия — это двуединая монархия, которая с одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о «больном человеке Европы», то габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе как «давно съеденная червями». Так было. Многое тогда было…

* * *

Неожиданно вспомнилось. В доме своих даль-

них сородичей я однажды повстречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещен цензурою. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал — о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, о байронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине — и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему, я тогда уже уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в «лазарицах» матери.

Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и, чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал III и IV тома собраний его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими… Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе, помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня:

— Мой юный правовед, еще в мундире «чижика» вы обязаны заранее предрешить благородство

юридической стези, избранной вами. Как бы вы ни изучили законы, вы всегда останетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма.

Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца, напротив, я все более отвращаюсь от юридической службы, с ужасом думая о своем будущем:

— Я очень хочу жить в будущем, но еще не знаю — как жить, что делать, куда идти, где поворачивать… Я читал ваши речи в судах и, простите, не вижу пользы от них, когда вы добела отмывали заведомо черное, достойное сурового наказания.

Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату.

— С такими настроениями, — ответил Спасович, — вам, милейший, лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее — или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий ее юдоль. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горних посмотрю, что из вас получится…

Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах… Кем?

Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать.

### 4. В пещерах жизни

В моем сознании, еще довольно шатком, афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который я твердо вызубрил наизусть: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только *самообразование* и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий».

Я заметно охладел к занятиям в Училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам — от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое горячее нетерпение: «Как? Прожито почти двадцать лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного…»

А что я мог разрушить? Только самого себя.

Перейдя в высший класс Училища, я обрел право носить шпагу, при мундире я надевал парадную треуголку.

Но, выходя в свет, сначала угодил в потемки…

Давно все растеряно! Я лишился в жизни четырех библиотек и собрал под старость пятую, я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка:

ЖОЗЕФ ИППОЛИТОВИЧ ПАШУ
ЗАХОДИТЕ, ВСЕХ ПРОШУ!
Загородный, 26. Тел.: 2496
Только виноградные вина!

Мне даже самому интересно теперь писать об этом.

А все началось с венка — для покойника…

* * *

XIX век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира, на улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, в квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть «фильму», наконец, в домах возникло и паровое отопление…

Так что прогресс человечества не топтался на месте!

Россия энергично сближалась с Францией, она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не

пугалась Японии; Нансен блуждал тогда в полярных просторах; в Афинах возродились забытые Олимпийские игры, граф Цеппелин создавал дирижабли, в Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться… Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта:

— Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире, и пусть русские торчат в Маньчжурии, а в Европе они всегда получат от меня коленом под зад…

Я вспоминаю. Однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С., одинокого человека, угасшего в номерах Пале-Рояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту, мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день, все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок (кстати, громадный) оказался старым, пока я тащил его на себе от Фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от «Правоведения» до Пале-Рояля.

Я долго мыкался среди номеров, где по коридо-

рам слонялись непризнанные гении и спившиеся трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, не способная отличить гранок от верстки. Наконец франтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал — куда надо! На убогой койке лежал покойник в рваных носках, лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные отвратные мухи.

В этом же номере сидел за столом непомерно толстый человечище, остриженный «под новобранца», и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко чтящие бескорыстное служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств… Толстяк заплакал. Я никогда еще не видел столько бурных слез, — они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо.

— Ах, как это благородно! — сказал он, обнимая меня.

После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыханье телег, матерная брань гужбанов-извозчиков, а

венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорей от него избавиться.

— А куда мне его возложить? — спросил я.

— Вали на дохлятину, — сказал толстяк, сморкаясь…

С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я еще сказал при этом:

— Какая утрата для нашего искусства… правда?

Толстяк согласился, что утрата для России ужасная.

— Садись, чижик. Выпьем рюмку, выпьем две…

Он вложил письмо в конверт, поверху коего уверенной рукой начертал без запинки адрес; краем глаза я прочитал:

Ищите в Саперном переулке дом,
где продаются булки,
квартира сороковая,
для мадам Е. Б. Роковая.
Обратный адрес: Пале-Рояль,
Ничего от прошлого не жаль.

Назвавшись Михаилом Валентиновичем Ще-

ляковым, толстяк большим, как лопата, языком увлажнил почтовую рамку.

— Беда со мною, — сказал он вдруг. — Я ее, стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим.

— Так бросьте ее, неверную! — посоветовал я.

Щеляков щедро разлил вино по стаканам.

— Я тебе не о жене — о литературе. Это женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь?

— Так вы… писатель? — восхитился я.

— Грешен, — скромно ответил Щеляков[1].

При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели, просунувшись головой в мой венок, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас «сволочами».

— Без меня пьете? — И сам двинулся к столу, развеваясь траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано:

НЕТ, ТЫ НЕ УМЕР – ТЫ
ВСЕГДА ЖИВЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул

---

**[1] notes: 1**

Писателя с такой фамилией я не знаю. Скорее всего, наш герой встречался с ныне забытым писателем-юмористом М. В. Шевляковым (1865-1913). *(Здесь и далее прим. авт.)*

венок в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскресший, опохмелив себя шампанским, снова опочил сном праведника.

— А кто это такой? — спросил я писателя.

— Капиталист… типичный кровосос — издатель!

Я с недоверием глянул на рваные носки «капиталиста», из которых торчали грязные, заскорузлые пальцы голодранца.

— Дыркам не верь! — пояснил Щеляков. — На этом мерзавце начет в миллион рублей. Если он столько задолжал, так подумай — сколько же людей он ограбил! И скольких разорил. Плюй на него, плюй. Перед нами издатель газеты «Это сезона»[2].

Оплевав пьяного с ног до головы, мы (тоже не очень трезвые) выкатились из Пале-Рояля на улицу. Щеляков поцеловал меня.

— Отчего ты ведешь себя не так, как все нормальные люди? (Я не понял его.) Ведь естественно, что при виде встающего покойника надо бы тебе

---

**[2] notes: 2**

Судя по всему, автор записок говорит здесь об издателе В. И. Рамме, который после краха газеты работал в реакционных «Биржевых ведомостях», а позже издавал «Весь мир».

бежать без оглядки… Прости, я ведь наблюдал за тобой: ты даже не удивился! Мало того, ты еще и чокнулся с этой падалью… Неужели не испугался?

— Не знаю, — ответил я.

— Тогда пошли ко мне. Манечка будет бить нас чем попало, но ты не обращай внимания: она очень хороший человек, сам увидишь… редкая, замечательная женщина!

Мы пришли. Щеляков сказал через дверь:

— Манюня, это я, твой Миша. И не один… с другом!

Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, сграбастав писателя за воротник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывает в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро. Затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котелок и тросточку, скатился необъятный бегемот-Щеляков. Внизу я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку, которая уцелела в завалах моего архива.

— Только виноградные вина! — провозгласил он. — Зато у Пашу мы встретим самое благород-

ное общество Петербурга…

Через двери пробился визгливый голос:

— И больше не ходить. Шляются тут… всякие!

— Ничего, — говорил Щеляков. — Манечка золотой человек. Но мы пришли слишком рано. Выпьем и придем чуть попозже…

* * *

В прошлом артист-неудачник, Михаил Валентинович порвал со сценой, чтобы стать неудачником в литературе. Но это не уменьшило его природного оптимизма и любви ко всему смешному. До сих пор жалею, что у меня пропала книга Щелякова о жизни домашних животных, собак и кошек, с его дарственной надписью:

*Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто.*
*Чтоб деток было бы штук до ста.*
*Полста – твоих, полста – жены…*
*Мы для труда все рождены!*

Сейчас никто не читает Щелякова, а — жаль. Нет, пожалуй, забавнее книги, чем его «Поцелуй с точки зрения физиологии, гигиены, истории народов и философии». Щеляков сделал очень мало: ему всегда мешали любовь к раблезианским ра-

достям жизни и страстная погоня за смешными случаями, которые он даже коллекционировал в своей уникальной картотеке. Михаил Валентинович был человек образованный, выпуклый и оригинальный, но обжора и сластена, которого позже сразил миокардит, вызванный приступом хохота. Я потому задержался здесь на Щелякове, ибо именно он, ныне прочно забытый писатель, заронил во мне первое зерно настроений, которые позже определили мое будущее.

А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру караима Жозефа Пашу, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделавшись хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь, в отдельном кабинете винницы, образовалось нечто вроде подпольной секты оптимистов-неудачников, взявших себе за правило по-масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни…

Боже, кого я там только не повидал! Князь А. Д. Голицын, известный винодел России, вина которого получали Гран-при на конкурсах в Париже, присылал в дар Пашу бочонки с вином лучшего крымского урожая, и тогда за общим

столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого, забитого нуждою чиновника, репортера и артиста — всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей. В подземной пещере на Загородном скрывался от надзора властей клуб «пашутистов», в который я был принят по рекомендации Щелякова.

Пашу приветствовал меня словами:

— Коль попали вы к Пашу, выпить сразу же прошу…

Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел герольдмейстер Е. Е. Рейтерн, племянник поэта В. А. Жуковского по его жене. Одинокий, неустроенный холостяк, он всю душу и все жалованье сенатора вкладывал в собрание графики и гравюр, которые потом и завещал Русскому музею. Оглядев мой «чижиковый» мундир, он сказал:

— Юрист, конечно, должен быть образован. Но в каждой области знаний всегда остается лишь дилетантом. А вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?

При этом он без запинки процитировал мне из Байрона:

*Юрист всегда в грязи – того не скроем,*

*Как нравственности жалкий трубочист,*

*Покрыт он сажи толстым слоем:*

*Сменив белье, не станет чист…*

Среди «пашутистов» не было принято поминать правительство. Едва услышав это слово, Пашу стучал кулаком по стойке:

— Не выражаться! Правительство — слово нецензурное, критике недоступно, как доступно, например, варьете с раздеванием Бланш-Гандон или полицейский участок с «дантистами», где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы…

Именно здесь, в подвале Пашу, я стал набираться впечатлений, каких мне так недоставало в «Правоведении». Русское общество занимали тогда два насущных вопроса: созыв первой Гаагской конференции о мире и телеграмма писателя Гиляровского из Белграда, в которой он обличал террор Обреновичей. Справа от меня сидел композитор В. И. Вердеревский, автор салонных романсов, а подле него карикатурист Э. Я. Пуарэ, более известный своим псевдонимом «Карандаш». По мнению композитора, всеобщее разоружение способно вызвать конфликты:

— Скажи дикарю, чтобы он оставил свою ду-

бину. Дикарь оставит ее, но потом заберется в густой лес, где его никто не видит, и там — назло тебе — вырежет дубину еще потолще.

Пуарэ подмигнул актеру Люсьену Гитри:

— Русским можно ехидничать, у них нет Рейна, за которым лежит вооруженная до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберется…

Много говорили о Гиляровском: сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвел против династии Обреновичей крупную политическую *диверсию*:

— При этом сделал для Сербии великое дело! Но сделал как писатель, а не как опытный пинкертон…

Стараясь не касаться правительства, «пашутисты» яростно обличали двор и окружение царя. Нигде я не слышал такой откровенности, как у Пашу! Открыто рассказывали, что столичный градоначальник генерал Клейгельс украл с Невы речной трамвай, обнаруженный позже на озере в его же имении; Победоносцев никогда сам взяток не берет, зато их берет его молоденькая жена.

К полуночи «пашутисты» раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, и Вердеревский сиплым голосом запевал:

*Если жены наши злятся.*
*Где же нам от них спасаться?*
*У Пашу, у Пашу –*
*Заходите к нам, прошу.*
*Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей:*

*Где средь шумных разговоров*
*Я забыл о кредиторах?*
*У Пашу, у Пашу –*
*Всех друзей к нему прошу.*

Щеляков плясал на толстых ногах, импровизируя:

*Где с утра и до закрытья*
*На целкач могу кутить я?*
*У Пашу, у Пашу –*
*Убедиться в том прошу…*

Теперь-то я понимаю, что в пору тогдашнего «безвременья» пещера «пашутистов» на Загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных «пещер»! Еще император Николай I выразился,

что в России царит полная свобода, ибо каждый россиянин может думать что хочет, лишь бы он не болтал своим языком. Русские люди всегда мыслили чересчур крамольно, но у каждого из них была своя «пещера», где он не боялся распахнуть душу… Не помню, как я добрался до дому, в дымину пьяный.

* * *

Спасибо родителям: от матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку («Долготерпение — русская добродетель», — часто слышал я от него). В результате мой характер образовывался из сплава двух нетерпимых крайностей, отчего я привык обдумывать поступки холодно, зато действовал горячо и порывисто. Можно сказать, что, взяв от родителей самое существенное, я не был похож на них, — уже тогда, вступая в полосу зрелости, я становился самим собой…

Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из-за ерунды. Однажды в дортуаре Училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шепотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я

сказал им:

— Уж не собираете ли денег на новый венок?

Эстляндский барон Аккурти повернулся ко мне.

— Ты появился как раз кстати! — обрадовался он. — Входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя еще нет содержанки?

— Оплачивать таковую у меня нет и денег.

— Вот и хорошо. Нас, малоимущих, только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать ее станем все пятеро строго по расписанию.

— Неужели любовь в складчину? — возмутился я.

— А почему бы и нет? Если в складчину выпивают, так почему бы не иметь в складчину и женщину? Это дешевле и удобнее.

Я врезал Аккурти пощечину, после чего выпалил ему в лицо те стихи Байрона о нравственности юристов, которые запомнил со слов сенатора Рейтерна. Вскоре состоялась дуэль — на шпагах. Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня три дня побыть дома — подле отца… Чем больше я взрослел, тем холоднее

становились мои с ним отношения. Головою я понимал, что он человек далеко не глупый и вполне добропорядочный. Но сердцем не мог принять его чересчур правильных сентенций. Мы стали далеки.

Единственное, что еще связывало нас, так это смутная память о матери, пропавшей где-то в круговерти Европы, словно никогда и не было подле нас этой красивой женщины, которая когда-то стояла на балконе, держа меня на своих руках, а под нами, ощетинясь штыками, шли, шли и шли…

Они идут и сейчас! Я слышу их железную поступь.

Время неподвижно — это движемся мы, наивно думая, что летит время. Однако прав ли я в этом? Не сближаю ли библейский афоризм с казарменным острословием: «Солдат спит, а служба идет»? Календарь готов уронить последнюю страницу года, которая и опадет неслышно, как последний лист с усталого дерева.

Где лучше всего спрятать отживший лист? Оставьте его в лесу, и там его никто никогда не найдет…

## 5. Не надо стреляться

Не могу забыть, что однажды в Новой Деревне ко мне пристала цыганка с младенцем на руках и, отказавшись от гонорара, столь существенного для ее профессии, наворожила мне:

— Будешь часто болеть, но проживешь долго. Будешь иметь много заслуг, но спасибо тебе никто не скажет. А умрешь одинокий, зато в конце жизни найдешь свое счастье…

Эти слова почему-то преследовали меня всю жизнь, и теперь остается лишь ожидать в старости счастья.

Под влиянием афоризма Писарева я обрел почти мученическую усидчивость в самообразовании и смею думать, что к началу XX столетия вступал я в него уже вполне здравым, хорошо начитанным человеком. По мере того как близился срок выпуска, правоведы, мои однокашники, становились все откровеннее в своих притязаниях на будущее: при 12-балльной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов; все чаще слышалась в дортуарах банальная песня:

*Мы адвокаты – нам куш подай,*

*и вот тогда ты речам внимай.*
*Давай нам дело – чернее тьмы,*
*и станет бело – клянемся мы!*

Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его ядовитыми газами. Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Но я презирал и бунтующий нигилизм, которым так гордилась тогдашняя молодежь, вместе с дурным отвергавшая и все доброе в русской жизни, и для нигилизма я нашел иное слово — нигилятина…

Перед Щеляковым я однажды честно сознался:

— Не знаю чего хочу, но я очень хочу.

— Только не иди в актеры, — предупредил он меня. — На сцене, как и на эшафоте, много людей потеряло головы.

— А если — в литературу?

— Посмотри на меня: где ты видишь мою голову?..

В ту пору меня очень привлекали сады с гуляньями и кафешантаны столицы — «Фоли-Бержер», «Шато-де-Флёр», «Монплезир», «Орфеум». Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне

нравилась эстрада, ужимки площадных клоунов, виртуозность иллюзионистов. Помню, как знаменитая Франкарио изображала сцену купания. Прохожий оборванец воровал ее одежду, брошенную на сценическом берегу, оставив женщине только шляпу. Но из этой шляпы Франкарио извлекала чулки и туфли, нижнее белье и платье, наконец, в ее руке раскрывался зонтик — и она исчезала за кулисами, полностью одетая. В этом фокусе меня потрясла не вульгарность женщины, а технические возможности ее шляпы.

Наверное, по этой причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне как правоведу был открыт доступ в «Музей сыскной полиции», где я — с помощью одного взломщика — осваивал приемы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, мой наставник приподнял над головой котелок:

— Довольно, мсье! Если ваши успехи будут таковы и далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности…

Общение с преступниками высокого класса и мастерами уголовной полиции сделало меня очень внимательным; в любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны ка-

нифолью для изъятия кошельков из карманов; у меня развилась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с «Правоведением», но все же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, я стал пописывать в бульварных газетенках скромные заметки о преступности. Но приобрел славу лишь «бутербродного» репортера, как называли всю газетную шушеру, ибо в редакции за мою информацию расплачивались рюмкою водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом нашему артисту В. Р. Гардину, он долго смеялся, а потом сказал, что стопка водки с бутербродом — это еще замечательный гонорар.

— А вот я в свой первый театральный сезон в Риге (я, бывший офицер!) получал за каждый спектакль пирожок с рисом.

— Наверное, в рисе было и мясо?

— Ни мясинки! И продать нечего. Один револьвер в кармане, а его не продашь: иначе из чего бы застрелиться?..

Время было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь, а статистика самоубийств в России постоянно повышалась. Стрелялись из-за

двойки по латыни безусые гимназисты, томные дамы умирали от порции аптечного хлоралла, а горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек.

Отец, кажется, уже заметил, что со мною происходит что-то неладное: он умолял меня сдать экзамены последнего курса. Мне совсем не хотелось оставаться в мире юриспруденции, но я все же закончил Училище, получив на экзаменах средний балл, выходя в этот пагубный мир по X классу Табели о рангах — в чине коллежского секретаря. Все мои сокурсники сразу нашли свое место в жизни, а я в это время потерял свое место…

Потеряв это место, я заодно уж потерял и голову!

* * *

Правда, из разряда «бутербродных» журналистов я незаметно для себя переместился в категорию «кредитных»; для таких, как я, редакция открывала кредит в кабачках на Казанской улице или в Фонарном переулке, где я пил свое «кредитное» вино, а слепой тапер играл на рояле (наверное, тоже в кредит?). В этот период жизни я стал неумеренно много выпивать, сознавая свою

неустроенность и свое непонимание жизни…

Около 1901 года заболел дифтеритом в Пажеском корпусе Георгий Карагеоргиевич, старший брат будущего короля, и Петербург навестил их отец, с которым я тогда же и познакомился в доме № 6 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата — Арсения Карагеоргиевича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагеоргиевичами.

Петр Александрович (это его фотографию показывала мне мама!) выглядел усталым и бедным человеком, огорченным житейскими невзгодами и недавней смертью жены. Он в совершенстве владел русским языком. Держался крайне скромно, но я-то знал, что скромность не есть личное достоинство — это национальная черта всех сербов, уважающих себя. Претендент на престол в Белграде, Петр Карагеоргиевич душевно благодарил меня за мое внимание к его младшему сыну — Александру.

По газетам я знал, что Петр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии, но инсургенты потерпели тогда поражение; в войне 1877-1878 гг. Петр сражался с турками в

рядах неукротимых черногорцев. Мне было интересно слышать, за что им получен французский орден Почетного Легиона.

— Я окончил Сен-Сирскую академию и, будучи офицером, сражался за Францию при Седане; раненный в битве, я сумел переплыть реку и тем спасся от германского плена… Сейчас я лишь частное лицо, — уныло признался Петр, — но в Сербии неспокойно, народ не выносит Обреновичей, многое может перемениться!

Именно в этом доме на Неве я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своем портрете Константин Маковский; маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда.

Для женщин ее круга эмансипация, о которой так рьяно хлопотали курсистки-бестужевки, казалась уже лишней — она была уже достаточно эмансипированной, как и все дамы высшего света столицы, но свою женскую свободу видела лишь в полном раскрепощении нравов — и не этим ли привлекла меня, глупого юнца?..

Эта женщина была замужем и намного старше меня.

В новое для меня время я вступил стоящим на

коленях.

Перед высшим существом на земле — перед женщиной!

Впрочем, я не хочу называть ее имени, запятнанного пороками и явным предательством[3]. Я тогда не знал, что она была любовницей министра юстиции Муравьева, а недавно делала аборт после связи с Иренеем, викарием Киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня к себе, то повергать в бездну отчаяния наружной холодностью.

Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились этой блудницей.

Наконец настал день окончательного решения.

— Надо стреляться! — убежденно сказал я себе.

Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания: «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая винить

---

**[3] notes: 3**

Можно догадаться, что это была Аврора Павловна, жена полковника А. А. Карагеоргиевича. Она являлась матерью принца-регента Павла, который в 1939 году, накануне нападения Италии и Германии на Югославию, вступил в предательский сговор с Гитлером, о чем не раз писалось в советской исторической литературе.

никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня…» Как я был наивен!

Но все готово. Можно стреляться.

— А теперь встань! — услышал я голос отца.

Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком.

— Прочти, что ты там напортачил, — велел отец.

Я молчал. Папа подошел ко мне. Прочел сам.

— Пшют гороховый! — заявил он мне. — Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека… Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?

— У меня нет матери, — отвечал я, подавленный.

— Как у тебя поворачивается язык? — вдруг закричал отец. — Я давно наблюдаю за тобой, и ты давно мне противен и гадок. Встань прямо. Не смей отворачивать свою похабную морду…

При этом он хлестал меня по щекам. И это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко моталась из стороны в сторону, что я не выдержал — заплакал:

— Прости, папа. Но я очень несчастен.

— Я… тоже, — ответил отец. — Я тоже глубоко

несчастен. Потому что продолжаю любить твою мать, которая — я верю — еще вернется к нам, и я все прощу ей… все, все, все!

Мне вдруг стало безумно жаль его. Ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показалась мне жалкой и мелочной…

Отец вдруг спросил:

— Что ты ценишь из житейских заповедей?

— Только одну: «Если все, то не я!»

— Так и следуй этой заповеди, а больше не дури…

Я всю ночь размышлял: где мне быть?..

Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры. Пожалуй, на стороне буров были тогда все — не только народы, но все правительства, а в России даже дворники, подметая панели, во все горло распевали:

*Трансвааль, Трансвааль, страна моя,*
*Ты вся горишь в огне…*

Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров

сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении: среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою, немало было и врачей Общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь, скажу, что только в порту Джибути я впервые увидел африканцев; пароход «Наталь» доставил нас в гавань Делагоа-Бей, откуда мы поездом въехали в страну буров.

Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах-фермах, окруженных деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино — для безграмотных женщин, на почетном месте лежала Библия — для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не блистали, и лишь много позже я понял то, чего не мог понять раньше: буры такие же колонизаторы, как и англичане, но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих.

При мне рабы-кафры заваривали кофе для господ фермеров и подавали трубки для буров, выслеживающих англичан в зарослях у желез-

нодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки, я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур влепил пулю английскому офицеру точно между глаз. Прирожденные охотники на антилоп и жираф, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансвааля состояло из подонков и аферистов, наехавших откуда угодно искать золото и алмазы, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан, и потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настороженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять. Теперь-то все знают, что англо-бурская война — результат давнего англо-германского соперничества из-за колонии в Африке, но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры, воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу…

Немало запомнилось в этой войне, но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного

быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале Претории. Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд, я — с оружием в руках — попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне «нонкомбатанта», угрожая расстрелом на месте, а потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Русские люди уже достаточно изведали на своем историческом пути все виды тюрьмы и каторги, но до создания концлагерей они еще не додумались, а Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретенную англичанами.

Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи: умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету — хаки и ловкость в стрельбе, ибо именно англо-бурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству…

* * *

В конаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король-кретин обожал свою перезрелую Драгу, а в окружении его престола заглавная роль отводилась «напреднякам» — австрофилам.

В марте 1903 года на улицы сербской столицы вышли студенты и рабочие, демонстрируя под окнами конака:

— Долой деспотов… свободы! Живео Србия!

— Стреляйте в них, — требовали «напредняки».

Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ.

— Так вызовите жандармов, — повелел король.

— И пусть они перещелкают всех! — взывала Драга…

Жандармы убили восемь человек и десять тяжело ранили.

— Я хочу любить и быть любимым, — рассуждал король.

Вечером 28 мая в конаке должен был состояться «домашний» концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку.

Я появился в Белграде накануне этого концерта.

Как же это случилось? Да очень просто…

## 6. Хорошо быть сербом…

В моем поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не сочтите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери. Слишком красноречиво высказывание поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков: «Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа». По-моему, лучше не скажешь…

После всего пережитого в Африке я проводил время в Петербурге, ымного читая и навещая своих «пашутистов». Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал. И всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами неспавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня четыре сотенных «катеринки»:

— Обменяешь на франки в Париже! Проблудись, как паршивый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком…

Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии санкт-петербургского

градоначальства; полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется: политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увез в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но, доехав до Варшавы, я пересел в венский экспресс. До сих пор не берусь четко объяснить, почему я так поступил, однако я сделал это в твердом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, так не манили меня и волшебные сказки Венского леса, мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекательной публики…

Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов, и уже на венском вокзале «Вестбанхофф» я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков, иллирийцев, русинов и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую «Русскую Правду», имевшую сногсшибательный подзаголовок: «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда; суровый отец с двумя

девочками, обутыми в нищенские «опанки», сказал, что у него был и сынок — студент-технолог.

— Но его в Белграде напредняки ухапшили. Ныне там, — добавил он, — пришло ванредно станьо…

Я кивнул сербу: ухапшись — это значит арестовать, а ванредно станьо — это осадное положение. Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором:

— Почему не жить нам спокойно? Все это проклятые Обреновичи… неужели мать-Россия за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятущий конак с королями вместе!

Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов — что там с его сыном, жив ли? Но в длинном списке, среди множества узников башни Нейбоша, мне вдруг встретилось имя… матери.

Я, наверное, изменился в лице.

— Что стало, друже? — спросил серб.

Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. «Куда же ехать дальше?»

— Билет до… Землина, — сказал я кассиру.

Землин — пограничный город Австрии, с его речных пристаней уже хорошо видны улицы

Белграда и даже тюрьма Нейбоша.

— Вы серб? — спросил кассир, наверняка посаженный в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных.

— Да! — отвечал я с нарочитой гордостью.

На что я тогда рассчитывал — сам не знаю. Тем более что в своей соседке по купе, развязной и говорливой мадьярке, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопроводила меня до Землина, игривою болтовней отвлекая от тяжких дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбоша.

Итак, я появился в Белграде *накануне концерта* ...

* * *

Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из Землина в Белград, на причале, совершенно пустынном, стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт, жандарм не вернул мне его:

— В день отъезда получите в русском посольстве...

Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи, в отдалении громыхнул гром, прошумели

прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку, я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне захудалую русскую провинцию.

Извозчик остановился возле «Хотел Кичево», где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик, над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, и я был готов к самым дерзким решениям…

Лакей оказался очень внимательным ко мне.

— Друже, наверное, из Одессы? — справился он.

— Нет… из Кишинева, — приврал я.

— А где научились говорить по-сербски?

— От матери, а дед ее был серб — Хорстич.

— Значит, у вас полно родственников в Белграде?

— Даже в башне Нейбоша, — ответил я.

Странно прозвучала следующая фраза лакея:

— Жаль, что вы приехали в такое подлое вре-

мя… Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушайте анекдоты.

Он предупредил, что «Кичево» строено еще турками, обычай здесь старый: если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель.

— Эта манера осталась еще от мусульман, — сказал лакей.

Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек.

— Так вы откуда? — спросил он по-русски.

— А вы?

— Из Сараево. Но учился в вашем Славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам…

Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу.

— Не засыпайте, — предупредил он меня шепотом.

— Почему?

— Здесь оставаться нельзя. Опасно!

— Что может мне угрожать?

— О вашем приезде я узнал от лакея… Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату, на углу Караджорджевой ожидает коляска с подня-

тым верхом. Мне поручено увезти вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня.

— А разве я здесь в опасности?

— Да. Надо спешить. Все объяснят вам потом…

Мы покинули гостиницу (и в самом деле подозрительную), на коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному известкой длинному зданию с одинаковыми окошками.

— Это… что? Казармы? — удивился я.

— Да. Казармы славной Дунайской дивизии.

Мы проникли внутрь со двора. Через кухню я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились троножцы (по-нашему — табуретки), в буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова, Скобелева и Гарибальди. Иногда заходили с улицы офицеры, в мое сознание крепко впечатывались их сербские имена: Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Светозар. Головы офицеров покрывали «шайкачи», чем-то очень похожие на пилотки современных летчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопке ракии, тихо беседовали

и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым, пристальным взором, представился:

— Поручик Драгутин Дмитриевич, но зови меня… Апис!

«Апис»? Но ведь Аписом называли священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха, и я догадался, почему этот офицер так именуется: Драгутин-Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык, обладал геркулесовой силищей. Могучей дланью он указал на своего товарища:

— А это поручик Петар Живкович. Сейчас поужинаем…

Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду, на столе появились жареные цыплята, вареные яйца и бутыль с вином.

— Ты, друже, не удивлен? — спросили меня.

— Отчасти — да. Есть чему удивляться.

Но возле этих людей мне было уже хорошо.

— Мы забрали тебя из «Кичево» ради твоей безопасности. После случая с писателем Гиляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона, — пояснил

Апис.

На это я ответил, что от литературы далек, зато невольно стал близок к матери, которую держат в белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки — Хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом:

— А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женою Петра Карагеоргиевича… не за это ли ее ухапшили?

Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно.

— Хорошо быть сербом, да нелегко — произнес он. — Сейчас в Сербии, как в Германии времен железного Бисмарка, который говорил: «Каждый немец по закону имеет право болтать все, что придет в голову, но только пусть он попробует это сделать!»

— Хорошо, что ты с нами, — добавил Живкович. — Если бы в конаке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы — отдельно от тебя — на пристани в Землине или даже на вокзалах мадьярского Пешта… Вот и все! Так что поживи в нашей казарме: здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее…

— Когда? — спросил я обрадованно.

— Скоро, — мрачно ответил Апис. — За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии. — Троножец отчаянно скрипел под массивною глыбою его тела. — Сербом быть хорошо, — убежденно повторил он. — Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься... А потому выпьем за последних Обреновичей в нашем конаке!

Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый...

В казарме Дунайской дивизии я прожил четыре дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить: я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудами. Я подружился с молодым капитаном Ездимиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром 28 мая Костич сказал мне:

— Сегодня вечером в конаке будет концерт. Все старые песни кончатся, Сербия запоет песни

новые!

В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис:

— Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем… Победят или погибнут все, кого ты здесь встретил! На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы — армия. От Обреновичей не дождаться чистой голубки радости — навстречу нам летит черный ворон отчаяния… Если Черногория — славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию… Уедненье или смрт! (По-русски это звучало бы: «Объединение или смерть!»)

Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности (Югославия) вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним — ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью:

— А в том случае, если нас ждет поражение,

пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу лишь из благородного чувства сыновьей любви…

Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одьек», в которой жирным шрифтом были выделены слова:

> «Мы хотим, чтобы не было личного культа, идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей…»

— Вы желаете сделать из Сербии республику?

— Хорошо бы! — неуверенно отозвался Машин. — Но моя цель проще: я хочу выпустить кровь из гадюки Драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами…

В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в конаке закончился, королевская чета перешла в спальню:

— Король читает королеве роман… вслух!

Разведка у Аписа была великолепная, и потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно:

— Роман Стендаля «О любви».

— Батальон вышел?

— Да. Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала.

— Хорошо быть сербом, — отвечал Апис, смеясь. — Остались не завербованы мною только два человека — король и королева!

Я насчитал 68 заговорщиков и невольно залюбовался ими.

Немногословные люди, вышедшие в офицеры от сохи, от тяжкого труда пахаря; коренастые и загорелые, они носили форму, очень схожую с русской, от них пахло дешевым овечьим сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров. Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов в поднебесье, была деловой и краткой… Апис посмотрел на часы:

— Господа, не пора ли? Помолимся…

Перед иконой святого Саввы офицеры распихивали по карманам пакеты динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конак был темен, окна

не светились, в саду ветер пошевеливал деревья.

— Роман «О любви» дочитан, — произнес Машин.

Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили.

— Не бейте своих! — прогорланил Живкович.

— Не время жалости — вперед! — призывал Апис…

Конак осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все (и я в том числе) усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения… Свет разом погас — мрак!

В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала:

— Где ключи от этих дверей? Давай ключи!

Это били придворного генерала Лазаря Петровича.

— Клянусь, — вопил он, — я еще вчера подал в отставку...

Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною рухнул Наумович, насмерть сраженный силою взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых.

— Вперед, сейчас не до жалости! — увлекал нас Апис.

Из потемок конака отбивались четники Драги и короля. Мы ломились дальше — через взрывы, срывавшие с петель громадные двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать.

Балдахин над постелью еще покачивался.

— Но их здесь нету, — отчаялся Костич.

Полковник Машин запустил руку под одеяло:

— Еще теплая. Гад с гадюкой только что грелись...

Зверское избиение генерала Петровича продолжалось:

— Где король? Где Драга? Куда они делись?

Мне под ноги попалась книга, я машинально поднял ее. Это был роман «О любви»! Апис тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича:

— Или ты скажешь, где потаенная дверь, или...

— Вот она! — показал генерал.

И его застрелили. Потаенная дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под нее засунули пачку динамита.

— Пригнись… поджигаю! — выкрикнул Машин.

Взрыв — и дверь снесло, как легкую печную заслонку.

Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, и подле них стоял манекен, весь в белом, как привидение. Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец.

Король, держа револьвер, даже не шелохнулся.

Полураздетая Драга пошла прямо на Аписа:

— Убей меня! Только не трогай несчастного…

В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала. И мужественно приняла смерть, своим же телом закрывая *последнего* из династии Обреновичей… Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный.

— Я хотел только любви, — вдруг сказал он.

— Бей! — раздался клич, и разом застучали револьверы!

— Сербия свободна! — возвестил Костич. — От-

крыть окно…

Офицеры выругались, но их брань, с поминанием сил вышних, звучала кощунственно.

— Помоги, друже, — обратились они ко мне.

Я взял короля за ноги, он полетел в окно. Развеваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и Драга.

— Мать их всех в поднебесную! — закричали сербы.

В углу гардеробной еще белел призрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед конаком начал играть: «Дрина, вода течет холодная…» Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью:

— Не повезло… три сразу. Три пули в меня!

Но с тремя пулями в громадном теле «бык» еще держался на ногах. С улицы громыхнули пушки, возвещая народу: ДИНАСТИЯ ОБРЕНОВИЧЕЙ ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ! Белград просыпался, встревоженный этой вестью, ликующие толпы сбегались к конаку:

— Хотим королем Петра, внука славного Кара-Георгия…

Я слышал, как Живкович спрашивал:

— Знать бы, что подумают теперь в Вене?

— Мнение Петербурга для нас важнее, — отвечал Апис…

Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцар Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улицы и расстреляны на порогах своих домов:

— Там их жены… плачут! Рвут на себе волосы…

— Так и надо, — ответил Апис. — Братьев Луневацев тащите в казарму Дунайской дивизии, всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями… Всех перебьем!

Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбоша.

— Уедненье или смрт! Живео Србия!

Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб:

*Дрина! Вода течет холодная,*

*Зато кровь у сербов горячая…*

*Дрина для сербов – как Волга для нас, русских.*

(Существенное примечание: советские историки долгие годы обходили стороной майские события в конаке Белграда, и лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить все то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России.)

### 7. Еще лучше быть русским

Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках, а истерика со мною случилась только однажды в жизни — именно в тени башни Нейбоша, когда мимо меня скорбною чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в конаке. Они проследовали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери… Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданьями, и, узнав во мне русского, протянул обожженные руки:

— Друже! Еще час назад меня пытали… на огне!

Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки ракии. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы.

— Пристрелите его, — сказал я, испытав жалость.

— Сам подохнет, — отвечали мне сербы…

Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое «высокое» положение в Петербурге; напредняки, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли ее на другой берег Дуная, и там, в австрийском Землине, опять затерялись ее следы…

Для меня это был удар — непоправимый! Все стало безразлично. Даже разговоры, которые я слышал в уличной кафане:

— Кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться…

В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград — все, кроме русского и венского. Австрийский посол Думба угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии «законный порядок», но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию Киевского и Одесского военных округов… Интервенция не состоялась!

Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-либо в Гатчине или в Павловске. Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами:

— Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло… Не успели выкинуть Драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобургского, сербы с болгарами объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками, вырвав их из-под власти Габсбургов.

— Разве это плохо? — спросил я.

— Это… опасно, — отвечал Чарыков, — ибо заговор способен выйти за границы Балкан, а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики…

(Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о событиях в конаке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе, интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы

примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики.)

Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства…

Советник русского посольства носил тройную фамилию — Муравьёв-Апостол-Коробьин, а разговаривал он со мной грубо:

— Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент… Это не вы ли?

— Простите, но я уже коллежский секретарь.

Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. Советник был крайне раздражен:

— Все несчастья происходят оттого, что русские разучились сидеть дома возле родимой печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане. — Муравьёя0в-Апостол-Коробьин как бы нехотя возвратил мне паспорт. — На всякий случай предупреждаю: за любое, пусть даже случайное, вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность.

— Я к ним непричастен, — был мой ответ.

Муравьёв-Апостол-Коробьин поверил моей невинности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик:

— Обреновичи были для Сербии — словно Борджиа для Италии, но Борджиа при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Обреновичи Сербию расчленяли… Петербургу есть над чем поломать голову!

Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Толпа возле конаки еще не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии — партию социалистов. Между ними прохаживался Петар Живкович, его спрашивали — почему Обреновичей решили заменить династией Карагеоргиевичей?

Живкович объяснял в таком духе:

— Если вам нужна демократия, так мне нужна великая Сербия! Если престол в конаке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа, со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки… О чем спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Петр Карагеоргиевич

выезжает в Белград…

Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которое как бы дополняет недостаток наших моральных сил.

Скоро все пережитое мною в Трансваале и Белграде покажется мне лишь веселой садовой прощадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьезное испытание…

* * *

За окном раскинулись мадьярские долины, паслись стада, в усладу баранов пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы — швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и Драги, о чем уже подробно писалось в газетах. Драга, смолоду ведя безнравственную жизнь, давно была неспособна к беременности, а лобовая кость Александра Обреновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокое тупоумие, вызванное постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры.

Швабы, прочтя об этом, стали ругаться:

— Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда

говорят в оправдание, что у нее была чесотка… На самом же деле Обреновичи — благороднейшие люди, а вся нация сербов — это сплошь убийцы, торгаши и пьяницы! Их надо раздавить…

Я пришел в себя лишь на венском «Остбанхоффе». Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная «Kqlnische Zeitung», имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: убийство в конаке сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием; уничтожение династии Обреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках (увы, не лайковых).

Наконец, я развернул русский «Правительственный Вестник», прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная Скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно! Этого и следовало ожидать. Николай II, принося ему свои поздравления, тут же призывал «подвергнуть строгим карам клятвопреступников, запятнавших себя вечным позором цареубийства». Это меня даже не удивило: монарх всегда вступается за монарха. Но удивило меня другое: все русские,

оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в отечество; замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом — *как убийцы* … Конечно, король Петр не позволит упасть даже волосу с голов офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол, но меня, русского, вернись я домой, могут привлечь к ответу.

«Надо как-то выкручиваться», — сказал я себе.

Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его… уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопоухих и шлепогубых. Но у этого оригинала уши были — как две калоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер «Правительственного Вестника», он спросил:

— Вы, очевидно, русский?

— Честь имею быть им…

Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвае поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое

решение, и это решение я окончательно принял: вернуться!

Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня.

— Так куда же вы теперь? — спросил он с ухмылкой.

— Билет первого класса до Санкт-Петербурга.

— Через Киев или через Варшаву?

— Чем скорее, тем лучше.

— Тогда извольте ехать через Варшаву…

В любом случае я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности. Варшавский поезд отходил поздно вечером, весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: «Хорошо быть русским, да нелегко…»

К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь, среди провожающих я снова заметил человека с ушами-калошами. Меня, не скрою, даже передернуло от брезгливого отвращения к его уродству.

— Вы, кажется, надзираете за мной? — спросил я.

— Не имею надобности, — ответил он. — Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через

Варшаву оказал мне крохотную услугу…

В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожая, 35, для пани Желтковской.

— Поезд стоит в Варшаве сорок минут, — сказал венец, — а улица Гожая неподалеку от вокзала. Не могли бы вы…

— А почему вы, сударь, не доверяете почте?

В глазах неопрятного старика мелькнули слезы:

— Вена очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку, и потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры…

В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами?

— Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю…

Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожую улицу и нашел дом 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески — колбасные лавки и фотоателье. Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин.

— Пардон, — сказал он, приподняв над головой котелок. — Вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?

— Да. И буду вам благодарен, если…

Я скрючился от боли: удар кулаком пришелся ниже пояса. Сзади шею обвила чья-то сильная рука, и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задернутыми шторами на окнах, — кони понеслись. Вежливый господин извлек из карманов моего пиджака два австрийских револьвера:

— Вот что у него… сволочь поганая!

Чувствительный к грубости, я наивно спросил:

— Куда я попал? Вы — полиция, жандармы или воры?

— Бери выше — мы из контрразведки…

А я и не знал, что такая в России существует.

**Постскриптум № 1**

До января 1903 года Россия не имела контрразведки, зато, помимо уголовного сыска, она обладала политической полицией (охранкой), созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало заслуг перед монархией, достаточно назвать Евно Азефа, внедренного в

партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП.

Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах Ната Пинкертона или Ника Картера, но, отложив книжку, он не догадывался, что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная и творившая свои черные дела как хотела — нагло и безбоязненно.

Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый «Разведывательный отдел Генерального штаба», от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказываться от услуг министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департа-

ментом полиции…

Разведка — в точном ее назначении — раньше велась военными атташе при столицах враждебных государств, и атташе работали на свой страх и риск, имея немало удач и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону.

Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным «бюро» руководил полковник Николаи Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам «Вилли», ни сам «Ники», ни их многочисленная свита даже не заметил этого…

Именно в штабе Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм, за деньги продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил «на корню» офицера-шпиона Б. Ройя, который и сделался главным осведомителем русского Генштаба о вооружении германской армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Рэдля, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые…

Но после переворота в конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот: следовало оберечь сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли «под ружьем» австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что в этих «мужиках», таскавших на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, затаились русские офицеры-разведчики…

Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон, были свои трагедии, были свои

мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь «двойниками» и даже «тройниками», зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки — офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к родине. На этом мы и закончим нашу Первую главу.

# Глава вторая
# Разбег над пропастью

*Пусть в его биографии, горькой и необычной, многое останется неизвестным, выдумывать я ничего не хочу и не буду…*

***Сергей Тхоржевский***

НАПИСАНО В 1936 ГОДУ:

…портрет К. Е. Ворошилова на сцене подсвечивался специальным прожектором, а в его речи можно было выделить слова:

— Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением самых страшных, невиданных доселе нигде и никогда в мире средств.

Мне сразу вспомнилось, что еще в 1871 году — сразу после Седана! — русский канцлер князь А. М. Горчаков публично заявил, что предел вооружения в войне французов с немцами был достигнут, а совершенствовать оружие далее — это преступление против человека. Наконец, на маневрах 1909 года, пресытившись зрелищем

мощных гаубиц и грохотом пулеметов, даже Альфред Шлифен оторопел, заявив кайзеру: «Все мыслимое и немыслимое нами уже изобретено, и развивать военную технику далее — это абсурд; всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий…» В самом деле, *где же конец?*

5 мая 1936 года моторизованные дивизии Муссолини вошли в Аддис-Абебу. Странную позицию заняли европейские державы; в газетах Англии и Франции пишут о «неполноценности» абиссинского государства, как бы заранее оправдывая правомочность Италии, более цивилизованной, убивать и грабить. Но судить о «неполноценности» могут только невежды в истории, из которой известно, что арапы-эфиопы — наследники древнейшей цивилизации мира… Я прослушал по радио речь абиссинского негуса Хайле Селассие, который на пресс-конференции в Лондоне рассказывал о том, как вполне цивилизованные чернорубашечники Муссолини душили его народ в облаках иприта:

— Мы бросали винтовки и закрывали глаза. Едва заметный дождик осыпал нашу армию. В сражении при Макале погибло столько людей, что у меня не хватает мужества назвать их число.

Мой народ умел голыми руками останавливать фашистские танки, но мы оказались бессильны в облаках отравляющего нас газа, который неслышным дождем опускался на наши тела, наши посевы, наш скот и наших детей… Нас буквально ослепили ипритом, на телах появились белые пятна, как от проказы, а через двадцать минут наступала смерть при явлениях тяжелого ожога. А ведь мы, — заключил негус, — все были босиком!

Мне все противнее вылавливать из эфира голоса радиодикторов Рима или Берлина, надоело присущее им бахвальство: нет уже просто решений дуче, а есть «исторические решения» Муссолини, уже не стало просто речей Гитлера, зато есть «речи фюрера, имеющие историческое значение», и, наконец, все, что ни делается, все обязано войти в «анналы истории». Когда потомки разгребут вилами эти анналы, сколько навоза они обнаружат на этих помойках истории.

Итальянский фашизм и германский национал-социализм, хотя и сомкнули свои ряды, но все-таки идут пока самостоятельно. Муссолини еще покрикивает в сторону Берлина, считая Гитлера лишь выскочкой, примазавшимся к его идеям. В своих лекциях я постоянно твержу об

агрессивности Германии, хотя мне и пытаются возражать: мол, немецкий пролетариат не станет воевать с государством победившего пролетариата, а мы будем бить врагов на его территории, побеждая его малою кровью. На это я отвечаю, что речи наших оптимистов-ораторов не всегда согласованы с мнением военных специалистов:

— А бескровных войн не бывает! Вас приучают в Академии только наступать, но плохо, что вы не знаете законов отступления. Между тем искусство войны оборонительной зачастую сложнее войны наступательной. В отходе Барклая-де-Толли и Голенищева-Кутузова был заложен более здравый смысл, нежели в безумном уповании Наполеона непременно побывать в Москве…

Гитлер еще скорбит о Версальском договоре, как об удавке, намотанной на шеи всех немцев. Что за чушь! Ведь если разобраться, то Версаль нисколько не ущемил Германию в ее естественных границах, немцы полностью сохранили свое национальное единство. Но почему они с 1919 года ревут, как стадо быков, приведенных на бойню? Мне кажется, в этом вопросе имперские понятия немцам стали дороже национальных, и вот именно этим широко пользуется Гитлер… Сейчас очень неспокойно в Испании, а Гитлер

уже проговорился, что для полноты счастья ему желательно видеть свастику в Вене и даже в Праге!

На очередной лекции слушатели спросили меня, как итальянская экономика справляется с расходами на военные нужды.

— Она и не справилась! — отвечал я. — Там проводится анекдотическая кампания по сдаче золотых обручальных колец, с холостяков дерут страшные налоги. Школьников гоняют по квартирам, чтобы они отвинчивали от дверей бронзовые и медные ручки. Вряд ли есть практический смысл в том, чтобы готовить искусственный каучук, если он в пять раз дороже привозного! Наконец, Муссолини, на мой взгляд, не обладает юмором. Иначе он не сдал бы на переплавку три тонны (!) своих бронзовых бюстов, повершив тем самым всех сборщиков утильсырья…

Сейчас по углам ходят тихие пересуды об отравлении Максима Горького врачами Левиным и Плетневым. Ежов, помощник Ягоды, доказывал, что «враги народа» пропитывали ядами обои в комнате «великого пролетарского писателя». Странно!.. Да простит мне бог, но «пролетарским» писателем я Горького никогда не считал, а его «Мать» — слабейшая из вещей, им написанных. А

как понимать убийство сына Максима Горького теми же «врагами народа», если все в Москве знают, что он попросту сгубил себя алкоголем. Сейчас в колхозах царит почти крепостное право, какого крестьяне не ведали при помещиках, а в стране два хозяина — сам Хозяин и его ОГПУ, а кто там важнее — сам черт не разберет. Интересно, решится ли наш Хозяин пустить в переплавку свои многочисленные бюсты и монументы?..

* * *

Летом 1936 года начался мятеж Франко в Испании. В эти тревожные дни меня попросили использовать в своих целях допрос немецкого шпиона. Это был русский. Отлично законспирированный, он служил в наших гарнизонах Белоруссии, и долгое время ни у кого даже не возникало мысли, что это отличный агент гитлеровского абвера. Прежде меня ознакомили с его делом:

— Заодно посмотрите — не ваш ли это приятель?

Я узнал его сразу: это был капитан Владимир Вербицкий, как и я, окончивший Академию русского Генштаба. На допросе я нарочно сидел за его спиной и по напряжению спины чувствовал,

как ему хочется обернуться, ибо всей шкурой Вербицкий ощутил опасность для себя не столько спереди, сколько сзади… Во время допроса он держался твердо, ловко выскальзывая из логических «ловушек», и следователям это надоело.

— Обернитесь, — разрешили Вербицкому.

Наши глаза встретились, и он понял, что проиграл. Но проиграл не сотню рублей в картишки, а продул всю свою жизнь. При этом ожесточился, осыпая меня грубыми оскорблениями.

— Где ж тебе еще быть? — кричал Вербицкий. — Предатель, гадина, мразь… Я ведь не забыл, что тебя выкинули из Генштаба в дальний гарнизон за то, что ты не вернул долгов, жил на деньги своих любовниц… Только таких мерзавцев и держат большевики! Жаль, что тебя не придушили еще раньше…

Я остался спокоен, а следователи сказали:

— Мы вас покинем. Вы тут сами разберитесь…

Со своего стула я перебрался за стол:

— Сначала о моей совести. Я не полез в партию большевиков и до сих пор навещаю церковь, о чем, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой: я остался честным офицером российского Генштаба, а ты служишь германскому, точнее — гитлеровскому

абверу… Разве не так?

— Не старайся поставить комару клизму, — в раздражении отвечал Вербицкий. — Все равно я ничего тебе не скажу.

— Не надо! Говорить стану я, а ты слушай. И пусть мои слова оживят твою память, а возможно, пробудят и твою угасшую совесть русского человека… Тебя вытащил из эмигрантского болота полковник Бискупский, когда-то бывший мужем очаровательной Насти Вяльцевой, а сам Бискупский давно замечен в окружении палача Гиммлера. Затем ты оказался в «Гроссмишеле», что в десяти верстах от Кенигсберга, где и повторил свою науку в школе шпионов «Абверштелле». После оказался на улице Магазинкату, дом восемь, в Хельсинки, откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчиненный Карлу Карлычу…

— Хватит! Я не знаю никаких Карлов Карлычей.

— Его все знают — это барон, Маннергейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езде. Вспомни, наконец, как мы вместе ломали кости на парфорсной охоте в «Поставах» под Вильной. Так вот, этот самый полковник Меландер через свое «окно» и пропихнул тебя

к нам…

— А хоть поджаривай — я ничего не знаю!

— Зато мы уже знаем. Ты провален. Но в случае провала тебе приготовлено обратно «окно», и ты не строй из себя дурака.

— Хорошо, — усмехнулся Вербицкий, — назови мне это «окно», и тогда я согласен остаться в дураках.

— Твое запасное «окно» в тундрах Мурманской области, в бывшей Лапландии, где лопари, к сожалению, еще плохо понимают значение границы, их оленьи стада гонимы из Финляндии к нам и обратно. С таким стадом ты должен пройти до Рованиеми, откуда точно по расписанию ходят на юг маршрутные автобусы…

— Ты много знаешь! — ответил Вербицкий, и я ощутил его растерянность. — Допустим, я сел в автобус. Что дальше?

— Далее ты из Хельсинки рейсовым пароходом доберешься до Кенигсберга… Может, назвать улицу и номер дома?

— Зачем?

— Мы оба проверим нашу стареющую память.

— Валяй, сволочь! Мне теперь все равно.

На клочке бумаги я написал: «Кенигсберг, улица Штейндамм, дом № 44, пансионат фрейлен

Данти Дана для холостых мужчин».

— Убедился? — спросил я Вербицкого, когда он прочел этот адрес. — Так вот, — продолжал я, подходя к главной цели этого допроса. — Когда ты прибудешь на место, не забудь сказать майору абвера Целлариусу, что я, старый агент российского Генштаба, а ныне ответственный работник Генштаба советского, согласен передавать абверу интересующие его сведения…

Вербицкий вдруг вскочил и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил от себя его руки, просил сесть обратно.

— Успокойся! — сказал я ему. — Ты же сам понимаешь, что ждет тебя в будущем… Может, сейчас тебе предоставляется последний шанс исправить трагическую ошибку, которую ты совершил. Бискупский утащил в эмиграцию бриллианты Вяльцевой, а что утащил ты, кроме штанов на себе? Конечно, кое-кто за кордоном и живет, приплясывая. А тебя завербовали в тот момент, когда в кармане не было даже пфеннига на кружку пива…

Вербицкий разрыдался. Это был кризис. Я не мешал ему. Еще продолжая рыдать, он просил меня:

— Ну, ладно. Я не скрою, что ты обставил меня

хорошо. Но я продолжаю не верить тебе… Так хотя бы ради нашего прошлого, ради России, ответь прямо — на чем я попался?

— Возможно, ты никогда бы не попался, ибо прошел две отличные школы — русскую и германскую. Но ты слишком стал выделяться в своем гарнизоне неестественным фанатизмом, слишком горячо распинался в любви к Сталину, уже больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях… Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту.

— Скажи! Только честно… когда меня шлепнут?

Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье. После чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на две недели в санаторий имени Дзержинского — на берегу реки Луги:

— Красивые места! Для нас памятные тем, что мы еще в пору академической младости проводили там триангуляцию на местности. Только чухонские комары донимали… Помнишь?

— Счастливые времена! — оживился Вербицкий, и лицо его даже порозовело. — В тамошних лесах тебе попалась странная колдовская усадьба, где ты танцевал с привидением.

— Да, это история странная… Думаю, после

отсидки в тюрьме и допросов тебе следует отдохнуть, — сказал я. — Через неделю я сам навещу тебя в санатории. Тогда и продолжим очень крупный разговор о моих заслугах абверу…

Потом следователи спрашивали меня — почему Вербицкий так пылко обвинял меня в пьянстве, распутстве и прочих грехах.

— Неужели все это можно приписать вам?

— Это правда, — не скрывал я. — Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз.

* * *

…новости из Германии. Четыре миллиона мальчиков будут носить ножи, а подростки из организации «гитлер-югенд» не расстаются с боевыми кинжалами. В классах немецких школ снимают распятья с приказом — повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять, но почему лопоухий Фриц или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера? Вот еще новость. Гитлер недавно перед дипломатами жаловался, что немцы задыхаются в тесноте:

— Скоро мы будем толпиться на территории Германии подобно пассажирам в переполненном

автобусе. Теперь на одну квадратную милю в рейхе приходится уже триста сорок жителей.

— Если это так ужасно, — отвечали ему, — то почему же вы поощряете часто беременеющих женщин? Почему платите роженицам за третьего ребенка и, наконец, не жалеете пособий за рождение четвертого ребенка в семье?

Гитлер не нашелся с ответом, но эту беседу с дипломатами запретили публиковать в немецких газетах.

Сейчас у меня все по-старому, ничего нового. Вербицкий через «окно» пропущен за рубеж и, как мне стало известно, уже был принят в Миккеле, на личной даче Маннергейма, затем появился в Кенигсберге… Наверняка он доложил Целлариусу о моем желании «сотрудничать» с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой о вооружении РККА до тех пор, пока абвер не облопался бы ею, как удав.

Но пока немцы в Москве не ищут контактов со мною. Вчера в театре я сидел невдалеке от ложи, которую занимали члены германского посольства. Я дважды перехватил внимательный взгляд военного атташе. В антракте он, кажется, даже порывался подойти ко мне, но почему-то не сделал этого…

Вывод один: следует ожидать возвращения Вербицкого!

## 1. Чужое письмо

Итак, я угодил в лапы русской контрразведки… В большом кабинете меня ожидал немолодой армейский полковник (уже с брюшком), и он глядел на меня с презрением — как барышня на сороконожку. Перед ним выложили два револьвера, изъятые из моих карманов при аресте на Гожей улице Варшавы. Встав напротив окна, он проглядел их стволы на свет:

— Да-с… где ты, гнида, успел их так закоптить?

Эта «гнида» возмутила меня:

— Прошу обращаться ко мне с уважением. Я не только столбовой дворянин, но имею чин десятого класса.

— Так и что? Молиться нам на тебя? Лучше скажи сразу, за сколько продался сам и продал матушку-Россию?

Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в конаке даже не заикался.

— Клянусь, я не знаю за собой никакой вины.

— Все так начинают свои молитвы… Но мы ущучили тебя еще на вокзале Вены, где ты два-

жды любезничал с этим вислоухим обормотом… Вынь письмо! Положи его на стол.

Я выложил письмо без марки и свой паспорт.

— Парижанин? — усмехнулся полковник, глянув в него.

Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь, переодетый в мундир штабс-ротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами. Не обращая на меня внимания, он по-домашнему присел на подоконник. В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце. Ротмистр просунул ее в угол конверта, намотал письмо на спицу, аккуратной трубочкой извлекая его наружу. Бегло просмотрев текст послания, он сказал полковнику:

— Ну, я пойду… подзаймусь химией.

— Что там? Щавель или пирамидон?

— Да нет. Скорее, опять мазня для сведения бородавок.

Он удалился, названивая шпорами. Полковник спросил:

— Когда тебя успели завербовать? (Я пожал плечами.) Ну, молчи. Надо же собраться с мыслями… А где ты так много палил из револьвера, кстати, австрийского производства?

Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься, а в «Кичево» был лакей, хороший парень, состоящий в «Боб-клубе», вот мы с ним и поехали к Шести Тополям на Саве, где спортивный тир, там и палили себе на здоровье.

Моя информация вызвала злорадный смех:

— Неужели мы поверим, что, приехав в Белград, ты с первым же лакеем кинулся со всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Наконец, чтобы развлечься, из Белграда ездят в Париж, а ты из Парижа поехал в Белград… Скажи проще: Париж — для отвода глаз, а на вокзале в Вене тебя ожидала встреча с майором Цобелем.

— Я не видел никакого майора!

— Зато тебя с ним видели… Ладно. Посиди.

Не хотелось верить, что вместе с чужим письмом я положил за пазуху ядовитую гадину, которая меня же столь сильно ужалит. Я был отведен в подвальную комнату без окон, поразившую меня отсутствием клопов, столь необходимых для тюремной обстановки. Через день меня снова отконвоировали по лестнице в кабинет, где — помимо полковника с ротмистром — присутствовал и неизвестный мне человек в штатском.

На этот раз полковник разговаривал вежливо:

— Мы допускаем, что нечаянно, но все же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами — майор Ганс Добель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле»… Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне?

— Нет.

— Так называется австрийская разведка. И не вы первый попались на эту удочку. К сожалению, наши головотяпы, бывающие в Вене, оказывают услуги Цобелю, с самым невинным видом переправляя письма для тайной агентуры, враждебной России. Надеюсь, вы не очень сердитесь за наше грубое обращение?

Господин в штатском представился:

— Подполковник Лепехин из Киевского управления… Именно ради вас я приехал сегодня утром в Варшаву, ибо ваше дело не так-то просто, как это кажется. — Он показал мне письмо, уже проявленное в лаборатории: между зеленоватых строчек самого невинного содержания о погоде в Вене и ценах на продукты явно проступали рыжие буквы тайного шифра. — Писано симпатическими чернилами марки «F», которые в аптеках выдаются за средство от выведения бородавок. Мы расшифровали, что в тексте изложен запрос о передислокации наших артиллерийских

парков из Гомеля в Полтаву… Теперь вы поняли, молодой человек, сколько хлопот вы доставили нам и себе этим письмом?

В кабинет принесли ужин с вином и свежей клубникой. Меня пригласили к столу. Лепехин сказал, что, пока я был под арестом, департамент полиции «просветил» меня со всех сторон:

— О вас еще со скамьи «Правоведения» сложилось мнение как о будущем светиле российского правосудия. Но у меня к вам вопрос — имя Фитци Крамер ничего не говорит вашему сердцу?

— Поверьте, впервые слышу.

Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографии на Гожей улице, служит лишь «почтовым ящиком». А письмо предназначено для госпожи Крамер, кафешантанной певички из Будапешта, которая часто ангажируется в Киеве на летние сезоны, но это письмо тоже не для нее: она передаст его венским шпионам, давно орудующим в Киевском военном округе. В этом случае я мог бы помочь контрразведке их выявить…

Склонность к приключениям, наверное, заложена в моем характере. «Хаупт-Кундшафт-Стелле» — и я! Кто кого?

— Но чем же, господа, я могу быть полезен?

— Вот об этом сейчас и подумаем, — начал Ле-

пехин. — Письму из Вены мы вернем прежний божеский вид, с ним поедете в Киев, где должны повидаться с певичкой. При свидании с Фитци назовитесь курьером от Цобеля. Эта курва, конечно, сделает большие глаза, ибо ждет письмо из «почтового ящика». Но вы скажите, что на Гожей заметили «хвост», а письмо следует передать срочно, этим и объясняется ваше появление в Киеве.

Нашу милую беседу прервал ротмистр:

— У венского курьера Фитци сразу запросит денег.

— В этом случае, — продолжил Лепехин, — вы предложите ей свидание где-либо в публичном месте, обещая вручить письмо и деньги. Наверняка ее где-то поблизости будут страховать венские агенты, а мы, в свою очередь, тоже не станем витать в облаках и окажемся возле вас…

Когда мы расходились от ужина, подполковник Лепехин проводил меня и наедине даже обнял — почти дружески:

— Об этом пока не знают даже в департаменте полиции, но контрразведке уже известно, что вы делали в Белграде…

Моя реакция выразилась в дурацком смехе.

* * *

Прибыв в Киев, я профланировал в сад-буфф, где увидел Фитци Крамер, которая, задирая перед публикой шлейф своего платья, обдала меня каскадом игривых намеков. Она пела:

*Кот пушистый, серебристый!*
*С красным бантом,*
*Ходит франтом.*
*На крышах он мяучит,*
*В подвалах кошек мучит…*

После концерта мы встретились за кулисами; вблизи Фитци показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию с Гожей улицей, где меня ожидала опасность, но Фитци, не испугавшись, просила вручить ей письмо.

— И… деньги! — вдруг потребовала она.

— В какой сумме гонорар вам обещан?

— Триста… нет, пожалуй, чуть больше.

Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе:

— Передам при встрече. Где и когда угодно?

— Я постоянно завтракаю в «Ротонде» на Би-

биковском бульваре. Напротив же «Ротонды» магазин меховых вещей Габриловича, через стекло витрины вы сразу увидите меня…

Об этом условии я спешно известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать шлюху с поличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки. С такими словами он вручил мне ассигнацию в 500 рублей:

— Скажите Фитци, что ей полагается лишь двести.

— Но кто же мне в кафе разменяет сразу полтысячи? Ведь на такие деньги можно дом построить.

— В том-то и дело, что разменять не смогут. Кельнер, наш агент, скажет: «Здесь вам не банк!» — и посоветует перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры в меховом магазине Габриловича. Вы так и сделаете, после чего считайте себя свободным. Остальное — наша профессия…

Утром следующего дня я встретился с Фитци в «Ротонде», где певичка завтракала топленым молоком с гренками. Посетителей было мало: в отдалении сидел грузный человек с тросточкой,

по виду скучающий маклер или игрок на бегах, у окна с видом безденежного франта просматривал газеты знакомый мне штабс-ротмистр. Я передал женщине письмо и сказал: — Могу вручить вам только двести рублей. Поманив лакея, я показал ему полутысячную купюру.

— Здесь вам не банк! — ответил он, как положено. Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибиковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габриловича. Но рука Фитци вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию:

— Знаю я эти фокусы! Я ведь тоже стою немалых денег…

И письмо от Цобеля и все мои деньги мигом исчезли в ее ридикюле. Я невольно глянул в сторону ротмистра, но он глазами показал мне свое полное недоумение. Лакей тоже понял, что наша пьеса играется с отсебятиной, и не нашел ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтрака:

— С вас тридцать восемь копеек. Можете не проверять…

Фитци уже направилась к выходу из «Ротонды». Ротмистр выжидал. А я как последний дурак сидел с раскрытым ртом. Но в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастно ковырявший

спичкой в зубах, встал и направился ко мне:

— Разрешите, я у вас прикурю. — И, прикуривая, он шепнул по-немецки: — В кафе переодетые «голубые». Разве не видите, что вашу даму уже взяли?

Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты. А этот тип со склеротичным лицом наверняка принял меня за своего коллегу из Вены.

Лакей еще постукивал карандашиком по столу:

— Я жду! С вас тридцать восемь копеек…

— Сейчас, — ответил я и схватил агента за глотку.

Но, увы, воротничок на шее венского шпиона, внешне выглядевший гуттаперчевым, оказался стальной пластинкой. Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по куполу храма — и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистр перестал изображать читателя газет: он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху, а я, лежа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! — пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистр уже брякнул наручниками:

— Берем и этого… в черную карету. Готов!

В управлении Лепехин встретил нас упреками:

— Дернул же черт ее выхватить деньги! Откуда знать, что она такая нахалка… Все получилось грязно, как в участке. Одно утешение — быстро. Британские джентльмены считают разведку делом спорта, а в спорте без синяков не бывает…

## 2. Без объявления войны

Сегодня я встретил на Мясницкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека: после всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер. Случайная встреча с ним на московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение и к моей судьбе…

* * *

В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария — полурусская, полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаре-

сте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней приставили пажа. Это и был В.; когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски:

— Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?

Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты, и В. тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в шесть глотков — на пари! — опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службою, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. Вскорости задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен «на покаяние».

— Согласитесь, — сказали ему, — вы уже некре-

дитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение.

— Что я должен делать? — приуныл В.

— Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать.

— Я начинаю кое-что понимать, — призадумался В.

— Нас не волнует, что вы понимаете и чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчная до удовольствий Вена оценила вас как щедрого повесу, который не знает, куда ему девать деньги.

— Задача увлекательная! — согласился В.

— Не отрицаем. Она тем более увлекательная, ибо в Вене можно узнать все, если действовать через женщин…

В. закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опере-

точных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Однажды, вернувшись под утро в отель, В. застал в своем номере человека, узнав в нем одного из тех, кто его завербовал.

— Среди ваших приятелей, — сказал тот, — недавно появился некий майор Альфред Рэдль… Что можете сообщить о нем?

Непутевый В. оказался достаточно наблюдателен.

— Рэдль, — доложил он, — явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не был богатым, завистлив к чужому благополучию. Подвержен содомскому пороку, который окупается дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг.

— Очень хорошо, — заметил приезжий. — Но это все качества отрицательные. А что положительного в этом майоре?

— Он… противен! Вот это самое положительное мое мнение. Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массою языков. Большой знаток истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Рэдль интересуется новинками техники… Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно

отвратителен!

— Он просил у вас денег?

— Даже чересчур навязчив в таких просьбах.

— Вернул ли взятое?

— Нет!

— Чудесно. Давайте ему сколько ни просит.

— Слушаюсь. А теперь я спрошу вас… Рэдль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать — кто он?

— Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе. Работает против нас — против России…

Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину — для продолжения службы.

— К сожалению, — отвечал Рэдль, — я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги. И мне искренне жаль, что я теряю такого щедрого и приятного друга.

— Не огорчайтесь! — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня…

На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него

исчерпывающую характеристику на Рэдля: «Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, замедленные. Глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник!»

Марченко сначала обворожил Рэдля комплиментами, затем по-деловому припер его к стенке. Рэдль понял, что деваться ему некуда: сейчас он во власти этого русского полковника.

— Ну что ж. Я согласен… помочь вам!

Рэдль продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение о всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом — через, майора Цобеля — тоже попал в сферу внимания Рэдля, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве…

* * *

После удара тростью по голове я три дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского — той самой отдельной палате, где много

позже скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Богрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении, близком к умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира.

С лирикой было покончено после визита Лепехина.

— А теперь, — сказал он, — поговорим серьезно… Те два револьвера, взятые у вас при аресте на Гожей, стреляли где угодно, только не в тире у Шести Тополей на берегу Савы.

— В чем вы меня подозреваете, господин полковник?

— В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта… Буду предельно откровенен! — предупредил он меня. — Русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды хотя бы для видимости законности должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию… Вот вас и накажут!

— Что же вы мне теперь предлагаете? — спро-

сил я.

— Если вы, образованный правовед, выпущены в свет с чином коллежского секретаря, то — по Табели о рангах — вам обеспечен чин поручика на военной службе.

— Господин Лепехин, к чему эти загадки?

— Никаких загадок! Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии, заборы на ней трещат: лезут через нее все кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов.

— Благодарю. Но я хотел бы подумать.

— Сколько времени требуется вам для размышления?

— Ответ я дам двадцать восьмого июня.

— Я не возражаю… Думайте…

О службе на границе я ничего не знал, и во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить отечеству. Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансваале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве — все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где

я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина, что потрясен этой сценой в «Ротонде»:

— Я никогда раньше не подозревал, что здесь, даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и без боязни.

— Да, — согласился Лепехин, — таких историй у нас немало. Уже давно длится потаенная война, о которой не станут трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведем войну, когда она еще не объявлена… Однако почему вы свое решение откладываете до двадцать восьмого июня?

— Моя мать всегда высоко почитала этот день, Видовдан, день решающей битвы на Косовом поле…

Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином поручика погранстражи. Человек иногда живет, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить?

### 3. Граница без замка

Теперь, когда граница СССР находится на постоянном и прочном замке, а сами пограничники

стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи — какова она была раньше и успешно ли работала?

Пусть читатель не удивляется: военное министерство не совало нос в наши дела, мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась министерству финансов и департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо: где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков, — мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу…

Граница всегда привлекательна для людей, которые, помимо целей наблюдения и шпионажа, бегут от суда и наказания за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей «по горячим следам» мы имели право

лишь на три версты от границы (после чего поиском занималась местная полиция). Но эти «горячие следы» иногда уводили нас и на территорию Германии, а немецкие пограничники — в азарте погони — иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что не считалось нарушением границы.

Много хлопот нам доставляли «факторы», занимавшиеся торговлей «живым товаром», — через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные Акульки и Матрешки не знали, к чему их готовят, нанимаемые «факторами» под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха.

Здесь скажу: в отличие от офицеров армии мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд погранстражи получал 60 процентов стоимости товаров. Представьте себе арест трех тюков: в одном парижская парфюмерия, во втором дамское белье из Голландии, в третьем бельгийские кружева… Какие там сорок рублей месячного жалованья? У нас даже рядовые объездчики, у себя в деревне щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались «катеринками», а господа офи-

церы могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения — «пенёнзами»!

Официально мы именовались так: «Отдельный корпус погранстражи». По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба «Потемкинских казарм», мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл «Марш Радецкого» — того самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами: «На Шипке все спокойно».

Зато на границе никогда не бывало спокойно!

* * *

Граево — захудалый городишко Ломжинской губернии[4], важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кенигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны.

От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилась разгневанная Бона Сфорца, угрюмый Стефан Баторий и прекрасная Барбара Радзивилл, в городе ничего не осталось (или я, может

---

**[4] notes: 4**

Ныне Граево входит в состав Белостокского воеводства Польской Народной Республики, неподалеку от южных границ нашей Калининградской области.

быть, не сумел заметить). Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур, а центром всеобщего зловония и грохота служили костоломня и костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылой лощины, не вызывала у меня желания называться граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рейнштоки (канавы), переполненные нечистотами, копеечный дух грязных лавчонок, где ту же граевскую тесьму продавали втридорога, выдавая ее за изделие Парижа, — все это, вместе взятое, отвращало от лицезрения даже прекрасных костелов и древних синагог, где затрушенные евреи еще восхваляли красавицу Эстерку, соблазнившую грозного короля Казимира Великого. В довершение всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга…

В штабе я сначала представился генералу бригады: такой-то, мол, и такой-то явился ради того-то… Но мой доклад не понравился генералу:

— Явились? Вы разве привидение в древнем замке, чтобы являться мне в полночь? Или вы чудотворная икона, которая вдруг явилась в

монастыре, озабоченном новыми доходами? Нет уж, милейший, вы не явились, а — прибыли-с!

Понятно, почему он так меня встретил. У нашего генерала уже сложилось определенное мнение о правоведах:

— Недавно одного такого законника взяли! Пришлось перерыть весь уголь в тендере паровоза, идущего в Пруссию, пока его не выкопали. Служил юрисконсультом в обществе «Юнона», из кассы которого похитил сразу сто тысяч. Так вот, он на допросе тоже хвастал, что законы знает. А при жене его была астраханская селедка. Я думаю — с чего бы это даме с нашей вонючей селедкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо (не даме, конечно, а селедке), так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом — так и посыпались, будто тараканы…

Начальник штаба бригады указал мне:

— Сначала побудете на границе. Пообвыкнетесь. А потом, я думаю, послужите на осмотре поездов и пассажиров…

Я получил назначение в деревню Богуше, в пяти верстах от Граево, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, высился обелиск, поставленный еще в 1545 году, и на меня вдруг пахнуло временами Сигизмунда I и Аль-

брехта, магистра ордена крестоносцев. Теперь этот памятник древних рубежей, отделявший страну поляков от будущих захватчиков, обратился в обычный пограничный столб № 17, а со стороны Германии его украшал № 91. Начальник заставы в Богуше капитан Никифоров сопроводил меня до границы, дал бинокль.

— Для начала можете полюбоваться на Германию… Живут же, паразиты, позавидовать можно! — сказал он мне.

За чертой границы виднелась деревня Prostken. Отличное шоссе, обстроенное каменными домами, деревня с лавками и магазинами, меня удивило наличие в деревне ресторана и пивных (bier-halle). По шоссе ездили на велосипедах гимназистки и солидные фрау, торговал газетный киоск.

— Хороша наша дярёвня, только славушка худа, — сказал Никифоров словами известной песни. — В прусской гмине начальником майор Лунц, и я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил Железный крест от кайзера. Наверняка в чем-то обдурил и меня, и нашу заставу…

К ночи линия границы высветилась жиденькой цепочкой электрических огней. От столба

№ 17 я впервые выступил в дозор. Никифоров дал мне в наставники фельдфебеля Маслова, знавшего границу, как извозчик знает улицы и закоулки своего города. Всю ночь шли лесом, пустошами, выгонами и околицами деревень, примерно каждые 400-500 метров Маслов обнаруживал «секрет», опрашивая незримых солдат — все ли спокойно? Я удивился, что «секреты» расположены на таком удалении. Маслов сказал:

— У немцев еще реже, да зато стреляют без предупреждения, а наши молчат. — Под утро, когда мы протопали верст пятнадцать кряду, фельдфебель меня пожалел: — Скушно вам будет тута, господин поручик. Однако, ежели повезет, года через три можете и в штабс-капитаны выйти.

— Так скоро? — удивился я.

— Можно и скорее. В энтих краях, ежели оглядеться построже, всегда повод для отличия сыщешь. Устрой облаву на любой хутор, непременно тайник с контрабандой сыщешь… Или убьют кого постарше вас, вот вам и повышение выпадет в чине!

Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать ее сложности. Хотя в «Правоведении» я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике

же многое оказалось иначе. Например, химические реторты и колбы, завозимые из Германии, облагались высокой пошлиной, но эти же сосуды, запечатанные сургучом с надписью «Воздух для опытов», не облагались налогом, ибо воздух никогда не считался товарной ценностью. Свою первую благодарность я получил за сообразительность. Недавно в Осовец прибыли пятьсот новобранцев, и на телеграфе я арестовал телеграмму, идущую в Кенигсберг с таким невинным содержанием: «Прибыло стадо в 500 голов, но скот тощий и для выделки колбасы еще непригоден…» — информация немецких агентов была точной!

Постоянных нарушителей границы, которые преступили закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники. Но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращен нам трезвым; при аресте контрабандиста или вора немцы почему-то считали необходимым напоить их до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом в России ссылали на 21-ю версту от рубежей; при второй поимке на 51-ю и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на 101-ю версту. Если жулик там не мог успокоиться, его брали за цугундер и сдавали в арестантские роты. Но

были и такие мастера незаконной наживы, разоблачить которых почти невозможно. Помню, я с трудом нашел предлог для ареста Рувима Петцеля, но в конце допроса он честно сознался, что с десяти рублей дохода имеет лишь один рубль. Это меня удивило:

— Так ради чего ты ревматизм по ночам наживаешь в болотах? Куда же деваются девять рублей из десяти?

Петцель и сам не знал. Но было ясно, что он лишь крохотная шестеренка в сложном механизме преступной наживы, дающей *кому-то* миллионные прибыли, и этот *некто,* опутавший всю границу круговой порукой, спокойно поплевывает на меня, поймавшего Петцеля, и на самого Петцеля, пойманного мною. Сломав в шестеренке один только зубчик, я не мог остановить сам механизм, и потому отпустил Петцеля домой, дав ему хорошего пинка на прощанье… Но бывали и такие случаи, когда мы, погранстражники, умышленно закрывали глаза на контрабанду.

Капитан Никифоров особо предостерег мое рвение:

— Анилиновые красители и германскую оптику фирмы Цейса пропускать беспрепятственно. Финансовая политика у нас такова, что, если

эти красители и призмы закупать в Германии официальным порядком, они обойдутся казне во много раз дороже, нежели путем незаконным… Учтите это, поручик! Дрова всегда колоть можно, но ломать их кулаком не советую…

Мог ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма «ИГ Фарбениндустри» выработает формулу отравляющих веществ, а немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов кайзеровской империи страшную лавину смертоносного иприта!

Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкою поездов, идущих через Граево на Кенигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с «пантофельной почтой». Чуть отвернешься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту кабалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть и так, что в «пантофелях» скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили

вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю ивановскую, стирали все надписи…

Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать «осечки». Недавно в наших краях разместилась воздухоплавательная рота, при ней базировался дирижабль «Беркут», закупленный у французов, а в глуши Мазурских лесов строилась первоклассная крепость Осовец, которая в случае войны с Германией надежно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озерах, но лично мне удалось поймать одного.

По фамилии — Берцио! Он имел при себе «легитимационный» билет на право посещения русской территории, а по документам выехал из прусского Кемпена. На мой вопрос о целях визита в Мазовию Берцио наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену. Берцио было лет за сорок. Я, составляя протокол, нарочно спросил:

— Значит, вы холостяк?

Он охотно подтвердил свою версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой:

— Это для чего? Разглядывать красоту мазовшанок на предельной дистанции? Извините, Берцио, вы арестованы…

Я уже обратил внимание, что при общей потрепанности костюма Берцио воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротничка раствором пирамидона были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осовец.

Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцио на том основании, что опасно заболела его… жена! Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцио, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты:

— Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем — на родине и за границей…

Очевидно, этот Берцио считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили:

— Благодарим, господин поручик: Берцио сознался, что работал на германский генштаб, и ныне осужден по 111-й статье… Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени.

— В каком же чине этот Берцио мне попался?

— Как выяснилось, он майор немецкой армии.

Будь проклят этот майор; Берцио, как и я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед…

Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотеку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах и что запрещает читать нам, русским, наша же, русская цензура. Случайно я приобрел книгу Тормана и Гётше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы: «Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они… будут народом господ; наряду с этим они дозволят, чтобы второстепенные (грязные) работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении», — то есть рабами! Так я невольно ознакомился с

программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера, но, судя по тексту, Гитлер тряс дерево, уже несущее ядовитые плоды…

* * *

Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией, близкое приятельство с граевским и мышинецким ксендзами, людьми умными и высокообразованными. Зимою меня навестил в Граево отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганной офицерской бекеше, перетянутой портупеей, предался отчаянию.

— Перед тобой открывалась такая широкая карьера! — горевал он. — Твои товарищи правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра, за одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары, многие сделали блестящие партии в браке, а ты… Что ты? Жалкий поручик в занюханном гарнизоне.

У меня не нашлось для отца слов утешения:

— Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться…

## 4. От Бильзе до Куприна

Все-таки я, наверное, очень сухой человек. Сам не знаю почему, но всегда оставался равнодушен к природе. Я способен оценить ландшафт в целом, как общую картину, но меня никогда не тянуло в лес собирать грибы, я считал идиотами людей, гробящих драгоценное время на сидение возле реки с удочкой. Для меня ничего не значит куст черемухи или сирени, я ни разу не вздохнул над прелестями восхода или заката — мне они не были безразличны лишь по той причине, что определяли время суток. Меня интересовали прежде всего люди с их идеями и выкрутасами психологии, а не то, как ветерок слабо колышет на дереве пожелтевший листочек или поет птичка. Когда мне в книгах встречаются подобные описания, я их сразу же пропускаю, даже не вчитываясь в эти авторские излияния.

Зато я хорошо отношусь к животным! Как раз в мое время какой-то ученый дурак-орнитолог ратовал за уничтожение аистов, считая их вредными птицами, и я был душевно рад, что ни у солдата на границе, ни у местного жителя не поднялась рука наводить ружье на красивых и домовитых птиц, доверчиво строящих свои гнез-

да подле жилья человека. На заставе в Богуше я стал хозяином молодой кобылы по кличке Рава, и вот прошло много-много лет, а я не забыл нашей любви, нашей подлинной дружбы. Я вообще верю в любовь между животным и человеком. На моих глазах люди, потерявшие свою лошадь или собаку, жестоко спивались, умирали в скоротечной чахотке. До сей поры берегу память о незабвенной Раве: ее давно нет на свете, но я все еще думаю: «Какой-то ее конец? Не обижали ли ее злые люди? Была ли она сыта и напоена? Тепло ли ей было в стойле?..»

Вернусь к делам службы, к ее впечатлениям! Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни. Кажется, роман лейтенанта Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» еще не появлялся в переводе на русский, когда в Граево мы уже читали его в немецком издании[5].

Был хороший зимний вечер, в нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры, в печах

---

**[5] notes: 5**

«Лейтенант Бильзе» — псевдоним немецкого писателя из офицеров Ф.-О. фон дер Кюрбурга (родился в 1878 году). Я не считаю удачным его роман «Из жизни маленького гарнизона», хотя в свое время он и стал сенсацией в антивоенной литературе, как и роман Берты Зутнер «Долой оружие!».

уютно потрескивали поленья… Мы читали вслух о тщетности офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о низменности духовных запросов в быту офицеров. Лейтенант Бильзе четко обрисовал подлинную жизнь 16-го Обозного гарнизона на границе в эльзасском Форбахе, и, хотя роман был написан об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, теневые стороны германской военщины были в чем-то схожи с недостатками нашей армии. Капитан Никифоров, послушав, сказал:

— Если такие книжки читать, так и служить не захочешь.

Штабс-капитан Потапов, мой приятель, даже смеялся:

— Верно — не захочется! И вот я думаю теперь: не за это ли и дал кайзер по шее этому лейтенанту Бильзе?

«Поединок» Куприна еще не был нам известен, а буря, которую он вызвал, нас еще не коснулась. Но мы уже знали, что «лейтенант Бильзе» — по велению Вильгельма II — за свой роман был предан военному суду. Автору в Германии инкриминировали злонамеренное отражение офицерской морали и дисциплины, оскорбление

офицеров, являющихся — по мысли того же кайзера — образцом немецкой нации. За это Бильзе и поплатился очень жестоко: лишенный чести офицера, он был посажен в тюрьму, а его роман «Из жизни маленького гарнизона» был предан публичному шельмованию и сожжению под улюлюканье публики.

Многих больше всего затронули именно последние страницы книги, где Бильзе сравнивал службу в пограничных войсках с тяжким наказанием, а жизнь в захолустном Форбахе добивала в людях любые добрые намерения. Все мы дружно согласились, что, наверное, эльзасский Форбах не лучше нашего Граево:

— Но… не бежать же нам! Да и куда вырвешься?

Начальник штаба погранбригады сказал:

— Тут надо подумать! Безопасность отечества не требует, чтобы мундир офицера был застегнут обязательно на все пуговицы. Но ширинка, пардон, у офицера все-таки не должна быть расстегнута. Германия не ощутит нашей боевой слабости, если кто-либо из вас заведет шашни с дамою. Но пусть об этом знают лишь два человека — сам офицер и его дама. Любая оплошность офицера кладет пятно на знамя нашей славной

бригады.

Штабс-капитан Потапов осмелился противоречить:

— Простите, но это всего лишь дисциплинарная нотация под видом критики книги. Но какие же выводы из самой книги?

— Да никаких! Пошел он к чертям собачьим… Сожгли его книжонку — и верно сделали: нельзя же так беспардонно выворачивать все кишки нашей офицерской касте. Да появись такой автор в России, ему бы руки оторвать надо! Вопросы кастовости ко многому обязывают — даже здесь, в захолустье в Граево…

Настала морозная ночь, а утром на санках привезли бедного Потапова: он был зверски убит в схватке с бандой контрабандистов на выезде из посада Мышинец. Его добивали прикладами по голове с такой силой, что костяшки пальцев, которыми он закрывал голову, оказались вколочены под череп и перемешаны с мозгами.

Никифоров сказал мне на кладбище Граево:

— Если уж наша служба вызывает у врагов такую лютую ненависть, значит, она необходима государству… Но службе не стоять на месте, а потому берите взвод бедняги Потапова.

* * *

Это был взвод стражников и объездчиков, опытных в лесу и дозорах, но совершенно беспомощных в грамоте.

Понимая честь офицера на свой лад, я купил грифельные доски, детские буквари, географические карты и карандашики с тетрадками. Обучение солдат далось нелегко. Ведь для неграмотных людей большое значение имеют городские вывески; если на улице он походя читает обиходные слова «Баня», «Стрижка-брижка», «Продажа дегтю и сахару» — ему радостно познавание азбуки. Но в Граево вывески были польские или немецкие. И все-таки я горжусь, что через полгода в моем взводе каждый умел читать и писать, каждый был твердо уверен в том, что Волга впадает не куда-нибудь, а непременно в Каспийское море.

Начало войны с Японией застало меня в пограничном посаде Мышинец, дороги по направлению к которому были сознательно испорчены ради стратегических(!) соображений: перерыты канавами, перегорожены цепями, засыпаны грудами булыжника.

Здесь, вдали от Граево, я со своим взводом оказался в невольной изоляции, вынужденный

принимать самостоятельные решения в пограничных спорах с немцами, а известие о войне с Японией мы в своей глухомани восприняли даже спокойно… Нет смысла описывать то, что пережили тогда все русские. Но даже сейчас, по прошествии долгого времени, немногие представляют едва ли не главную причину наших поражений. Имея фронт на полях Маньчжурии, Россия ожидала нападения на западе — со стороны Австро-Венгрии и Германии; одновременно мы усиливали армию на границах с Афганистаном, где можно было ожидать нападения англичан. Потому-то главные ударные силы России — заодно с гвардией — остались на западе, а с японцами сражались худшие войска, взятые из запаса. Но такого распределения сил требовало от нас франко-русское содружество.

Как результат поражения царизма (но только не армии России!) явилась и наша первая русская революция, отголоски которой доходили до гарнизонов в искаженном виде — а по газетам немного правды и узнаешь. Мы тогда больше следили за передислокацией германской кавалерии близ наших рубежей, нас тревожила усиленная работа германской агентуры…

В бригаде я держался независимо, не выносил

угодничества, но это было общее явление, и офицеров, подхалимствующих перед начальством, бойкотировали, называя их «мыловарами». По каким-то причинам, для меня неясным, мне вдруг была предложена адъютантская должность Граевского погранокруга. Я отказался.

— Почему отказываетесь? — спросили меня.

В самом деле — почему? Ведь быть адъютантом — первая ступень для быстрой карьеры, и не надо больше мерзнуть в лесах, гоняться за бандитами, удирающими с мешками на спине, можно, наконец, жить в приличных городских условиях.

— Мне сейчас важен ценз, — отвечал я. — Но адъютантом я в своем формуляре теряю ценз командной выслуги.

В штабе бригады догадывались о моих намерениях:

— Да, без наличия ценза в Академию Генштаба вас не примут. А вы, кажется, именно туда устремляетесь… не так ли?

У меня не было причин разубеждать в этом:

— Не примите мои слова за излишний пафос. Просто я слишком унижен результатами этой войны. Не хочется думать, что моя служба в русской армии останется лишь случайным эпизодом, как беременность у чересчур порядочной

барышни.

Начальник штаба попробовал меня отговаривать:

— Я лучше вас знаю, как невыносимо трудно офицеру из маленького гарнизона выбиться в элиту «корпуса генштабистов». Прежде экзаменов в Академии надо пройти образовательный конкурс в учебной комиссии Варшавского военного округа. Резать начинают уже здесь, и режут без жалости! В прошлом году под арку Главного штаба устремились сто двадцать офицеров, но Варшава оставила для академического конкурса лишь пятерых. А в Петербурге из пятерых выбрали одного… Воленс-ноленс, но два иностранных языка требуется знать превосходно.

Я сказал, что ручаюсь за знание четырех языков:

— Не тратя время на их изучение, могу целиком посвятить себя освоению других важных предметов… В частности, плохо еще знаю о расстановке и движении небесных светил!

Верхом на любимой Раве я вернулся на заставу, нагруженный учебниками и грудой уставов, которые требовалось вызубрить. Даже для экзамена в военном округе знать надо было немало — от алгебры до взятия барьеров на лошади. Всю до-

рогу до Мышинца я шпорил свою Раву, заставляя ее перепрыгивать через канавы. Вернулся на заставу к ночи, усталый, но счастливый…

Мышинец считался столицей курпов — мазурской ветви поляков (kurpie — по-русски «лапотники»). Я любил бывать в их уютных деревнях, где женщины красивы и добросердечны, а мужчины славились честностью, мужеством и физической ловкостью. Охотники и пчеловоды, рыбаки и дегтяри, курпы нравились мне неиспорченным радушием, их быстрая перемена настроений была почти актерской, а костюмы поражали театральной красочностью — с кораллами и лаптями, с перьями павлина на шляпах.

Когда я подал рапорт об отпуске для подготовки к окружным экзаменам, меня освободили от службы на два месяца, и все это время я провел в чистоплотной курпской деревне, носил белую рубаху с красными кистями, нарочно обулся в лапти. Я поселился в светелке избы, среди тарелок и цветов, развешанных по стенам; питался гречневыми блинами с медом, грибами и угрями из местных озер. Пьянства курпы не терпели, зато много курили, и, входя в какую-либо избу, я прежде всего разводил перед собой облака дыма, а потом уж говорил приветливо:

— Похвалони!

На что мне всегда отвечали:

— Похвалони на вики викув… амен!

Здесь я пережил серьезное увлечение курпянской крестьянкой — с волосами, как у русалки, с неправильными, но прекрасными чертами лица; она носила на груди ворох кораллов. Время и границы разлучили нас навсегда, но если она еще жива, если войны не разорили ее дом, дай бог этой женщине счастья — в детях ее, во внуках ее! Я поныне благодарен судьбе за то, что она была тогда рядом, едва коснувшись моих губ своими губами, и неслышно отошла от меня, навеки растворившись в лесах и болотах польской Мазовии, или точнее — Мазовше…

Когда я прочел купринскую повесть «Олеся», я вспомнил свою жизнь среди курпов и понял, что пережил нечто подобное.

* * *

Я вернулся в Граево, исполненный лучших надежд на будущее, а знаменитая арка Главного штаба в Петербурге теперь казалась мне аркою триумфальной. Может быть, сомнения никогда бы не коснулись меня, если бы Куприн не создал свой «Поединок», который многое перевернул

в моем, и не только в моем, сознании. Хотя мы, погранстражники, находились на особом положении, но мысли, высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера. «Поединок» никак не являлся русской репликой на роман «лейтенанта Бильзе»; он был страшнее, выпуклее, наконец, просто талантливее!

Казалось, самые нерушимые монументы офицерского долга свергнуты с пьедестала. Правда, среди нас, погранстражников, не нашлось солдафонов-бурбонов, никто не впадал в излишнюю амбицию, чтобы слать Куприну негодующие вызовы на дуэль, но многие призадумались. Задумался и я — не стала ли русская армия зеркалом того упадка, морального и политического, который разъедает нынешнюю Россию?

Я задавал самому себе конкретный и честный вопрос:

— Стоит ли продлевать скуку наших дальних гарнизонов, где офицеры сами не знают, ради чего учились, и пытаются учить других? С одной стороны, писатель преподнес нам «культ личности офицера», а с другой — показал психологическую дряблость офицерской натуры, разучившейся действовать и мыслить, показал офицера-мелюзгу, который держится за свои

48 рублей, считая себя центром всего людского миропонимания…

Много лет спустя, вспоминая 1906 год, я спросил Б. М. Ш[апошникова], тоже поступавшего в Академию Генштаба, каково было его личное отношение к купринскому «Поединку».

— К сожалению, — отвечал он мне, — типы офицеров дальнего гарнизона схвачены Куприным удивительно верно. Я сам испытал это на себе, сам наблюдал таких «поручиков Ромашовых».

Я сознался, что после прочтения «Поединка» хотел даже отказаться от экзаменов в Академию, спрашивая сам себя: не базарим ли свою жизнь напрасно в захарканных гарнизонах? Не лучше ли сразу порвать с позывами душевного честолюбия?

— Я тогда тоже прошел через Академию, — улыбнулся Б. М. — Однако подобных мыслей у меня никогда не возникало…

Слишком четко врезался в мою память последний вечер на вокзале в Граево, где готовился экспресс для пропуска его за черту границы. Машинист дал гудок к отправлению, мимо меня качнулись пассажирские пульманы и слиппинг-кары первого класса. Красивые, балованные женщины равнодушно смотрели из окон вагонов

на ничтожного поручика, который только что — вот мерзость! — ковырялся в их чемоданах, пересчитывал валюту в их кошельках. И вдруг я уловил что-то постыдно-общее между самим собою и купринским офицериком Ромашовым, который с такой же завистью провожал поезда, отлетающие в волшебный мир, далекий от его убогого гарнизона с выпивкой и картами.

«К черту! — сказал я себе, потуже натянув перчатку. — Пора выбираться отсюда, пока не уподобился героям Бильзе и Куприна. Коли уж не упал до сих пор, так будь любезен не стоять на месте, как дубина, а — двигайся...»

Не могу судить, в какой степени это решение зависело от литературы, а может, повинна и революция, уронившая в глазах русского общества авторитет офицера, но конкурс в Варшаве был в этом году невелик — лишь 13 человек со всего округа, и я взял все барьеры учености, а моя нежная, моя любимая Рава взяла барьеры манежные. Канцелярия Академии Генштаба, ознакомясь с моими баллами, вскоре прислала в Варшаву официальный вызов на мое имя — в Петербург!

Открывалась новая страница моей жизни. Последний раз я углубился в черной таинственный лес и увидел в нем жидкую цепочку огней — это

была граница, за которой россия кончалась.

Но именно здесь же Россия и начиналась…

### 5. Науки армию питают

После Портсмутского мира, заключившего нашу войну с японцами, в Европе наступило как бы выжидательное затишье, а политики даже утверждали, что война — пережиток проклятого варварства, и зачем, спрашивается, теперь воевать, если в современной войне обязаны страдать одинаково — и победитель, и побежденный. Кого они больше жалели, нас или японцев, это уж не столь важно.

Я приехал в Петербург, когда волнения после небывалого шторма революции медленно затухали, на обломках погибшего еще держались уцелевшие после страшных катастроф… Полиция отыскала на даче в Озерках казненного там Гапона; веревка, на которой он висел, еще не успела перегнить, но повешенный уже начал разлагаться. Впоследствии — уже в Берлине — в запрещенной у нас книге Д. Н. Обнинского «Последний самодержец» я видел редкую фотографию из архивов полиции: вскрытие брюшины Гапона, главного виновника «кровавого воскресенья»… В столичных газетах того времени стали

очень модными словечки, начинавшиеся со слога «кон»: контора, конгресс, конвульсии, конспиратор, консул, конспект, но русский читатель, со времен Салтыкова-Щедрина поднаторевший в познании эзоповского языка, понимал, что ему намекают на «конституцию».

Я был очень рад возвращению в город, который стал моими Пенатами, где прошла моя бестолковая юность, и вот теперь я вступал на широкие проспекты столицы офицером с несомненным будущим, но которое еще предстояло завоевать. Над Невою полно было чаек и веяли прохладные ветры (по выражению моего отца — «чухонские зефиры»). Конечно же, появясь в столице, я не преминул заглянуть в клуб «пашутистов» на Загородном проспекте, однако на этот раз любезный Пашу напрасно нацедил для меня в стаканчик крымского вина.

— Рад, что у вас не иссякают бочки с вином доброго урожая, но отныне я обязан хранить свою голову ясной и чистой…

Число «пашутистов» в подвале заметно поубавилось; я думал, они пополнили исторический некрополь столицы, но Пашу по секрету нашептал мне на ухо, что уже немало былых весельчаков и анекдотистов просто «изъяты из

обращения».

— Как? Люди ведь — не фальшивые червонцы!

Пашу растолковал, что так говорят об арестованных или сосланных. Издавна считалось, что в России угодить в тюрьму гораздо легче, нежели попасть на концерт Феди Шаляпина. Но теперь сесть в тюрьму оказалось даже затруднительно. Все тюрьмы столицы были заполнены до отказа, многие осужденные интеллигенты маялись в хвосте очереди, ожидая, когда освободится камера; некоторые чудаки даже искали протекции, дабы отбоярить свой срок поскорее, попадая при этом в тюрьму, как говорится, «по блату»... Пашу рассказывал, что из Мариинского театра со скандалом выгнали даже ведущую певицу Валентину Куза, которая однажды, проезжая в коляске мимо рядов Финляндской лейб-гвардии, крикнула офицерам:

— Поздравляю с великолепной победой над рабочими и студентами! Вы гордо несете на своих боевых штандартах дату — девятое января... Вот бы вам так же хорошо воевать с японцами!

Невольно загрустив, я спросил Пашу:

— А где Щеляков? Не изъяли его из обращения?

— Пройди в задние комнаты, он с утра выклян-

чил у меня журнал «Мир Божий», теперь читает и хохочет…

«Мир Божий», публиковавший Максима Горького, Тарле, Бунина, Джаншиева и Куприна, был весьма популярен среди радикальной интеллигенции. Щеляков, увидев меня, неохотно оторвался от чтения. Он оставался по-прежнему толст, но в необузданном раблезианстве его застольных речей появилась явная горечь. Он сказал, что скоро его засудят за покушение на убийство пристава столичной полиции.

— А вы разве способны на это? — удивился я.

— Конечно. Каждый террорист выбирает для себя любимое им оружие. Я выбрал смех! И так рассмешил пристава, что он не выдержал и лопнул от разрыва сердца. А теперь в юридической практике появится новый фактор кровавого злодейства: убийство казенного человека посредством вызова в нем хохота…

Узнав о моем решении делать военную карьеру, Михаил Валентинович не одобрил «академических» планов:

— Скучно быть офицером армии, проигравшей кампанию.

— Именно потому и хочу быть офицером армии, чтобы она следующую кампанию выиграла,

— отвечал я.

Щеляков процитировал мне стихи Соловьева:

*О Русь! Забудь былую славу,*
*Орел двуглавый осрамлен,*
*И желтым детям на забаву*
*Даны клочки твоих знамен.*

— Сейчас, — продолжал он, — многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешкам. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу им отрезало трамваем на углу Невского и Литейного, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют… Так стоит ли тебе вставать под знамена, поруганные врагом и обесчещенные в народе?

Я ответил, что мне обидно за армию, тем более что ее офицерский корпус давно стал наполовину демократическим:

— Кого ни колупнешь, всякий сыщет отца, служившего писарем, или деда, который еще корячился с сохой на своего барина.

— Твоя правда, дитя мое, — кивнул Щеляков,

— но ты не забывай, что идеология прежней кастовости никогда не сдается. Молодежь из кадетских корпусов, какова бы она ни была, сколько бы она ни начиталась Писарева или Белинского, но в полках легко осваивает традиции старого офицерства по самой примитивной формуле Салтыкова-Щедрина: «Ташши и не пушшай!»

Он развернул журнал, показал в нем статью Пильского, писавшего: «Сами офицеры большей частью нищи, незнатны, многие из крестьян и мещан. А между тем тихое и затаенное почтение к дворянству и особенно к титулам так велико, что даже женитьба на титулованной женщине кружит им головы, туманит воображение...» Щеляков усложнил вопрос своим замечанием:

— Не отсюда ли появляются в армии «мыловары», согласные стрелять даже в народ, лишь бы угодить начальству?

В чем-то, наверное, он был прав. Я стремился в Академию не в лучший период ее истории. Не только левая, но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на Генеральный штаб как средоточие военной доктрины; подверглась насмешкам и сама Академия Генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Критика

задела генерал-лейтенанта Н. П. Михневича[6], начальника Академии, и тогда профессор решил принять бой с открытым забралом.

Если мнение литератора Щелякова можно было счесть брюзжанием обывателя, то теперь — на призыв Михневича — откликнулись сами же офицеры, участники войны. Был проведен официальный опрос офицеров и генералов с военно-академическим образованием: в чем они видят причины неудач в войне с Японией? Генералы отмолчались. Зато офицеры в чинах до полковника завалили Академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражений был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него «непроницаемое кольцо интриг, наветов, происков, сплетен и пустого бахвальства... никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость». Канцелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль — не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радиосвязь и телефонная бездействовали, а генералы рассылали под огнем

---

**[6] notes: 6**

Н. П. Михневич (1847-1929) — историк войн и военный теоретик. С 1918 года служил в Красной Армии, преподавал в Артиллерийской академии РККА. Автор многих научных трудов в области боевой стратегии.

противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и покоренья Крыма. Офицеры не только не умели владеть боевым маневром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем единственным и правильным лозунгом в этой неразберихе был бы только один: «Вперед — избавим Порт-Артур от осады!». А перед войной из офицеров старательно делали пешку, грибоедовского Молчалина, который ограничивал свою инициативу словами — «так точно» или «никак нет»; офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу!

В письмах досталось и самой Академии, которая в своих лекциях пренебрегала новинками боевой техники, от появления моторов попросту отмахивалась, уповая на молодецкое «ура» и на то, что пуля дура, а штык молодец. Вывод из опроса был таков: если даже Крымская кампания с ее неудачами породила реформы в стране, то поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим и военным реформам.

...Царь и монархия — эти символы лишь для официального обихода, их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изымать оттуда ради парадных случаев, а для патриотов все наше

прошлое, все настоящее и все будущее воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове — Россия!

Вот ради нее и шли в Академию Генштаба офицеры…

* * *

Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира; опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата; все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не могли управиться с незнакомой заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получалось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость!» — в упоении восклицал перед солдатами:

— Ну, какая гадость! Боже, какая гадость…

Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал:

— Режут! Без ножа режут…

Конечно, купринский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в Академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче еще ничего, а вот когда в Академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: «Охота было вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести». А другого абитуриента он спросил, известна ли ему песня «Огород городить».

— Я знаю другую — о камаринском мужике.

— За находчивость хвалю, — отвечал Драгомиров, — и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу.

Позднее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская Академия Генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не были котами! Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что «она не так на меня посмотрела». Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного

семьей, живущего аж на все 80 рублей жалованья, и вам станет понятно, что для него поступление в Академию — это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он параллакс светила, не вспомни дату битвы при Маренго — и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: «На что ж мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?..» В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии. Но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменять салфеткой с куском туалетного мыла…

Постараюсь быть лаконичен. В мое время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте, близ музея Суворова (который она же и создавала!). Когда я приехал из Граево, полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундиров, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубину устья Одера, следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валленштейна (не по Шиллеру) и рассказать о Морице Саксонском (не по драме об Адриенне Лекуврер). Спокойными и даже уве-

ренными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии, семеновской и преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд: они и без того были сливками общества.

Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество… О, как униженно они «мыловарили», чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах! В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Не где-нибудь, а именно возле меня:

— Поручик, что у вас за странный мундир?

— Отдельного корпуса погранстражи, — отвечал я.

Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением:

— Странно! Впервые вижу в этих стенах офицера-пограничника, и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались… Вы там, на границах, и без того деньги гребете лопатой!

Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе, их ин-

тересовало — правда ли есть товары германского производства, которые нарочно пропускаются с контрабандой?

— Да, — рассказывал я, — раньше это касалось лекарств, оптики и красителей, а теперь появился новый товар, на нелегальную доставку которого следует закрывать глаза. Это особый лак, которым пропитываются оболочки аэростатов…

В непринужденном разговоре я скорее устанавливал контакт с экзаменаторами, и мне они даже простили, когда я не сразу вспомнил название реки в Камеруне — Рио-дель-Рей!

На экзаменах выяснилось, что профессура, составленная из светил военного и научного мира, чрезвычайно безжалостная к неграмотным, излишне придирчива и к образованным. Члены приемной комиссии выявляли не только знания, но ценили и сообразительность, умение фантазировать и привычку мыслить нетрафаретными образами. Система в Академии была 12-балльная, я умудрился набрать средний балл 10,87 — и таким образом оказался в числе счастливцев. Всех нас, принятых, собрали в конференц-зале и построили в порядке не чинов, а фамильного алфавита; я со своей фамилией оказался где-то в середине строя, между корнетом и подполков-

ником.

Нас напутствовали на учебу не очень-то сердечно:

— Господа, никаких историй — ни женских, ни картежных, ни ресторанных, ни денежных. Помните, кто вы…

Отвергнутые Академией возвращались по своим прежним казармам, конюшням и батареям; эти несчастные со временем становились самыми вредными ненавистниками не только академического образования — они мстили и лично нам, счастливцам.

— «Моменты»! — так называли генштабистов в армии с оттенком презрения. — Они там не служат, а лишь моменты ловят, оттого и карьера у них моментальная… не как у нас!

Это правда, что карьера генштабистов складывалась скорее и почетнее, нежели в армии. Недаром учебой в Академии не гнушались даже великие князья, отпрыски самых знатных фамилий. Не скрою, что я тоже мечтал сделать карьеру, и не вижу в этом ничего постыдного для себя. Если чиновник служит ради жалованья, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом…

В дальнейшем все мы были предоставлены сво-

им силам, никто нас не «тянул», каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления каралась изгнанием. Время не играло никакой роли: если оставалось, допустим, три дня до выпуска из Академии, но ты согрешил, в тебе уже не нуждались: проваливай! Думаю, что в этой железной строгости заключался немалый смысл. Офицер, делающий карьеру за счет обретения знаний, должен высоко нести эти знания. Если он заглянул в шпаргалку, значит, он бесчестен, а без чести нет офицера! И нужен очень крепкий лоб, чтобы пробить несокрушимую стенку наук, за которой твоему взору открывается великолепный стратегический простор для продвижения…

В моей жизни был один случай. Меня не пускали в дом, очень дорогой моему сердцу. В осатанении я треснул ногой в дверь, тогда из-за двери мне было спокойно заявлено:

— Ну, зачем же ногой? Попробуй лбом…

Именно лбом я и делал свою карьеру. Я буквально изнурял себя настойчивым поглощением самых различных знаний.

* * *

В мое время уже нельзя было сказать, что Ака-

демия Генштаба — монархическое или реакционное учреждение. На моих глазах завершилась закладка памятника погибшим в боях офицерам «корпуса генштабистов», сложившим головы в войнах за честь и достоинство российской армии, — и в скорбном списке имен немало выходцев из гущи народа. Не грех в этом случае напомнить, что именно из наших академических стен вышел благородный «Протест Ста Шести» — под таким именем сохранился в истории России призыв 106 офицеров Академии Генштаба и Царскосельской стрелковой школы, в котором передовые русские офицеры смело и резко протестовали против телесных наказаний…

Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне:

— Не понимаю тебя! Ты не пожелал носить значок Училища Правоведения, а теперь погнался за аксельбантами генштабиста. Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе? Какой толк от того, что ты затвердил все пристани по Волге от Казани до Астрахани — вниз по течению и вызубрил пристани на Миссисипи — вверх по течению? И уж совсем

непонятно, для чего знать, где самый лучший инжир и где больше всего в мире плотность женского населения по сравнению с мужчинами.

Я ответил отцу слишком подробно:

— Офицер Генштаба обязан знать все или почти все об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове; сидя здесь, в петербургской квартире, я могу представить, какое болото встретится за лесом, ограждающим прусский город Алленштейн, и каковы источники воды в этом городе для водопоя кавалерии.

— Зачем? — хмыкнул отец.

— Именно затем, что наши генералы ни бельмеса не соображают, и потому необходимы именно офицеры Генштаба, которые бы подсказывали: сюда не ходить, а надо идти вот сюда… Если тебя так мучает мое заброшенное правоведение, так у нас в Академии читает лекции по статистике полковник Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич[7], который ранее окончил Межевой институт и Московский университет и все-таки решил по-

**[7] notes: 7**

М. Д. Бонч-Бруевич (1870 — 1956) — видный военный деятель, работал в контрразведке; умер в звании генерал-лейтенанта Советской Армии; автор многих научных трудов по тактике и военной истории; родной брат В. Д. Бонч-Бруевича, известного ученого и соратника Ленина. Оставил мемуары.

святить себя служению родине в мундире! До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящиеся служить ей и народу именно в мундирах…

Отец на старости лет предался увлечению спиритизмом, столь модным тогда среди интеллигенции, упавшей духом после поражений в войне и угасания революции. Отец ходил «колдовать» в семью министра земледелия А. С. Ермолова, жившего на Мариинской площади, куда хозяин приглашал известного медиума Яна Гузика, который вызывал дух какого-то Шлиппенбаха… чуть ли не того шведского генерала, угодившего в плен под Полтавой. Духовным исканиям отца я никогда не мешал, лишь однажды предостерег его:

— Только не вызывай дух мамы… она жива!

Отец воспринял мои слова на свой мистический лад.

— Если это так, — сказал он, — то теперь понятно, почему ее дух не являлся ко мне, как я ни звал его…

Наверное, отец надеялся получить ответ из других миров, так и не получив ответа матери на этом свете. Вряд ли мама его любила, и мне отца было очень жаль. Мода на магнетизм, тео-

софию и оккультные науки проникла тогда и в Зимний дворец. В обществе Петербурга блуждали слухи об остром помешательстве императрицы Александры Федоровны, свихнувшейся после убийства португальского короля; теперь она якобы все время плачет, отказывается от еды, царице ставят питательные клизмы. При этом она кричит своим лейб-медикам:

— Кровь! Всюду кровь… уберите от меня кровь!

* * *

Что осталось в памяти об этом постылом времени?

Гаагская мирная конференция 1899 года, созванная по инициативе Петербурга, продолжила работу в 1907 году, и нам, будущим генштабистам, следовало знать, о чем рассуждают в «Рыцарском зале» гаагского замка Бинненгоф. Надо сказать, что Германия старалась не связывать себя международными правилами военной морали, нежно лелея главную формулу своей военной доктрины: «Война есть акт насилия, цель которого принудить противника исполнить нашу волю». Если в Гааге говорили о том, как «гуманизировать» войну, чтобы от нее никак не страдало мирное население, то немецкий генштаб доказывал

немцам обратное: «Цивилизованная война — это абсурдное противоречие… бойтесь добрых поступков — старайтесь быть жестоки, безжалостны, хищны и немилосердны! Гражданские лица не должны быть пощажены от ужасов и бедствия войны».

Человечество слишком уповало на мирное разрешение всех спорных вопросов, но кайзер Вильгельм II увидел в Гаагских конференциях лишь заговор врагов, желавших ослабить его железную империю. В мае 1908 года он произнес знаменитую речь перед офицерами своей гвардейской кавалерии:

— Похоже, нас хотят окружить. Ну что ж! Германец всегда сражался храбрее при нападении на него со всех сторон. Пусть они посмеют сунуться. Мы готовы! Уже давно пора, чтобы дерзкая банда врагов испытала на себе гнев нашего гренадера…

Никто не думал «окружать» кайзера, никто не собирался «сунуться» в Германию, но кровью все же запахло. Европа ощутила ее запах в «боснийском кризисе».

### 6. Свинская история

Придется немного порассуждать, а читатель

обязан прочесть невеселые страницы, дабы яснее стало последующее…

Если германцев можно обвинить в извечном «дранг нах остен», то габсбургская Вена повинна перед славянами в своем многовековом «дранг нах зюйд» на Балканах. Еще во времена Меттерниха из Вены было заявлено: «Сербия должна быть либо турецкой, либо австрийской, но только никак не сербской…» С тех пор Австрия сильно изменилась. Вена смирила гордыню перед железным диктатом Берлина, венский генштаб покорно выслушивал диатрибы Альфреда фон Шлифена, начальника германского генштаба. Названный человек был далеко не прост. Природа щедро наградила немецких генералов мясистыми затылками, а Шлифен выделялся среди них «осиной талией». Это был язвительный и остроумный человек, его военные размышления — как стихи в прозе, но пропитанные ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с «осиными талиями». В ответ на их нерешительность Шлифен спрашивал — собираются ли они быть полководцами:

— Если такого желания у вас не возникало, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или

свекольным мармеладом…

Он являлся автором «блицкрига» (молниеносной войны).

Знаменитый, но сугубо секретный «план Шлифена» был уже готов. Двумя ударами на западе и на востоке следовало разом покончить с Францией и Россией. В недрах германского генштаба родилась анонимная книга «Контуры мировой истории», в которой сказано: Германия должна быть центром «Соединенных Штатов Европы». Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты блицкрига словами: «Все будет утоплено в огне и крови, надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков, нельзя оставлять целым ни одного дома, ни одного дерева…»

Язвительно улыбаясь, Шлифен рассуждал:

— Войну вызывает не завоеватель, а его жертва! Агрессор и не хотел бы обнажать меч, но как быть, если жертва добровольно не отдает того, что хочется иметь завоевателю? Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и Герцеговину. Вот и пронаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать…

Шлифен удалился из генштаба еще в 1906 году, его место занял Хельмут фон Мольтке, родной

племянник Мольтке-старшего, прославленного под Седаном. Теперь Мольтке доказывал Францу Конраду-фон-Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского:

— Мое твердое убеждение, что рано или поздно разразится европейская война, и в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством…

После уничтожения династии Обреновичей сербам объявили таможенную войну — в наказание за убийство в конаке. Вена не принимала балканские продукты и свинину, отчего эта история и получила название «свинской войны». Габсбурги рассчитывали, что, отказав в закупке мяса, они вызовут массовый падеж скота, гонимого к австрийским границам, и полное разорение сербских крестьян. Габсбурги отказывались от покупки свиней, согласные брать разделанные туши. Но сербский премьер Никола Пашич быстро соорудил бойни для скота и консервные фабрики. Сербия стала торговать «тушенкой» с Францией, Египтом, Италией, снабжала английский гарнизон Мальты. В результате доход Сербии резко увеличился, зато в магазинах Вены резко подскочили цены на мясо.

Франц Иосиф понял, что измором сербов не

взять:

— Так откройте границы для сербских свиней!

— Увы, — отвечали императору, — ни одной свиньи не видно, а в газетах Белграда смеются над нашими ценами…

При свидании венского министра Эренталя с Николой Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, но просил допустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые еще при Милане Обреновиче значились главными венскими шпионами.

— Всех примем! — ответил Пашич. — Но если наших свиней берете лишь тушами, так и мы возьмем вас… тушами!

В Берлине заметно был огорчен Мольтке-младший:

— Жаль, что все закончилось возней со свининой, а убийство в конаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод начала европейской войны…

Столицей Боснии был город Сараево!

* * *

Желательно объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат

избавил братьев болгар от гнета Турции, все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая, издали следя за войной, никаких выгод от войны не получила. Венские аппетиты на Берлинском мирном конгрессе представлял граф Андраши, лощеный мадьяр с накрашенными, как у женщины, губами.

— Вена, — доказывал он, — столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как ее соседи-сербы тонут во мраке невежества и суеверий. Австрия, их добрый друг и учитель, хотела бы помочь обездоленным славянам обрести свет знаний и приобщить их ко всеобщей мировой цивилизации…

Берлинский конгресс вручил Австрии мандат на управление Боснией и Герцеговиной. Сильно урезанная Болгария осталась жить, но Сербию обкорнали с севера. Габсбурги поспешно превращали захваченные земли в свою провинцию, которая и ответила Вене кровавым восстанием.

Турки, владычествуя на Балканах, терзали славян жестоко. Но они никогда не вмешивались в дела церкви и образования. При турках в Боснии была своя семинария, учительский институт и реальное училище в Сараево, босняки

сами избирали для себя священников. Габсбурги закрывали славянские школы, под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни, нельзя было устраивать праздников с игрой на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов, и духовенство в Боснии потеряло давний авторитет: храмы стояли впусте, а священников освистывали на улицах… Если усиливались католики, Вена искусственно подогревала мусульманские настроения, но стоило мусульманам взять верх над католиками, как Вена натравливала на них православных, после чего власть оставалась в руках той же Вены.

Австрийцы оценивали урожай только весною, когда цены на хлеб были самые высокие, и осенью требовали с крестьян не зерно, а… деньги! Ни налет саранчи, ни град, ни проливные дожди или засуха не учитывались: кто не заплатил, того без лишних разговоров отводили в тюрьму — и сиди там, пока не расплатишься. Стоило босняку пожаловаться, как к нему являлась комиссия санитаров: найдут в доме клопа — и дом жалобщика разламывали как источник «заразы», а семья оставалась под открытым небом. Когда же в 1897-1899 годах начался массовый голод и люди, чтобы не умереть, кормились травой и

кореньями, Вена обложила голодающих налогом в три кроны — на траву и на подземные коренья, которыми раньше в Боснии питались свиньи. Гигантские леса трещали под топором оккупантов, объяснявших порубку деревьев борьбой с разбойниками. Теперь ясно, почему славяне Боснии и Герцеговины шли в шайки разбойников, убегали в Сербию и Черногорию или, продав свои дома и скотину, эмигрировали в далекую Канаду или Австралию.

— Мы здесь уже не хозяева! — говорили они. — На улицах Сараево у кого по-сербски ни спросишь, все морды отворачивают: там ответят тебе только по-немецки…

Цивилизация и прочие чудеса, обещанные графом Андраши на Берлинском конгрессе, сербам и во сне не снились. Они отсылали детей в Одессу, Киев, Москву и Петербург: там учили бесплатно, там славянским юношам давали повышенную стипендию, там образовывали будущих деятелей славянского Ренессанса.

Франц Конрад-фон-Гетцендорф доказывал Францу Иосифу:

— Не пора ли от методов управления Боснией и Герцеговиной перейти к методам энергичной аннексии? Генеральный штаб вашего импе-

раторского величества полагает, что можно захватывать даже всю Сербию, ибо Россия ныне ослаблена, а Германия преисполнена боевой бодрости...

* * *

«Свинская война» накалила обстановку до такой степени, что русская печать, всегда сочувственная бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Веною. В самый разгар этой войны на пост министра иностранных дел пришел Извольский — фатовый говорун, выдвинувший лозунг новой политики:

— Мы слишком долго возились с Дальним Востоком, не пора ли России подумать о своем возвращении в Европу?..

В начале 1908 года граф Алоиз Эренталь, венский министр иностранных дел, произнес речь перед своим парламентом. Он заявил, что Австрии надобно протягивать железную дорогу из Боснии через Македонию к лазурным берегам морей, омывающих Грецию. Эта речь вызвала немалый переполох в России.

— Если такая дорога появится, — рассуждали русские, — Вена заполучит весь Балканский полуостров, разрезав на куски земли славян, а рельсы

соединят Берлин и Вену с греческим Пиреем… Такое никак нельзя допустить!

В столице было срочно созвано Особое совещание, на котором премьер Столыпин четко пояснил для Извольского:

— Россия совсем не готова к войне, а потому во внешней политике сейчас не должно возникать никаких осложнений. На речь Эренталя мы способны ответить деловой и полезной для нас компенсацией: от берегов Адриатики проложим свою железную дорогу к портам Черного моря…

Но Извольский, опираясь на особое мнение царя, помышлял совсем о другой компенсации. После поражения при Цусиме на Балтике почти не осталось боевых кораблей, а корабли Черноморского флота не могли миновать турецкие Проливы, дабы усилить флот на Балтике. Извольский считал, что Эренталь поможет ему открыть Проливы для русских кораблей:

— Но он тянет время, желая узнать мнение Берлина…

Каждое лето дипломаты спешили в Биарриц или в венецианское Лидо, дабы бежать от скучных обязанностей, доверяя дела посольств секретарям и консулам. Так же поступали и министры иностранных дел, без дела околачиваясь

на курортах, где они, вчерашние недруги, за партией в бридж вполне миролюбиво посмеивались над своим «политическим» задором. На курорты южной Германии выехал и министр Извольский, вдогонку которому русские газеты посылали напутствия: объединить усилия России, Франции и Англии, дабы принудить Австрию вывести ее войска из Боснии и Герцеговины.

Эренталь пригласил Извольского отдохнуть в моравском замке Бухлау, где ему доставит удовольствие осмотр пинакотеки, после чего они в интимной обстановке взаимного доверия начнут переговоры. Извольский приглашение принял, и они — встретились. Но лучше бы никогда не встречались…

Напротив друг друга сидели два разных человека!

Алоиз фон Эренталь (1854-1912) — внук спекулянта зерном из Праги, который всю жизнь носил длинные пейсы. Сейчас за его спиной стояла древняя монархия Габсбургов, империя казарм и монастырей, заводов Шкоды и Бати, империя наживы, в которой утонченная аристократка Полина Меттерних уже не гнушалась сойтись с Ротшильдом, а дипломаты Австрии роднились с заокеанскими Вандербильдтами. Эренталя

окружал непробиваемый панцирь, ловко сочлененный из финансов, внешних связей с идеями пангерманизма и потаенных каналов быстро растущего сионизма.

Александр Петрович Извольский (1856-1919) — внук придворного, лицеист по образованию, пижон по привычкам, с неизменным моноклем в широко распяленном глазу. За Извольским вырастала империя Рябушинских, Носовых, Морозовых, Коноваловых и Терещенок, империя, пронизанная золотыми жилами иностранного капитала. Если за Эренталем пряталось подполье финансового космополитизма, то за Извольским стояли подпольные связи с международным масонством. О нем писали: «Ходивший всю жизнь в долгах, как в шелках, Извольский бывал порою в большой зависимости от *неизвестных* международных сил...»

В замке Бухлау они беседовали как бы на равных правах!

Все дело в одном — кто из них и кого перехитрит?

Эренталь, ранее посол в Петербурге, хорошо изучил русских, а потому стойко молчал, давая выговориться Извольскому. Русский министр поговорить любил, а граф Эренталь (человек со

скучной внешностью стареющего парикмахера) слушал, лишь иногда одобрительно кивая. Сначала они условились о секретности переговоров, а коммюнике будет построено таким образом, чтобы извратить подлинный смысл их беседы. Извольский и Эренталь строили свои планы на предстоящем развале Турецкой империи, который неизбежен. (Между тем Турция, как известно, совсем не собиралась разваливаться…)

Беседа в замке Бухлау длилась весь день, а закончилась тем, что Эренталь поставил Извольского перед фактом — аннексия Боснии и Герцеговины дело уже решенное, которое и закрепит «мандат», выданный на Берлинском конгрессе. В ответ на это Извольский развесил над лысиной Эренталя пышные декорации славянофильских мечтаний; перед взором Эренталя возникли трепетные миражи Босфора и Дарданелл с воскрешением Византийского царства… Эренталь кивал, кивал, кивал.

— Я вас понимаю, коллега, — поддакивал он. — Россия без Проливов много веков живет со сдавленным горлом… Прошу рассчитывать на мое самое горячее участие в этом вопросе!

Извольский покинул Бухлау и, посверкивая моноклем, продолжал турне по Европе, дабы

заручиться согласием великих держав на выход кораблей Черноморского флота через эти проклятущие Проливы. Берлин ему не возражал:

— Однако мы вынуждены требовать компенсации…

Италия тоже не спорила, но предупредила:

— В обмен на изменения режима Проливов мы, наследники гордого Рима, вынуждены аннексировать Триполи в Африке…

Подъезжая к Парижу, Извольский из случайной газеты узнал, что в замке Бухлау он дал себя высечь перед всем миром. Эренталь уже оповестил Европу об австрийской аннексии Боснии и Герцеговины. В оправдание же агрессии им было сказано:

— Присоединение славянских земель есть результат добровольного согласия с нами русского кабинета, что и было заверено министром Извольским при свидании со мною в замке Бухлау.

Извольский поспешил в Лондон, но там ему ответили, что к изменению статуса Проливов общественное мнение Англии… не подготовлено! Напрасно русский дипломат истратил весь запас своего красноречия — ничего ему не помогло.

— Возможен единственный компромисс, — отвечали милорды. — В случае выхода ваших

кораблей из Черного моря Турция пропустит в Черное море корабли всех стран — без исключения.

Возвращаясь домой, Извольский сравнил Англию с псом:

— Видели ли вы пса, лежащего возле старой, высохшей кости? Он давно обсосал ее с таким небывалым усердием, что в ней не осталось даже запаха мяса. Пес вполглаза глядит на кость, которая давно ему не нужна. Но попробуйте выразить хоть слабое желание тронуть эту поганую кость, и пса не узнать: он издает такое ворчание, что приходится бежать…

* * *

Австрия целиком поглотила Боснию и Герцеговину не потому, что так сильно нуждалась в них, а скорее для того, чтобы они не сомкнулись с Сербией, увеличения которой Вена опасалась. Это был такой же удар по Сербии, как если бы Франция лишилась Прованса или же Италию оставить без Тироля. Извольский, конечно, мог мечтать о Проливах, но русские думали о том, как бы помочь сербам, если разгорится война; только в Москве набралось десять тысяч добровольцев, желавших выехать в Белград, чтобы сражаться…

Весь мир славянства был возмущен, а доверие Белграда к русской политике пошатнулось. Сербия вооружалась, готовая отбить нападение. Но германский посол Пурталес вручил Извольскому ультиматум, чтобы Россия не смела вступаться за сербов, и будет лучше, если она промолчит…

Точнее всех в эти дни выразился Столыпин:

— Россия пережила ВТОРУЮ ЦУСИМУ, но уже в дипломатии! Мы никак не можем влезть в войну — ни в большую, ни в малую.

Помощник военного министра Поливанов[8] докладывал царю: «Военное обучение пошло у нас не вперед, а назад… Недостает неприкосновенных запасов… не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды… Мы не готовы!»

## 7. Но мы готовимся

В годы моей юности существовало мнение, будто в разжигании войн больше всех виноваты инженеры-металлурги: это они варят сталь, из которой делаются пушки и снаряды, — вот им, подлецам, и выгодна любая война! Говорить о

---

**[8] notes: 8**

А. А. Поливанов (1855-1920) — генерал от инфантерии из офицеров Генштаба, закончил карьеру военным министром (1915-1916); перешел на сторону Советской власти, был членом Особого совещания при Главкоме Красной Армии, умер в Риге во время мирных переговоров с белополяками. Оставил мемуары.

«гуманности» войны — это, конечно, абсурд, но если можно так выразиться, то «гуманизм» войны исходил из моего отечества. Петербургская декларация 1868 года в своей преамбуле гласила, что единственная законная цель войны — это даже не уничтожение, а лишь ослабление боевых сил противника. Россия позже других стран ввела в армии пулеметы, и это понятно: русские долгое время считали, что пулеметы следует запретить как бесчеловечное оружие массового истребления людей… Боснийский кризис застал меня уже на втором курсе Академии, когда вся моя страна ожидала большой войны. Плохо образованный политически, я все же понимал: если отдаленная война с Японией вызвала в России революцию, то, случись большая и близкая к нам война с Германией, произойдет полное крушение монархии.

Именно в 1908-1909 годах мы были очень близки к подобной войне, а мои сокурсники не раз меня спрашивали:

— Отчего вы так обостренно переживаете все, что творится сейчас на Балканах? Вы похожи на человека, в квартиру которого уже забрались воры.

— В моем волнении повинна та часть сербской

крови, что досталась мне от матери-сербки, а другая половина русской крови невольно бунтует…

Но среди товарищей по учебе бытовало и крайнее мнение; мой приятель Володя Вербицкий считал, что войны не избежать:

— А если мы откажемся от ведения большой войны, Россия потеряет все плоды многовековых усилий народа, из великих держав мира она переберется в число второстепенных государств, с которыми никто уже не считается…

В наших разговорах встречались казенные выражения: «германский милитаризм», «немецкий империализм» — не удивляйтесь этому, ибо в ту пору истории такие слова несли большую смысловую нагрузку, а иначе о военщине кайзера и не скажешь… Иначе можно только ругаться!

* * *

Занятия шли своим чередом. Учили нас крепко. В любое время дня и ночи, даже не сверяясь со справочниками, русский генштабист мог дать точную справку: какова пропускная способность дорог Швейцарии, каковы баллистические данные французской или немецкой пули, сколько потребно лошадей, чтобы перетащить артиллерию через горные перевалы Испании… Мы умели

делать доклады на любую тему и на любом из трех языков, умели стрелять, как буры, гробились до потери сознания в манеже, мы корпели ночами над подлинными документами по статистике и экономике иностранных государств. Времени конечно же не хватало, и только тут многие осознали, что всегда можно занять денег, но никто не даст в долг самого ценного для человека — времени! Мы были приучены регламентировать себя даже в минутах при сдаче экзаменов, как отсчитывали их шахматисты между перестановкой фигур. От нас, будущих офицеров Генштаба, требовали краткости выражений, профессор Колюбакин приводил классический пример из духовносемиранского быта. Ученый теософ, увидев на улице бегущего семинариста, окликнул его с небывалой лапидарностью?

— Кто? Куда? Зачем?

— Философ. В кабак. За водкой, — был получен ответ…

Длинные, расплывчатые и неуверенные ответы строго преследовались, снижая нам баллы успеваемости. Обращалось внимание на культуру речи, офицера резко обрывали, если он делал неверное ударение в произнесенном слове. Когда в Петербург приезжал на гастроли Московский

Художественный театр во главе со Станиславским, нам говорили:

— Сегодня всем быть в театре! Считайте это своей лекцией. При таком режиссере, каков Станиславский, актеры почти скрупулезно берегут чистоту русского языка, и вам не мешает поучиться у них, как правильно говорить по-русски…

Знакомство с военной статистикой Германии настолько увлекло меня, что сухие цифры вдруг ожили, как оживают листья из маленьких почек. В этом мне помогла общая начитанность и знание иностранных языков. Порядки в Академии были суровы: если надобной книги не было в переводе на русский язык, офицер все равно обязан ее знать, ибо в библиотеке Академии имелись все военные труды на иностранных языках, и потому никакие отговорки в оправдание не принимались.

Половник Баскаков, богатый сахарозаводчик, считался знатоком наполеоновских войн; на экзаменах он спросил меня:

— Что заимствовал Наполеон из тактики Валленштейна?

— Существование армии за счет местных ресурсов тех стран и народов, которые он грабил поборами, как это делал и Валленштейн в эпоху

Тридцатилетней войны. Грабежами и объясняется быстрая маневренность армии Наполеона, которой уже незачем было таскать у себя на хвосте длинные обозы.

Баскаков, поклонник Наполеона, даже поморщился:

— Ну зачем же, мой милый, так дурно относиться к гению? Наполеон не грабил, он просто реквизировал.

— А какая разница? — отвечал я наперекор профессору.

Кажется, Баскаков хотел занизить мой балл по истории войн, но тут меня выручил Мышлаевский, автор множества научных трудов по тактике и стратегии:

— Что реквизиция, что грабеж — одинаково! Но коли вы коснулись личности Валленштейна, так скажите, в чем заключалась основа боеспособности его разбойничьей армии?

— Нажива! — отвечал я. — Со всех концов Европы в лагерь Валленштейна стекались бродяги, преступники и аферисты, готовые убивать и грабить, если Валленштейн им платит. Но стоило Валленштейну задержать выплату, и его лагерь сразу пустел…

На мое счастье, я посидел над книгой Альфреда

Мишьельса, и потому легко доказал свое знание политической обстановки в империи Габсбургов, которая ради своих черных целей породила такое чудовище, каким был загадочный рыцарь Валленштейн.

— Мне кажется, — закончил я, стоя навытяжку, — что звериные инстинкты Валленштейна передались генеалогическим путем его внучке, ставшей женой австрийского канцлера Кауница, а затем по наследству перешли и к реакционеру Меттерниху, который первым браком был женат на внучке этого Кауница.

— А вы… женаты? — вдруг спросил Баскаков.

— Не собираюсь. Сначала желаю окончить Академию.

— Верно, поручик, — одобрил меня Мышлаевский…

Мало нам, русским, политических кризисов, так вдруг возник еще кризис и космический. В 1910 году весь мир в страхе ожидал 29-е появление знаменитой кометы Галлея, которая имела очень дурную славу: ее появление издавна связывали с катаклизмами природы, войнами, засухами и эпидемиями. Русские обыватели ожидали светопреставления, ибо ходил слух, будто комета своим хвостом заденет нашу планету.

Всем памятно, что столичные семинаристы отметили появление кометы испытанным способом — выпивкой:

— Петруха, дуй за водкой — конец света приходит!

— Братцы, — слышалось в эти дни, — пришел наш остатний денечек! Попадись мне этот Галлей, я б его, гада, в облака зашвырнул, и пущай там болтается, покуда не подохнет…

Тогда не только семинаристы прощались с жизнью, из окон трактиров слышались плачущие мотивы:

*Быстры, как волны, дни нашей жизни,*
*Что час, то короче наш жизненный путь…*

Грешен, я тоже поддался всеобщим настроениям. Но визит кометы из космоса я невольно совмещал с аннексией Боснии и Герцеговины, которая в любой момент способна вызвать войну. Мои подозрения, кажется, начинали оправдываться, когда во главе Боснии был поставлен австрийский генерал Верешанин, проводивший в землях славян политику, угодную венским заправилам. В мае наша Земля удачно задела лишь «хвост» кометы, а 15 июля 1910 года серб-

ский студент Богда Жераич открыл огонь по Верешанину, промахнулся и тут же покончил с собой. Австрийцы нашли в его квартире книги Бакунина и князя Кропоткина, после чего Вена объявила, что Жераич был анархистом…

Но одинокий выстрел патриота стал репетицией для Гаврилы Принципа в том же Сараево… Помню, отец мне сказал:

— Хорошо, что все хоть так кончилось.

— Ты говоришь о выстреле в Сараево?

— Нет, сынок. Я имею в виду только комету…

Среди моих товарищей по Академии Генерального штаба был и черногорец Данила Црноевич, учеба которому давалась с трудом; я помогал ему как мог, с Данилой мы очень откровенно беседовали о делах на Балканах. В летние каникулы Црноевич, уже в чине штабс-капитана русской армии, выезжал в Цетине навестить родственников, а в Белграде имел немало знакомств среди сербских офицеров. Однажды, вернувшись из отпуска, он передал мне в подарок коробочку, красиво перевязанную бантиком. В ней был аккуратно разложен балканский мармелад из ароматных фруктов.

— Спасибо, — сказал я, — мармелад я всегда любил.

— Ты его полюбишь еще больше, если доешь его до конца и прочтешь, что написано на дне коробки.

Там стояло только одно зловещее слово: Апис.

Это меня потрясло, а Данила Црноевич сказал:

— Не думай, что в Сербии тебя забыли, и та ночь в конаке, когда свергали Обреновичей, еще будет воспета в песнях…

Тут я не выдержал и прослезился. Вы меня поймете.

* * *

Верховую езду нам преподавали два опытных кавалериста: Людвиг Корибут-Дашкевич, изгнанный из гвардии за женитьбу на певице Евгении Мравиной[9], и барон Карл Маннергейм, в ту пору долговязый ухарь гвардии, балагур и бабник… Вот уж не думал я тогда, что этого человека прямо из седла судьба пересадит на высокое место правителя Финляндии, где он сделается врагом нашей страны! А в манеже — своя, особая жизнь, свои манеры и свой жаргон. Здесь еще со времен Дениса Давыдова бытовала жестокая гусарская

---

**[9] notes: 9**

Настоящее ее имя — Е. К. Мравинская (1864-1914), ее сводной сестрой была известный советский дипломат А. М. Коллонтай (1872-1952), племянником — наш известный дирижер Е. А. Мравинский (1903-1988).

истина: «Бойся женщину спереди, а кобылу сзади!» Полезное предупреждение, ибо мы, академисты, не раз справляли похороны и поминки по тем офицерам, что были убиты наповал ударом задних копыт… В чистых стойлах, помахивая хвостами, стояли манежные кони — Изабелла, Вельможная, Мисс, Раскидай, Лилиан, Янтарь и Авиатор. Хвосты у всех аккуратно подрезаны, на лбах лошадей красовались грациозные челки. Разговоры тут слышались гусарские:

— Ну и суставы! Как шарниры в паровой машине.

— Сколько платил за Глота?

— Всего две «катьки». Экспресс, а не конь!

— А моя вчера вынесла, но закинулась на барьер.

— Где же красавица Астория?

— Сломала бабку. Пристрелили, чтоб не мучилась…

Помню, что в жестоком «посыле» лошади, принуждая ее брать высоту, я тоже вылетел из седла, разбив о барьер голову, и потерял сознание, лежа на желтеньком песочке, какой привозили в манеж с арены цирка Чинизелли. Очнулся и, открыв глаза, первое, что увидел, были длинные кавалерийские сапоги и длинный хлыст в руке

барона Маннергейма.

— Барьер — это ерунда, — сказал он мне. — Будет хуже, когда начнутся парфорсные охоты за лисицами, если вы пожелаете после второго курса Академии учиться и на третьем.

— Очевидно, пожелаю, — отвечал я, поднимаясь...

Я всегда много читал, но в Академии превратился в сущего пожирателя книжной мудрости по военным вопросам. Из казенной библиотеки я набирал домой такие тяжкие груды книг, что приходилось нанимать для перевозки извозчика. Русские издательства в эти годы завалили книжный рынок литературой о минувшей войне с Японией, почти каждую неделю появлялись в продаже новые труды о войне, переведенные с немецкого, английского и прочих языков, — все это надо было изучать. Многие не выдерживали подобных перегрузок. Один мой товарищ, вполне здравый, вдруг публично объявил, что не Лев Толстой, а именно он является автором «Крейцеровой сонаты». Его отвели к начальнику Академии, где он беседовал очень разумно. Но в конце беседы, когда его уже хотели отпустить восвояси, несчастный очень настойчиво хотел погасить папиросу о лоб начальника Академии

Генштаба… До сих пор слышу его истошный крик:

— Куда вы меня увозите? Я не хочу… я ведь еще не получил гонорар за написание гениальной «Крейцеровой сонаты»!

Деньги, выслуженные в Граево, быстро разошлись, просить помощи у отца я стыдился, потому и не стал отказываться от академического пособия в 140 рублей, на которые закупил карт, чертежных инструментов и хорошую готовальню. Завтракать я старался в дешевой столовой при Академии, а обедать ходил на баржу-столовую, пришвартованную к набережной напротив здания Академии художеств — специально для малоимущих студентов. Кормили на барже просто, но сытно, а наличие мундира меня ничуть не смущало, ибо среди будущих живописцев, обедавших на пятачок, встречалось немало офицеров…

Порядки в нашей Академии были очень строгие, ежедневно приходилось вставать чуть свет, чтобы не опоздать на лекции. В восемь часов утра каждый обязан расписаться в особом журнале о своем прибытии. Очень хотелось спать. Лишь в четыре часа дня мы освобождались, но, вернувшись домой, я снова садился за книги, которые, словно пики Альп, грудами возвышались передо

мною.

— Ты начинаешь мне нравиться, — говорил отец.

— Чем же, папа?

— Тем, что взял себя в шоры и, подобно беговой лошади, видишь только то, что впереди. Если не удалось с «Правоведением», так, может, после Академии пробьешься в гвардию. А это — почетно, это лестно, это всеобщее поклонение и успех в обществе. Надеюсь, еще изберешь себе достойную невесту.

На это я отвечал отцу словами известной пословицы:

— Не до жиру — быть бы живу…

Я прочитывал не сотни, а тысячи и десятки тысяч страниц, запоминая имена, даты, цифры и цифры. Стакан с крепчайшим чаем, дымящаяся на краю пепельницы папироса, початый флакон со спермином доктора Пелля и неистовое желание выдержать это адское напряжение… Только бы не «свалиться» на майских экзаменах, зато летом настанут геодезические работы с Шарнгорстом в полевых условиях, и там — на приволье свободного житья — позволительно чуточку расслабиться.

Почти каждый месяц — в самое неожиданное

время — с лестницы раздавался звонок, меня навещал полковник Дагаев, инспектор Академии Генштаба, прозванный «классною дамой». Он беззастенчиво проверял наши черновики, следил за тем, чтобы топографические карты были исполнены лично нами — без помощи профессиональных чертежников, заодно ковырялся в наших книгах, и суровая кара грозила тому из нас, кого вечерами инспектор не заставал дома полусогнутым над столом.

На следующий день грешника вызывали к начальству:

— Где вы вчера вечером изволили прохлаждаться?

— Извините, гулял со знакомой.

— Гуляли? А умнее вы ничего не могли придумать?

— Простите, но я…

— Никаких «я». Если вы желаете со мной разговаривать, вы обязаны молчать и слушать, что вам говорят старшие…

В конце второго курса программы лекций сильно «военизировались»: помимо истории недавних войн, мы постигали приемы новейшей тактики и стратегии. Спасибо нашим профессорам: ничтоже сумняшеся они шпарили нам

лекции по немецким источникам, сами того не подозревая, что германская доктрина ведения массовой войны не ошеломила нас, молодых, как она ошеломила в 1914 году старых генералов, гордившихся геройским «сидением» на Шипке… Сидя на войне, войны не выиграешь!

Тут и побегать придется, да еще как.

## 8. «Черная рука»

Мне была дана жизнь, но у каждой жизни своя судьба. Один человек лишь проводит жизнь, как лесной ежик или улитка, покорный судьбе, а другой человек сам созидает судьбу, для чего порою ему приходится всю жизнь выворачиваться наизнанку. Я не был доволен жизнью, зато приветствовал свою судьбу. Но для полного осознания счастья не хватало женской любви. Только одного взгляда… Мне тогда большего было и не надо!

Но для нежных чувств, увы, не хватало времени.

Летние занятия по геодезии и топографии обычно проводились в Лужском уезде, близ унылого Череменецкого озера, где мы вели съемку для составления собственных карт. При этом будущие генштабисты селились в деревнях, спали на

полатях, как мужики, умывались возле колодцев, сливая друг другу на руки из ковшика, крестьянки охотно продавали нам яйца, творог, топленое молоко и комки желтого деревенского масла, завернутые в чистую тряпицу. Иногда сельская молодуха глянет из-под платка — так всю душу перевернет. И еще вспоминалось некрасовское, памятное со времен детства:

*На тебя, подбоченясь красиво,*
*Загляделся проезжий корнет…*

Здесь я чувствую надобность рассказать историю, настолько загадочную для меня, далекого от мистического восприятия жизни, что до сих пор не могу объяснить достоверность давнего случая. Если это был только сон, то, признаюсь честно, этот сон был загадочно-странным и почти достоверным.

Я делал триангуляционную съемку со своим напарником Володей Вербицким и однажды, оставив его в деревне Перловой, пешком ходил в Лугу на станцию, чтобы отправить письма. Рано стемнело, в лесу становилось жутковато. Дождя еще не было, но часто сверкали молнии. Я возвращался, не узнавая местности, надеясь по наитию выйти к какой-либо деревеньке, чтобы

переждать грозу под крышей. Тропа подо мною исчезла, я понял, что заблудился. Вдруг — при очередной вспышке молнии — я заметил впереди себя тень большой собаки и подумал, что если это не волк, а собака, то она-то уж наверняка выведет меня к людям. Гроза усиливалась.

Но вот собака исчезла. Лес раздвинулся, и, пройдя немного вперед, я увидел темную аллею, в глубине которой едва-едва светились окна. Смутно белела старинная усадьба без флигелей, но с колоннами. На крыльце меня встретил лакей или мажордом, как будто меня здесь давно ждали. Я вошел внутрь, услышав игру на клавесине, словно попал в дебри XVIII века, и мне сразу вспомнились композиции Сомова и Борисова-Мусатова. В гостиной висели старомодные портреты вельмож — в париках и панцирях, неизвестные мне полководцы опирались руками в перчатках на подзорные трубы или эфесы боевых мечей. По углам комнаты, тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых жирандолях. Я заметил, что лакей куда-то удалился.

— Эй, — позвал я, — здесь кто-нибудь есть?

Игра на клавесине умолкла, но за спиной был ощутим едва слышный шорох одежд. Я обернулся. В боковых дверях, открытых неслышно, стояла

женщина лет сорока в старинных фижмах. На мой поклон она ответила жеманным реверансом и, сложив веер, расписанный в духе игривых картин Ватто, протянула мне ледяную, почти прозрачную руку. Снова заиграл клавесин, и тут… Клянусь, я не преувеличиваю, но я послушно начал танцевать старинный менуэт, после чего, как версальский маркиз, раскланялся перед дамой. Появился лакей в коротких белых штанах и, ударив в пол жезлом, объявил, что ужин подан.

— Прошу, — сказала мне дама, указывая путь в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Посуда за столом была тяжелая, словно гири. Женщина что-то велела своему лакею, но я ничего не понял в ее речи, и тогда она сама пояснила по-русски: — Я беседовала по-шведски… Вы попали во владения древней Ингерманландии, которую русские называли Ижорской землей, а ваш временщик Меншиков стал первым герцогом этих земель. Тут со времен короля Густава Адольфа, растоптанного копытами лошадей в битве с Валленштейном, жили шведы, и они не покинули Ингерманландии даже тогда, когда она была завоевана вашим императором Петром Великим…

Среди множества портретов я заметил парсуну, живопись которой уже потрескалась в древних

кракелюрах, как трескаются стекла окон при сильных пожарах. Изображенная на портрете молодая дама держала на плече какого-то пушистого зверька.

— Что это за мех? — спросил я.

— Хорек.

— А кто же эта красивая молодая дама с хорьком?

— Не влюбитесь в нее, — получил я странный ответ…

Лакей потом указал мне тропинку, по которой я вышел к реке, и скоро отыскал Перловую, где меня ожидал Вербицкий.

— Что с тобою? — первым делом спросил он.

— Я в эту ночь, пока ты дрых на полатях, танцевал с каким-то привидением. Ей-богу, Володя, бывают же чудеса…

Повторяю, я никак не могу объяснить этой загадочной истории. Но картина старинной усадьбы и тень женщины в старомодном костюме еще плывут передо мною, и при этом мне вспоминаются картины наших «мирискусников» с их заброшенными судьбами, с их женскими бестелесными фигурами, словно привидениями канувшей в Лету эпохи. Через день-два я пытался вновь найти эту затерянную в лесах усадьбу,

но обнаружил только руины, заросшие диким шиповником. В ближней деревне расспрашивал крестьян, нет ли тут поблизости такой усадьбы, где живет одинокая женщина лет сорока. Ответа не получил. Только один дряхлый старик сказал, что в этих лесах с незапамятных времен — место нечистое, проклятое:

— Мы туда и не ходим. Однась батюшка мой забрел в пущу, корову искамши, так вернулся, будто порченый. Уж на что кабысдохи наши отчаянны, да и те стороною лес обходят. А ежели какой охотник заблудится, так собаки сами от него убегают…

Эта загадочная история осталась для меня тайной. Но, очевидно, в нашем прошлом еще таится какой-то особый, зловещий яд! Историк П. И. Бартенев, ученый-архивист, без тени сомнения рассказывал, как его навещала императрица Екатерина II и даже треснула его веером по носу.

— Сукин сын! — сказала она. — Уж как я старалась укрыть многое от потомков, а ты все-таки узнал обо мне все…

Ясно, накануне Бартенев испытал страшную перенагрузку исторической информацией. Наверное, и со мною случилось нечто подобное: просто я переутомил свой мозг. Но самое стран-

ное в другом: вскоре я встретил женщину, лицо которой было словно списано с портрета той дамы, что держала хорька на плече. Мало того, эта женщина и стала моей мнимой женой…

* * *

Данила Црноевич, мой черногорский приятель, сказал, что более не в силах учиться в нашей Академии Генштаба:

— Хотя профессора и делают мне скидку, но все-таки даже в Римской военной академии не столь требовательны, как у вас. Я решил перевестись в военную академию Белграда, где теорию военного искусства читает наш общий хороший друг…

Он с улыбкой протянул сербскую газету «Пьемонт», и я увидел в ней фотографию человека мне знакомого.

— Апис! — не удержал я возгласа.

— Да, а Сербия станет славянским Пьемонтом, почему такое и название у газеты… Ты никому не говори, — намекнул мне Данила, — но Апис замышлял убить даже не Верешанина, а самого императора Франца Иосифа, который как раз собирался навестить Сербию в те дни, когда появилась комета Галлея… Думаю, до этого рамолика мы еще доберемся!

Сопротивление славянских народов режиму венских Габсбургов постоянно усиливалось, и мой дорогой Данила прав: Апис из убийства монархов делал себе вторую профессию, хотя он никогда не страдал идеями погромного анархизма. Сознание того, что этот человек-бык помнит меня, а сейчас при короле Петре Карагеоргиевиче занимает высокий пост в Белграде, — такое сознание, не скрою, даже тешило мое самолюбие.

К тому времени, о котором я пишу, в конаке Белграда произошли перемены. Королевич Георгий, ранее учившийся в нашем Пажеском корпусе, считался наследником престола. Но однажды в запальчивости он ударил своего камердинера настольным пресс-папье. Падая, камердинер повредил грыжу, которой давно страдал, отчего и умер. Сербия возмутилась:

— Не хотим, чтобы наследником был убийца!

Отец не оправдывал сына и наследником престола объявил королевича Александра (моего приятеля, который позже и пал на улицах Марселя от руки хорватских убийц). Получивший образование юриста в Петербурге, Александр уже был вовлечен Аписом в тайную общину офицеров-заговорщиков «Объединение или смерть», которая в глубоком подполье называлась еще

проще — «Черная рука»!

Волнения охватили и Словению, близкую к итальянскому Пьемонту, здесь возникло подполье «Народна Одбрана», которое подчинялось руководству сербского генерального штаба, а точнее сказать — тому же Апису! От внимания австрийской разведки укрылось многое: все славянские организации юношей и девушек бойскаутов, гимнастические общества «соколов», даже антиалкогольные братства трезвенников — все эти невинные и легальные союзы на самом деле были хорошо замаскированными ответвлениями «Черной руки», раскинувшей свои невидимые сети на Словению, Македонию, Боснию и Герцеговину…

В эти дни отец заметил во мне небывалое оживление, и я не стал скрывать от него своих мыслей.

— Знаешь, папа, — сказал я, — если мама жива, я верю, что она, пылкая патриотка славянского возрождения, не осталась в стороне, и сейчас ее водит по миру «Черная рука»!

— Можно иметь черные перчатки, — ответил отец, — но нельзя же иметь черные руки… Впрочем, ты уже достаточно взрослый, а я не хочу вникать в твои бредовые фантазии о матери.

* * *

Наш разговор продолжился, когда я окончил младший и старший курсы Академии Генштаба, получив нагрудный знак из чистого серебра: на нем двуглавый орел распростер крылья в обрамлении лаврового венка. Мы распили с папой бутылку шампанского, я сказал, что отныне начинается самое интересное:

— Назрел момент боя, который нельзя проиграть. Конечно, даже с таким вот значком на мундире будущее лежит в кармане. Я могу вернуться на охрану границ, получу штабс-капитана, затем выберусь в подполковники, оставаясь на штабной работе. От таких, как я, окончивших два курса, требуется лишь выслуга двухгодичного ценза… Это, папа, не так трудно!

Отец не совсем-то понял меня и мои устремления:

— Опять ехать в это постылое Граево и рыться, как крыса, в чемоданах туристов, пересчитывая в их кошельках валюту?

— Погоди. Существует и третий курс Академии, выводящий офицеров в элиту нашей армии. Именно этого я и хочу.

— Чтобы сделать военную карьеру?

— Дипломатическую.

— Каким образом?

— Представь! Начав помощником военного атташе где-нибудь в Бразилии или Сиднее, я годам к сорока сам могу заиметь помощников, сделавшись атташе в одной из столиц Европы.

Отец перекрестился на материнскую икону.

— Благослови тебя бог, — сказал он, заплакав…

— Не плачь. Все это еще вилами по воде писано, и попасть на третий «полный» курс Академии не так-то легко. Число желающих ограничено вакансиями Генштаба, а отбирают людей титулованных самые жирные сливки аристократии.

— Вот что! — решил отец. — Возьми с полки «Бархатную книгу», открой второй том на странице двести восемьдесят первой, и пусть убедятся, что твой предок не под печкой родился. Ты имеешь право больше других претендовать на аристократизм. Сама династия царей Романовых перед нами — это выскочки!

— Но я, папа, этого делать не стану.

— Почему? — удивился отец, даже оторопев.

— Лучше быть, чем казаться…

Мне повезло: я был принят на дополнительный курс Академии, куда принимали лишь избранных, и с этого момента понял, что выбор мой

окончателен. Отныне вся моя жизнь целиком, до последней капли крови, до последнего вздоха, будет принадлежать русской армии, только ей одной — единственной и неповторимой силе русского народа, которую я увидел еще младенцем с балкона нашего дома, качаясь на руках матери.

К тому времени достаточно определился мой внешний облик. Профиль лица, уже не юношеского, заметно обострился, образовались ранние залысины, которые я старался прикрывать маленькой челкой, и друзья говорили мне, что в медальном повороте я стал напоминать молодого Бонапарта.

Меня это сравнение всегда забавляло:

— Так стоит ли вам мучиться, запоминая мое имя и отчество? Зовите меня как можно проще… Наполеон!

Если на третий курс попали лишь избранные, которым помогали связи родни при дворе императора, то я попал в число счастливцев благодаря таинственному «коэффициенту», секрет которого был известен лишь комитету нашей профессуры. Мне предстояло в течение восьми месяцев сдать в Академию три научные разработки военных вопросов. А темы для них выпадали всем нам по жребию, чтобы ни у кого не возникло обид…

Офицерская форма усложнилась, и за наше бутафорское оперение нас иногда называли в обществе «фазанами».

— Ну что ж, — отвечал я, — если в «Правоведении» бывал я «чижиком», так теперь стал «фазаном»… Все-таки как-никак в стае пернатых это заметное повышение!

Слишком честолюбивый, я всегда был очень далек от мелочного тщеславия, но в тот период жизни приятно тешился сознанием своего превосходства. Во-первых, меня ожидало особое положение в Генштабе, и, наконец, меня не зыбыли в Сербии…

* * *

Теперь — уже на исходе жизни — грустно перечислять события офицерской младости, и почему-то меня стали преследовать полузабытые стихи поэта, имени которого я не знаю:

*Петербург, я еще не хочу умирать –*
*У меня телефонов твоих номера.*
*Петербург, у меня еще есть адреса,*
*По которым найду мертвецов голоса…*

Номера телефонов давно переменились, не

стало и Петербурга, адреса же мертвецов хорошо известны — на кладбище!

Сегодня в передачах варшавского радио я уловил новенькое для себя слово — «гитлеровцы» (у нас так еще не говорят).

Впрочем, поляки пока употребляют это слово лишь применительно к немцам, живущим в районе Познани, которые, пропитанные берлинской пропагандой «брат ищет брата», ревут на своих сборищах во славу фюрера. Вряд ли я ошибаюсь: слову «гитлеровцы» предстоит, наверное, большая судьба в лексиконе XX века…

Вообще, сегодня какой-то дурацкий день! Случайно я снял с книжкой полки давно не нужный «Шпрингер» — альманах австро-венгерского генштаба с перечнем служебных аннотаций на офицеров, занимавших ответственные посты в старой Австрии. И надо же так случиться, что «Шпрингер» сам по себе раскрылся на той странице, где обозначено имя генерала, связанное с именем моей бедной матери… «Черная рука» Драгутина Аписа была протянута над Балканами слишком далеко!

### 9. Парфорсная охота

Теперь нас, офицеров «полного» курса, оста-

лось совсем немного, остальные разъехались по своим гарнизонам, где им предстояло реализовать давние надежды на повышение в чинах и в жалованье, чтобы их жены и дети оставались довольны папочкой. А нас собрали в конференц-зале Академии Генерального штаба, где стояли три широких стола; поверх скатертей заманчивыми веерами были разложены вопросные билеты.

Жеребьевкой заправлял ассистент Генштаба полковник Петр Ниве, монографию которого о войне со шведами в 1807 году я высоко ценил. Ниве объявил: каждый обойдет все три стола и с каждого стола возьмет по билету, где будут изложены темы будущей защиты. Я потянул первый билет:

— У меня теория военного вопроса, связанная с новейшими проблемами современной тактики и глубокой разведки.

Ниве записал. Просил тянуть второй билет.

— Разработка стратегической операции в пределах гористой местности южных побережий, — доложил я.

Ниве посоветовал взять хорошо изученный участок гористого берега на Кавказе, на что я, поблагодарив его, отвечал, что хорошо изученное

меня не может заинтересовать.

— Как угодно, — ответил Ниве. — Берите третий.

— Военно-историческая тема: описание отдельного боевого случая в период войны 1812 года при освобождении Германии.

— Отлично, — сказал Ниве. — Остается пожелать успеха…

После жеребьевки мы редко показывались в Академии, больше сидели дома, занимаясь самостоятельно. Тему первой проблемы я освоил довольно-таки быстро, зато неожиданно для своих научных оппонентов. Суть ее такова. Не так давно возле газового завода столицы, откуда не раз поднимались в небеса наши аэронавты, произошла катастрофа с воздушным шаром «Генерал Ванновский». При наборе высоты над Петербургом погиб капитан Палицын, раздробило кости в плече его супруги, капитан Юрий Павлович Герман получил сразу пять переломов в ногах; уцелел лишь спортивный граф Яков Ростовцев, который под самыми облаками выпрыгнул из подвесной корзины и повис над нею, держась за ее ивовые прутья.

Вскоре германский граф Цеппелин на своем гигантском «цеппелине № 2» совершил полет в

Берлин, заранее оповестив столицу рейха о своем прибытии; кайзер с семьей и громадная толпа горожан собрались на площади в Темпельгофе, чтобы чествовать национального героя. Но аэронавт обманул их ожидания, даже не показавшись в небе над столицей. Кайзер в досадном раздражении хлопнул дверцей автомобиля и сказал:

— Чтоб он лопнул, этот несчастный пузырь…

Слова оказались пророческими. Аппарат Цеппелина, пропарив над крышами Лейпцига, потерял из своей емкости много газа, отчего снизился и начал далее тащиться над самой землей. Граф Цеппелин не заметил впереди старой, давно высохшей груши, в которую и врезался, а сучья дерева распороли нос его «цеппелина»… Эти два случая из практики воздухоплавания я использовал как толчок для развития главной темы.

— Настроения в русском обществе таковы, — закончил я свой доклад, — что испытания с полетами будут продолжены, а трагедии в таком деле неизбежны, и это понимают все русские люди, штурмующие поднебесье, как поняла даже искалеченная вдова капитана Палицына. Полет графа Цеппелина примечателен не аварией, а тем, что его аппарат пронесся почти тысячу миль без остановки. Мы, русские, должны быть готовы

к тому, что в войне будущего подобные летательные машины смогут безбоязненно проникать в глубокие тылы противника, проделывая ту работу, которую до сего времени поручали шпионам…

Оппонентам моя защита не понравилась именно новизной темы. Но меня храбро отстаивал генерал Кованько, энтузиаст воздухоплавания в русской армии. Он так горячо поддержал мой доклад, что критикам оставалось только поощрять меня.

— А вы сами-то не летали? — спросил Кованько.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Так полетите… сегодня же вечером!

Никогда не забыть, как воздушный шар оторвался от земли, устремляясь в сторону праздничных Островов; странно было в небесной тишине слышать земные звуки, в мареве жилищных огней подо мною пролетал большой город, донося до нас цокот копыт или свистки городовых; на Островах звучала музыка вечерних кафешантанов, а мы летели все дальше; уже разглядев бастионы Кронштадта и дымы из труб броненосцев, я был преисполнен счастьем парения. В этот момент даже не верилось, что только сегодня я

доказывал об угрозе людям со стороны именно этой волшебной аэронавтики… Но во мне тут же проснулся человек с юридическим образованием. Я невольно задумался, что с развитием воздухоплавания обязательно возникнет новая форма преступности — в воздушных пространствах. Очевидно, со временем юристам предстоит изобрести новый вид международной полиции — воздушной! Кованько высмеял мои мысли.

— Да бог с вами, — сказал он. — Лучше вспомните Горбунова, который писал: «От хорошей жизни не полетишь…»

* * *

Парфорсная охота входила в программу обучения Высшей кавалерийской школы, нас же привлекала в этой охоте практика совершенного владения лошадью. В парфорсе важен не результат охоты, а лишь умение всадника удерживать лошадь в направлении, какое избрала собачья свора, преследующая зверя. Но охотничьи собаки, как известно, в азарте погони не признают никаких препятствий, а потому, будь любезен, преодолеть на лошади любые озера и ограды, кусты и леса, овраги и пашни. В этом весь смысл парфорсной охоты, и мне всегда с ужасом вспо-

миналась арабская поговорка: «Рай на земле — у коня на хребте!..»

В этом «раю» я уже сломал два ребра, имел вывих ноги и пролом в черепе — только при взятии барьеров в манеже. Но в таких случаях с начальством не спорят: собака гонит зверя, а ты, как зверь, гонишься за собакой, а лошадь не всегда понимает желания своего наездника. После того как офицеры Кавалерийской школы испортили посевы крестьян и обрушили немало заборов, распугав своими воплями детей и скотину, с тех пор парфорсная охота сделалась упрощенной. Зверей вообще оставили в покое, а дабы собаки учуяли зверя, егеря заранее таскали на длинных веревках куски сырого мяса, пропитанные лисьим пометом. Собаки охотно «брали» след мнимого зверя, но сами-то егеря выбирали для себя путь попроще, намеренно обходя препятствия. Именно такая охота с «выволочкой» ежегодно проводилась в окрестностях столицы — между Красным Селом и дачной станцией Дудергоф. В охоте участвовали и женщины, иногда очень далекие от спортивного интереса, который они заменяли откровенным интересом к нам, мужчинам, кому обеспечена скорая карьера под аркой Генштаба…

Однажды вечером, сидя у костра и растирая скипидаром разбитые колени, я выслушал мнение барона Маннергейма:

— Охота с «выволочкой» это не парфорс! Настоящую охоту можно изведать только в «Поставах» графа Пржездецкого, у которого восемнадцать фокс-гундов, и каждый собачий «смычок» не сбить со следа настоящего зверя…

Вербицкий поддержал эту мысль, предлагая мне:

— Не махнуть ли в «Поставы»? Это же недалеко, в Виленской губернии, а места мне знакомые. Я служил в тех краях…

Мы поехали! Пржездецкий сдавал свое имение, свои конюшни и своих гончих факс-гундов в аренду своему министерству; здесь была совсем иная обстановка, нежели в Красном Селе, и я почуял, что попал в компанию людей, мало берегущих свои черепа и кости, зато обожающих самые острые приключения.

Цецилия Вылежинская была единственной дамой, украшающей общество отпетых сорвиголов, но женщина была чуть старше меня годами, и я не сразу обратил внимание на ее красоту. По ее поведению я догадался, что даму привлекают острые эмоции, но только не любовные. Однако мой

пристальный взгляд вызвал ее чисто женский, весьма банальный вопрос:

— Вы как-то внимательно на меня смотрите.

Разговор между нами продлевался на польском:

— Простите, пани. Но мы, кажется, встречались.

— Где?

— В лесах бывшей Ингерманландии я нашел загадочную усадьбу, а в ней видел ваш портрет… Не верите?

— Напротив, я верю, — ответила женщина…

В этой настоящей парфорсной охоте я все-таки уцелел!

Но за нами, вооруженными длинными арапниками, когда мы возвращались в «Поставы» на замученных лошадях, тащились повозки с искалеченными. Плачевная серенада болезненных стонов и воплей сопровождала наше возвращение с охоты. Впереди же всех гарцевала на серой кобыле красивая пани Вылежинская, одетая в немыслимый ярко-красный фрак, облаченная ниже пояса в белые галифе жокея; она искусно трубила в рог, чтобы граф Пржездецкий заранее готовил врачей, бинты и лекарства для будущих инвалидов парфорсной бойни… Вечером среди

уцелевших был устроен пикник с богатым застольем, а Вылежинская вдруг спросила меня: правда ли она похожа на портрет женщины, что повстречался мне в старинной усадьбе?

— Да, — отвечал я. — Наверное, роковое совпадение.

— Вы еще не сделали никаких выводов?

— Меня предупредили, чтобы я не влюбился в нее.

— Это мудрый совет, — сказала мне Вылежинская…

Я сопроводил ее до Вильны на бричке, она купила билет на поезд, отходящий в Варшаву. На прощание выставила руку для поцелуя, а сама чмокнула меня в щеку, как ребенка:

— Прошу об одном — не вздумайте влюбляться в меня. Если бы вы знали меня и мою жизнь, вы бы…

— Вы, наверное, замужем? — напрямик спросил я.

Цецилия Вылежинская ничего не ответила. На обрывке бумаги наспех, уже после второго звонка, она начертала свой варшавский адрес. Я долго махал ей рукой с перрона. Потом при свете фонаря развернул ее записку. Это был адрес: «Варшава, улица Гожая, дом № 35». Меня даже пошатнуло…

Чертовщина! Ведь на Гожей, в подъезде этого дома, мне выкрутили руки и потащили в карету для арестованных. Что это значит?

Не от Гожей ли улицы начинается новый поворот?

Ганс Цобель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле» с громадными уродливыми ушами снова встал передо мною, как живой, на перроне «Остбанхоффа». А вдали приветливо мигали желтые и красные огни уходящего варшавского поезда…

* * *

По зачетной второй теме я не стал брать участок берега возле Анапы, отверг и район побережья между Либавой и Виндавой — я приготовил оперативный обзор малоизвестного «угла» Адриатики вдоль Кроатского и Далматинского побережий. В этом случае я как бы невольно пошел по стопам покойного адвоката В. Д. Спасовича, который описал эти края, а его красочные рассказы об увиденном еще не увяли в моей памяти. На этот раз материалами для доклада служили не только книги и атласы, но и документы главного статистического управления.

— Остался последний доклад? — спросил отец.

— Я избрал для него победу при Кульме.

— Напомни, где этот Кульм?

— По соседству со знаменитыми Теплицкими водами, на дороге из Праги в Дрезден… это древняя земля Богемии.

— Наполеон сам сражался при Кульме?

— Нет. Он все время впадал в болезненную сонливость и послал против русских своего маршала Вандама.

— А кто командовал русскими?

— Граф Остерман-Толстой, дальний сородич Льва Толстого. В битве при Кульме ему оторвало руку. Когда его сняли с лошади и положили на траву, он сказал: «Спасибо, ребята! Потерей руки я заплатил за высокую честь командовать гвардией…»

— А что сказал Вандам, когда его брали в плен?

— Просил скорее увезти его в тыл, ибо страшился мести жителей, которых он грабил. В городе Лауне его карета была забросана булыжниками. Вандама доставили в Москву и сдали на попечение тамошним барыням, которым он говорил злые нелепости и нахальные комплименты. Вот и все!

— Посмотрю, как ты с этой историей справишься…

Справиться было нелегко! Моя рукопись о Куль-

ме разбухла до восьмисот страниц, следовало переписать ее обязательно от руки красивым писарским почерком. Приходилось ночи напролет чертить и раскрашивать жидкою акварелью множество карт. Согласно твердым академическим правилам, офицер — независимо от количества написанных им страниц — обязан был в отчетном докладе уложиться точно в 45 минут! Для этого в кабинете висели большие часы, стрелка которых могла оказаться ножом гильотины, отсекающим все надежды на успех. Не уложится офицер в срок — плохо, не успел досказать все существенное, члены комиссии сразу встают с готовым решением:

— Вы не умеете владеть чувством времени, которое столь необходимо для каждого штабного офицера…

Из восьмисот страниц текста требовалось выбрать самое главное. Я не раз репетировал перед отцом свое выступление, следя за часами, и никак не мог уложиться в срок, необходимый для подлинного триумфа. То отбарабанивал доклад за 42 минуты, то затягивал его за 50 минут. Наконец мне это надоело:

— Ладно. Буду следить за стрелками часов…

По выражению профессорских лиц я понял,

что доклад о Кульме им нравится. Но — о, ужас! — я уже заканчивал речь пленением маршала Вандама, а до положенных регламентом 45 минут осталось еще три минуты… «Чем их заполнить?»

— Подвиг русской армии при Кульме, — сказал я, — спас от разрушения антинаполеоновскую коалицию. В награду за это король Пруссии наградил русских особым Железным крестом, вошедшим в историю под именем «кульмского». Австрийский же император Франц отдал нашим солдатам курзалы и пансионы в Теплице, чтобы они подлечились в живительных водах. Однако рядовые воины России не знали о целебных свойствах минеральной воды, в драгоценных источниках Теплица они устроили баню с прачечной, в которой перестирали рубахи и подштанники…

Стоп! Время вышло. Сражение мною выиграно.

— Итак, все кончено, — доложил я отцу.

Сейчас мало кто знает, что русская армия (единственная в мире) имела специальный «корпус генштабистов», и это важное обстоятельство резко отличало армию России от других армий Европы. Все окончившие третий курс Академии Генштаба получали особую форму. Золотой жгут аксельбанта проходил под локтем каждого, за-

крепленный сзади на плече, под эполетом или погоном. Мне присвоили чин штабс-капитана. Мои одногодки, вышедшие из кадетских корпусов, лишь через десять-пятнадцать лет могли достичь того положения, какое я обрел за эти краткие годы.

Для продвижения по службе предстояло теперь отслужить еще двухгодичный ценз командования ротой.

— Желательно, — было сказано мне в канцелярии Академии, — именно в той части, из которой вы прибыли для учебы…

Случайно я встретил на Невском полковника Лепехина. Мы зашли в кафе «Квиссисана», где лакомились кофе и ликерами. В разговоре, поминая прошлое, я невольно высказал свои подозрения относительно Гожей улицы в Варшаве, где проживает очаровательная пани Цецилия Вылежинская, встреченная мною на парфорсной охоте в «Поставах»:

— Что-то странное! В подъезде именно тридцать пятого дома на Гожей не мне ли выкручивали руки ваши агенты?

Лепехин подумал и вдруг стал смеяться:

— А, ерунда! Простое совпадение… Одну пани выслали, другая пани вселилась в пустующую

квартиру.

Он настойчиво убеждал меня не возвращаться для отбытия ценза в Граево на прусской границе:

— Стоит ли мозолить глаза немцам на рубежах нашей империи? Пусть лучше думают, что вы провалились ко всем чертям.

— Вы такого мнения? — спросил я.

— Убежден в этом, — четко ответил Лепехин.

Он интересовался: есть ли у меня связи в верхах?

— Нету, — сознался я. — Да и какие могут быть у меня связи, если мой батюшка лишь скромный учитель гимназии.

— Вот и хорошо, — неожиданно произнес Лепехин…

По исстари заведенной традиции мы должны были представиться императору. Николай II проживал тогда с семейством в глухом месте Царского Села, а именно в Баболовском дворце, украшением которого служила гигантская ванна, вытесанная из графитного монолита. Оживленной группой, привлекая внимание дачников, мы пригородным поездом выехали до Александрии; от станции сразу вошли в прохладные кущи Царскосельского парка. Николай II принял нас на

лужайке перед ванным корпусом. Здесь я впервые увидел царя так близко, и он поразил меня обыденностью своего невыразительного облика. Император счел своим долгом каждому из нас задать вопрос, при этом старался придавать своим словам показную значимость.

Затем нам предложили «гофмаршальский» завтрак. Это особый вид придворного этикета, когда угощение дается как бы от имени гофмаршала, но без царя и царицы. Усаживаясь за стол, мы припомнили остроумного генерала Драгомирова, который в подобных случаях говорил: «Гофмаршальский завтрак — это уже не честь, а лишь бесплатное кормление в харчевне для голодающих». Я запечатлел в своем сознании быструю смену тарелок и бокалов, но во рту не осталось ни вкуса еды, ни запаха вина — так быстро все делалось, а в присутствии гофмаршала двора мы остерегались разговаривать откровенно…

Когда же сели на поезд, чтобы возвращаться в Петербург, все дружно признались, что они голодные.

— Господа, а не махнуть ли всем нам к Кюба?

Так и сделали. В ресторане я запомнил не только тарелки и бокалы, но для памяти сохранил даже меню нашего торжественного обеда. Вот как

оно выглядело: «Суп мипотаж-натюрель. Пироги демидовские. Холодное: ростбиф с цимброном. Фаже из рябчиков тур-тюшю. Зелень и раки. Пирожные крем-брюле».

С молодым аппетитом мы набросились на еду:

— Все-таки у Кюба лучше, чем в Баболове…

При выходе из ресторана нам случайно встретились армейские офицеры, одетые с нарочитым, но дешевым шиком, и я не забыл, сколько презрения было вложено в их реплики по нашему адресу.

— Фазаны приперлись! — услышал я за спиной.

— Момент паршивый! — добавил кто-то…

Простим их: эти гарнизонные офицеры, конечно, не могли гордиться аксельбантами, их никто не хотел видеть в Баболове, они даже не мечтали ознакомиться с роскошным меню у несравненного гастронома Кюба… Это могли позволить себе только мы, элита армии, офицеры «корпуса генштабистов».

**Постскриптум № 2**

После уничтожения презренной династии Обреновичей авторитета «Черной руки» и самого Аписа было вполне достаточно для того, чтобы

подчинить себе правящую династию Карагеоргиевичей — а заодно уж! — и партию сербских радикалов, стоящую во главе правительства. Сербия при тайном воздействии «Черной руки» превратилась в буржуазно-парламентарное государство, а власть короля Петра была ограничена конституцией, точнее — личной диктатурой Аписа, ставшего полковником и начальником сербской разведки… Главное же в политике Белграда, как и хотели того все сербы, стало политическое сотрудничество с Россией и братским русским народом!

Австрийские власти весьма смутно догадывались о появлении «Черной руки», и то лишь по слухам, и в Вене наивно думали, что «рука» — это просто обычная компания офицеров, сдружившихся в 1903 году, когда они совместно убивали короля Обреновича с его королевой Драгой, а сам же Апис известен как любимец женщин. Подобное недомыслие Вены делает честь умелой конспирации сербской разведки!

Австрийская разведка уже сомкнулась с германской, чтобы заодно работать против России, а где-то она и подчинялась ей; так что все победы и все провалы «Хаупт-Кундшафт-Стелле» можно приписать и разведке берлинской.

Зато вот агентура Сербии, незаметно подключенная к русской, была, пожалуй, активнее венской, ибо действовала не в защиту устоев монархии, а ради освобождения народа, всегда поддерживаемая угнетенным миром славянства. Сербам в их борьбе всегда помогало неустанное «кипение в котле Австро-Венгрии», где враждовали за первенство мощные национальные силы, готовые в любой момент потребовать от Габсбургов самоопределения. Сами же руководители австрийского шпионажа с отчетливой ясностью признавались: «Если Балканы являлись лишь политическим барометром Европы, то Сербия все более и более превращалась в тот гремучий капсюль, который угрожал взорвать всю минную систему наших политических разногласий...»

Молоток для удара по капсюлю держал в своей руке Апис!

Переведем стрелки часов назад, когда даже враги Аписа признавали его главную роль в событиях на Балканах; вот что писал о нем С. Станоевич, белградский профессор истории:

> «Талантливый, культурный, лично храбрый и честный, полный честолюбия, энергии и охоты к труду, убедитель-

ный собеседник, Драгутин Дмитриевич (Апис) имел исключительное влияние на окружающих его лиц… Он обладал качествами, которые очаровывают людей. Его доводы были исчерпывающими и убедительными. Он умел повернуть любое дело так, что самые ужасные деяния казались мелочью, а самые опасные планы невинными и безвредными. Великолепный организатор, он все держал в своих руках, и даже близкие друзья плохо знали о том, что замышляется им… Сомнения в том, что возможно, а что невозможно, никогда не смущали его. Он видел лишь одну цель перед глазами и шел прямо к ней без колебаний и невзирая на последствия. Апис любил опасность приключений, тайные козни и таинственные предприятия».

От себя добавлю: организация «Черная рука» вскоре стала как бы государством в государстве, и ни сам престарелый король, ни сам премьер Пашич не были уверены в своих действиях, ибо за них активно действовала разведка Аписа.

Недавняя аннексия Боснии и Герцеговины, столь позорная для политического престижа России, оказалась для Габсбургов лишней обузой;

не только славяне, не одна лишь Россия, но даже Турция возмутилась агрессией Вены, и турки объявили беспощадный бойкот австрийским товарам, отчего Габсбурги понесли миллионные убытки в экономике, и без того хромающей на костылях берлинской выделки. Так что барон Эренталь, обдуривая русского министра Извольского, обманул сам себя. Он надеялся, что прикладом ружья расплющит любой гнев сербов, но вместо усмирения Балкан Европа наблюдала невиданный подъем национально-освободительного духа. Надо полагать, что теперь Вена много бы дала за голову Аписа!

Вся жизнь этого человека прошла в нескончаемых заговорах. Не успев завершить один, он уже готовил второй и третий. Это был удивительный виртуоз конспиративных замыслов. Конечные цели этого сильного человека слишком обширны и остались до сих пор неразгаданными. Но если бы все заговоры Аписа окончились удачей, он бы залил кровью престолы всех монархов Европы, а вместо тронов оставил бы одни смрадные головешки…

Создатель тайной организации «Черная рука», подполья патриотического, Алис был повержен «Белой рукой» — подпольем монархистов. Его

прикончили за попытку свергнуть династию Карагеоргиевичей, которую сам же Апис и утвердил на сербском престоле в конаке Белграда.

Каждая минута жизни Аписа была посвящена будущему объединению южных славян в единое и мощное государство, каким позже и стала Югославия. Но, как говорят итальянцы, «каждая минута жизни ранит, а последняя — убивает…».

Последние минуты жизни Аписа были страшными!

…Я был удивлен, когда узнал, что Апис черпал свои силы в примерах русских народовольцев, его возносила наверх та самая волна, которая вознесла на гребень истории и героев первой русской революции. Но, кажется, его любимою книгой все-таки стали «Бесы» Федора Достоевского. На этом я пока и закончу.

# Глава третья
# Прыжок

*Мне было бы весьма мучительно,*
*если бы кто-нибудь воспринял эту книгу*
*как роман, более или менее занимательный…*

***Илья Эренбург***

НАПИСАНО В 1938 ГОДУ:

…это новость: фон Бломберг женился! Пожилой вдовец, он не стал брать себе в жены старую клячу, а женился на молоденькой. Матримониальное решение начальника германского генерального штаба поддержал сам Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Геринг. Казалось, дело в шляпе. Но выяснилось, что фон Бломберг просто мешал фашистам захватить всю власть над вермахтом, а посему они подсунули Бломбергу уличную проститутку. Теперь в Германии скандал: как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Долой его! Бломберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно

имел коллекцию карточек, где жена Бломберга была заснята в пикантной роли, определяющей ее древнейшую профессию…

Мне просто жаль старого дурака Бломберга, который вляпался в это гитлеровское дерьмо. Но при этом я с подозрением вспоминаю старый Берлин, людское оживление Вильгельмштрассе, где стояло красноватое, будто слепленное из сырого мяса, здание большого германского генштаба, и неприметный дом на Кенигплац, где плелись военно-политические интриги… Они скрещиваются и сейчас в кошмарный клубок, подобно тому, как переплетаются змеи на солнцепеке в период их омерзительного брачевания!

* * *

Слава богу, что Вербицкий «прошел» удачно, вернув к себе доверие немецкого абвера. Но ожидание подозрительно затянулось. Очевидно, пока Володя торчит в Германии, меня здесь, в Москве, как следует обнюхивает немецкая разведка…

Наконец-то вчера на приеме в шведском посольстве, где я был в группе военной профессуры РККА, ко мне подошел… — увы! — подошел не немец, как я ожидал, а японский военный атташе:

— Ваше интимное предложение, сделанное Германии, не может ее заинтересовать. Но оно могло бы интересовать нас…

Я понял, что у абвера в СССР имеются хорошие источники информации, и гитлеровцы, еще не смея доверять мне, решили оказать «услугу» своим союзникам. Это не входило в мои планы.

— Вас, — отвечал я, — должны бы волновать дела на Дальнем Востоке, а в этом случае моя информация была бы чересчур ограничена, потому Японию она никак не устроит…

Когда я доложил начальству об этой краткой беседе, мне заметили, что я напрасно отверг контакт с самураями:

— Сейчас в районе границы у Посьета японцы собирают свои войска. Наверное, хотят прощупать бдительность наших дальневосточных гарнизонов. Все равно ведь, — сказали мне, — вашей липовой «дезой», полученной от вас, японцы так или иначе стали бы делиться с Берлином. В любом случае будем ожидать возвращения Вербицкого…

10 марта я узнал, что в Зальцбурге вдруг перекрыли границу, поезда между Веной и Берлином остановились на путях, а в Мюнхене подняты по тревоге все дивизии. 12 марта случилось то, чего

я давно ожидал: немцы вторглись в Австрию. Бенито Муссолини дал заверение, что Италия не вмешается, и выехал на охоту, а французский премьер Шотан подал в отставку. Лондон молчит, словно все там подавились. Пожалуй, одна наша страна выступила с осуждением аншлюса, открыто выразив готовность прийти на помощь Чехословакии. Наконец 2 апреля Англия разомкнула свои уста и признала реальность аншлюса Австрии, насильно включенной Гитлером в нацистскую систему; Гитлер, надо полагать, очень доволен, что его разбой средь бела дня сошел ему с рук, как мелкое мошенничество…

В лекции я нарочно коснулся богатой экономики Австрии:

— Гитлер получил почти даром великолепный арсенал. Австрия держала первенство в мире по добыче магнезита, она имеет залежи ценных ископаемых, которые могут иметь стратегическое значение для развития вермахта: молибден, медь, графит, свинец. Нацистам достались налаженный транспорт, производство автомобилей и мотоциклов, паровозов и вагонов, турбин и радиооборудования высшего класса…

Я уже перестал ждать возвращения Вербицкого, и теперь думаю — не было ли с моей стороны

промаха? Если же Вербицкий продал меня абверу, тогда не только он дурак, но дураком буду и я, слепо ему доверившись. Я попросил сводку обо всех задержанных на границе или убитых при сопротивлении пограничниками, но средь таковых Володьки не оказалось.

Не устаю переживать за Австрию: какова бы ни была в прошлом политика Габсбургов, никто ведь не станет отрицать, что Европа потеряла на своих картах государство, во все времена имевшее большое значение на весах мира… По слухам, гестапо уже схвачены эрцгерцоги братья Эрнст и Макс фон Гогенберги, сыновья того самого Франца Фердинанда, который был убит в Сараево летом 1914 года. Переживаю за этих отпрысков династии Габсбургов, тем более что мать их, графиня Хотек, была чешкой, ее отец служил в Петербурге при австрийском посольстве. Давным-давно последний лицеист пушкинского выпуска и последний канцлер князь А. М. Горчаков, бывая на даче в семье Хотеков, не раз держал эту девочку на своих коленях. Просто чудовищно — как иногда смыкается время в истории!

…31 июля 1938 года. Японцы открыли боевые действия возле озера Хасан, захватив наши сопки Заозерная и Безымянная, выгодные в тактиче-

ском отношении. Маршал В. К. Блюхер готовится дать им по зубам, чтобы больше не лезли. Японский посол Сигэмицу по-прежнему улыбается на дипломатических приемах, будто собака не знает, чье мясо съела…

Тревога! Сегодня ночью неизвестный самолет без опознавательных знаков, тип которого не установлен, перелетел нашу границу. Один колхозный сторож видел, как с него над лесом сбросили какой-то чемодан. Правда оказалась ужаснее, нежели можно предвидеть: это сбросили Володю Вербицкого! Самолет шел очень низко над лесом, парашют не успел раскрыться, и агент абвера разбился вдребезги.

— Жив? — спросил я на службе.

— Жив, но в очень плохом состоянии…

Я навестил его в госпитале. Володя заплакал:

— На что я годен теперь? Мешок костей — и все. Сволочь этот пилот. Сопляк! Не сумел даже сбросить меня как надо.

— Успокойся, Володя, ты уже дома, а дома, как говорится, и солома едома. Все твои кости уложат в мешок по последнему слову науки и техники. Орденов и медалей ты, конечно, не получишь от Калинина, но советский паспорт будет тебе выписан. Не под собственной, вестимо, фамилией, а

под другой, какая тебе больше нравится. А сейчас соберись с силами и скажи, чем тебя накачали в абвере перед полетом?

— Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы. Сидеть там тихо и не чирикать, благо теперь я должен остаться беспартийным. Время от времени я обязан извещать абвер обо всем, что происходит в прирубежных районах. В случае конфликта надо раздобыть форму советского командира войск связи, влиться в число отступающих и, устроившись в какую-либо часть, вредить как можно больше.

— Хорошо, Володя, — ответил я. — Подлечишься, станешь агрономом передового колхоза и... трудись во славу отчизны!

Сигэмицу перестал улыбаться и 10 августа предложил переговоры, чтобы закончить миром провокацию возле озера Хасан. Но меня сейчас волнует происходящее в Германии: там уже открыто возвещают о ближайшей цели политики Гитлера — о захвате Чехословакии. Недавно мне удалось прочесть книгу некоего Е. Бергмана, выпущенную в 1936 году в Бреслау, где написано без стыда и совести: «На развалинах мира водрузит победное знамя та раса, которая окажется самой сильной и превратит весь культурный мир в

дым и пепел… Нет ничего более высокого, чем завоевательная война. Война — это обязанность немцев!»

Из достоверных источников получена странная информация: Англия не будет отстаивать Чехословакию, в Лондоне не желают соперничать с Гитлером. По берлинскому радио передавали текст спича Риббентропа, произнесенного им за обедом в Лондоне: «Мы стремимся к искреннему пониманию с Англией…» Вслед за тем Гитлер выступил в Нюрнберге на партийном сборище: «Я не потерплю ни при каких обстоятельствах, чтобы в Чехословакии и дальше угнетали немецкое меньшинство…» Пражское радио объявило о мобилизации армии, но истинный джентльмен Чемберлен, встретясь с Гитлером в Мюнхене, уже предал чехов. В Берлине сейчас воют сирены, пугая немцев воздушной тревогой, в Париже покупают противогазы, а в наших домовых жактах сидят затрушенные бабки и слушают лекции пионеров об отравляющем действии хлорацетофена. Много они понимают!

…Гробовое молчание Европы: вермахт вступил в Прагу.

Предательство совершилось благополучно для Чемберлена, а Гитлер на этом, конечно, не

остановился. В сентябре 1938 года наша армия стала концентрироваться на западных рубежах. Обдумывая будущее, я невольно вспомнил один из заветов Шлифена, который вполне бы устроил Гитлера и его камарилью: «Побеждает только тот, кто не боится свершать насилие, и победа тем более обеспечена, если противник избегает насилия».

Нечто подобное и случилось ныне в Европе…

Карта Европы стала казаться мне доской аварийного пульта: красная лампочка вспыхивала там, где лежит польский Гданьск (Данциг), она тревожно мерцала по соседству с литовской Клайпедой, бывшей германским Мемелем… Лишь вчера узнал: при захвате Праги немцы получили секретные документы о мощи «линии Мажино», ограждавшей Францию со стороны Германии.

* * *

…был в цирке, где работа акробата под куполом показалась мне схожей с работой разведчика. Стоит промахнуться или выпустить из пальцев трапецию — кувырком летишь вниз, и нет такого всемогущего «блата», нет такой протекции у начальства, чтобы задержали твое падение. Но если акробата в конце полета еще может выру-

чить страховочная сетка, то разведчик ничем не подстрахован и разбивается насмерть посреди враждебной ему арены… И никогда не услышит оваций публики!

После Мюнхена, заняв Чехословакию, Гитлер получил прямой доступ к продвижению вермахта на восток, но ему осталось лишь обрушить хилый забор «санации», выстроенный польским диктатором Пилсудским… Именно в эти дни абвер принял мои услуги.

Чиновник из германского посольства назвал себя по фамилии Геништа, едва намекнув, что действует по поручению посла.

Разговор он начал неожиданно для меня:

— Прочитайте вот эту справку, извлеченную из старых архивов тайной берлинской полиции времен кайзера…

Это была фотокопия характеристики на меня: «Все, кто его знает, немедленно сообщить в полицию… Работает по заданиям русского Генерального штаба. Блестяще владеет оружием, любит появляться в обществе, нравится женщинам. Хорошо управляет автомобилем, способен водить паровозы. Приметы: обычного роста, движения резкие. Лицо невыразительно, но при обороте напоминает профиль молодого Наполео-

на. Одинаково хорошо держится в блузе рабочего и в смокинге. В общении с людьми находчив. Отличается большой личной смелостью. С его помощью был разоблачен в России наш опытный агент, майор Антон фон Берцио…»

— Кажется, это про вас, — усмехнулся Геништа.

— Благодарю. Вы удачно расшевелили мою угасающую память.

— Надеюсь, приятные воспоминания?

— Не совсем, — ответил я. — Мне пришлось убегать от чересчур напряженного внимания вашей полиции.

— Да, — согласился Геништа, — нам известно, что вы покинули Германию при необычных обстоятельствах.

— А вы, — сказал я, — слишком утомили меня ожиданием этой встречи. Стоило ли абверу так долго кружить вокруг моей незначительной персоны? Впрочем, готов выслушать.

Геништа сразу перешел к делу:

— Абверу известно о вашем высоком официальном положении в составе мыслительной элиты Красной Армии. Вот именно это и заставило нас медлить с принятием ваших услуг. Каковы же главные причины, которые заставили вас пойти

на связь с нами? Или вы очень нуждаетесь в деньгах?

Цинично, зато откровенно.

— Совсем нет! — отвечал я. — В моем возрасте, при отсутствии пороков, дорого оплачиваемых в подворотнях, мне деньги совсем не нужны. Я поступаю так из чувства российского патриотизма. Родина будет вечно возвышаться над людьми, над временем, над политикой, над партиями… Разве не так?

— Ваше здоровье? — поинтересовался Геништа.

— Не железное, — был мой ответ. — А что нужнее сейчас? Ритмичная работа моего стареющего сердца или информация о передислокации Красной Армии в сторону польских рубежей?

— Последнее для нас важнее вопроса о вашем сердцебиении, — согласился Геништа. — Но все-таки ваше предложение несколько странно: вы, бывший офицер русского Генштаба, горячий патриот России, вдруг высказываете готовность помочь Германии, против которой так много работали в молодости…

Мой ответ был заранее согласован с начальством:

— Сейчас я пришел к пониманию, что без

помощи могучего германского вермахта нам, истинным патриотам России, не удастся свергнуть сатрапию Сталина и его чересчур бравых приспешников. В искренности моих чувств вы не должны сомневаться: я старый русский офицер, честь имею!

Мы поговорили о совместной работе. В конце беседы, уже ставшей вполне доверительной, Геништа задал вопрос, для меня опасный, но я, кажется, не разбился посреди арены.

— Моих коллег, — сказал он, — волнует одна существенная деталь. То, что вы работали до революции на царский Генштаб, это понятно. Но под вывеской какой фирмы вы занимались шпионажем в Германии? Какое у вас было прикрытие?

— Производство керамических труб, — ответил я. — Но это лишь в частном эпизоде с Гамбургом, а вообще-то я работал под видом легального агента «Общества спальных вагонов»…

Этим ответом я загнал абвер, как бильярдный шар, в самый дальний угол игрового поля. Дело в том, что международное «Общество спальных вагонов» в старые времена было никем не контролируемой организацией, и теперь абвер пусть копается до скончания века (все равно истины

обо мне они никогда не откроют). Мы условились с Геништой: раз в месяц обычным почтовым отправлением я буду информировать агронома Чашкина, законспирированного в колхозе «Красный восход», который и был отныне советским агентом Вербицким…

Итак, с конца 1938 года я стал давать гитлеровскому абверу ложную информацию. Я получил кличку «Габсбург»! Мы условились о пароле: «Извините, мне нужно этажом выше…»

* * *

Я не сразу выяснил дальнейшую судьбу братьев Эрнста и Маркса Гогенбергов, посаженных по приказу Гитлера в концлагерь Дахау. Здесь я вклеиваю в свой текст воспоминаний вырезку из одной английской книги, где о них говорится:

> «Братьев Гогенберг заставляли ползать на коленях и вылизывать языками гудронированную площадь тюремного двора. При этом тюремщики-эсэсовцы все время плевали наземь, так что Гогенберги вылизывали языками не только пыль и грязь площади, но и плевки гестаповцев. Когда издевательский „тур“ был пройден,

братьев заставили в присутствии всей эсэсовской команды плевать друг другу в рот. В другой раз их заставили тачками очищать отхожее место. При этом обоих братьев Гогенберг с нагруженными тачками столкнули в выгребную яму. Лишь с большим трудом им удалось выбраться живыми из этой зловонной трясины…»

Таков был ужасный конец австрийских Габсбургов!

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что Гитлер издевался над братьями умышленно. Габсбурги — это прошлое Австрии, и не всегда бесславное, а вокруг прошлого группируется настоящее. Гитлер не дурак, он понимает, что, уничтожая прошлое, он уничтожает не только историю, но и будущее народа…

О господи! Как мне все это надоело!

## 1. Обстоятельства

В случайной беседе с Петром Ниве я спросил его:

— А какова подготовка офицеров в генштабе Германии?

— В идеале на одинаковый вопрос все офицеры

должны давать одинаковые ответы. У нас такого шаблона мышления нет, ибо на Руси всякий на свой лад с ума сходит…

В жизни не всегда случается так, как хотелось бы. Человек борется с обстоятельствами, мешающими ему, но иногда бывает, что обстоятельства сильнее усилий человека, и порой лучше смириться. Я не слишком-то верю в фатум, но иногда возникают в жизни роковые моменты.

Сам любитель игры на бильярде, я частенько вспоминаю знаменитого бильярдного игрока Рейхардта, известного своим мастерством во всех столицах мира; когда-то, играя на деньги, он гастролировал и в клубах Петербурга. С ним произошло как раз такое, когда судьба явила ему игру волшебного рока. Это случилось в Париже; однажды вечером, почти накануне его свадьбы, Рейхардт сидел дома. Машинально поставил шар на поле бильярда и крепким ударом направил его в лузу. Но удар был настолько силен, что шар, отразившись от борта, вылетел в открытое окно на улицу. Он упал на стеклянную крышу оранжереи соседнего дома, пробил ее и попал в комнату чужой квартиры, расколотив при этом драгоценную сервскую вазу, за которой завтра должны были прийти, чтобы забрать ее в музей

Лувра. Звон и грохот испугали беременную кошку, которая сладко дремала в корзине возле этой вазы. Выпрыгнув из корзины, эта бестия уронила лампу, отчего в доме возник пожар. Невеста Рейхардта была как раз дочерью владелицы этого дома. Пожилая женщина, увидев пламя, тут же скончалась от разрыва сердца. После чего, когда дом догорел, невеста отказала Рейхардту в своей руке и своем сердце…

Сцепление роковых обстоятельств, очевидно, всегда будет иметь влияние на судьбу человека, как это и случилось со мной после окончания «полного» курса Академии Генштаба.

Я получил превосходный балл успеваемости и, казалось, имел право занять какую-либо должность при военном министерстве или в том же Генеральном штабе. Но этого, увы, не произошло, ибо обстоятельства оказались сильнее меня. Для начала меня как следует обесчестили! Мои сокурсники, вышедшие из лейб-гвардии, близкие ко двору или носившие громкие титулы князей, графов и баронов, быстро расхватали вакансии при Генштабе, и судьба их покатилась как по маслу. Свои обиды я высказал лишь полковнику Ниве.

— А что вы обижаетесь? — отвечал тот. — Меж-

ду штабной карьерой в корпусе генштабистов и кордебалетом в театре нет никакой разницы: одинаковое желание поскорее открутить волшебное па, чтобы тебя заметило начальство… Советую выждать, пока не появится вакансия!

Для выслуги служебного ценза мне советовали ехать обратно в Граево, но тут я припомнил советы Лепехина.

— Нет уж! — отказался я. — Если вернусь в Граево после трех курсов Академии, но лишенный вакансии при Генеральном штабе, меня могут заподозрить, что я воровал носовые платки из чужих карманов… Я ведь не могу вдудеть в ухо каждому, что вакантные места нашлись для людей, имевших выпускной балл ниже моего балла, но обладающих протекцией на самом верху государственной пирамиды.

Несправедливость глубоко оскорбила меня. Единственное, чего я добился, чтобы меня продолжали считать первым кандидатом на первое вакантное место. А пока мне предложили на выбор: адъютантскую должность при киевском военном губернаторе или быть ротным воспитателем в Неплюевском кадетском корпусе Оренбурга. Я решил, что лучше всего переждать это время в отдалении от суеты, и, кажется, по-

ступил правильно.

— Но прежде я хотел бы получить право на отпуск…

Обо всем случившемся яснее всего высказался папа:

— Стоило три года мучиться, чтобы потом угодить в пекло Оренбурга, где будешь выстраивать по ранжиру балбесов в кадетских мундирах… Может, сразу просить отставку?

Огорченный, я поплелся на Загородный проспект, где над подвальчиком красовалась вывеска: «ЖОЗЕФ ПАШУ. Только виноградные вина». В подвале богемы пол был посыпан свежими опилками, в залах прохладно и пусто, но Михаил Валентинович Щеляков по-прежнему занимал столик. Выслушав меня, он сказал:

— А все-таки жить на этом свете заманчиво.

— Даже сидючи у Пашу? — спросил я.

— Даже здесь… Вот узнаю из газет, что Рудольф Дизель загнал шесть тысяч «лошадей» в свой двигатель внутреннего сгорания, а теперь немцы окружили его машину забором, на котором начертано: «За вход без разрешения — шесть лет каторжных работ». Разве не интересно проделать дырку в немецком заборе или перемахнуть через него — назло всем церберам кайзера?

Я ответил, что нас тому не учили:

— Мы осуждены просиживать штаны на стульях штабов, а не рвать их об гвозди, торчащие из заборов.

— Плохо вас учили… плохо! — загрустил Щеляков. — Великий химик Менделеев во Франции простым подсчетом вагонов с химическим сырьем вывел формулу бездымного пороха, которую держали в строжайшем секрете. Но мы не называем же Менделеева шпионом! Просто умный человек… Что ты хочешь, если даже большие писатели и мыслители не брезговали заниматься разведкой, требующей от человека самого высокого интеллекта.

— Кто, например? — засомневался я.

— Вольтер, Далиэль Дефо, Бомарше и даже легендарный бабник Джованни Казанова. Наверное, он таскался по всему свету не только ради знакомства с женщинами. Этот жуир хотел бы соблазнить и нашу Екатерину Великую, но бабенка была зело хитрющая и выставила его прочь из России.

— Да, я читал записки Казановы.

— Ты, наверное, листал и Библию? А тогда обнаружил в ней и первого шпиона на свете — это был Иисус Навин, дававший своим соглядата-

ям точные инструкции, как надо шпионить за землей Ханаанской. Вспомни, наконец, и филистимлянку Далилу, погубившую Самсона, — ведь это явная диверсантка в стане врагов… Не будь я таким толстым и жирным, — печально заключил Щеляков, — я бы непременно полез через забор, дабы поглядеть, что там замудривает для кайзера Рудольф Дизель!

Жозеф Пашу водрузил между нами бутылку кислого вина из ягод прошлогоднего урожая. Щеляков сказал:

— Жаль! Мне уже не дожить до того времени, когда ты, трясясь от старости, будешь вшивать в свои офицерские штаны золотой лампас генерала. Однако я не забыл тот случай с тобою, когда ты был еще «чижиком». Ведь ты возложил венок на покойника и после чокнулся с ним как ни в чем не бывало.

Я сердечно чокнулся с Щеляковым, отлично понимая, что мой старый друг — уже не жилец на свете, скоро лежать ему на Литераторских мостках Волкова кладбища.

— К чему вам припомнился этот случай?

— Ты умеешь не теряться при любых обстоятельствах.

— Умею. Так за что мы выпьем?

Артист и писатель, он заплакал, целуя меня:
— Милый штабс-капитан! За обстоятельства…

* * *

Из старых газет… Кайзеру Вильгельму II представили двести самых красивых девушек Лотарингии, кайзер, как водится, произнес перед ними напыщенную речь, затем велел бургомистру:

— Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату для армии.

На это бургомистр, испугавшись, ответил:

— Ваше величество, я всегда готов услужить вам. Но в мои годы… поверьте, одному мне это уже не под силу!

Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окруженный свитою теоретиков и практиков грядущей бойни. По любому вопросу в жизни император Германии имел свое особое мнение, очень любил учить всех, как надо жить. Комплекс неполноценности, угнетавший кайзера в юности, позже превратился в комплекс переоценки своей личности. Если император видел плотника, он тут же отбирал у него молоток и показывал всей нации — как

следует правильно забивать гвозди в стенку. Наверное, попадись кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить. Многие подозревали в Вильгельме II только позера, потерявшего меру в своем превосходстве над людьми, но более прозорливые люди (вроде Бисмарка) считали императора полусумасшедшим. Недаром же сами берлинцы говорили:

— Наш великий и бесподобный кайзер желает быть новорожденным при всех крестинах, он хотел бы стать невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах…

И если за спиной кайзера стояли лишь 65 генералов свиты, он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени 65 миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной крупповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова:

— Цольре зовет меня на бой!

Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем «Цольре». И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру:

— Цольре зовет и нас!..

Русские с юмором относились к подобным эскападам:

— Да пусть себе кипятится. Все равно ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите…

Русский художник Михаил Нестеров предрекал:

— Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены. Невольно задумаешься: нормальный ли у немцев кайзер? Не говорит, как все люди, а вещает. Жалкий дилетант! Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии из «Тангейзера» Вагнера… А усы-то! До чего лихо закручены… карикатура!

Мнение М. В. Нестерова смыкалось с мнением французского ученого Эрнеста Лависса, который называл кайзера «декоратором театрального пошиба». Германский император постоянно позировал, его жесты были внушительны, а речи бесподобны:

— Мы — соль земли! Бог возлагает надежды только на нас, на немцев… с прусским лейтенантом никто не сравнится.

С солдатами он разговаривал языком фельдфебеля.

— Эй, ребята! — орал кайзер на параде. — Никак, вы наклали полные штаны и теперь боитесь пошевелиться, чтобы не слишком воняло. Смелее вперед — весь мир лежит перед вами!

А ведь, по совести говоря, дилетант был талантлив. Император играл на рояле, на скрипке, на мандолине, в кругу семьи он щипал струны испанской гитары. Играл в шахматы и недурно распевал в концертах. Писал масляными красками большие картины-аллегории, обладал даром шаржиста. В творческом портфеле Вильгельма II лежали опера, драма, даже одна комедия. Он умел дирижировать симфоническим оркестром, а службу в церкви вел не хуже заправского епископа. Брал первые призы на яхтах под парусами и ловко швартовал к пирсам новейшие крейсера. Ловкий наездник, кайзер обладал славою прекрасного стрелка. Умел сварить вкуснейший бульон, недурно поджаривал бифштексы. Все это император вытворял лишь одной рукой — правой, а левая от рождения была скрючена врожденным параличом.

Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего серенького и бесталанного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел де-

лать только одно великое дело — пилить и колоть дрова. Повторялась старейшая история соперничества, как у Салтыкова-Щедрина, о — «мальчике в штанах» и «мальчике без штанов».

После Боснийского кризиса Извольский, обманутый Эренталем, был удален. Столыпин сделал министром Сазонова, о котором в Берлине ничего не знали, кроме того, что он шурин Столыпина. Когда летом 1910 года царь приехал в Германию, чтобы подлечить нервы своей психопатки Алисы, кайзер предложил навестить его в Потсдаме. Эта встреча была последней и самой отчаянной попыткой Берлина перетянуть русский кабинет на свою сторону, оторвав Россию от союза с Англией и Францией.

Надо признать, что немцы к переговорам подготовились хорошо, настроенные почти благодушно. Сазонову было сказано, что Германия не настаивает на крайностях своей политики, заранее согласная посредничать в спорах Петербурга с Веною:

— Неудача переговоров в Бухлау между Извольским и Эренталем имела причины личного характера, а Германия не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское

влияние…

Немцы скромно просили русских не вступать в союзы, враждебные Германии; им хотелось, чтобы Россия не мешала немцам тянуть рельсы Багдадской дороги и дальше, а дальше эти рельсы непременно заденут и бесспорные торговые интересы московских воротил финансового мира. Этим немцы хотели навсегда испортить англо-русские отношения, ибо в Лондоне считали Персию своей полуколонией. Сазонов, вернувшись в Петербург, дал интервью для газет, в котором он как бы принес извинения союзникам за то, что осмелился посетить Германию и выслушать мнение берлинского кабинета; заодно он успокоил Уайтхолл, обещая не заключать с Берлином никаких договоров, прежде не оповестив об этом английское правительство.

Но своему родственнику Столыпину от сказал откровенно:

— Если мы и выиграли в Потсдаме, так мы проиграли в будущем сохранении мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательство Берлина, чтобы Берлин не поддерживал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы еще встретим совмест-

ную австро-германскую экспансию…

Балканы по-прежнему оставались «пороховым погребом», вырытым под зданием всей Европы, насыщенной сокровищами ума и культуры, обставленной музеями и дворцами, хранившей в своих столицах самые ценные произведения искусства и уникальные библиотеки. Европа всегда останется для человечества образцом мировой цивилизации и ее следовало беречь.

Так было всегда, так требуется и сейчас!

* * *

Богатые русские люди каждый год навещали Европу; маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой: Берлин, Париж и Рим, реже Лондон с Мадридом, а кто отваживался увидеть Египет или побывать — о, ужас! — на Корсике, на таких вояжеров смотрели как на героев. Но почти никто из русских не ездил в те края, где я намеревался провести отпуск. Не ездили по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Истрию, Далмацию или Кроацию; русские люди очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали на экзаменах:

— Это полоса берега Адриатического моря, ко-

торое древними славянами называлось морем Ядранским… Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают «далматский порошок» от блох и клопов…

Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в Академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором сооружалось германское посольство. Это было громоздкое безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его «ящиком». Официальным архитектором проекта считался Беренс; столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади.

Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II.

— Ничего изменить нельзя, — ответил царь. — Здание посольства создается по плану, состав-

ленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств.

Кайзеру казалось, что в этом «ящике» воплощена выпуклая идея величия германского духа — Цольре, подавляющего Россию, и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков.

— Что делать! — огорченно вздыхали петербуржцы. — Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика.

(Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых Зигфридов, ведущих вздыбленных ими Буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении.)

### 2. Мои главные эмоции

Перед отъездом мне дали дельный совет: во владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит «попутчика», от которого потом не отвяжешься. Бывалые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов:

— Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый че-

ловек с деньжатами привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно хорошо жить, а кому нельзя. Даже офицер в Вене, проехав с дамою по Пратеру на таксомоторе, делается фигурой подозрительной: уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это бедному офицеру кататься на моторах?

Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой коринки славяне делают отличное вино. Моим попутчиком от Будапешта оказался толстый баварец, поясной ремень для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями.

— Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам, — важно рассуждал он. — Лучшие ученые в мире — немцы. А кто сильнее наших гимнастов? Промышленность Германии самая передовая. Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядки и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем.

Возможно, что с моим отцом-германофилом он и нашел бы общий язык, но я-то, черт побери, всегда оставался в душе славянофилом, и потому…

терпел. Я думал, баварец выболтается и уснет, но он деловито пересчитывал:

— Смотрите сами! Великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте — Алигьери — есть исковерканное немецкое «Альдигер». Наконец, возьмем Боккаччо — это же наш родимый «Бухатц»! Тассо — немецкий собрат «Дассе». Кавур, Манцони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами.

— Ну а как быть с Вольтером? — спросил я, зевая.

— У него типичный череп арийца, — последовал ответ…

Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из потемок которого, аки гад из-под коряги, вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений: кто из народов лучше, а кто хуже? Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того,

чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что «Берлин» (запруда) когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии…

Триест был базой австрийского флота. Но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь. Не знаю, каково жилось итальянцам в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на Пьяцца-гранде журчал фонтан имени Марии-Терезии, — все это напихала туда Вена, чтобы «макаронники» не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест: из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 — на словенском и греческом и лишь одна на немецком…

Я не стал задерживаться в этом странном городе!

Меня ожидал Фиуме, известный производством

торпед, которые за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам: отсюда, из этого города (славянской Риеки), мама, покинувшая меня, еще мальчика, прислала свое последнее письмо…

* * *

В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями.

Сразу за Фиуме я попал в очаровательный мир, меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры, вполне пригодные для заправки супа: здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман «боснийский» язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику «боснийского» языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно… сербского!

Еще от Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам, за что сербы нарекли их презрительной кличкой «шокцы». Габсбурги в своих владениях

натравливали мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом, все живущие на лучезарных берегах Ядранского-Адриатического моря притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись меж собою, как бездомные собаки.

На пароходе австро-венгерского Ллойда я отплыл к югу до Котора (Каттаро), откуда неприступной стеной высилась Черная Гора — Черногория с независимым и гордым народом и где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как бес ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины.

Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триесты и Фиуме разом померкли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи мадонн, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло!

Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога.

— Лепо място, — сказал я черногорцу.

Он шевельнул усами, обнажив в улыбке чистые зубы.

— Хвала, — отвечал черногорец, берясь за вилку…

Первые зачатки просвещения сербы Далмации впитали еще от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагический Видовдан в 1389 году, сразу уничтоживший на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но, как сказано у мудрого Квинтилиана, «история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не одобряем…».

Наконец мы доплыли до Сплита (Сполато); тут я увидел славянскую Помпею — развалины древнего Салона, разоренного еще вандалами Аттилы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял: для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ярмом

Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности? В гуще виноградников я набрел на столь обширное кладбище, что сделалось страшно: сколько веков жили люди, радовались и умирали, их голоса и смех навеки исчезли для нас, и тут я невольно осмыслил не только слабую тщету жизни, но и все ее подлинное величие! Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпее, сколько приносят в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния…

Дубровник показался мне родным городом, будто я тут и родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари морей, зачинатели побед русского флота. В этих тенистых садах ученый серб Марко Мартинович учил «птенцов гнезда Петрова» плавать и сражаться на морях; под славным Андреевским стягом русского флота не раз сражались сербы из Дубровника, отличные моряки и точные навигаторы. Маленький Дубровник (Рагуза) когда-то был республикой, сюда слала приветливые грамоты Екатерина Великая, а местные жители снаряжали послов в Петербург; если Аттила разрушил Сплит, то Наполеон уничтожил Рагузскую республику; так погибли

для мира «Славянские Афины», бывшие центром науки и художества, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, встретив у него «Житие Петра Великого» на сербском, сочинения Ломоносова, оды Державина, поэмы Пушкина и даже «Историю…» Карамзина…

Я покинул пароход Ллойда в Каттаре, и краски в душе полиняли, едва я вступил в заплесневелый город с кривыми улицами, где царили темнота, смрад помоек и вопли каттарских кошек, насилуемых тощими ободранными котами. Сразу за Которской бухтой начиналась независимая Черногория, потому Каттаро был превращен в гарнизон, перенасыщенный австрийскими войсками, пушки Габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты. На берегу моря до утра шумел пропахший луком ресторанчик с итальянскими певицами, я здесь скромно ужинал, невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги. Пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение:

— Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать? В моем представлении Габсбургская монархия — прекрасный Нарцисс, который много веков

любовался в ручье собственным изображением, как в зеркале, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья…

Думаю, этот офицер-чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет. Из своего путешествия я вынес глубокое убеждение, что на здешних обломках истории обязательно возродится великая славянская федерация, каковой позже и стала Югославия…

* * *

Конечно, я не преминул сделать «крюк», дабы навестить и Сараево, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любуясь кипением воды в бурной Милячке, и не подозревал, что «Черная рука» еще приведет меня сюда, а мост со временем станет носить имя Гаврилы Принципа…

Хорватов разъединяла с православными сербами католическая вера, но эта же вера сближала их с Австрией, которая нарочно ласкала хорватов, чтобы лишний раз унизить сербов. Даже когда сербы основали в Загребе свой университет, называя его «югославским», венские власти запретили название, указав именовать его «хор-

ватским». Во время долгой борьбы за свободу южные славяне (когда-то бывшие едины) сами не заметили, что их разделили — на сербов, хорватов, словенцев, македонцев и прочих. Братья по крови и культуре, они пошли разными путями — хорваты за Ватиканом и Габсбургами, а часть сербов даже приняла мусульманскую веру (как это случилось в Боснии).

Мне в Сараево мало понравилось: типичный коммерческий город с массою витрин и вывесок; возле лавок раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты, и хлебали из бутылок минеральную воду. При этом хорваты беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах, но однажды, вернувшись в гостиницу, заметил, что кто-то копался в моем чемодане. Это ускорило мой отъезд из Сараево, а на границе с Сербией меня откровенно обыскали.

Зато вот в Белграде никто не спросил у меня документов, и что бы я ни сказал, всему верили на слово! Доверие и честность сербов вошли в пословицу. Еще была приятная черта сербского характера — отсутствие любопытства к чужой жизни. В этом городе Сара Бернар или Томмазо Сальвини могли вылезти вон из шкуры, чтобы на

них обратили внимание — сербы станут глядеть на них только в театре. Стареющий король Петр Карагеоргиевич шлялся по улицам без охраны, заходил в кафаны, выпивал свое пиво, просматривал газеты. Никто не сбегался смотреть на него, как это случилось бы в России, если бы наш царь закатился в пивную. Сербам все равно! Захотелось королю пива — пусть пьет, интересно в газете написано — пусть читает. Король подзывал лакея, расплачивался, брал сдачу и уходил, почти никем не замеченный. Пятивековая борьба с врагами сделала сербов гордецами, отчего они терпеть не могли, если кто совал нос в их дела, но и сами старались не заглядывать в чужую кастрюлю…

Я нарочно снял номер в захудалом «Хотел Кичево», напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее. Белград теперь обстроился новыми большими зданиями, средь которых выделялся дом страхового общества «Россия», появился удобный отель «Сербский краль», нарядные и модные магазины, мостовые были покрыты торцами. На 150 тогдашних улицах столицы было ровно 150 полицейских, но им нечего было делать: Сербия — страна, в которой никто не пьянствовал, никто не скандалил и не

дрался, не было ни одного нищего.

— О, то лепо варош! — часто хвалил я город…

Конечно, я не набивался гостем в новый белградский конак, чтобы напомнить о себе Карагеоргиевичам или возобновить прежнюю дружбу с королевичем Александром: я ведь тоже наполовину серб, а потому должен оставаться независимым гордецом. Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе В. А. Артамонову. Виктор Алексеевич когда-то тоже окончил Академию российского Генштаба, он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ремеслу, а я раскрыл перед ним свое не очень убедительное инкогнито.

— К сожалению, оно раскрыто еще раньше, — буркнул Артамонов. — Вы напрасно показывались в Сараево.

— Почему?

— На вас там готовилось что-то вроде покушения.

— Не заметил!

— Вы и не могли заметить. Но, кажется, вас приняли за русского шпиона… Не думайте, — продолжал Артамонов, — что здесь, в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные

простаки, ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стала оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не возникло неприятностей.

— Кому же лично я обязан за такое внимание?

Артамонов не стал называть никаких имен:

— Завтра подъезжайте к полю на Баничком Брду, где состоится смотр войск сербской армии, там будет и король…

Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который еще издали протянул мне свою могучую длань.

— Тебе, друже, — сказал Апис, — не стоит возвращаться через Вену или Будапешт, лучше ехать через Болгарию или Румынию, а оттуда пароходом прямо до Одессы…

В павильоне для гостей, изнывавших от жары, был накрыт стол. Среди присутствующих я заметил немало иностранных военных корреспондентов, но зато не было ни единого сербского жандарма. Каждому подали по тарелке с водою, в которой плавала кисть винограда, и отдельно — по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился иносказательно:

— Правду никогда нельзя скрыть целиком, как нельзя и раскрыть ее до конца… Будь осторожен,

друже! А все враги нашей общей свободы скоро должны умереть.

Это было сказано слишком откровенно. Я отвел глаза от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного атташе: Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водою виноградины покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом:

— Вам ведь надобно в Оренбург?

— Да, явиться по месту службы.

— Явитесь, — ответил Артамонов. — Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при Генштабе обнаружится вакансия, и тогда… Тогда, наверное, встретимся!

Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей нам пушками Круппа, навсегда растворилась моя сербская мать. Я думал о том непоправимом счастье ее, если она ушла от нас ради подвига…

«Где же ты, мама?» Из отдаления, из садовой зелени «Жиче», донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив:

*Дрина! Вода течет холодная,*

*А кровь у сербов горячая…*

Каждый серб отлично стрелял. Сербия, можно сказать, с утра до позднего вечера гремела

выстрелами в общественных тирах, шла трескучая пальба в школах и гимназиях, в городах и деревнях, стреляли старики, женщины и дети — каждый серб не только стрелял, но и метко поражал цель… Страна готовилась к обороне! Похвалим ее за это…

### 3. Вакансия

Прямо из Одессы я повернул оглобли на Оренбург…

Готовясь к роли ментора кадетской роты и чтобы не выглядеть «белой вороной», я заранее проштудировал доклады Первого съезда офицеров-воспитателей кадетских корпусов, в которых было немало сказано хороших слов о культуре поведения подростка, о развитии патриотизма в условиях коллектива, о вреде курения, алкоголя и прочее. Для себя я уяснил лишь одно: в педагогике масса светлых идеалов, но еще больше заматерелых шаблонов. Драть подростка за уши или не драть — этот вопрос остался не разрешен мною, но, подъезжая к Оренбургу, я сразу решил, что сажать в карцер буду…

Сам город показался мне привлекательным. Вполне благоустроенный, даже с водопроводом, очень богатый; с давних пор в нем проживало

немало передовой интеллигенции, отчего в Оренбурге процветала книжная торговля. На улицах было полно всяких модниц, одетых как сущие парижанки. Но по тем же улицам, где фланировали красотки, вышагивали и караваны верблюдов с погонщиками из Персии или Афганистана, а в сторону мясных боен гнали стада покорных овец, впереди которых дефилировал красивый и гордый козел. На базарах Оренбурга встречались жители Бухары и Ташкента, Хивы и Коканда, они уходили обратно, нагруженные ситцами, чаем, халатами, искристыми головами рафинада и сверкающими тульскими самоварами. Здесь все покупалось и все продавалось: мерлушка и каракуль, перины и парики, бочки с коровьими языками и кишками, а топленое масло Оренбурга охотно скупалось Турцией и даже Германией.

Кадетский корпус в Оренбурге назывался «Неплюевским» — в честь Ивана Неплюева, делового гуманиста XVIII века, который еще в давние времена ратовал, чтобы готовить для армии детей в офицеры не только из местного казачества, но ласкою привлекать в науку детишек киргизов, башкир и калмыков. Само же здание корпуса поражало своей олимпийской помпезностью. С кадетами я сошелся легко и быстро, чего никак

нельзя было сказать об офицерах корпуса. Среди них было немало порядочных и толковых людей, но многих уже засосала провинциальная рутина. Отчаясь выбиться в столичные города, они искали в Оренбурге купеческих невест побогаче, отстраивали роскошные дачи в Берде, где когда-то шумела «столица» Емельяна Пугачева, и я никак не подходил к дружной их компании, в которой здраво судили о том, что выгоднее сегодня продать, а что лучше завтра купить. Единственное, что я освоил в общении с офицерами оренбургского гарнизона, так это умение пить водку по всем правилам хорошего армейского тона: глотать ее залпом, медлить с закусыванием и никогда не морщиться…

Я не терял надежды оправдать звание офицера «корпуса генштабистов», рассчитывая, что в Оренбурге не задержусь, для меня обнаружится вакансия в Петербурге, и потому чувствовал себя более или менее независимо от высшего начальства. Директор Неплюевского корпуса, бывший кавалерист из улан, был помешан на достижениях гимнастики, желая сделать из кадетов Геркулесов, а я больше хлопотал о духовном и моральном развитии подростков. Стараясь не вмешиваться в классные занятия, я обращал вни-

мание на несуразности в воспитании кадетов, следил за их языком и оценками прошлого.

— Пожалуйста, — внушал я в дортуарах корпуса, — при мне не говорите, что колокольчик «дарвалдает», надо произносить «дар Валдая», так что подзаймитесь географией. А вы, юноша, напрасно решили, что великий поэт Гёте был греком на основании того, что Карамзин любовался его «греческим профилем»…

Я строго следил за чтением кадетов, конфискуя у них книги низкого пошиба или ничего не дающие для развития ума, отчего заслужил в корпусе кличку «Цензор». Но если говорить откровенно, возня с молодежью мне даже нравилась, и если бы не ожидание выгодной вакансии, я, быть может, так и застрял бы в Оренбурге. В этом удивительном городе, поставленном на самом отшибе великой империи, были и свои житейские прелести. Вечерами нарядная публика фланировала по Николаевской, где размещался дом губернатора, и все наблюдали, как на балконе своего дома губернатор с женою пьет чай. Собирались интересные компании в Александровском садике, где струился фонтан. А военный оркестр гарнизона наигрывал беспечальные мелодии из оперетт Штрауса и Оффенбаха, брызжущие

весельем…

Между тем время, в котором я жил и надеялся на что-то лучшее, не располагало к идиллическому спокойствию!

* * *

Весь 1911 год либеральная Россия посвятила череде пышных застолий, отмечая тостами с шампанским полстолетия со дня уничтожения на Руси крепостного права. Печать исподволь уже готовила общество к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года; исправники заранее выискивали в провинциях дряхлых стариков и старух, помнивших пожар Москвы, слышавших гулы Бородина и лично видевших Наполеона.

Министерство финансов сделало официальный запрос: когда же в народных чайных «Общества российской трезвости» станут продавать водку, чтобы казна не терпела убытков? Среди молодежи усилилась тяга к наслаждениям, профессор Фриче выступал с популярными лекциями о «половом вопросе», а пока он там разбирался в этом непонятном вопросе, арцыбашевский герой Санин заявил, что человеку, как и скотине, все дозволено. Петербургские воры забрались в усыпальницу дома Романовых и стибрили с

гробниц царей серебряные венки. В свете строго осуждали глубокое декольте актрисы Гзовской, пытавшейся соблазнить императора, а в военных кругах облаивали военного министра Сухомлинова, велевшего взрывать крепости, строенные на рубежах, сопредельных немецким. Русский купеческий капитал, смело побивая рекорды американских бизнесменов, занял первое место в мире по деловой предприимчивости, Россия вышла на второе место в Европе по количеству книжных изданий (первое же место прочно удерживалось Германией)…

Люди плакали и смеялись, крестили младенцев, провожали новобранцев, шли под венец смущенные невесты, взлетали под облака первые аэропланы, Иван Поддубный бросал на лопатки соперников, все старались думать о лучшей доле. Россия летом — вся в васильках и ромашках, а зимою плыли над ее погостами синие вьюги. Над одичалой церквушкой, что затерялась на косогоре, светила большая и желтая лунища… «О, Русь!»

*Идут века, шумит война,*
*Встает мятеж, горят деревни,*
*А ты все та ж, моя страна,*

*В красе заплаканной и древней.*
*Доколе матери тужить?*
*Доколе коршуну кружить?..*

Германия в это время жила иными заботами. Ее канонерка «Пантера» появилась в Марокко, пушками угрожая выжить оттуда французов. Берлинские газеты ликовали: «Марокко может обеспечить нас ранними овощами, яйцами, мехами, ячменем, хлопком… такие страны дюжинами под ногами не валяются!»

Накануне, выступая перед гарнизоном Кенигсберга, кайзер Вильгельм II призвал войска Восточной Пруссии быть готовыми и при этом грозил отсохшей рукою в сторону России:

— Наша сила в том, что мы готовы начать войну без предупреждения. И мы не откажемся от этого преимущества, чтобы не дать врагам времени подготовиться к войне с нами…

Самые влиятельные газеты Германии ежедневно вколачивали в головы обывателей необходимость хоть завтра начать молниеносную войну. В пресыщенном свете Берлина никто не осуждал откровенное декольте Марии Ранцау, но здесь, как и в России, тоже предавались «столоверчению» и вызыванию духов.

— По теории доктора магии Мевеса, — утверждали немецкие спириты, — эпоха кровопролитий и небывалых разрушений продлится до 1932 года, который в предсказаниях ван Бейнингена окажется роковым: в этом году на весь мир снизойдет великий Сатана, а затем снова наступит райское блаженство…

На маневрах солдаты кайзера упоенно распевали:

*Лишь подвернись русак –*
*Перешибем костяк.*
*Француз разинул пасть –*
*По морде его – хрясть!*
*А если не замолк,*
*Добавь еще разок…*

Генеральный штаб Германии порождал чудовищные афоризмы один другого краше: «Продолжительный мир — это мечта, и даже не прекрасная; война есть существенный элемент божественной системы мира… Наихудшая вещь в политической жизни — апатия и душная атмосфера всеобщего мира… Война никогда не была великим и яростным разрушителем, но только заботливым обновителем и созидателем, вели-

ким врачом и садовником, сопровождающим нас на пути к процветанию...» Так рассуждали в кругу кайзера, а его генштаб пузырился от боевой ярости, как загнивающее болото, в котором не живут даже лягушки.

В 1911 году Германия имела 470 генералов. В этом же году бесславно удалился в отставку генерал Пауль Гинденбург — тот самый, который в 1933 году передал бразды правления всей Германией нахальному ефрейтору Адольфу Шикльгруберу (Гитлеру). Гинденбург, подавая в отставку, уверенно писал: «Война сейчас не предвидится...»

Эта фраза выдает его как последнего глупца!

* * *

Нечаянно я вызвал недовольство директора, когда на учебном совете корпуса выступал с критикой затвержденного мнения: «в здоровом теле — здоровый дух». Чтобы полемизировать, мне пришлось сослаться на пример древней Спарты.

— Спарта, — сказал я, — дала непревзойденных атлетов, но от нее так и не дождались ни единого мыслителя, ни одного поэта. Так что физическое развитие не всегда способствует развитию интеллекта. На мой взгляд, слово «спартанец» в наши

дни можно перевести на доходчивый русский язык всего лишь в двух убедительных словах: «здоровущий балбес!».

Генералу не понравилось мое замечание. Отношение офицеров ко мне стало хуже, когда в столичных газетах я опубликовал серию очерков под заглавием «У Ядранского моря»; правда, я укрылся под псевдонимом «Хорстич» (по фамилии матери), но о моем авторстве вскоре пронюхали в Оренбурге, и среди сослуживцев я встретил осуждение как выскочка.

— Не понимаю, — оправдывался я, — что тут дурного, если молодой офицер не только служит, но и посвящает досуг литературе? Не забывайте, что великий Суворов всю жизнь писал стихи, молодой Наполеон не мечтал потрясать мир своими победами, а писал драмы, мечтая о славе писателя…

Обо мне стали блуждать по Оренбургу всякие вздорные слухи. Когда о человеке ничего не знают, тогда начинают выдумывать, а выдумывая, редко говорят хорошее. Чаще забрасывают грязью. Конечно, любую грязь можно отмыть, но что-то грязное все равно остается. Скоро с этим печальным явлением я буду вынужден соприкоснуться вплотную, и моя репутация сильно

пострадает. Я умышленно начал сторониться офицерского общества, заведя немало знакомств с инженерами-путейцами; они же — из лучших дружеских побуждений — завершили мою практику вождения паровозов, которую я чисто любительски постигал еще на границе в Граево. Там я, под надзором приятелей-машинистов, пробовал водить локомотив системы «компаунд», приспособленный для казенных дорог Восточной Пруссии, а в Оренбурге как следует освоил паровоз германских заводов знаменитого Августа Борзига, двигал вперед курьерский — системы «Н», строенный на Коломенском заводе. В каждом мужчине, наверное, остается что-то мальчишеское, и мне было приятно движение грохочущей, раскаленной машины, покорившейся мне…

Неизвестно, насколько бы затянулось мое командование ротой кадетов в Неплюевскам корпусе, если бы я не получил служебную телеграмму из Генштаба: «Просим срочно выехать в Петербург…» Я не замедлил прибыть, и мне было сказано:

— Нам известно, что вы покинули Академию, недовольные, что для вас не осталось вакансии. Таковая неожиданно обнаружилась, и мы рады оповестить вас об этом.

Естественно, я сразу же поинтересовался:

— В каком из отделов Генштаба мне придется служить?

Беседовавший со мною дежурный офицер загадочно переговорил с кем-то по телефону. Наконец трубка аппарата была оставлена в покое. Теперь он взглянул на меня как-то иначе:

— Все объяснят вам в кабинете сорок четвертом.

— Простите, а что там?

— Разведывательный отдел Генерального штаба…

Мне следовало появиться там завтра. Донельзя взволнованный, я проехал на Загородный проспект, и у Пашу встретился со старым запьянцовским другом. Конечно, я не стал рассказывать Щелякову о собственных переживаниях, я был одновременно и чуть растерян, и чуть подавлен, но пить вино отказался.

— Потом! Как-нибудь в другой раз… Лучше возобновим прежнюю тему разговора о том заборе, который непозволительно перелезать, Россия имеет сто одиннадцатую статью для наказания шпионов ссылкой в места отдаленные, где очень хорошо морозить волков. Как же к этому делу относятся немцы?

— К сожалению, у них нет Сибири, — ответил Щеляков. — Зато есть статья № 49а, карающая отсидкой в Моабите. Но в Англии к этому делу относятся совсем наплевательски. Там судья надевает черную шапочку, дабы прикрыть себе лысину, и любезно объявляет шпиону: «Вы будете повешены непременно за шею и будете висеть на веревке до тех пор, пока не сдохнете, да сжалится великий господь над вашей заблудшей душою!»

### 4. Плацкартой до Собачинска

— Разве тебе плохо служилось в Оренбурге?

— Хорошо. Но меня вызвали, — отвечал я отцу.

— Вызвали? Зачем?

— Наверное, ждет повышение.

— Слава всевышнему, — истово перекрестился папочка. — Я ведь всегда верил, что мой сын пойдет далеко. Может, это и к лучшему, что ты порвал с этой грязной девкой Фемидой…

Состоялся первый разговор в кабинете № 44. Моим собеседником оказался еще молодой офицер, уже с орденами, до этого мне совсем незнакомый, и, судя по его первоначальным вопросам, я догадался, что главная беседа состоится позже, а сейчас меня лишь деликатно прощупывают.

— Скажите откровенно, вы никогда не виделись

с венским военным атташе в Санкт-Петербурге?

— Графом Спанокки?

— Выходит, вы его знаете?

— Нет. Просто его имя упоминалось в газетах.

— И вы это имя сразу запомнили?

— У меня отличная память.

— Кому писали последнее время почтой?

— Отцу.

— А на Гожую улицу, дом тридцать пять?

Вот уж никак не ожидал такого вопроса.

— Если вы имеете в виду варшавский адрес, который дала мне в «Поставах» некая наездница пани Валежинская, то я этим адресом для переписки никогда не пользовался, хотя женщина, живущая там, достойна всяческого внимания…

Мой собеседник перешел к делам Белграда:

— Вам известны причины, заставившие Георгия передать свои права на престол брату-королевичу Александру?

— Говорят, он в запальчивости ударил своего камердинера, что и явилось причиной смерти этого человека.

— Не совсем так, — поправил меня собеседник. — На удалении старшего сына от престола Сербии настоял сам отец, ибо Георгий резко выступал за немедленный разрыв с Австрией и бряцанием

оружия слишком насторожил Вену. Но старый король понимал, что Сербия будет разгромлена, поскольку Россия ныне еще не готова поддерживать ее... Каковы ваши личные отношения с наследником Александром?

— Почти дружеские и весьма доверительные, ибо в Училище Правоведения я был его наставником, а Александр, еще будучи мальчиком, относился ко мне как к старшему брату...

— Где вы убиваете свободное время?

— Время, — ответил я, — это не жалкий комар, чтобы его убивать, а свободного времени у меня никогда не было.

— У вас есть на примете невеста?

— Нет.

— Связи с женщинами?

— Нет...

Неслышно отворилась боковая дверь кабинета № 44, вошел пожилой полковник и, послушав нас, спросил:

— А какими языками владеете?

Я назвал французский, немецкий, английский, польский.

— И два родных языка — русский и сербский.

— С последнего и следовало начинать.

— Начинать, — ответил я, — следовало бы все-

таки с русского, а уж потом можно упомянуть сербский, освоенный мною еще с пеленок в разговорах с матерью.

Полковник представился по фамилии — Сватов. И после этого присел подле, коснувшись меня своими коленями. Он сказал:

— С такой внешностью надо бы играть в театре Бонапарта, который в молодости был чем-то похож на вас.

Это меня даже рассмешило:

— Скорее уж не Бонапарт на меня, а я похож на Бонапарта.

— Допустим, — согласился Сватов, переглянувшись с моим прежним собеседником. Уже вечерело, и за окнами кабинета виделись золотые огни царственного Петербурга. — А сейчас, — сказал Сватов, — вы должны откровенно поведать нам о своих отношениях с Драгутином Дмитриевичем.

– *Аписом?*- переспросил я, удивленный.

— Да. Только просим вас не утаивать свое участие в событиях третьего года, когда конак остался без Обреновичей.

Я откровенно рассказал обо всем:

— Можете верить, что в заговоре офицеров Дунайской дивизии я оказался случайной фигурой

и мною двигало не столько желание перемен на королевском престоле в конаке Белграда, сколько желание найти следы матери в том же Белграде.

— У вашей матери были причины покинуть отца?

— Я не желаю вникать в интимные отношения между родителями. В подобных вопросах лучше не знать истины. Но мое мнение таково, что если женщина покинула мужа, то, надо полагать, виноват более жены муж…

Говоря так, я разволновался. Сватов сказал:

— Вы не потеряли надежды отыскать ее следы?

— Пока еще нет.

Сватов размял в пепельнице окурок папиросы.

— Мы… тоже! — вдруг сказал он. — Догадываясь, что эта тема обязательно возникнет в нашей беседе, мы заранее опросили русских консулов за границей, покопались в своих архивах, но все наши поиски пока остались безрезультатны. Если вам будет угодно, мы эти поиски еще продолжим.

— Премного буду обязан.

— Благодарить рановато, — хмуро отозвался Сватов. — Давайте сразу перейдем к делу. Вопрос с вакансией при Генеральном штабе, наверное,

вскоре решится, а сейчас… Сейчас где бы вы хотели служить — в старой или в молодой гвардии?

Предложение было лестным. Я ответил, что старая гвардия, такие ее полки, как Семеновский, Преображенский, Измайловский и прочие, имеют дорогостоящие амбиции:

— Надо иметь собственный выезд или нанимать только «лихача» на резиновых шинах. В театре обязательно занимать кресла между пятым и десятым рядами, а другие места в партере для старогвардейца считаются уже «неприличными». Такая служба для меня просто не по карману! Так что лучше уж в молодой гвардии, где нет таких традиционных условностей.

Сватов предложил мне послужить в лейб-гвардии стрелковом батальоне, квартировавшем в Ораниенбауме:

— Такие люди беднее и проще, собрались одни трезвенники, деньги тратят на пополнение библиотеки батальона. А вам, учившемуся стрелять у буров, как раз место в компании наших Вильгельмов Телей… Ну как?

— Я не возражаю, господин полковник, но не могу сделать правильных выводов из нашей беседы, — сказал я.

— Могли бы и догадаться. Мы люди занятые и

просто так не стали бы отзывать вас из Оренбурга, чтобы поболтать с вами. Разведывательный отдел Генерального штаба заинтересовался именно теми вашими качествами, кои могут быть удобны для ведения агентурной разведки внутри тех государств, которые в случае войны окажутся врагами России… Догадываетесь?

— Конечно.

— Только не старайтесь драматизировать свое положение, — продолжал Сватов. — Ваше согласие мы не станем вырывать из вас раскаленными клещами. Пусть совесть русского патриота подскажет вам, где вы нужнее всего сегодня: или опять причесывать кадетов Неплюевского корпуса, или забраться туда, куда Макар телят не гонял. А пока постреляйте себе в удовольствие. Наш разговор будет иметь продолжение…

Я ушел домой, встревоженный, даже ошеломленный. Возникали сомнения: готов ли я? достаточно ли умен? хватит ли мне сил? Наверное, всегда останется щепетильный вопрос, как относиться к разведке — или это вид искусства, вроде актерского, где все построено на эмоциях и перевоплощениях, или это подобие точной науки, как было в случае с химиком Менделеевым? Скорее всего, думалось мне, разведка — это сов-

мещение эмоциональных и умственных качеств человека, а ценность агента разведки возрастает по мере его любви к родине…

— Где ты был? — спросил меня отец.

— Хлопотал, чтобы меня перевели в гвардию.

— Для этого, сын мой, надо иметь большие связи.

— Очевидно, они у меня нашлись…

Еще со времени службы в погранстраже Граево я знал понаслышке, что генштабисты, причастные к делам агентуры, служили по трем военным округам, примыкавшим к западным рубежам родины. Киевский был нацелен против Австро-Венгрии, Варшавский готовился отразить нападение Германии, а Одесский округ предупреждал возможные конфликты с боярской Румынией, отношения с которой в ту пору никого не радовали, ибо румынский король Карл I (из семьи Гогенцоллернов) ориентировался на Германию. Моего ума хватило, дабы оценить главное: служба в стрелковой лейб-гвардии — для отвода глаз, а работать предстоит по Киевскому военному округу, где с берегов Днепра я снова увижу балканские кручи…

* * *

На самом же деле все было гораздо сложнее, нежели я полагал, будучи еще наивным простаком в таких делах. Оказывается, все офицеры «корпуса генштабистов», окончившие «полный» курс Академии Генштаба, давно учитывались в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время способные появиться в империях Гогенцоллернов или Габсбургов. Стоило нам прицепить к плечу роскошный аксельбант, как мы сразу же попадали под негласное, но пристальное наблюдение иностранной агентуры: где мы, что делаем, каковы успехи в карьере? Мы сдавали экзамены, ездили в Баболово представляться царю, мы кутили у Кюба, а сами уже сидели на крючке, пронизанные насквозь чужим и недобрым взором…

Об этом я узнал позже, а сейчас был зачислен в лейб-гвардии стрелковый батальон. Здесь была своеобразная обстановка: даже фельдфебели обвешивались шевронами и звенели медалями, полученными за отличную стрельбу, а меткость попаданий служила чуть ли не главным мерилом всех достоинств человека. Я не стал нарушать традиций батальона, и после упорной трени-

ровки на стрельбище пробивал любую мишень точно в ее центре. Этим я заслужил уважение в офицерском казино, где вечерами устраивались собрания. Офицеры дискутировали на литературные и прочие возвышенные темы. Допоздна спорили о достоинствах поэзии Надсона и Фофанова, ниспровергали Лейкина и превозносили Чехова, восторгались «лапинскими» изданиями музеев Парижа, силились понять претензии «мирискусников» с их поисками в видении былой русской жизни.

В обществе этих культурных людей, брезгающих выпивкой, картами и анекдотами о неверности женщин, мне было интересно и хорошо, хотя в глубине души я уже истерзался ожиданием неизбежного прыжка над пропастью. Почему-то все чаще стал вспоминаться разоблаченный мною майор Берцио, его неловкая растерянность, когда я, отняв у него шпионский теодолит, просил расстегнуть запонку и снять с шеи воротничок…

Но как бы я ни мучился, будущее не страшило, а приятно волновало меня. В одну из пятниц, когда я приехал из Ораниенбаума в столицу, отец сообщил мне:

— Вчера телефонировали, чтобы в субботу ты был у полковника Сватова на его квартире. Вот

и адрес…

На самом деле меня звали на «явочную» квартиру для нелегальных свиданий агентов с начальниками разведки; среди мещанской обстановки с неизбежными фикусами на полу и геранью на подоконниках, за плотными занавесками, укрывающими окна с улицы, можно было говорить откровенно. Сватов был не один, меня поджидал и какой-то мордатый господин в штатском, который и не подумал представиться.

— Очевидно, решение вами принято?

— Я весь к услугам Генштаба.

— Присаживайтесь… Хорошо, что вы не женаты. Холостому человеку легче владеть собой. Хитроумный Талейран утверждал, что человека, имеющего семью, легче заставить совершить нечестный поступок. Практика доказывает это…

Стол был накрыт к моему приходу, его убранство украшал «готический» графин с рябиновкой завода Смирнова и бутылка коньяку знаменитой фирмы «Шустов и сыновья». Я сразу заметил, что мордатый (буду называть его так) усиленно подливает мне в рюмку, очевидно, желая проведать, каков я на выпивку. Тогда я отодвинул от себя рюмку, а мордатый с явным огорчением, почти сердито затолкал пробку в бутылку.

— Все ясно, — сказал он. — А ваше решение окончательное?

— Иного и быть не может.

— И у вас, как у большинства людей, всегда сыщется вексель, который вам желательно, чтобы мы его оплатили?

Вопрос поставлен. Надобно отвечать:

— Вексель к оплате у меня только один. Помогите мне отыскать мою мать, и в награду мне больше ничего не надо. Если же вас интересует моя нравственность, могу доложить честно: выпить люблю, но я не пьяница, умею нравиться женщинам, но ловеласом никогда не был, карточного азарта не испытываю, долгов не имею, как не имею и лишних денег.

Мордатый господин не нравился мне, и я демонстративно повернулся к Сватову, который помалкивал:

— Какова же судьба майора фон Берцио?

— Отбывает срок в Тюмени, где его недавно навещала жена, приезжавшая для этого из Германии. Он разоблачен, и с ним все покончено, — объяснил Сватов. — Теперь давайте по существу. Не удивляйтесь, что вы где-то уже значитесь в криминальных досье наших будущих противников. На учете все ваши дела, все доблести и

все пороки, которые одинаково уязвимы, если агент влипнет, как муха в чужую замазку… Вся сложность в том, как ввести вас в агентуру Генерального штаба. Эта задача гораздо сложнее, нежели вы думаете…

Мордатый стал выковыривать пробку из бутылки.

— Все-таки я выпью, — сказал он. — Нам желательно провести вас таким образом, чтобы соблюсти полную безопасность для вас и ради того дела, которое предстоит выполнить. Из множества клавиш рояля надо точно отыскать единственную, что станет необходима для нашей мелодии.

— Знание сербского языка, — заговорил Сватов, — заранее подсказывает, что вам лучше всего быть на Балканах. Но вы там уже наследили. Значит, удобнее начинать там, где вас никто не ждет, благо Вена уверена, что вы можете появиться в Австрии только со стороны Белграда, а мнение Вены, конечно же, давно известно в Берлине…

— Посылайте меня куда угодно! Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки из хвост.

— Не спешите быть остроумнее попугая. Тут требуется особая осмотрительность. Чтобы за-

путать следы и надолго выпасть из поля зрения врагов, вам предстоит исчезнуть.

— Как исчезнуть? — удивился я.

— Именно это мы сейчас и продумаем… В любом случае, — было сказано мне, — вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок. Я объясню вам ситуацию, весьма неприглядную для нас…

Не хотелось верить, что сама Россия и ее армия уже опутаны сетями шпионажа, что Берлин знает о нас все то, что держится в секрете, запертое в глубине несгораемых сейфов. Сватов подтвердил, что Германия имеет агентов в каждом из сорока восьми корпусных округов России:

— К тому же стремится и Австрия, но ее агентура работает слабее немецкой. К сожалению, многие из шпионов поныне еще не разоблачены, а наши ротозеи слишком откровенны во всем, где надо бы молчать! Сейчас мы растанемся, — заключил Сватов, — но прежде продумаем план, как вам предстоит вести себя, чтобы поскорее исчезнуть для всех…

* * *

С этого дня началось мое моральное падение, всем видимая деградация личности, что никак

не совместимо со званием русского офицера, тем более в гвардии. Я начал неумеренно пить, меня замечали в обществе игроков и дурных женщин. Я стал манкировать службою, являясь в свой батальон не в лучшем виде, городил чепуху и пошлости. Наконец я пал столь низко для офицера, что задолжал даже официанту в ресторане. Конечно, сослуживцы стали меня сторониться, выказывая этим свое презрение.

Но я ведь отныне и не желал им нравиться, а потому нарочно хвастал успехом у женщин, все поминал Шурку Зверька и Марусю Кудлашку (известных в ту пору гетер столичного полусвета). Никто уже не подавал мне руки. В создании вокруг меня отвратительной дым-завесы мне исподтишка помогал и сам отдел разведки Генштаба, распуская слухи, что я — негодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. Наконец однажды утром я появился перед командиром стрелкового батальона в неудобопотребном состоянии, оправдывая себя известными строчками: «А кто с утра уже не пьян, тот, извините, не улан…»

Всему есть предел, и на «явочной» квартире я доложил Сватову, что больше так не могу жить:

— Легче застрелиться, нежели испытывать на

себе брезгливое отношение порядочных людей, глядящих на меня как на падаль. Кончится все очень плохо.

— В этом у меня нет никаких сомнений, — ответил Сватов. — Но вы обязаны вытерпеть до конца все, что вам уготовано. А для создания удобной мимикрии необходима доля цинизма…

Вокруг меня образовалась зловещая пустота. Мне был объявлен негласный бойкот. Как бы то ни было, но своего я добился: собранием офицеров стрелкового батальона я был лишен чести, меня изгнали из рядов гвардии за недостойное поведение, позорящее русского офицера. Затем приказом по столичному округу меня исключили из «корпуса генштабистов», с моего плеча был сорван аксельбант, столь украшавший меня…

Сватов при очередной встрече заявил:

— Видите, как все удачно получилось? Теперь осталось дело за малым: загнать ваше ничтожество в самый захудалый гарнизон. Допустим, в город Собачинск… Знаете такой?

— Никогда даже не слышал.

— Потому что его не существует. Но в приказе он будет так и обозначен для видимости, необходимой лишь для приказа.

Мне предстояло сесть на сибирский поезд даль-

него следования с плацкартным билетом… хоть до Иркутска!

— Подразумевается, что, доехав до этого запселого Собачинска, вы, конечно, подаете прошение об отставке, которое и будет нами в Петербурге оформлено по всем правилам. А после этого… Откуда мы что знаем! — со смехом сказал Сватов. — Может, вы уже валяетесь под забором или в игорных домах дикой провинции вас бьют как неисправимого шулера… Будем считать, что вы пропали для всех, вы пропали для резервов нашей разведки, — вас попросту не существует.

— Забавно! Но что же дальше?

Сватов протянул мне деньги и новенькие документы.

— С ними вы в Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву, а в Варшаве на площади перед вокзалом возьмете извозчика, бричка у коего имеет 217-й номер. Он вас отвезет на Гожую улицу, прямо к дому тридцать пятому.

— Опять Гожая?

— Да. Там вас будет ожидать автомобиль, можете довериться встречающим. Остальное вас просто не касается…

Я все понял! Но ничего не понимал мой бедный отец. Провожая меня на вокзале в далекую глу-

хомань таежного «Собачинска», он откровенно рыдал, и его слова были упреками мне.

— Сын мой, — говорил папа, — ты ведь так хорошо начал… такая карьера открывалась перед тобою, и ты все сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги! Я был одинок, я заменял тебе мать, я ничего для тебя не жалел… Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову!

Петербург медленно растворился в синем угаре наступавшего вечера. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моем мнимом «падении» затаилось скорое возвышение.

В купе я переоделся в штатское платье, вооружившись тросточкой. Стал пижоном. Как и договорились со Сватовым, я в Казани «отстал» от своего сибирского поезда и совсем другим человеком пересел в экспресс, идущий на запад. Теперь я изображал молодого приват-доцента Казанского университета по кафедре истории. В беседах с пассажирами, невольно возникавшими за время долгой дороги, я охотно рассказывал о себе.

— Понимаете, как это важно для истории! — ораторствовал я с папиросой в руке. — Профессор Мартенс сообщил мне, что в архивах Варшавы нашлась неизвестная переписка Наполеона с аб-

батом Прадтом, которого он перед нашествием на Москву назначил послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами и вот… еду!

Изображать молодого ученого, безумно влюбленного в свой предмет истории, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели в Ораниенбауме притворяться сволочью и пропащим забулдыгой. На одну из дам в поезде, ехавшую к мужу в Варшаву, я, кажется, произвел должное впечатление.

— Боже! — восклицала она. — Вам, непременно только вам и писать о Наполеоне… вы и сами-то — вылитый Наполеон!

Наконец показались затемненные предместья Варшавы, трущобы бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костелы. На извозчике № 217 я прикатил на Гожую улицу, навстречу мне выехал «фиат»; помимо шофера, в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании Академии Генерального штаба.

— Николай Степанович, — назвался он. — Я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шоферу, который и повезет вас в места старой польской Мазовии, где вас быст-

ро научат, как правильно танцевать мазурку… Садитесь!

Это был знаменитый полковник Батюшин, управляющий разведкой против Германии, человек почти легендарный. В Петербурге меня только «закрыли» для общества, а теперь — под началом разведки Батюшина — мне предстояла трудная задача «раскрыть» самого себя и свои качества, пока что дремлющие втуне…

### 5. Расплата по векселю

Мы долго ехали в глубь Мазовии, но, кажется, шофер нарочно петлял по окружным дорогам, чтобы я потерял ориентировку. Уже стемнело, и только по звездам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец впереди показалось темное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольварк. Издали оно почти сливалось с густою рощей, прикрывающей ее со стороны проезжей дороги. Шофер, нажав скрипучий клаксон, въехал во двор усадьбы, и за нами, как в заколдованном замке, сами собой со скрипом затворились железные ворота. Я оказался в секретной школе, готовившей агентов для засылки в соседнюю Германию.

— Нас никто не встречает, — сказал я шоферу.

— Встретят, — небрежно отозвался тот…

Было тихо в засыпающей природе, тихо было и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек топорной внешности с маленькими кабаньими глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонек опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других, но мне показалось, что я предстал перед главным инквизитором. Хромой никогда не называл мне своего имени, так и оставшись в моей памяти лишь Хромым… Хромой сказал мне:

— Не старайтесь выяснять, как называется место, куда вас доставили. Чувствуйте себя свободно, ибо в нашем убежище, вдали от мирской суеты, вы задержитесь недолго.

— На…

— На такой срок, какой окажется достаточным для вашей подготовки. Вы, наверное, устали после дороги? Прислуга уже ушла, окажите честь отужинать вместе со мною.

Хромой выключил электричество. Мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние.

Мне было хорошо и даже покойно в старинных апартаментах польского магната, от которого, наверное, и костей давно не осталось. В конце ужина Хромой скептически оглядел меня:

— Вы не очень-то удобный человек для разведки. Слишком выразительная внешность. Прическу следует изменить. Советую расчесывать волосы на прямой пробор. Надо отпустить усы, и вообще старайтесь привить себе видимость богатого пошляка.

— Постараюсь, — покорно отвечал я.

Хромой поднялся из-за стола, звеня связкою ключей, словно тюремщик, решивший открыть для меня свободную камеру:

— Пойдемте. Я проведу до вашей комнаты.

— Благодарю. Что у вас с ногой? — вежливо спросил я.

— А! Дело прошлое. Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колесами. Вот немного и задело…

Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я все-таки не был способен. Мы миновали громадный зал, где в прошлом кружились в мазурке волшебные пани и паненки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки. При лун-

ном свете я разглядел на корешках книг золотые гербы, но здесь же, среди старья, высились полки и с новейшими изданиями.

— Что вы умеете делать? — последовал вопрос.

И тут выяснилось, что я, всю жизнь что-то делая, ничего практически делать не умел. В оправдание себе я напомнил о юридическом образовании, о трех курсах Академии Генштаба.

— Я не об этом, — раздраженно пресек меня Хромой. — Я вас спрашиваю о навыках какого-либо мастерства.

Такового у меня не было. Что-то недовольно пробурчав, Хромой отворил для меня двери комнаты, где стояла кровать, убранная кружевами, словно здесь ожидали непорочную невесту, а я, наверное, должен был исполнить для нее брачную эпиталаму. Но здесь же размещались шкафы, плотно заставленные книгами, и Хромой указал на них связкою бренчащих ключей:

— Здесь не сыщете Вербицкую или романы Потапенко, здесь вам предстоит читать только серьезные книги.

Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц.

— Тем лучше, — кивнул Хромой. — Вас решено

готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на Пратере никто не станет ждать, побываете и на Балканах… Пока все. Спокойной ночи.

Блаженно вытягиваясь на чистом ложе, я взял на сон грядущий из шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось: «Как мог сюда затесаться Ренан?» С удивлением я прочел отрывок из его полемики с немецким философом Давидом Штраусом. «Политика, — писал Ренан, — должна отстаивать права народов. Немецкая же политика — расовая, и мы думаем, что наша лучше. Слишком самоуверенное деление вами человечества на расы… ведет к истребительным войнам! А каждое укрепление германизма вызывает отпор в мире славянства… Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своем историческом пути столько различных народов! России, — заканчивал полемику Ренан, — предназначено быть ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, не чисто итальянский Пьемонт, не чисто немецкая Пруссия стали центрами греческого, итальянского и германского единства…»

Книга выпала из моих рук — я очень крепко уснул.

* * *

Не буду подробно рассказывать, как меня «вводили» в Германию: выражаясь образно, меня притирали к ней, словно пробку к флакону с дорогими духами. Изолированный от мира в этом замке Мазовии, я прошел хорошую выучку. Для каждой темы у меня был отдельный наставник. Мне прививали способность к оценке даже таких вещей, какие в обыденной жизни государства вряд ли оцениваются самими немцами.

Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии должно навести агента на мысль о заготовке консервов. Если же они в продаже не появлялись, значит, лежат на складах армии, чтобы потом ими кормились в окопах офицеры. Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах рейхстага, где левые скамьи занимали социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался «отцом» фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как «Средняя Европа»; восточные границы ее

Ратцель умышленно не указывал, давая понять, что Польша и Россия в будущем испытают силу немецкой экспансии. Зато «великая Германия» пангерманцами помещалась в центре Европы, уже поглотившей в себе Голландию, Румынию, Бельгию, Сербию, Прибалтику и Украину… Вот вам и Ратцель! Читал его труды еще раньше, но только теперь понял страшную подоплеку его вроде бы безобидной «географии», на самом же деле точно указывающей будущим фюрерам, куда идти, что делать, что присваивать…

Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы:

— Хороший агент разведки не будет считать документ уничтоженным, даже если он пройдет через фановую систему туалета. Лучше всего испепелите его, спустив пепел с водою через кухонную раковину. В сложных обстоятельствах дышите ровнее, старайтесь реже моргать: моргающий не так внимателен, как надо бы. Если чувствуете преследование, не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человеку в очках стоит лишь принято нужное положение тела, и вы

всегда будете видеть в отражении стекол то, что творится у вас за спиною…

Он оказался человеком знающим, многоопытным, и мне оставалось только догадываться, что жизнь преподала ему чересчур жестокие уроки. Однажды за обедом он вдруг смахнул со стола все ножи и вилки, оставив две тарелки, и спросил меня:

— Быстро! Чем бы вы стали убивать меня, если вам срочно понадобилось уничтожить меня насмерть?

Я замахнулся тарелкой, показывая удар плашмя по голове.

— Так дерутся в трактирах одни лишь пьяные извозчики, — высмеял меня Хромой. — А настоящий агент разведки уничтожает противника тарелкой, но иным способом… вот как!

И в его руках обычная суповая тарелка превратилась в смертоносное оружие. Под руководством Хромого я изучал способы шифровки системы «Цезарь», он же учил меня пользоваться «прыгающим кодом», более сложным. Немало повозился я с фотографированием карт и планов карманным аппаратом «Экспо» (американского производства), с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских

часиков; вделанный в искусственную гвоздику, такой аппарат носился на лацкане пиджака, позволяя незаметно снимать нужное.

Хромой натаскивал меня, как легавую на крупную дичь, своими советами, которые я оценил гораздо позже:

— Разведчику можно делать все, но все надо делать не так, как делают все. Не сразу садитесь в кресло, которое вам предложат, или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки анфас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку. Существует «шелковый порошок», незаметный для глаза, которым заранее покрывают подлокотники кресла, коробки сигар и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев.

Дни умственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. Бывая в бюро Батюшина, я не раз — под видом секретаря — присутствовал на допросах разоблаченных германских агентов. Это была практика для меня, да еще какая! Передо мною длинною чередой прошли разные гувернантки, землемеры, лесоводы, трубочисты, рантье, коммивояжеры по

продаже швейных машинок «Зингер» и прочий люд, продававшийся за деньги и очень редко становившийся шпионами ради патриотических побуждений. При мне Батюшиным был разоблачен офицер германского генерального штаба, и Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот окончил:

— Вы из Лорраха или из Фрейбурга?

Германия готовила самых ценных агентов в двух школах: Лоррах укрывался в горах Баварии, Фрейбург находился в Брейсхау. Попадались и «любители», которым все равно кому служить, лишь бы им платили. На моих глазах таких «любителей» быстро перекупали на русскую сторону; это были неприятные моменты — ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и двойники-шпионы на международном арго назывались «герцогами». Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами и продавали своих нанимателей, а полковник Батюшин посмеивался:

— Чему дивитесь? В разведке издавна существует немецкое правило: отбросов нет — есть только резервы, а русские говорят: в трудной дороге и жук — мясо…

Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе

и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. В ее леса и болота были вкраплены печальные польские «каплицы», руины монастырей, приаров, встречались обнищавшие фольварки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах давно вымерших шляхетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам — «эпитафийным», и мне, стоящему над гробницей, иногда бывало жутко видеть надменных пани в кружевах и мехах, они глядели на меня, еще живущего, из мрачной тьмы XVII и даже XVI столетия…

В один из дней, когда я вернулся в замок после прогулки, Хромой, хозяин замка, встретил меня странными словами:

— Кто в разведке работает один, тот живет дольше. Но вам, милейший штабс-капитан, все-таки предстоит жениться…

Это было сказано с таким спокойствием, будто речь шла о режиме диетического питания. Зато я возмутился:

— Позвольте, это уж никак не входит в мои планы!

— А у вас не может быть никаких планов. Все

планы составляют в разведке независимо от желаний агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, нравилась…

Сердечные чувства разведчика всегда учитывались лишь в отрицательном значении: их вообще не должно быть! Сколько опытнейших агентов погибло на виселицах только из-за того, что в их работу вмешалась любовь. Это касалось не только людей, мне вдруг вспомнилась одна смешная история. В 1915 году, на фронте в Вогезах, французам доставил немало хлопот громадный немецкий кобель по кличке Фриц, который в роли шпионского курьера не раз переходил линию фронта, всегда неуловимый. Тогда французские солдаты, которым в остроумии не откажешь, посадили на тайной тропе любвеобильную суку по кличке Жужу. Забыв о служебном долге, Фриц растаял перед красотою Жужу и, опустив хвост, потащился за нею… она его и привела в лагерь французов! Тут его схватили, извлекли из ошейника тайное донесение, после чего пес, изменивший своему кайзеру, и был расстрелян (а точнее — казнен) как опасный шпион Германии…

* * *

Неожиданно в наш замок приехало начальство во главе с Батюшиным, с ним был и Сватов, нагрянувший из Петербурга; стало ясно, что их визит неспроста, сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали:

— Вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то вас тревожит или угнетает предстоящее испытание? Вы скажите честно. Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упреков вам делать не станем.

Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается:

— Я все-таки офицер российского Генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца.

— Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писанной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может, у вас имеются неприятные долги, которые мы беремся покрыть из казны. Может, вам просто желательно пожить в свое удовольствие перед разлукой с отечеством… Не стесняйтесь. Сейчас ваша жизнь уже поставлена

«на бочку», и мы согласны исполнить любую вашу просьбу.

— Благодарю, — обозлился я. — Но вы еще не расплатились со мной по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате.

Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что мое требование не доставило им удовольствия.

Гости деликатно, но довольно-таки внятно намекнули мне, что теперь я способен к работе тайного агента, на что я отозвался безо всякой любезности:

— У нас получается как в том анекдоте: «Играете ли вы на рояле?» — спросили даму. «Не знаю, — честно отвечала она, — я ведь еще не пробовала...»

— Ничего. Попробуете, — было сказано мне в утешение.

— Итак, — напористо заговорил Сватов, — ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург... Вас оставят в гамбургском квартале Сант-Паули, куда порядочный человек соваться никогда не станет. Вы будете без оружия, без денег и без документов, как матрос, корабль которого ушел в море без него. Таких бродяг в Гамбурге много, полиция к ним привыкла, и для

вас это будет намного безопаснее…

Меня просили выбрать для работы условное имя.

— Зовите меня просто… Наполеон!

— Нет уж, — засмеялся Батюшин, — с таким именем в Европе лучше не показываться. А если… Цензор?

— Выходит, вы извещены, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за мое пристрастие проверять их читательские интересы. Что ж, я согласен и на Цензора.

Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду в числе многих блюд подали и заливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане, в рот рыбине повар воткнул пучок зеленой петрушки.

— Наверное, — сказал я, — с таким же старанием и любовью вы сервируете и меня для последнего отпевания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки.

За столом мои начальники переглянулись.

— Еще не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большой скорости, — осторожно заметил Сватов.

— Жалко, если пропадет мой билет. Он ведь тоже чего-то стоит. Поедем дальше, и... будь что будет!

Обед закончился в тягостном для всех молчании, после чего Батюшин попросил меня выйти с ним в сад.

— У вас неплохо развито нервное предчувствие, что в разведке всегда пригодится, — похвалил он меня. — В самом деле, мы ехали сюда с известием, которое для вас, господин штабс-капитан, может оказаться весьма огорчительным.

— Что-нибудь случилось с отцом? Он жив?

— За отца не волнуйтесь. Жив и здоров. Но вдруг обнаружилась ваша мать, и совсем не там, где мы надеялись отыскать ее следы. Мы нашли ее в Вене, но уже под другой фамилией.

— Говорите все как есть, — взмолился я.

— Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женой вдового австрийского генерал-интенданта Карла Супнека, и хорошо, что вас не успели послать в Австрию, ибо эта причина, чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу.

Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая непомерно горда своим сербским происхождением:

— Мне трудно поверить, что она может состоять

в браке с австрийским генералом, угнетателем ее родины.

— Вы правы, — деликатно согласился Батюшин. — Но генерал Карл Супнек из онемеченных чехов, каких немало в армии Франца Иосифа, и он хороший муж для вашей матери. Они живут в достатке, у них собственный дом на углу Пратерштрассе — там, где поворот на Флорисдорф с его загородными дачами…

Я долго не мог прийти в себя от такого сообщения:

— Не ожидал! Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков…

— Не горячитесь. Как говорят сами же венцы, «нур нихт худелн» (только не торопоиться)! В этом их мудрость смыкается с нашей, ветхозаветной: тише едешь — дальше будешь.

— Окажись я в Вене, могу ли я ее повидать?

— Ни в коей мере! — отрезал Батюшин. — Ваша работа на пользу разведки Генштаба возможна лишь при том условии, если вы не пожелаете с нею встретиться. Вы можете явиться пред матерью только в единственном случае…

— Где же он, этот единственный случай?

— Когда вопрос станет о вашей жизни или

смерти.

Батюшин подал мне руку. Я пожал ее:

— Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но зато очень много должен я сам.

— Кому?

— Своей *матери* — России… честь имею!

### 6. Встретимся в германии

Надо отдать должное немцам: они умело обогащались за счет приезжающих лечиться или бездельничать на их знаменитых курортах. Берлин сознательно заманивал русских в Германию, издавая на русском языке дешевые, но прекрасные путеводители по курортам, перечисляя все выгоды для здоровья от посещения Кисингена, Эмса, Баден-Бадена или расположенного в горах Берхтесгадена (где позже Чемберлен продал Гитлеру чехов и словаков, открывая ворота для продвижения вермахта на восток).

Русский человек умеет беречь копеечку. Но еще лучше умеет транжирить деньжата, если они у него стали «бешеными». Каждое лето огромные толпы россиян навещали «фатерланд», как свою вотчину, до осеннего листопада заполняя гостиницы Шварцвальда, курорты и лечебницы

Баварии и Силезии; в Германии их многое восхищало — новинки электротерапии и успехи немецкой химии в фармацевтике, ровные клумбы за свежепокрашенными палисадами, чистота прогулочных тротуаров, отсутствие пьяных на улицах, старинная посуда с пейзажами и цитатами из Библии по краям тарелок, приветливость прохожих, которые не говорили тебе вслед:

— Не толкайся! Не то я так толкну, своих не узнаешь…

Русские видели только внешнюю сторону Германии, не стараясь проникнуть в нутро ее, которое очень искусно было задрапировано от взора посторонних. Русских обывателей пленял даже аромат общественных мест, которые никак не сравнить с нашими нужниками на станциях и вокзалах.

— Куда нам до немцев! — говорили они. — Вы бы только посмотрели, как живут: у них даже писсуары и унитазы такой чистоты, что в них можно тесто месить…

Мне было мало дела до сверкающей эмали, что покрывала Германию снаружи, как благородная патина покрывает стареющую бронзу. Я готовился войти во владения кайзера не с парадного подъезда, где швейцар поразил бы меня золоты-

ми «бранденбурами» своего мундира, а с черного хода Германии, где давно разлагаются отбросы немецкого общества, где укрывалось все то, что показывать посторонним стыдно и не положено.

Хромой хозяин нашего замка предупредил меня:

— Вообще-то, без ножа в кармане или без кастета на пальцах в Сант-Паули лучше не появляться. Зато в этом квартале Гамбурга нет даже политической слежки, ибо любая облава требует не десятков, даже не сотен, а сразу многих тысяч полицейских… Завтра у вас состоится свидание с дамой, владеющей особым гамбургским диалектом «плат-дейгом». Не мешает пополнить свой лексикон такими словечками, от которых даже у меня волосы на голове встают дыбом.

* * *

Русская разведка Генштаба никогда не использовала в своих целях красоту женщин стиля «вамп», испепеляющих огненным взором каждого дурака в штанах. Напротив, любая разведчица обязана скрывать свои женские достоинства, должна уметь так стушеваться в толпе, чтобы ее даже не заметили. Работавшая в австрийских Сосновицах жена нашего ротмистра Иванова

выходила из любых рискованных переделок, но была скорее дурнушкой, на которую мужчины не обращали внимания. Малозаметная скромница Лидочка Кащенко проникла в самую гущу маневров австро-венгерской армии и доставила в бюро Батюшина фотоснимки новой германской гаубицы…

Дороги Мазовии уже развезло от предзимней слякоти, когда казенный автомобиль доставил меня в Варшаву — прямо на Гожую улицу, где я уже не стал удивляться, встретив здесь симпатичную пани Цецилию Вылежинскую, памятную мне по сценам парфорсной охоты в имении «Поставы» под Вильно.

Я оставил в передней фуражку и тросточку. Женщина захлопнула крышку рояля, на котором она перед моим приходом что-то наигрывала, и теперь не спеша раскуривала дамскую папиросу.

— Позвольте, — сказала она, — представиться вам заново. Отныне я ваша жена, и пусть даже фиктивная, но все-таки прошу не ошибаться в моем новом имени: для вас я теперь Эльза Штюркмайер, вы женились на мне по страстной любви, хотя, не спорю, разница в нашем возрасте и существует.

— Вы моложе меня, — остался я благородным.

— Увы, — был мне ответ…

Я выдержал долгую актерскую паузу, которую не знал чем заполнить. Эту паузу я целиком посвятил беглому осмотру богатой обстановки квартиры. Но по вещам и множеству безделушек не удалось правильно распознать характер и вкусы моей «нареченной». В этот момент я еще не решил, как вести себя в подобной ситуации, каковы мои мужские права на эту женщину. Мне было неловко чувствовать себя мужем Вылежинской-Штюркмайер, которая с явной усмешкой продолжала говорить:

— Не советую отказываться от «брака» со мною, ибо в Германии я достаточно богата. Если не я сама, так, надеюсь, вас соблазнит мой завод по изготовлению керамических труб для дренажирования полей, еще у меня имеется мастерская в Ноунгейме по обжигу кирпича, приносящая немалые доходы.

Только сейчас я вступил в острую словесную игру.

— Понимаю, — кивнул я с нарочитым достоинством, — вам совсем не нужен муж, а лишь хозяин вашего большого хозяйства, и вы остановили случайный выбор на мне.

— Да. Мне рекомендовали вас с самой лучшей

стороны, и все будет в порядке, только не влюбитесь в меня.

Все это становилось не только забавно, но даже обидно для моего мужского самолюбия. Я спросил Эльзу:

— А если я осмелюсь влюбиться в вас?

— Я большая недотрога.

— Неужели?

— И вы получите от меня оплеуху.

— Как у вас все просто!

— Напротив, в таком деле, какое нам предстоит начать и закончить, масса сложностей, и вам самому не захочется впадать в крайности амурной лирики… Теперь садитесь.

Я сел за столик, добрую половину которого занимала ее громадная шляпа, украшенная букетом искусственных цветов.

— Сейчас это модно, — произнесла Эльза, словно извиняясь, и перебросила шляпу на диван. — Вы не откажетесь от кофе?

Она скоро вернулась из кухни, неся поднос с двумя чашками, придвинула мне вазу с варшавской сдобой.

— Вы полячка, — не спрашивая, а утверждая, сказал я.

— Нетрудно догадаться.

— И, конечно, заядлая патриотка, как все полячки.

— Польшу обожаю.

— Что же заставило вас, патриотку Польши, служить России, которая — в глазах большинства поляков — предстает давней поработительницей ваших исконных прав и вольностей?

Ответ я получил самый обстоятельный:

— Я рискую собой уже не первый год не ради успехов вашего Генерального штаба. Поляки тоже начали сознавать главное: насильственный симбиоз Польши с Россией закономерен, как и семейное сожительство, в котором не все бывают правы, не все и виноваты. Как бы история ни ссорила наши страны, но вы, русские, не тронули нашего языка, вы не стали разрушать нашу культуру, а это непременно случилось бы, если б на вашем месте оказались германцы с их политикой своего превосходства. Именно так и поступили немцы в Познани, так же изнасиловали поляков австрийцы в Краковии, где уже не слыхать польского языка даже в школах. Таким образом, — заключила Эльза, — работая на пользу России, я стараюсь ради будущего той Польши, которая обязательно возродится заново на священных обломках когда-то могучей и великой Речи Пос-

политой…

Затем она сообщила, что в замок я уже не вернусь:

— Вам там больше нечего делать. Сегодня вечером из Варшавы отходит поезд на Ригу, с которым вы и уедете.

— Наша совместная жизнь уже разбита?

— Встретимся в Германии. Не пора ли приступить к делу? — напомнила Эльза. — Надеюсь, вы не станете записывать мой урок, ибо голова человека лучше всякого блокнота.

До отхода поезда она посвятила меня в тайны того квартала Гамбурга, из коего я должен выйти другим человеком. Эльза раскинула передо мною массу фотографий, я увидел трущобы и богатые магазины, лазейки темных пивных и фасады богатых борделей, из окон старых лачуг выглядывали толстомясые женщины в халатах нараспашку, какие-то подозрительные личности вглядывались в меня из глубины снимков.

— Перед вами моментальные снимки немецкой криминальной полиции. Итак, вы попали на главную улицу Репербан, от которой расходятся в стороны Петер и Мариен, Борделкайзерненштрассе, все они ограждены от города решетками, как зверинец. Запоминайте расположение домов

и вывесок. Вот витрина с выставкой образцов татуировок, здесь мастерская японца Мару-сан. А вот «будка зяблика»! По сути дела, это притон-ночлежка, обжитый люмпенами всего мира, самое поганое «дно» сытой буржуазии, которая и отгородилась от него решетками.

Эльза спросила меня: все ли я запоминаю?

— Вам нужно все это знать, чтобы выжить в этом аду.

— Не беспокойтесь. У меня отличная память. Продолжайте…

— Если в Сант-Паули вы не встретите полицию, зато следует остерегаться особой «службы безопасности», организованной самими преступниками. У них налаженная, как часы, манера оповещения о каждом «желторотом», каким вы и будете для них. Далее — танцевальные залы Трихтера, рядом с ними расположен «Паноптикум», имеющий международную известность.

— Неужели музей? — удивился я.

— Нет. Выставка голых женщин… А вот снимок с местных «штрихюнгес». Это подростки, уже истерзанные кокаином, губы у них накрашены, как у женщин, и брюки чересчур узкие. Самые популярные «штрихюнгесы» носят солдатские обмотки.

— Зачем мне это знать? — отвернулся я.

— Затем, что они будут приставать и к вам, как продажные твари. Лучший способ отделаться от них — дать кулаком прямо в рожи, и тогда они сами отстанут. Далее, — деловито продолжала Эльза, — избегайте в кафе или барах заказывать выпивку. Распознав в вас «желторотого», могут подсыпать дурманящий порошок, после чего вы очнетесь раздетым в канаве…

Вылежинская-Штюркмайер говорила о Сант-Паули с таким знанием дела, с такими подробностями посвящала меня в тонкости «плат-дейга», что я даже заподозрил ее — не прошла ли она сама через это чистилище гомерических пороков?

— Это еще не все, — сказала она. — Ради собственной безопасности вы обязаны соблюдать полное равнодушие ко всему, что вас возмущает. Сант-Паули — во власти сутенеров, составляющих могущественный клан преступной элиты, с ними лучше не связываться. Если на ваших глазах станут избивать женщин, не вздумайте за них вступаться, этого в Сант-Паули никто не делает, наоборот, охотно злорадствуют. Любая попытка заступничества кончается плохо. И первой вцепится в ваши волосы та самая жертва, за которую вы по наивности заступились…

— Чем же это объяснить? — не поверил я.

— Очевидно, срабатывает обостренная форма мазохизма, свойственная всем продажным женщинам… Наконец, мы приближаемся к знаменитому во всем мире «дому Зеликмана», где творятся самые гнусные оргии и где, между прочим, заключаются миллионные сделки. Здесь вы можете встретить богатейших спекулянтов Германии, графиню или баронессу из самого высшего общества, которая денег не берет, но зато она сама платит деньги, чтобы испробовать на себе все способы извращений.

— Простите, но зачем мне все это знать?

Эльза Штюркмайер огорченно вздохнула:

— Милый вы мой! Затем и рассказываю все это, что именно в проклятом «доме Зеликмана» мы с вами встретимся, после чего и начнется наша волшебная супружеская жизнь…

…Вылежинская проходила под именем «Сатанаиса» — и в ней действительно было что-то сатанинское. Не стыжусь признать, что я ее всегда побаивался, ибо она, помимо связи со мной, жила какой-то двойственной жизнью, мало доступной моему пониманию. Забегая намного вперед, скажу, что она была обезглавлена на гильотине в Моабите — уже во времена Гитлера как тайный

агент разведки Пилсудского.

* * *

В Риге меня ожидал тот самый молодой офицер, которого я запомнил после разговора в кабинете № 44, еще в Петербурге. Теперь он выглядел заправским франтом и, стягивая с руки тесную лайковую перчатку, сказал:

— Чем меньше агент знает о других агентах, тем у него больше шансов уцелеть. Для вас будет выгоднее запомнить лишь мое нелегальное имя — «Консул»! Именно мне поручено проводить вас в дорогу, а заодно продлить деловой разговор, начатый с вами Эльзой Штюркмайер на Гожей улице. Сначала экипируем вас с головы до ног, чтобы всем своим видом вы напоминали матроса-бродягу без роду и племени. В Риге вы будете подсажены в экипаж парохода, совершающего долгий рейс с непременным заходом в Гамбург, где сойдете на берег и на корабль уже не возвратитесь…

С моей вольной жизнью было покончено. «Консул» стал обряжать меня как надо. Я натянул замызганные штаны с заплаткою, невольно поежился в колючем свитере, надел рваные боты.

— Выберите кепку сами. Похуже! — велел «Кон-

сул».

После этого мой «наполеоновский» облик был дополнен житейскими аксессуарами, без которых не обойтись. Если бы меня обыскали, то нашли бы рассованные по карманам: пачку дешевого табаку «Осман-2», обгорелый мундштук, порнографическую открытку, измятый трамвайный билет Петербурга, складной нож, а вместо платка — носок из фильдекоса, разрезанный вдоль шва. Настоящее обличье забулдыги, который запьянствовал и остался «на мели», а пароход не стал ожидать его возвращения.

Я испытал мерзкое отвращение к самому себе.

— Дайте мне хоть немного денег, — попросил я.

«Консул» отсчитал для меня семь немецких марок.

— Вообще-то это актерская «накладка» поверх нашей игры, — сказал он. — Деньги вам не положены. Входя в Сант-Паули босяком, выберетесь оттуда в смокинге и при цилиндре.

— Вы, наверное, подшучиваете надо мною?

«Консул» объяснил, как это произойдет, и способ моего будущего превращения показался мне таким простым, что с трудом в него верилось… Мы оба глянули на часы.

— Не пора ли? — начал я беспокоиться.

— Да, кажется, пора. — На прощание «Консул» просил меня работать, не думая об угрозе ареста, не озираться по сторонам, не психовать из-за излишней подозрительности. Для этого в разведке есть другие люди… вроде меня. Мы со стороны будем следить за вами и в случае опасности сразу предупредим вас. Так что не стоит пугаться критических положений. Работайте смело на благо нашего отечества…

Через два дня утомительной качки я сошел с корабля на чужой берег. Передо мною сверкал огнями древний Ганзейский город, по Эльбе двигались встречные корабли, слабо постанывая сиренами, иногда вскрикивая тревожными гудками. Темнело. Я зябко вздрогнул в своем дырявом свитере и сунул руки в карманы штанов. Издалека мне виделась вытянутая к небу игла Микаэлискирхе, а сразу за божественным храмом начинался квартал Сант-Паули.

Добропорядочный и богатый Гамбург, гордящийся своей бюргерской моралью, был отгорожен от Сант-Паули железными воротами, увенчанными плакатом на трех главных языках мира:

ОСТАНОВИСЬ, НЕСЧАСТНЫЙ!
ПРЕЖДЕ ПОДУМАЙ, ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ,
ЕСЛИ ТЫ ПЕРЕСТУПИШЬ ЭТИ ВОРОТА

Вы на моем месте остановились бы тоже…

* * *

«Бойтесь быть слишком сильными», — предупреждали Германию еще в 1871 году, когда она — после битвы при Седане — создавала свое благополучие на крови растоптанной Парижской коммуны, на контрибуциях, которые требовали с побежденных…

Памятник Бисмарку в Гамбурге, поднятый на высоту пятиэтажного дома, не осенял нынешнюю Германию, а скорее он выражал идею скорби по старой Германии, уже потерявшей меру в своем насыщении. Как писал наш советский историк Е. В. Тарле, «железный канцлер» всю жизнь хлопотал, чтобы уберечь нажитое им для своей империи, зато кайзер и его подручные спешили как можно скорее нажить для Германии новое.

Ведя немцев к войне, Вильгельм II восклицал:

— Я веду вас навстречу великолепным временам…

Недаром же Лев Толстой, жестокий провидец,

назвал кайзера «самым смешным, если не самым отвратительным представителем современного императорства». Сейчас уже доказано, что Германия в канун первой мировой войны получила бы неизмеримо больше выгод от мирной торговли с Россией, нежели от военной победы над той же Россией. На мой взгляд, роковая ошибка немцев в том, что они всегда хотели бы завоевать Россию, но теперь думаю, что придет такое время, когда они пожелают изучать ее, как мы, русские, всегда изучали Германию…

— Цольре зовет на бой! — все чаще слышалось из Берлина.

Быть сильным опасно, ибо другие, глядя на твои играющие мышцы, тоже начинают бравировать мускулами, чтобы не уступить в предстоящей схватке. До начала драки противники, как правило, осыпают один другого разными оскорблениями. Италия уже начала пробу своих незначительных сил в борьбе со слабосильной Турцией, отвоевывая ее африканские владения в Триполитании и Киренаике (там, где позже ржавели железные скелеты бронетанковых дивизий Роммеля и Муссолини); на Балканах неожиданно возникали торопливо состряпанные союзы славянских стран, и России не всегда были понятны

цели этих союзов… В мире копилась страшная, изнуряющая, почти нестерпимая духотища, какая бывает перед сильной грозой!

Не так давно в Артиллерийском училище столицы русский полковник В. Г. Федоров (будущий инженер-генерал-лейтенант Советской Армии) делал научный доклад, демонстрируя первый в стране боевой автомат, должный заменить мосинскую винтовку. На его лекции присутствовал и царь, который горячо благодарил изобретателя, после чего сказал ему:

— Но ваши автоматы, Владимир Григорьевич, моей армии все-таки никогда не понадобятся.

— Почему, ваше величество?

— У меня не хватит патронов, чтобы палить даже из винтовок, а ваша штучка выстреливает их целыми пачками…

В это же время военный министр Сухомлинов объявил миру, что «Россия готова, но готова ли Франция?».

Я-то хорошо знал, что русская армия совсем не готова к войне, зато давно готова Германия, и в Германии немало охотников воевать, тогда как русский народ войны не хочет. Русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять ее мощный потенциал, русский Генштаб,

как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период ее начального вызревания…

**Постскриптум № 3**

Долгие годы (1891-1906) граф Альфред фон Шлифен, глава германского генерального штаба, был для кайзера Вильгельма II тем, кем позже сделался фельдмаршал Кейтель для Гитлера. Но между этими «умами» пролегла зияющая пропасть: Шлифен был деловито-умен и самостоятелен в мышлениях, а Кейтель податливо-угоден, стараясь подтверждать мысли Гитлера…

Шлифен говорил: «Наши враги убеждены в том, что германский генштаб владеет секретом побед». Издали наблюдая за поражением царизма на полях Маньчжурии, Шлифен еще в 1905 году создал теорию «блицкрига» — коротким ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти на дорогах и, упаси бог, не дождаться морозов. Тогда же и родился «план Шлифена» о борьбе Германии на два фронта сразу: за разгромом Франции должен последовать стремительный разгром русской армии, оглушенной внезапностью нападения и не успевающей

откатиться в глубину России, чтобы им, немцам, не повторить ошибки Наполеона. Гитлер и его генералы, по сути дела, летом 1941 года — при вероломном нападении на СССР — действовали в том варианте, какой был предложен «планом Шлифена».

Шлифен — тактик и стратег до мозга костей, даже лирика его мышления задыхалась в жестоких рамках теории. Однажды в поезде адъютант просил его посмотреть в окно:

— Ваше превосходительство, обратите внимание, какой дивный пейзаж перед нами, освещенный заходящим солнцем.

Шлифен почти равнодушно оглядел местность.

— Вы правы! — сказал он. — Но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше, а действие артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, которое станет мешать прямой наводке.

В этой оценке пейзажа весь Шлифен! Даже умирая, он в бреду агонии мыслил себя в гуще сражения:

— Я готов! Только прикройте мне правый фланг…

Под «правым флангом» будущей войны он подразумевал Россию. Основой политики Германии много лет подряд было нагнетание страха. «Ведь от страха, — писал Шлифен, — который внушает эта (немецкая) армия, и зависит мир в Европе…»

Наверное, русская разведка испортила себе немало нервов и потеряла много крови, выцарапывая «план Шлифена» из сейфовых тайников германского генштаба. Один наш историк (Е. Б. Черняк) уверенно излагает, что «план Шлифена» был удачно выкраден, «передан французам, но там сочли его фальшивкой». Если это так, то, возможно, в Париже попросту не поверили, что Германия готовится наступать на Париж, нарушив нейтралитет Бельгии и Люксембурга. Но другой наш историк (К. Ф. Шацилло) тоже пишет с большой уверенностью, но совсем не то, что его коллега: «План Шлифена» даже приблизительно не был известен русскому командованию…»

Где истина истории и где правда историков?

Случилось вот что. Дабы повести русскую разведку по заведомо ложному пути, Мольтке-младший и сам император Вильгельм разработали фальшивый «план Шлифена», который немецкая агентура подбросила в кабинеты русского Генштаба. Так возник лживый «Меморандум»

о распределении боевых сил Германии в предстоящей войне. Но как его авторы ни старались утаить истинный смысл «плана Шлифена», все равно — через патину и кракелюры вранья — проступило то главное, чего не могли упрятать немецкие лжестратеги.

Обмануть российский Генштаб не удалось! Нашлись на берегах Невы умники, которые, едва глянув на «Меморандум», сразу же заявили:

— Документ *поддельный*! Спрашивается, к чему этот преднамеренный пафос, словно желающий излишне убедить нас в достоверности? Тут нашему брату предстоит немало потрудиться, чтобы из груды вранья извлечь толику истины…

Офицерами Генштаба была проделана колоссальная работа, схожая со скрупулезной работой реставраторов негодных картин: аккуратно снимая верхний слой красок, намазанных бездарными подмастерьями, русские специалисты восстанавливали первоначальную «живопись» самого мастера Шлифена.

Теперь позволительно думать: даже не имея на руках подлинного «плана Шлифена», русский Генштаб отлично знал его содержание, он уже предчувствовал ударную силу внезапных «блицкригов» в будущем.

От кайзера — до Гитлера!

Конечно, к 1941 году многое в планах Германии изменилось, но осталось главное — вероломство нападения, его потрясающая внезапность, и в горькое лето начала Великой Отечественной войны мы, глотая пыль на дорогах нашего отступления, даже не поминали Шлифена, зато мы хорошо помнили, чем закончил Наполеон. Беспощадной историей для него был уготован далекий остров Святой Елены, а для фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, продолжателя дела Шлифена, была заранее крепко скручена петля в Нюрнберге…

# Часть вторая
# Живу, чтобы служить
## Глава первая
## Ивиковы журавли

*И с ужасом*
*Я понял, что я никем не видим,*
*Что нужно сеять очи…*

***Вел. Хлебников***

НАПИСАНО В 1939 ГОДУ:

…литература не живет одной книжкою, а целыми библиотеками; искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картиной, а жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе, словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне — как к личности!

Прага. Страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Даладье и Чемберлена,

которые запродали их Гитлеру, словно курей на базаре. Но, как это и случалось не раз под солнцем, буржуазия не исходила слезами. Мне рассказывали, что некий славянский «патриот» раскрыл перед нашим атташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию.

— Смотрите! — сказал он. — Если пришел Гитлер, он все мое оставит при мне, а если в Праге появится ваш усатый маршал Буденный, я останусь при своих кальсонах…

Сейчас нашим командирам вменяют в обязанность читать роман Ник. Шпанова «Первый удар». Появившийся в январском журнале «Знамя», этот роман теперь издается массовыми тиражами, включая и «Роман-газету». По-моему, нет более вредной книги, расслабляющей нашу армию, и без того ослабленную арестами высшего командного состава. Судите сами! Не прошло и считанных дней, как Германия — по воле автора — повержена в прах. Наши самолеты сверхточно кладут бомбы на цеха заводов Круппа, а немецкие рабочие, сжимая кулаки в призыве «рот фронта», вельми радуются нашим бомбам и при этом — в грохоте рушащихся цехов — спокойно распевают «Интернационал»… Зачем нам суют подобную белиберду, если дурак понимает, что

нашим самолетам АДД даже не хватит горючего, чтобы с полным бомбовым грузом добраться до заводов в Эссене!

Мне трудно живется, слишком часто заполняю всяческие анкеты. Обычно в них ставятся вопросы, на которые любой человек, будь то маршал или дворник, почти механически выводит спасительные слова: «не был… не состоял… не участвовал…» Мне это дается с трудом, но я остаюсь честным, явно портя свою карьеру откровенными признаниями: был, состоял, участвовал…

* * *

Вокруг меня образуется мертвящая пустота, ибо в Академии, как и в Генштабе, я наблюдаю внезапное отсутствие своих знакомцев. На мои наивные вопросы, куда они делись, новые люди, занявшие их кабинеты, уклончиво отвечают:

— Кажется, срочно отбыли… на курорт!

Конечно, колымские трущобы или воркутинские тундры — прекрасные места для поправки здоровья. В эти дни лучший друг не пустил меня к себе, и он был так жалок в своем страхе, когда что-то мямлил в свое оправдание.

— Прости, — сказал он мне, — но ты же сам

знаешь, какие сейчас времена. У меня жена, двое детей, а ты… ты был царским генералом, и мало ли что могут подумать обо мне люди! О тебе и так много ходит слухов и сплетен…

Мне пришлось уйти, и я всю дорогу до дому утешал себя тем, что вспоминал строчки Паоло Яшвили:

*Не бойся сплетен. Хуже тишина,*
*Когда, украдкой пробираясь с улиц,*
*Она страшит – как близкая война,*
*Как близость для меня сужденной пули…*

В стране нездоровая, удушливая атмосфера, все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого еще не бывало. Все это после того, как Хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья, и на опустевшие места насаждают пустоголовую репу, вроде Г. И. К[улика], который ведает вопросами вооружения, разбираясь в этих делах, как свинья в парфюмерной лавке. Такой обстановки я еще не испытывал. Все это результат выискивания «вредителей» и «врагов народа», которые с угодливо-подозрительной торопливостью признают себя агентами

разведок самых экзотических государств, согласные «вредить» нам от имени Патагонии или островов Фиджи, лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато как гордо и нерушимо выглядел Вышинский, когда его награждали орденом Ленина за «укрепление социалистической законности»!

Меня удручает и другое. В обстановке поголовной шпиономании легко уживаются карьеристы, горлопаны и доносчики, наконец, настоящие враги народа (уже без кавычек) размножаются в этой питательной среде подобно микробам, и я даже не удивился, узнав недавно, что в Берлин поступает огромный поток секретной информации о наших делах, мало радующих честных патриотов Отечества… Я способен только страдать за поругание наших святынь, но возмущение народа проявится, наверное, гораздо позже, когда будут открыто называть имена главных виновников этих кровавых преступлений.

Я беспартийный, потому на все намеки, слышимые за моей спиной, отзываюсь смыканием уст. Хотя подлость и зависть тем и опасны для честных людей, что они не в меру горласты. Мне еще не забылись слова, сказанные немцами в вагоне поезда, идущего в Вену: «Если хотят из-

бавиться от собаки, то всегда говорят, что у нее была чесотка…»

Недавно в Столешниковом переулке я случайно встретил генерала В. Г. Федорова, с которым мы были почти одногодки.

— Чем занимаетесь? — спросил я.

— Разгадками тайн былого: кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла.

— Позвольте, — удивился я, — как же обстоит дело с автоматическим оружием, дабы заменить винтовку Мосина?

Владимир Григорьевич тяжко вздохнул:

— Боюсь, что и эту войну с Германией мы встретим опять-таки с винтовкой, как при царе в четырнадцатом, да и хватит ли нам еще винтовок на всю армию.

— У вас неприятности? — точно определил я.

— Увы, — отвечал он. — Вы же знаете Кулика, главного вещателя истин в нашем болоте. Кулик, по сути дела, безграмотный невежа, уповающий на шашку и винтовку, а посему он лично тормозит вооружение армии автоматами. По мнению Кулика и его подпевал, автоматы — это оружие для полиции, чтобы подавлять забастовки на Западе, но никак не для войны… Мало того, про-

тивотанковые ружья снимаются с вооружения как дорогостоящие игрушки. Наконец, наш Хозяин согласился с Куликом, что пушки калибром семьдесят шесть, лучшие пушки в мире, выгоднее заменить громоздилами времен первой мировой войны, но большего калибра… Поверьте, — заключил Федоров, — в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов…

В конце беседы Владимир Григорьевич спросил:

— Чехословакия уже несет крест свой, а кто же дальше?

— Наверное, Польша — ответил я.

Вскоре в Генштабе стало известно, что польский посол Гржибовский сделал опрометчивое заявление: «Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР…» Как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом варшавских газет в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне:

— Напрасно у вас хлопочут, чтобы Польша заключила договор с вами, и обещают нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в четырнадцатом…

Я решил не щадить своего собеседника:

— А вы рассчитываете выстоять? Но Познанское воеводство не имеет «линии Мажино», чтобы сдержать напор вермахта.

— Зато у нас есть верные друзья… в Лондоне и в Париже, которые в два счета разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, — почти весело заключил Масальский, — Берлин нас только пугает, но Гитлер никогда не придет. Немцы достаточно извещены о лихости поляков в бою, а наша кавалерия самая превосходная в мире.

— Зато у немцев, — отвечал я, — лучшие в мире танки и авиация, так что ваша гусарская лихость ни к чему. Наконец, взломав вас от Познани, Гитлер окажется на границах с нами, а в этом случае… куда денется великая Речь Посполитая?

Масальский сделал вид, что очень обиделся:

— Вы, русские, просто не любите нас, поляков.

Тут я был вынужден перейти на польский язык.

— Неправда, — возразил я. — Мои юные годы прошли как раз в польской провинции, и я всей душой люблю вашу страну…

На следующий день меня вызвали в особый отдел:

— О чем вы беседовали с этим белополяком?

— Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре, а наша беседа имела невинный характер.

— Невинный… Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации, затем вы перескочили на польский язык.

— У соседей отличный слух, — согласился я. — Однако смею вас заверить, я не продавался польской «ифензиве», тем более что уже состою тайным агентом германского абвера, о чем вам хорошо известно. «Герцогом» же я никогда не был!..

Мучительно переживалось былое. Между Германией и славянами издревле лежал меч, и на протяжении многих столетий ни они, немцы, ни мы, славяне, не вкладывали этот меч в ножны, лишь время от времени оттачивая его для грядущих битв. Я думаю, что сейчас как никогда необходимо единение всего Славянского Мира… Между тем по материалам, кои были мне в ту пору доступны, я подозревал, что после Чехословакии под ударом вермахта окажется Данциг (Гданьск) — этот извечный, еще со времен Фридриха Великого, камень преткновения на путях польской и германской претензий. Но я оказался

не слишком-то прозорлив: сначала немцы высадились в литовской Клайпеде (старом Мемеле) и с борта эсминца сошел на берег сам Гитлер, серый после долгого блевания при качке. Не скажу, чтобы население осталось равнодушным к прибытию фюрера, и множество немцев, издавна населявших этот город, забрасывали его машину цветами…

Балканы опять вселяли в меня тревогу, подогретую пылкими воспоминаниями молодости. В начале июня принц-регент Павел Карагеоргиевич навестил Берлин, где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав свою жертву, прежде смочил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки, паче того, Гитлер застращал регента намеками на то, что, откажись он от союза с Берлином, и тогда Югославия сделается добычей обжоры-Муссолини…

18 июня. Настроился на радиоволну Данцига, чтобы прослушать Геббельса, прибывшего в этот город с речью, наполненной угрозами по адресу поляков, якобы притесняющих данцигских немцев. История повторяется: такие же истерики Геббельс закатывал и перед нападением на Чехословакию, вступая за немцев судетских. В

один из дней, жаркий и утомительный, я, придя на службу, обложился ворохом английских газет, чем и вызвал удивление своих коллег.

— Вы ждете реакции Чемберлена? — спросили меня.

— Нет. Но сейчас в Хельсинки находится генерал Гальдер, а наши газеты умалчивают об этом… как и немецкие! Однако Гальдер не засиделся на банкетах и сразу поехал в Выборг, осматривал наши границы и даже присутствовал на маневрах Маннергейма, словно его военный инспектор…

Вечером я подсел к радиоприемнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавший об успехах колхозной жизни в СССР, немецкая волна передавала о том, как счастливо живут народы Советского Союза «под солнцем сталинской конституции». После этой трепотни Берлин транслировал советские песни, начав с широко известной «Катюши», а закончил концерт выступлением русского хора белогвардейцев: «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет…»

— Вульгарно! — сказал я, выключая приемник.

Но смешное обернулось неожиданным прибытием в Москву Риббентропа, и 23 августа между Москвой и Берлином был заключен дружеский

пакт о ненападении сроком на десять лет. Думаю, это решение Хозяина — абсурд, ибо клыки вермахта уже готовы вонзиться в нашу страну. М. М. Л[итвинов] выступил против пакта, за что и удален из аппарата правительства. Мне кажется, ничто так не повредило нашему государству и ничто так не подорвало престиж нашей страны, как именно этот фальшивый сговор Сталина с Гитлером. Ликование официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. И если Ленин называл Брест-Литовский договор «похабным» миром, то, на мой взгляд, нынешнее согласие с Гитлером можно именовать «похабным» пактом…

* * *

1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки под натиском танков вермахта — началась оккупация Польши, начинается вторая мировая война.

Берлин под звуки фанфар передавал речь Гитлера в рейхстаге, и тут я услышал, как вибрировал его голос:

— Мою любовь к миру, мою беспредельную терпеливость не надо смешивать с трусостью, я уже начал разговор с Польшею иным языком…

Сейчас, — говорил он, чуть ли не плача, — я не желаю ничего иного, как быть первым солдатом германского рейха. Поэтому я снова надел мундир, дорогой для меня и священный, который сниму только после нашей победы…

После чего в Берлине было объявлено о введении продовольственных карточек, населению предлагалось получить ордера «бецугшайнов» на получение промтоваров. Директор варшавского радио свирепо возвещал всему миру о победных атаках польских улан, о героизме юных панов поручиков, которые в ретивом галопе рубили саблями крупповскую броню немецких «панцеров»; скоро — по его словам — Берлин падет перед набегом непревзойденной польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах:

— Надходзи, надходзи (приближаются, приближаются)! — выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков.

Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали:

— Ну, что там немцы в Польше?

— Надходзи, — отвечал я…

23 сентября все было кончено. В 15 часов 05

минут радио Варшавы замолкло — разом оборвалась передача второй части концерта c-moll Рахманинова, а через три дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников Генштаба, военный атташе Кестринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фойертауфен» («Огненное крещение»), чтобы мы своими глазами убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву «городом без крыш», отчего столица поляков напоминала человека без головы…

Меня отыскал жалкий и растерянный пан Масальский:

— Что вы скажете, если я стану просить политическое убежище в вашей великой и прекрасной стране?

— Постарайтесь, — сухо отвечал я. — Но предупреждаю, вам будет очень нелегко… в нашей «великой и прекрасной».

Масальский уже покидал меня, но я задержал его словами:

— С какого года вы состояли в польской разведке?

— А… как вы догадались? — вырвалось у него.

Вот тут я очень весело расхохотался:

— Это моя профессия… Простите, об этом я догадался еще тогда, когда мы слушали оперу «Ромео и Джульетта».

…Кестринг в эти дни потребовал у меня новых «сводок» о вооружении нашей армии, что я и сделал как агент абвера, после чего атташе вручил мне явную «дезу» о том, будто германская армия увеличивает калибр полевой артиллерии.

— Найдите способ вручить эту липу вашему генералу Кулику, чтобы у него голова завернулась на пупок.

Я обещал. После этого мы беседовали на разные темы. Между прочим атташе признался, что в генеральном штабе вермахта боятся одного маршала Б. М. Ш[апошникова]:

— Нам его голова кажется самой светлой в нашей армии, и даже Гальдер относится к нему с должным почтением…

— Согласен! — отвечал я, чокаясь с ним бокалом.

В этом вопросе я нисколько не покривил душою, ибо наши маршалы Ворошилов и Тимошенко, венчанные лаврами новоявленных Ганнибалов, умели только размахивать шашками…

## 1. Паноптикум

Где-то очень высоко над Германией пролетали журавли, я внятно слышал их жалобные клики. Конечно, сейчас не время коринфских игр, и вспоминался не Анакреонт, а знаменитая баллада Шиллера о журавлях… «Не Ивиковы ли это журавли летят надо мною, — думалось мне тогда, — и не выдадут ли они мое имя?..»

Итак, любезный читатель, я невольно замер перед воротами гамбургского квартала Сант-Паули, вывеска над которыми предупреждала меня: «ОСТАНОВИСЬ, НЕСЧАСТНЫЙ…». Приятного в таком предупреждении мало. Но все объяснилось просто. При входе в злачный квартал располагался дежурный пикет так называемой «Полуночной Миссии» (это разновидность международной «Армии Спасения» для людей, алчущих вкусить от пороков). Всем желающим проникнуть в Сант-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждающие об инфекции, которую разносят продажные женщины, в листовках красовался и «Верный путь к счастью», подкрепленный авторитетными ссылками на Библию.

Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывно и сипло взывая к моей христиан-

ской совести.

— Остановись, безумец! — кричали они мне в оба уха. — Один только шаг за ворота, и ты пропадешь, как пропали до тебя уже тысячи. Лучше обратись к Богу и прочти молитву…

Я отбросил от себя крикуний и шагнул за ворота, как осужденный на эшафот, чтобы вписать свое имя в синодик павших на пышной ниве разврата. Длинная, ярко освещенная Репербан тянулась передо мною, а за спиной еще долго слышались оскорбленные голоса:

— Не испытывай судьбу! Ты сгниешь для счастья… еще не поздно бежать прочь. Не входи туда! Но если ты уже вошел, так отныне нет такой силы, чтобы спасла тебя от гибели и позора…

Так я погрузился в грязь и нечистоты Сант-Паули — и так состоялось мое вхождение в роль тайного агента…

* * *

Сюда я вошел, но еще неизвестно, как отсюда выберусь.

В любом случае моя ближайшая задача — ждать появления «Консула». Ждать его здесь, в обиталище пороков, самому оставаясь непорочным, аки голубь небесный…

Я сидел в пивной, слушая, как со стороны «Трихтера» долетает музыка модного танго (которое нам, офицерам, в России было запрещено танцевать, ибо танго считалось неприличным танцем). Я почти равнодушно смотрел, как тут же — в гаме пивной — татуировщик накалывает на ляжках и ягодицах молодой проститутки одну и ту же сакраментальную фразу на трех сразу языках: на английском, немецком и французском — «ОДНОМУ ТЕБЕ...».

Все ходили вокруг, звеня пивными кружками, и делали вид, что голая задница бабы их не касается. Впрочем, и меня здесь ничто и никак не касалось. Расплатившись за пиво, я вернулся ночевать в свой опостылевший бордингхауз.

Так называлось прибежище бездомных моряков, потерявших работу или по пьянке отставших от своих кораблей. Согласно традиции, хозяин притона каждый день выдавал «ослиный завтрак», который жрать не станешь. Это был матрас, набитый трухой и клопами, вилка с ложкой — и все! Правда, матрос мог есть и пить сколько влезет на «книжку» бордингмастера, но попадал в такую кабалу, что, когда находилась работа, он уже торчал в «будке зяблика», где человеку один конец — это... конец! Вечерами тоска

выгоняла меня на Репербан; я видел там выставку и продажу, какая и в дурном сне не приснится. Впрочем, женщины не выглядели задрипанными попрошайками, а вполне прилично; здесь, в Репербане, были представлены женщины разных стран, начиная от девочек и кончая старухами, а цена каждой из них колебалась от 3 до 10 марок. В толпе между конкурентками часто вспыхивали жестокие драки, формою обычного разговора была похабщина, а в зазываниях мужчин каждая цинично восхваляла свои женские прелести.

Потом я шатался в переулках Сант-Паули, где уродливая нищета никак не могла укрыться от взора, выпяченная наружу пузатыми детьми-рахитиками, бандами подростков-воришек, а ругань перебивалась воплями о помощи. Русская жизнь в самый пьяный базарный день казалась мне теперь веселой забавой по сравнению с теми картинами, которые я наблюдал в Сант-Паули. Со временем я хорошо понял передовых немецких художников — Цилле, Дикса, Нольде, Гросса или Нагеля, которые преследовались при нацизме именно за то, что не побоялись отразить «дно» немецкой буржуазии, они как бы открыли подворотню «великой империи», уже пораженную — после Версаля — язвами инвалидности, позо-

ром поражения, страшной инфляцией и духом оголтелого реваншизма…

Согласно прежней договоренности, я каждое четное число навещал по вечерам «паноптикум», но «Консул» не появлялся. Это меня заботило. Ведь я падал с ног от голода, воровать не хотел, а мои семь марок давно кончились. Счастье, что моим соседом по нарам в бордингхаузе оказался веселый дезертир из матросов кайзеровского флота в Киле, почему и звали его «кильской шпротиной». Так вот, этот добрый малый научил, как выжить в условиях Сант-Паули, нигде не воруя. К началу танцев мы шли к павильону «Трихтера», куда вход женщинам без кавалеров был строго запрещен. Немецкий историк Лео Шиндрович писал: «Запрет налагался на дам не из-за моральных побуждений, а лишь для того, чтобы предложение товара не превышало спрос на него». Естественно, каждая шлюха силилась проникнуть внутрь «Трихтера», где под звуки танго она быстрее улавливала добычу. Но как это сделаешь без кавалера? Тут являлся я с неразлучною «кильской шпротиной». Мы предлагали самих себя за пять марок тем же проституткам и, проведя их на танцы, быстро снимались с якоря, ибо остальное нас уже не касалось…

— Живем, черт их всех раздери! — радовался дезертир.

— Еще как живем, — отвечал я, тоже веселый…

Наконец долгожданная встреча в «паноптикуме» состоялась. В потемках зала кто-то легонько толкнул меня слева. Я скосил глаза. Рядом со мною стоял важный господин, в его глазу остро, как лезвие бритвы, посверкивала цейсовская линза монокля, а сам он был целиком погружен в созерцание позирующих на сцене женщин… Это был сам «Консул».

— За мной, — шепнул он тихо.

Мы заняли с ним кабинку туалета, где и произошла быстрая смена одежды. Я передал ему свои матросские обноски, а сам облачился в его костюм, сразу же превратившись в солидного, преуспевающего дельца, появившегося в Сант-Паули ради острых развлечений. Передавая «Консулу» складной нож, я невольно посочувствовал ему:

— Куда же вы теперь денетесь в моем рубище? Неужели и застрянете здесь, погибая за меня в этих ночах Сант-Паули?

— Не первый раз, — ответил «Консул», — за меня не беспокойтесь. Отныне я буду всегда рядом с вами, как надежный телохранитель, хотя вы

и не станете замечать моего присутствия. Но не дай-то бог нам еще раз увидеться...

— Почему?

— Я могу появиться перед вами в одном лишь случае, если вам пришло время смазывать пятки салом. Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к «дому Зеликмана», где вас ожидает любящая жена, от нее и получите самые убедительные инструкции. Честь имею!

Возле «дома Зеликмана» (так назывался изысканный бордель для богатых людей) стояла коляска на рессорах, запряженная парою лоснящихся от сытости лошадей, их спины были накрыты ковровыми вальтрапами. На диване коляски явно томилась в ожидании Вылежинская-Штюркмайер, нервно поигрывая сложенным в трубку зонтиком. Посильно своим актерским талантам я изобразил радость мужа при встрече с женою.

— Эльза! — воскликнул я. — Наконец-то я тебя вижу!..

Зонтик в руках «жены» оказался опасным оружием, наносящим весьма болезненные удары по моей голове. Эльза отделала меня так, что

прохожие на тротуаре одобрительно гоготали над моими слабыми попытками закрыться от ударов.

— Мерзавец! Грязная свинья! — кричала Эльза нарочито громко, объясняя свой гнев праведной женской ревностью. — Я, несчастная, объездила весь Гамбург, заглянула во все вертепы на Швигере и Ульрикугассе, пока не отыскала его в этой помойной яме… Садись в коляску и молчи, пока цел!

Я, как и положено виноватому мужу, покорно стерпел все оскорбления. Наша дружная «семейная» жизнь началась…

Лошади выкатили коляску за ворота Сант-Паули, миновав озлобленные пикеты плоскогрудых и хищных сторонниц нравственности из «Армии Спасения», и я робко сказал:

— Однако вы были слишком откровенны в выражении своих чувств. Смотрите, от зонтика даже ручка отвалилась.

— Так не быть же мне притворщицей! — ответила Эльза с неподдельной яростью. — Уж если ревновать мужа, так надо так это делать, чтобы он навек запомнил…

Мы миновали мрачную Микаэлискирхе.

— Куда же теперь едем? — спросил я.

— На вокзал. Дома отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить и ублажать вас, как и положено в милой семье…

Высоко над городом торчал гигант-Бисмарк, а под ним, как во времена древней Ганзы, проплывали корабли всех стран и народов; опираясь на рыцарский меч, «железный канцлер» хмуро и сосредоточенно взирал с берегов Эльбы на восток — туда, где лежала великая, могучая и недоступная для врагов наша держава… Я попал в Германию, когда такие личности, как Людендорф или Гинденбург, еще пребывали в томительной безвестности. Зато повсюду виделись портреты гросс-адмирала Тирпица с его раздвоенной бородой и выпученными глазами, в витринах магазинов красовались профили. Мольтке, ну и, конечно, был силен культ личности кайзера…

Ночным экспрессом мы выехали в Берлин, где моя дорогая Эльза — слишком смело! — сняла номер в богатом столичном «Бремергофе». На мои опасения она ответила усмешкой:

— Э! Не стоит пугаться, я всегда останавливалась именно в «Бремергофе», где богатая публика вне подозрений…

Раскрыв ридикюль, она деловито отсчитала для меня пять немецких купюр по пятьсот марок

каждая:

— Вот вам для начала пять «манлихеров», чтобы вы ощутили себя настоящим мужчиной, крепко стоящим на ногах. Вообще-то, мой милый, я, грешница, люблю настоящих мужчин.

— Что я должен делать?

— Докажите это…

«Семейная» жизнь определилась. Сначала зонтиком по башке, а потом пять хрустящих «манлихеров». Поживем — увидим…

Отчетливо помню, что я погрузился в тоску страшного одиночества, а пани Вылежинская, столь милая раньше, не сделала ничего такого, чтобы развеять мою хандру, и я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что двигало этой женщиной. Не была ли она попросту аферисткой, для которой испытания риском доставляли столько же пикантных наслаждений, как и любовь?

## 2. Через трубы

Всю жизнь ненавидел зловонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга, но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик, чудовищный «грюндерский» молох вращал колеса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных

цехов. Я, слава богу, не пишу роман, а посему мне да будет дозволено отвлечься ради необходимых размышлений…

От меня не следует ожидать, чтобы я — на радость читателю — увлекал его в тайники германской военной мысли, не стану я похищать чертежи новейших гаубиц, не стащу из-под носа кайзера его секретный приказ, — этим занимались люди, более опытные и лучше замаскированные, а мне доставались дела попроще. Здесь мне желательно предпослать небольшую политическую преамбулу. Поверьте, я всегда уважал Германию — родину великих мыслителей, поэтов и ученых. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа — отделять сытные зерна от плевел, таящих заразу. Так, например, я уважал историка Теодора Моммзена, лауреата Нобелевской премии, но я же и проклинал его призывы к Габсбургам, чтобы они давили южных славян, будто негодные жмыхи, мне было противно читать его выводы о праве немцев репрессировать другие народы. «Неустанно копить гнев — последняя надежда истерзанной нации!» — призывал Моммзен, хотя никто не собирался терзать Германию. Напротив…

В своих обильных речах Вильгельм II изображал Германию страной изобилия и процветания, которой завидуют другие народы, лишенные того блаженства, в каком пребывают немцы. По словам кайзера, получилось так, что за рубежами Германии живут голодные нищие ободранцы с ножами в руках, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на преуспевающую Германию, желая отнять у немецкого рабочего последнюю сосиску и лишить его кружки с пивом. Германия — это страна не только философов и мудрецов, но страна и мещан-дураков, которые, наслушавшись кайзера, охотно платили налоги на усиление армии, чтобы эта армия в жестоких битвах отстояла для них сосиску с пивом… Я высказал о Германии лишь свое личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зерна от плевел. Но прежде малая доля статистики: в Германии, какой я ее застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины — 28 лет. Убедительно? По-моему, даже очень…

Моя преамбула требует продолжения. Исторически ведь совсем недавно Германия считалась провинцией Европы, тихой и отсталой, о которой можно судить по живописным полотнам Карла Шпицвега. В те времена «бедный Вертер»

с его страданиями долго определял в сознании европейцев большую часть всех немцев — слезливо-робких и не в меру чувствительных, склонных помечтать под луною или всплакнуть над увядшим цветочком.

Европа, кажется, и сама не заметила, как на смену томному Вертеру пришел всесокрушающий Зигфрид — тевтон, уже облаченный в крупповские доспехи. На протяжении жизни лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу с высокоразвитой индустрией, с железной дисциплиной в быту, где, по словам очевидца, «слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Культ сабли, военного мундира и гусиного шага глубоко проникал в психологию всех классов населения, не исключая и пролетариата».

Германия переживала быстрый рост рождаемости, ее средневековые города сделались тесны для жителей. Крупп поражал воображение мира своими пушками, Цейс — хрустальною оптикой, Тирпиц выводил в море броненосцы, а Цеппелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжелая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире (после США). Но… откуда все это? И почему так быстро развилась эта страна?

Ответ прост: бедным Вертерам помогал разбой! ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ франков, которые они содрали с Франции после ее разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции с побежденных пролились на аккуратные немецкие огороды словно оживляющий в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа, но страшен был результат — Вертеры поверили, что грабеж соседей законен и даже полезен для их здоровья.

Маршировать немцы любили давно и относились к шагистике без тени юмора, свойственного славянам. Даже мирные члены туристских «ферейнов», трогаясь в путь, вскидывали зонтики на плечо по команде, словно ружья. Генштаб заметно оживился при Вильгельме II, в его офицерском корпусе рассуждали:

— Важно ударить сейчас, пока русские не очухались от возни с японцами. Европа не так уж страшна, как мы привыкли о ней думать… По сути дела, это большая куча гнилой картошки. Толкни посильнее — и она сразу развалится!

Немецкий генералитет пришел к мысли, что «Германия обладает теперь такой мощью, какой не обладала ни одна великая держава». Состарившийся Хельмут Мольтке-старший, сдавая дела

своим преемникам, вручил им уже почти готовые планы превентивной войны против России.

— Только не опоздайте с нападением, — внушал он. — Лучше раньше, нежели… никогда!

На празднествах в Германии публично сжигали громадные макеты «варварской» Москвы; ревущая от восторга толпа окружала эти изуверские пожары, в огне которых корчился Московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного. Пока был жив Бисмарк, он еще остерегал Германию от последствий мировой бойни, делая страшные пророчества: «В конце войны ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался!» Но Бисмарка не стало, а Мольтке-младший сложил четкую, вполне готовую формулу войны для будущего фашизма:

— Мы отбросим все банальности об ответственности агрессора… Только успех оправдывает любую войну!

Пока они там горячились, русский военный атташе в Берлине, полковник Базаров, подкупил за деньги германских офицеров и чиновников картографического отдела немецкого генерального штаба. По тайной цепочке «почтовых ящиков» в Петербург потекла свежая и самая точная ин-

формация о дислокации германской армии на случай войны.

Скандал был велик, и Базарову было объявлено:

— Вам предлагается покинуть Германию в течение шести часов, иначе будете осуждены… Как вам это удалось?

— Чему удивляетесь, господа? — со смехом отвечал Базаров. — Если в этом безрадостном мире существует продажная любовь, то почему бы не быть и продажной совести?..

Конечно, попав в кайзеровскую Германию, охваченную нетерпением войны, я не мог предполагать, что рядом со мною, еще никому неведомые, уже варятся в громадном котле всеобщей ненависти такие жуткие личности, из которых история потом изберет будущих гитлеров, гиммлеров и герингов. …Ивиковы журавли пролетали надо мною, и мне казалось, что я слышу с земли их печальную перекличку в небесах:

— Курлы-курлы… курлы-курлы… курлы!

* * *

Постоянное общение с женщиной накладывало на наши отношения старомодную патину особой нежности, однако любовь, едва намечен-

ная пунктиром, кажется, осталась за кордоном, а здесь, в Германии, я не столько любил эту прекрасную и смелую женщину, сколько исполнял, как актер, заглавную роль ее супруга. Пусть читатель не посетует на холодность моих чувств, но пани Вылежинская так и осталась для меня лишь кратким, хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни.

Стану говорить о более важных фактах.

В первые дни, когда Вылежинская на правах законно разъяренной жены вырвала меня из гамбургских вертепов Сант-Паули, я не сразу пришел в себя. Не скрою, я испытывал страх скорого разоблачения, а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который еще издали распахнет передо мною свои жаркие объятия:

— Дружище! Вот не ожидал встретить тебя в Германии. Это, брат, здорово, что мы встретились. Как ты здесь оказался?

Я неохотно показывался в оживленных местах, избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловил себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. Я бывал скован даже в пустяках и помню, как, впервые навестив пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика:

— Ну что, приятель, пивка захотелось? А чего не приволок с панели какую-нибудь завалящую шмару?..

Страх вскоре прошел, но от постоянной настороженности зверя, всюду чуявшего засаду, я не избавился никогда. Впрочем, помнить об опасности было даже необходимо. Хороший агент разведки, если он не желает быть повешенным, обязан скрывать свои национальные черты: француз может выдать себя вежливостью, немец грубостью манер, англичанин обязан скрывать свою замкнутость. Но знали бы вы, как трудно было мне, природному славянину, вживаться в немецкую «шкуру», бывая нарочито мелочным в денежных расчетах или покорно ожидающим на панели взмаха руки шуцмана, чтобы перейти улицу. Все это далеко не пустяки для меня, с детства привыкшего к укладу русской безалаберной жизни.

Очевидно, давние уроки актерского ремесла, освоенные еще в молодости на любительской сцене, все-таки пошли мне на пользу, и я весьма скоро вошел в роль преуспевающего дельца, обладателя солидного счета в банке. Я гордо носил часы с золотой цепочкой, выпущенной поверх жилета, расшитого незабудками, и являл

собою пример гордого носителя тех бредовых идей, которые легко умещались тогда в головах миллионов немцев, одурманенных собственным величием. Линза монокля, вставленного в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик…

Мои задачи агента были достаточно скромные. Я состоял лишь мужем, а заодно и коммивояжером при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий. Фабрика работала в маленьком городке близ Берлина, откуда лежали хорошие пути сообщения, а мне часто приходилось мотаться в Пруссию, где всегда была нужда в керамических трубах для осушения заболоченной местности. Нелишне сказать, что в числе наших экспортеров была и Россия, скупавшая у нашей подставной фирмы трубы для водо- и фановых сбросов. Россия же покупала у нас и кафель для отделки помещений. С тех пор прошло немало лет, но даже теперь иногда я встречаю в домах печи, обложенные кафелем с маркировкой той фабрики, которой мы когда-то владели сообща с пани Вылежинской… мне смешно!

Впрочем, производством ведала моя «супруга», а я был занят делами своего «наследства» — свя-

зями с нашей тайной агентурой, разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики. Денег хватало. Я обзавелся двумя квартирами — в Берлине и в Кенигсберге, а затем приобрел выносливый немецкий «бенц» на шести цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинции до скорости в сотню миль… Я твердо усвоил непреложную истину, что вокруг хорошего агента разведки всегда царит благословенная тишина, а вот когда вокруг него начнут грохотать выстрелы, значит, он провален, и в этом случае агенту остается лишь признать свое поражение. Впрочем, «Консул», обязанный предостеречь меня от опасности, ни разу не появлялся на моих путях, дела фабрики шли превосходно, а для связи со своей агентурой я имел два надежных «почтовых ящика»: в Кенигсберге это был газетный киоск возле ратуши, а в Берлине — цветочная лавка около Ангальтского вокзала.

Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам как людям никогда не испытывал. Мало того, мне часто приходили в голову слова Руссо: «Война не есть отношение человека к человеку, а лишь отношение государства к государству. Государство не может иметь врагами отдельных

лиц, а только само государство же!» Живя среди немцев, сам выдавая себя за немца, я ненавидел не их, а лишь боролся с немецким государством, в потаенных недрах которого уже вызревали опасные бациллы будущих войн с их опасной доктриной молниеносных «блицкригов».

Мне осталось лишь поблагодарить читателя, если он вникнул в эти скучные страницы, ибо они во многом определяли мое отношение к Германии времен кайзера, которой в Европе все боялись, как гораздо позже народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией времен Гитлера…

* * *

«Консул» возник внезапно, словно привидение с кладбища, и, весь в черном, как похоронный церемониймейстер, он не предвещал своим появлением ничего доброго.

— Нет, нет, — торопливо заговорил он, — никакой опасности нету, вы работаете хорошо. Но поручение Генштаба столь важное, что его нельзя доверить «почтовому ящику»…

Следовало раздобыть новый секретный код 1-й эскадры флота Открытого моря, которая базировалась в Вильгельмсгафене, оснащенном доками,

пирсами, эллингами и… особым положением, при котором все приезжие сразу ставились под надзор полиции.

— Но вам, — сказал «Консул», — сделать это легче, ибо сейчас в гавани идет прокладка водопровода, нужны трубы для подачи пресной воды в крейсерскую гавань. Забейте конкурентов дешевизной своих труб, после чего получите транзитную отметку в паспорте как поставщик флота его величества.

— Что дальше? — спросил я.

— Дальше? — «Консул» с ухмылкой предъявил мне почти черную фотографию, сделанную при свете луны, на снимке был виден человек в форме шуцмана, залезающий в окно второго этажа. — Это нам попался старший полицейский гаванского участка как раз в Вильгельмсгафене, зовут его Эрнст Енике (запомните!). Он снят в момент, когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка… Поверьте, ущучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили.

— Не сомневаюсь, — отвечал я. — Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсгафене я уже читал в газетах, хотя преступник и не был обнаружен.

— Енике тоже читает газеты, — кивнул «Консул». — Зато он немало удивится этой фотографии, когда вы сунете ее прямо ему в морду... Далее, — продолжал «Консул», — у этого ворюги есть хорошенькая сестра, за которой бесполезно ухаживает некий Фриц Клаус, сигнальный унтер-офицер с крейсера «Таннер», имеющий доступ к секретным кодам. Девица отказывает ему, ибо загорелась сыскать жениха с квартирой и мебелью.

В эти годы высшим «шиком» для всех немецких обывателей было владение однокомнатной квартирой с кухней и прихожей, а эта девица, видите ли, пожелала еще и мебель.

— Мне все ясно, — сказал я «Консулу». — Сколько платить?

— Денег не жалейте...

Он медленно натянул черные перчатки, скрипящие свежей кожей, я подал ему черный котелок. «Консул» энергично взмахнул тростью из черного эбена, на которой серебряный набалдашник изображал голову льва с разинутой пастью.

— Учтите, — напомнил он, — в Вильгельмсгафене, чтобы раздобыть этот новый код, сейчас во всю ивановскую работает морская разведка англичан. Эти люди не слишком-то щепетильны

в таких делах, и я не желаю вам переступать их дорогу…

### 3. Мобилизация

Я очнулся на полу после сильного удара по голове. Но долго не открывал глаз, сознательно продлевая свое беспамятство, чтобы обрести полное сознание… Что случилось? Ведь все складывалось отлично. Комендант Вильгельмсгафена только вчера заключил со мною контракт на поставку труб, явно соблазненный их дешевизной, а качество керамики нашей фирмы не вызывало сомнений. Мало того, главный инженер порта весьма любезно снабдил меня схемой водопроводов гавани, предупредив, чтобы я этих планов никому не показывал, ибо они считаются секретными. И вот я валяюсь на полу в своем же номере гаванской гостиницы и даже не могу понять, что произошло. Кажется, силы вернулись ко мне и пора уже открывать глаза, чтобы убедиться в своем провале…

— О-о-о, — простонал я как можно громче.

В кресле перед настольной лампой с абажуром мне виделась фигура гигантской женщины с папиросой в зубах.

— Очухался? — грубо спросила она, даже не

обернувшись.

И тут я заметил, что эта дама из Валгаллы, достойная руки и сердца самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моем бумажнике. Из тьмы комнаты неслышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то они доискались до сути, развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани Вильгельмсгафена.

— Но… где же код? — вдруг спросил долгоносый по-английски, но с непонятным для меня акцентом.

— Обшарь ему карманы, — повелела громадная баба.

Подошвой ботинка этот мерзавец наступил мне на лицо.

— На кого работаешь? — был поставлен вопрос.

— Фирма известная… керамика и обжиг кирпича…

Я понял, что пришло время действовать. Это даже хорошо, что он наступил на меня. Я так удачно крутанул его за ногу с вывертом коленного сустава, что он с воплем покатился в угол. Но я, вскочив с полу, тут же перехватил его и швырнул, словно мешок с отрубями, через всю

комнату… В конце своего краткого, но выразительного полета, достойного цирковой арены, долгоносик опрокинул со стола и вульгарную бабищу с дымящейся папиросой, а вместе с ней рухнула со стола и лампа.

Стало темно. Во мраке ярко пылал лишь окурок папиросы, докатившийся до меня. Я раздавил его, погасив. Тишина…

— Интеллидженс Сервис? — спросил я.

Ни гугу. Но сценарий требовал своего развития.

Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искаженное болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика.

Я взял его за глотку и встряхнул. Приложив несколько раз затылком об стену. После чего он обрел дар речи.

— Я… албанец, — сказал он.

— Отпустите меня.

— Кто тебе платит, сволочь?

— Вот эта лахудра…

Я пожертвовал второй спичкой, осветив лицо женщины.

— Мне плевать, кто вы… Но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александерплац, уверен, уже заведена на вас карточка.

— К чему эти угрозы? — спросила дама.

— А к тому, что мне вас не жалко…

На шум драки и наши голоса сбежались обитатели соседних номеров, явился и молодой портье-мальчишка.

— Зови полицию, — кратко велел я ему.

Скоро она явилась, и ражий детина представился:

— Вахмистр гаванской полиции Эрнст Енике.

— Видите, что со мной сделали? — сказал я ему, показав свою разбитую голову. — Где это видано, чтобы честный немец в своем же отечестве страдал из-за какой-то швали?

В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Енике я сунул целый «манлихер». Боже, как он ему обрадовался! Я предложил ему вернуться в гостиницу:

— У меня есть початая бутылочка… буду рад.

Он возликовал еще больше. Возле бутылки с мозельским я выложил как бы невзначай и эту черную фотографию.

— Что это? — удивился он.

— Присмотритесь, — отвечал я, щедро подливая ему вина. — Вы же читаете газеты? Там в статьях об ограблении вашей конторы не хватает только этой фотографии, которая сразу все прояснит.

При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика… Кстати, — спросил я, — как ваша сестра? Она еще не дала согласие на брак с унтер-офицером Клаусом?

— Нет, — почти ошалело ответил Енике.

— Так скажите ей, что скоро Клаус станет богат и заведет для нее такую мебель, о какой можно только мечтать…

Кратко говоря, наша фирма не понесла убытков, продав свои трубы по дешевке, а сигнальный унтер Клаус, влюбленный в сестру Енике, оказался таким продажным, что я даже удивился — до чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завелись лишние деньги! В итоге этого контракта крейсера кайзера упивались пресной водой через наши трубы, код был в наших руках, а я покинул Вильгельмсгафен и всю ночь гнал свой «бенц», желая поскорее увидеть очаровательную пани Вылежинскую… Вскоре через «почтовый ящик» российский Генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана.

Ясно почему: секретные коды на улице не валяются!

* * *

Минуло более пяти лет со времени того позо-

ра, который обрела Россия на печальных полях Маньчжурии, и русская армия, приученная всегда побеждать, еще горестно зализывала свои душевные раны после унижений Портсмутского мира, а между тем германская военщина воспаряла все выше, как тесто на добротных дрожжах, и мне иногда думалось: «Нет, мы не успеем… *Уже опоздали!*»

Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретет лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут. Наши эвентуальные противники отлично осведомлены о том, что русский «паровой каток», способный растереть их в порошок, тащится слишком медленно, поэтому немцы приложат максимум политических усилий, дабы развязать войну как можно скорее, ибо сейчас они были гораздо сильнее нас.

Кажется, я уже говорил, что пресловутый «план Шлифена» в общих чертах был известен нашему Генштабу, и я, попавший в самое логово зверя, был обязан доложить в Петербург о боевом совершенстве его могучих, отлично заточенных клыков. Во время моей работы в Германии нашу разведку более всего тревожили планы мобилизации армии кайзера.

Читателю, не сведущему в военных делах, мобилизация представляется призывом запасных, гудками паровозов, рыданиями баб, виснущих на своих мужьях, пляскою пьяных новобранцев под визги гармошек. Увы, это лишь внешняя сторона дела, а сама суть мобилизации — это явление Большой Стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчетов, добытых разведкою, был крайне неутешителен для нашего Генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться… Судите сами: при обширности нашей державы, при нехватке путей сообщения и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня. Немецкая — за 12 дней, за 16 дней вставала под ружье австрийская. Таким образом, знаний гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать:

32 – 12 = 20 дней;
32 – 16 = 16 дней;
20 – 16 = 4 дня.

Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам, у Германии достаточно времени, чтобы расправиться с Францией, оставшейся в трагическом одиночестве; Австрия же, пока немцы избивают французов,

сдерживает Россию со стороны Галиции. Когда же на 33-й день русский «паровой каюк» подкатится к своим западным рубежам, Германия успеет развернуть эшелоны с запада на восток, готовая обрушиться на русские эшелоны… Наш прекраснодушный обыватель, продев босые ноги в домашние шлепанцы и попивая чаек с булкой, конечно, ничего об этом не знал, и только мы, офицеры Генерального штаба российской армии, отчетливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации…

Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса. Вскоре стало известно, что кайзер Вильгельм II саморучно подписал три экземпляра «Приказа на случай войны» — только три! Я не знаю, какие были замки в секретных сейфах Мольтке, но чувствовалась рука опытного взломщика, после чего один из этих приказов кайзера был выкраден вполне успешно[10].

Здесь я вернусь немного назад, к тем далеким временам, когда я служил на границе. Помните,

---

**[10] notes: 10**

О своей ценной «добыче» русский Генштаб известил союзную Францию, но в Париже не поверили в подлинность этого важного документа, а вскоре немцы узнали о баснословном успехе русской разведки, и потому «Приказ на случай войны» был ими тут же изменен.

что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу? То золотое время, когда человек добывал красители из ягод или насекомых, из муравьиных яиц или из печени животных, — это время закончилось торжеством немецкой химии. Лучшие немецкие ученые сплотились в «Фарбениндустри», добывая синтетические краски различных цветов. Талантливый Фриц Габер еще в 1904 году синтезировал аммиак, что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки, и рейхсвер кайзера, таким образом, в выделке порохов перестал зависеть от привозной чилийской селитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно вызревает в колбах и ретортах интеллектуальной фирмы «Фарбениндустри». Тот же еврей Фриц Габер (позже пострадавший от Гитлера) выпустил из своей лаборатории новое оружие века — ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями иприта и фосгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна «Фарбениндустри» объяснялась не ротозейством военных министерств, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал, что достижения химии

станут средством для массового уничтожения людей.

Итак, газы мы прохлопали. Зато обратили внимание на развитие подводных лодок. Впрочем, заслугу в этом вопросе следовало бы целиком приписать фантазии Конан Дойла, который, сотворив образ гениального сыщика Шерлока Холмса, заодно уж предупредил человечество о той угрозе, какую несут под водой германские субмарины; так уж получилось, что его новелла «Опасность» была вроде сигнала гонга, объявляющего тревогу. Известно, что Германия просто украла у американцев проекты новейших подлодок фирмы Голланда. Но вскоре на «черном рынке» европейского шпионажа появились их подробные чертежи, которые обошлись бы русской казне в миллион русским золотом. Петербург с умом отказался от покупки, ибо русские судостроители уже осваивали свои проекты — более лучших подлодок, нежели были немецкие…

Наездами я часто бывал в Берлине, где меня больше всего поражали социальные перегородки в обществе — здесь каждый сверчок знал свой шесток: жена офицера презирала жену бухгалтера, жена канцеляриста не здоровалась с женою лавочника, которая, конечно же, воротила нос

от жены рабочего. Заметил я тогда и другое. У нас в России было немало частных богатств, были богатые и бедные, но никогда я у себя дома не встречал той беспросветной нищеты, какую однажды встретил в бараках бедняков «Баракиа», что расположились на пустырях в районе Темпельгофа. Бывая в Берлине, я еще издалека распознавал особые бравурные мелодии из опер Вагнера — это ехал сам император Вильгельм II, и в таких случаях я, как и все берлинцы, радовался, вскидывая руку в приветствии. Заодно с толпою раскормленных матрон и мужчин, украшенных трехрядными затылками, я вместе с ними, ошалевшими от восторга, сам ошалевший тоже, изо всех сил кричал хвалу кайзеру. Мог ли я думать тогда, что орущие рядом со мною люди осуждены в будущем кричать нечто похожее другому божеству немцев: «Хайль Гитлер!»

* * *

Пока мы там ломали головы над планами мобилизации рейхсвера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром… Я к этому делу имел косвенное отношение, а посему оно вспоминается мне отчетливо.

Случилось это так. Однажды, завершив удач-

ную сделку с мелиораторами в районе прусского Тильзита, я вернулся домой, застав пани Вылежинскую в крайне озабоченном состоянии. Она сказала, что мое возвращение кстати, еще немного — и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служащий в Главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Вылежинская выложила на стол фотографию предателя:

— «Консул» просил запомнить его лицо.

Я машинально вгляделся в сытую морду изменника, желая как следует выругаться. Я сказал, что меня суют затычкой не в ту бочку, это скорее дело самого «Консула»:

— А теперь, когда эта сволочь уже насквозь просвечена вниманием тайной полиции, я могу быть просвеченным тоже… Где остановился этот мерзавец?

— В чаянии будущих благ Стекольников снял роскошный номер в аристократическом «Адлоне», — понуро ответила Вылежинская. — Завтра к полудню его будут ждать на Вильгельмштрассе возле генерального штаба… Нужно опередить! Я понимаю твое возмущение, но именно «Консул» и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы

тот не успел передать немцам свои бумаги…

Я подумал, хотя все было ясно. Вылежинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы, при этом больно ударила меня по спине жгутом аксельбанта:

— Быстро переоденься… время не ждет. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть приобрести для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалена…

Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента — это играть роль офицера той страны, против которой работаешь.

### 4. Опасность

Мой «бенц» был в полном порядке, его шины приятно шуршали на мокром от ночной росы шоссе. К полудню я был на месте, остановив автомобиль на углу Вильгельмштрассе. Отсюда я отлично видел перспективу улицы, в конце которой со стороны «Под липами» должен появиться человек, желавший продать свое отечество подороже… Ожидание противно затянулось. Наконец среди прохожих я почти интуитивно распознал предателя. Этот человек шагал нерешительно, с оглядкою по сторонам, а большой багровый нос (свидетельство его основных пристрастий)

напоминал красный свет на повороте, предупреждающий об опасности.

О чем он думал сейчас? Может, об обеспеченной старости в тишине сытой провинции, где цветут яблони и звонят колокола церквей, призывая его к благостной вечерне. Наверное, у него высохшая, как вобла, крикливая жена, а некрасивых дочерей женихи не желают брать без приданого… Пора! Я включил мотор и несколько метров следовал вровень со Стекольниковым, пока наши глаза не встретились, и тогда я повелительно распахнул перед ним дверцу своего автомобиля:

— Прошу садиться, герр Стекольникофф.

Он понял это предложение как вопрос к нему и торопливо заговорил, продолжая озираться:

— Да, да… гут, гут… я Стекольников.

Сразу выяснилось, что немецким языком он не владеет, и мне пришлось вернуться к языку родному, сознательно коверкая его безбожным «немецким» акцентом. Я строго спросил:

— Вы почему опаздываете?

Стекольников, держа увесистый портфель, уселся рядом со мной, и рессоры просели от тяжести его генеральской туши.

— Извините, что опоздал. Я же не немец… мы, русские, к порядкам не приучены… Я ждал не вас,

а самого Шольпе.

Кто такой Шольпе, я, конечно, не знал.

— Именно Шольпе и просил встретить вас, — ответил я, включая мотор «бенца». — Планы русской мобилизации с вами?

Стекольников похлопал по своему портфелю.

— Туточки, — весело сказал он.

— Отлично! Вы договорились с Шольпе о цене?

— Он сказал, что сумма гонорара зависит от ценности моих документов, которые прежде надобно как следует изучить. Но меньше чем на сто тысяч я не согласен.

Мне стало тошно. Ему, значит, сто тысяч рублей, а России — сто тысяч загубленных людских жизней, рыдания вдов и всхлипы сирот. Красное здание Большого штаба осталось позади, я быстро проскочил мимо русского и французского посольств; за мостом, вдоль проспекта королевы Луизы, как раз напротив берлинского морга, я круто развернул «бенц» вправо и покатил по Эльзасской улице, название которой напоминало немцам об их торжестве над растоптанной Францией в 1871 году, после чего и возникла Германская империя… Только теперь, поминутно озираясь, Стекольников начал проявлять беспокойство.

— А куда вы меня везете? — насторожился он.

— В сторону Потсдама, — наугад сказал я.

— Вот как? Далеко еще ехать?

— Нет, уже скоро…

За тихим парком Фридриха Великого, миновав районы трущоб берлинской бедноты, я завернул машину на тихое еврейское кладбище. Здесь никого не было, а мертвецы не могли помешать мне.

— Приехали! Давайте мне ваш портфель.

— А деньги? — спросил мой земляк.

Мне хотелось разрядить в его обширное генеральское чрево всю обойму браунинга, но я ответил ему крайне вежливо:

— Разве вы не уверены в благородстве немецкого генштаба, который искренно заинтересован в вашей безопасности? А с большой суммой денег, ввозимой из-за рубежа, вы же сразу попадетесь на таможне. Поезжайте домой и ждите. Мы найдем лучший способ переправить вам весь гонорар за ваши услуги. И не задерживайтесь в Берлине ни одного лишнего дня… Вот вам билет в купе первого класса до Петербурга.

— Я могу вам верить? — ошалело спросил Стекольников.

— Вылезайте, — ответил я…

Портфель с планами русской мобилизации лежал у меня на коленях, я сразу запустил мотор, оставив иуду возле ограды унылого кладбища. «Черт с ней, с этой падалью! Пусть выбирается отсюда как знает...» Позже я узнал, что Стекольникова сняли с поезда сразу, едва колеса его вагона перекатились через германскую границу. В контрразведке ему без лишних слов протянули револьвер с единственной пулей в стволе.

— Этого вполне хватит, — сказали ему. — Не будем разводить церемоний с протоколами. Как видите, нам совсем не хочется размазывать эту грязь далее. Впрочем, вот вам лист бумаги. Можете состряпать последнее письмо своей жене...

Стекольников, горько рыдая, пустил себе в лоб пулю.

* * *

...все эти Ришелье, Питты, Меттернихи, Талейраны, Нессельроде, Кавуры, Израэли, Бисмарки и прочие политики казались мне жалкими кавалерами, созданными ради придворных менуэтов; политики всегда больше старались сорвать овации с публики за очередное «красное словцо», но они мало думали о судьбах народов и, наконец, о естественных границах — политических,

географических и даже этнических. Я уже знал о положении на Балканах, где началась грызня между братьями-славянами, но сейчас был вынужден оставаться на своем посту в Германии, делая то, что мне велят, хотя, честно говоря, не все дела были мне по душе. Если говорить о шпионаже в общих чертах, то я не могу дать точное определение, чего тут больше — цинизма или артистизма? Что в нем главнее — интеллект или умение импровизировать?..

Одно из поручений Генштаба я не смог выполнить. Мне следовало узнать, из каких металлических сплавов граф Цеппелин создает свои дирижабли. Совсем не понимаю, ради чего меня посылали во Фридрихсгафен, эту главную лабораторию немецкого воздухоплавания, если все можно было выяснить дома. Фердинанд Цеппелин был женат на русской подданной, некой баронессе фон Вольф, на деньги которой он и строил свои летающие чудовища, и все нужное было легче узнать, действуя через его русских сородичей. Впрочем, английская разведка тоже споткнулась на разгадке секретов дирижаблестроения. Жители Лондона имели особый повод отомстить графу Ф. Цеппелину, ибо в первый же год войны германские дирижабли вдрызг

разбомбили гигантские запасы виски и коньяков на складах, а состав дюралевых сплавов и особых клеев был раскрыт ими гораздо позже…

Помню, я вернулся из Фридрихсгафена в дурном настроении, очень усталый, и тут появился, как всегда неожиданно, «Консул», который никак не улучшил моего настроения.

— Неприятные новости! — сообщил он с порога. — Надеюсь, вы не забыли вахмистра полиции Енике и сигнального унтер-офицера Клауса, продажность которых помогла нам раскрыть новый немецкий код… Сколько вы им заплатили?

— Сунул каждому по пять «манлихеров».

— Продажным дуракам, — был вывод, — никогда нельзя платить много, ибо они еще больше дуреют от денег… Прочтите!

В местной газете из Рура было отчеканено жирным шрифтом:

> По полученным нами сведениям, на днях были смещены решительно все подряд чины вильгельмсгафенской полиции, начиная от ее начальника и кончая последним рядовым полицейским…

— Первым взяли унтера Клауса, — сообщил «Консул». — Разбирательство его дела происходит

при закрытых дверях… Так что ничего путного наружу не просочится.

— А где же сейчас Енике?

— С него и началось! Енике разменял ваши «манлихеры» в Париже, где его засекла немецкая разведка, когда он раскутился с шикарными кокотками… Уже сидит в тюрьме Ганновера!

— Та-а-ак. Где и когда я допустил ошибку?

— С вашей стороны ошибок не было, — утешил меня «Консул». — Но к делу о полиции Вильгельмсгафена подключены и те двое… эта громадная бабища со своим напарником, которые работали на англичан, и очень скверно сработали.

— Час от часу не легче, — сказал я, поеживаясь. — Может, вы подскажете, что мне теперь делать?

— Затаите дыхание и продолжайте увеличивать выпуск керамики… У вас какие сейчас главные подряды?

— Для осушки болот в Восточной Пруссии.

— Вот, и поставляйте им трубы…

Через несколько дней пани Вылежинская развернула передо мною берлинскую газету, в которой сообщалось: из тюрьмы Кельна, выбравшись из камеры на крышу, бежал по штанге громоотвода вахмистр Енике; поиски преступни-

ка продолжаются…

— Мне в контору фабрики звонил «Консул», — подавленно сказала Вылежинская. — Немецкая агентура уже выследила Енике в Лондоне, и туда отправлен комиссар полиции Кельна, чтобы Скотленд-Ярд выдал его как уголовного преступника…

Казалось, моя карьера тайного агента русского Генштаба на этом и закончилась навсегда. Но далее события развивались вне всякой логики. Англичане выдали Енике на расправу, и доблестный вахмистр вскоре имел счастье лицезреть на скамье подсудимых своего шурина Клауса. Вот уж не знаю — почему, но эти негодяи обо мне даже не упоминали, а все грехи дружно валили на ту громадную мегеру и подручного долгоносика, причастных к работе британской морской разведки. Наверное, им, недоумкам, казалось, что измена Германии в пользу культурной Англии будет караться не так строго, нежели измена в пользу «дикой» России… Клаус получил шесть лет тюрьмы, а Енике к такому же сроку прибавили еще три года отсидки — за его грабежи.

«Консул» долго не тревожил меня своим появлением.

Наконец он явился — даже веселый.

— Вы следите за «Лебелевским альманахом»?..

Я ответил, что последний раз держал его в руках еще в годы обучения в Академии, а позже не интересовался. Генрих фон Лебель, к тому времени покойный немецкий генерал, издавал прекрасные справочники по всем видам вооружения, из его альманахов всегда можно было узнать, чем занят знаменитый Маузер, какие винтовки в армии Бразилии и прочее.

— Грядущая война будет скоротечна, — почти радостно известил меня «Консул». — Противники за один день выпустят один в другого столько пуль, сколько раньше выстреливали за всю боевую кампанию. О сути дела догадываетесь. Винтовка давно устарела, успех решит автоматическое оружие.

— Как понимать ваши слова? — спросил я…

Главное артиллерийское управление русской армии командировало в Германию известного оружейника В. Г. Федорова, который на месте, то есть в самой Германии, должен был ознакомиться с образцами новейшего вооружения рейхсвера и заодно выяснить, кто кого обгоняет в разработке автоматического оружия — мы Германию или, напротив, Германия нас.

— Хорошенькое дело, — сказал я в ответ. — Здесь

же вам не магазин готового платья, которое можно примерить в отдельной кабине. И никакой Пауль Маузер не пустит нас в свои лаборатории.

— Я назову конкретных людей, которые, обремененные большими семьями, согласятся немножко изменить родимому фатерлянду. Конечно, инкогнито Федорова не может быть раскрыто, да он и сам не пожелает этого, — сказал «Консул». — Вместе с ним приедет в Германию оружейный мастер с наших питерских заводов. Тип природного русского «самородка», наподобие лесковского Левши, который блоху подковал… Сопроводите их в разъездах по Германии, чтобы наши «гости» не наделали глупостей.

Я поразмыслил над его предложением:

— При нашем первом знакомстве вы заверили меня, чтобы я работал вполне спокойно, ибо в вашем лице обязан видеть хорошего телохранителя, который в нужный момент сразу же предупредит меня об опасности… Ведь так?

— Какие у вас могут быть сомнения? — обиделся «Консул». — Работайте, как и раньше, ни о чем не заботясь. При возникновении любой угрозы вы сразу будете предупреждены мною и вернетесь за кордон как ни в чем не бывало.

— Ну хорошо. Давайте сюда этих «самород-

ков»...

* * *

ДОПОЛНЕНИЕ. В своих мемуарах, написанных перед смертью, генерал-лейтенант инженерно-технической службы В. Г. Федоров запечатлел нашего героя — это был «невысокого роста человек, напоминающий лицом Наполеона. Прежде всего он предупредил о необходимости соблюдать чрезвычайную осторожность... Меня поражало его умение и, прямо скажу, талант вести тончайшую конспирацию. Он сообщил также о том, что за нами повсюду следует наша же контрразведка, что она следит за каждым нашим шагом, охраняя нас от попыток ареста или провокации... Много интересных и опасных приключений пережил я вместе с этим офицером Генерального штаба».

...При первой встрече с Федоровым я предупредил его:

— Вы, наверное, извещены, что случилось с капитаном Михаилом Костевичем, служащим как раз по вашему ведомству. Немцы заподозрили его в излишней любознательности к устройству снарядных взрывателей, почему он и был упрятан в тюрьму Моабит. Нашим дипломатам пришлось немало попотеть, прежде чем Костевича выпу-

стили пастись на травку…

В ответ на мои слова Владимир Григорьевич засмеялся:

— Кстати! В наших «Крестах» сидит тоже капитан германского генштаба Вернер фон Штюнцнер, который любил вечерние прогулки в окрестностях Сестрорецкого оружейного завода, и немецкий посол граф Пурталес даже плакал, доказывая чистоту его лирических намерений… Куда мы поедем?

Маршрут был опасный: заводы Маузера в Оберндорфе, заводы Эргардта в Дюссельдорфе и секретная фабрика в Шпандау, где тоже всякие черти водились… Поехали!

### 5. Считайте меня арестованным

Наверное, нет особой нужды подробно описывать мое последнее дело в Германии, и я берусь за перо лишь по той причине, что оно стало для меня последним. Громкий процесс капитана М. М. Костевича, заподозренного в шпионаже, был еще слишком памятен, а Федоров, доверившись моему опыту, кажется, сильно преувеличивал мои способности и мои возможности.

Милейший человек, Владимир Григорьевич и сам был достаточно наблюдателен, а наше турне

по городам Германии привело его к печальным выводам. Он не переставал удивляться тому, чему я уже не удивлялся: немецкие города были переполнены великим множеством детей. Россию трудно удивить многодетными семьями, но Германия просто поражала высокой рождаемостью.

— Вот говорят, что страны, где мало детей, обречены на вырождение, и приводят в пример Францию. А здесь я вижу целые кучи сопляков и невольно думаю — неужели будущее Европы на стороне многодетной Германии?

Мне пришлось отчасти разочаровать Федорова:

— Заметьте, каждый шестой ребенок в Германии является незаконнорожденным, а каждая восьмая женщина в Берлине зарегистрирована полицией как проститутка. Наверное, во Франции столько детей не увидишь, а здесь всюду наткнешься на женщину, которая, выпятив большущий живот, тащит на руках двух младенцев, в юбку ее цепляются еще двое. Но сравнение не в пользу Германии: французский ребенок, как мне говорили, бодр и весел, он сыт и опрятно одет. А тут мы видим рахитичные создания на слабых от недоедания ножках, немецкий ребенок ютится обычно на дворах, развлекая себя среди помоек и

общественных нужников…

Моих подопечных удивляло в Германии многое, особенно порядок в уличной толпе, более свойственный воинской дисциплине. Жизнь немцев постоянно была под надзором полиции, работавшей прекрасно, на каждом шагу немец бывал предупреждаем вывеской с надписью: «Запрещено».

— И все безропотно подчиняются, — дивился Федоров. — Это не как у нас в России, где человек, если его не пускают в ворота, самым преспокойным образом перелезает через забор…

Но Владимир Григорьевич заметил и более важное:

— Нашему офицерскому корпусу следовало бы поучиться у немцев их энергии, деловитости, пунктуальности… Я не видел ни одного офицера или генерала с брюхом, тогда как у нас часто «беременеют» от непрестанных выпивок и закусок!

(В своих мемуарах В. Г. Федоров не забыл обрисовать облик будущих противников: «В большинстве своем это были люди высокие, стройные и подвижные; в них не было и следа той одутловатости, тяжеловесности и, главное, усталости, которые я с прискорбием нередко встречал среди лиц, занимавших командные

должности в русской армии».)

Федоров поражался тому, с какой «легкостью» я доставлял ему секретные чертежи, сводил его с нужными людьми, из которых он выуживал сведения. Наше положение осложнялось поведением попутчика, за которым приходилось следить, чтобы он не наделал глупостей. Это был пожилой пролетарий с Сестрорецкого завода, самородок, обладавший природным талантом механика. Кажется, его звали Иваном Ивановичем[11], и в автомате его конструкции были некоторые неувязки. В ту пору еще ни одна страна не имела в войсках автоматов, но в Оберндорфе я раздобыл — всего на полчаса! — одну из автоматических винтовок системы заводов Маузера.

— Осмотрите ее скорее, — предупредил я оружейников. — Первая партия таких трещоток уже заказана Маузеру для рейхсвера как опытный образец… Поспешите, пожалуйста.

Федоров пришел к мысли, что немцы обогнали его не столько в конструкции, сколько опередили в баллистике особой пули и в составе особых

**[11] notes: 11**

Сейчас трудно выяснить, кого именно из рабочих Сестрорецкого завода имел в виду автор мемуаров. Это могли быть слесари Рощепей или Щукин, которые тоже внесли свой вклад в развитие автоматического оружия для русской армии.

порохов. Иван же Иваныч выражал свои мысли не ахти как вразумительно.

— Вишь ты, закавыка какая! — говорил он мне. — Когда энтот шпиндель дошлет патрон до места, тут и все… Мне одной хреновины не хватает, чтобы понять ее действие.

— А как она выглядит… хреновина эта?

— Если б я, мил человек, знал, как она выглядит, я бы сюда в жисть не заехал, а сидел бы дома. Сейчас в Сестрорецке благодать. Уж я бабе своей наказал, чтобы по вечерам не забывала грядки с огурцами поливать…

Расстались мы дружески. На прощание я сводил своих подопечных в пивную, где угостил их сначала дешевым «лагером», потом заказал пиво подороже — «байриш», а сам я предпочитал светлое «Кюле блонде», в кружку с которым добавил щепотку тмина… Иван Иванович тихо ужаснулся:

— На кой пиво-то портить?

— Привык… как немец, — отвечал я.

Прощаясь со мною, Владимир Григорьевич сказал:

— Жалко мне вас… скушно вам здесь!

…В. Г. Федоров, как и я, был в жизни дважды генералом — сначала в старой армии, затем в

советской.

* * *

Когда ничего не имеешь, тогда ничего и не жалко. Моя жизнь так причудливо сложилась, что я не мог испытывать тяги к оседлости, пристрастия к вещам, ко всему тому, что для многих людей составляет необходимость. Может быть, именно от неустройства личной жизни во мне выработалось стойкое и прочное пренебрежение к богатству, а деньги как таковые не имели для меня никакой ценности. Лишь перевалив за тридцать лет, я впервые задумался над необратимым течением времени, и роковая отметка «40 лет» стала пугать меня, словно пограничный столб, поставленный для устрашения перебежчика из одного мира в другой — с новыми эмоциями, иными опасениями и другими запросами. Говорят, что нормальный человек лишь после сорока лет жизни начинает бояться смерти… Не знаю! Мне казалось, что до сорока лет я не доживу. В лучшем случае посадят, в худшем — придавят в тюремной камере или пристрелят в темном переулке… Ладно! Самое главное — оставаться самим собой, какой я есть и каким, наверное, останусь до конца дней своих, утешая себя тем, что я — *честь*

*имею*, а живу ради служения Отечеству…

Впрочем, само время, отведенное для прожигания моей жизни, не располагало к спокойствию. Мировая война могла возникнуть еще в 1911 году, когда германская канонерка «Пантера» совершила внезапный прыжок во французское Марокко, а мир вот-вот готов был взорваться. Затем итальянцы, не очень-то воинственные, которым едва хватало на макароны, вдруг ополчились на Турцию в ее африканских владениях — в Триполитании и Киренаике. Армия султана постыдно бежала, итальянцы образовали свою колонию — Ливию, а Турция взмолилась о мире…

Удивительно! В тот самый день, когда в Лозанне турки договорились о мире с Италией, именно в этот день разгорелась первая Балканская война. Эти балканские войны, так редко поминаемые в нашей стране, стали уже «белым пятном» для широкой публики, и потому я рискую восстановить примерную картину событий, которые отразились не только на делах балканских народов, но и разрушили приснопамятное равновесие нашей — русской — политики.

Балканский союз из четырех государств (Болгария, Сербия, Греция и Черногория) в России надеялись использовать вроде барьера, чтобы

задержать развитие экспансии Вены и Берлина. Но братья-славяне и греки всю мощь своего союза развернули против Турции, столько веков угнетавшей их. Армия султана была выпестована немецкими генералами, главным ее инструктором был знаменитый «Гольц-паша» — точнее, Кольмар фон дер Гольц; кайзер накануне войны запросил его из Берлина, какова готовность турецкой армии, чтобы «разнести эту славянскую сволочь», и получил от Гольца ответ:

— Ganz wie bei uns (совсем как у нас)!

Эта фраза стала посмешищем для всех европейцев, ибо турки бежали. С первого выстрела выявилось полное превосходство балканских армий, вооруженных новейшим оружием Франции, перед турецкой ордой, оснащенной старьем из берлинских арсеналов. Балканский союз был рожден в колыбели русской дипломатии, которая баюкала его своими песнями, и в Петербурге царь надеялся, что, дергая потаенные веревочки, он сможет управлять своими народами на Балканах, будто марионетками. Но у каждого народа были свои национальные задачи: болгары вломились во Фракию, штурмовали Адрианополь; сербы и черногорцы взяли Скутари, чтобы закрепиться на берегах Адриатики; греки гнали турок из древ-

него Эпира и Македонии, вступили в Салоники, их десанты высаживались на легендарных островах — Хиосе и Лесбосе. Наконец, неутомимая болгарская армия вышла к самому Стамбулу, до которого оставалось всего 30 миль.

Английские корреспонденты сообщали в Лондон, что любимое оружие болгар — штык, владеть которым они научились у русских, а их пулеметы косили войска султана, как дурную траву. Все в кровище, грязные, зачумленные, голодные, покрытые рубцами и вшами, славяне привинчивали штыки.

— На нож! — звали их в атаку юные офицеры…

Воодушевление было всеобщим; война была явно освободительной, и призывы «На нож!» отозвались в министерских кабинетах Вены, Берлина и… Петербурга.

— Но так же нельзя, — говорил Сазонов. — Не сегодня так завтра они возьмут Константинополь… а как же мы?

Балканы выпали из-под контроля русской политики. Европа, еще верившая в могущество турок, была обескуражена. Кайзер в Берлине беспокоился за свою дорогу «Берлин — Багдад»:

— Ради чего мы стелили там свои рельсы и шпалы?..

Из Вены ему вторил престарелый Франц Иосиф:

— Моя мечта — увидеть Салоники австрийскими, а как же я приеду в Салоники, если там уже греки?..

…Но что они могли сделать? Вся Сербия поголовно стала под ружье — и стар и млад. Человек без «пушки» (ружья) в Белграде был уже неуместен, даже подозрителен. Один сербский учитель, жалея молодую жену, не пожелал воевать, доказывая ей: «Поверь, я не боюсь смерти, но я боюсь, что ты останешься одинокой вдовой». Тогда жена учителя повесилась в спальне, оставив ему записку: «Теперь у тебя нет жены, осталась только родина. Если вернешься из боя живым, принеси на мою могилу старые цветы нашей Старой Сербии».

Казалось, что Россия имеет право вмешаться…

* * *

Авторов авантюрных романов часто упрекают за вымысел самых случайных совпадений, говоря им: «Вы преувеличили… этого не могло быть!» Но в работе тайной разведки никогда нельзя исключить такие совпадения, что голова закружится. Нет, я не встретил на улицах Берлина знакомца

из русских, который кинулся мне в объятия, — я встретил другого человека, о котором, да простит меня бог, уже начал понемногу забывать…

В эти свои последние дни я почти равнодушно узнал, что Вылежинской-Штюркмайер надобно срочно выехать в Италию, которая уже зарилась на Албанию, дабы закрыть балканским славянам доступ к гаваням Адриатического моря.

На прощание мы расцеловались, и в момент поцелуя я вдруг вспомнил, что в глубокой древности осужденные на казнь были обязаны целовать своего палача.

— Мы еще увидимся, — сказала она без улыбки.

В этот момент я ее полюбил! Но встретиться в этом мире нам было уже не суждено. Я остался один, не имея никаких поручений, лишь руководя своей фабрикой. «Консул» в эти дни известил меня, что скончался мой отец и погребен на Новодевичьем кладбище. Я давно был готов к этому:

— А… моя мать? — спросил я.

— Она по-прежнему живет и процветает в Вене…

Тут я прерву свой рассказ. Очевидно, в нашем Генштабе допустили просчет с внедрением моей персоны, навязчиво торговавшей керамически-

ми трубами, которые я широко рекламировал в немецких газетах. Дело в том, что немецкая агентура во Франции, в Бельгии и в Голландии размещала свои шпионские гнезда тоже под вывеской частных фирм, дешево ведущих водопроводные и канализационные работы. Естественно, где-то случилось короткое замыкание, и «Консул» предупредил меня:

— Сейчас вам лучше побыть в Кенигсберге, оставив фабрику на попечение своего инженера...

Я уже привык навещать Кенигсберг (бывший славянский Кролевец), отстроенный немцами безобразно, но примечательный тихим Прегелем, древним собором и зарождением здесь философии Канта. В гостинице я снимал постоянный номер, обедал в ресторане «Брудершафт», намеренно облюбовав, для себя отдельный кабинет, который через туалетную комнату имел отдельный выход во двор.

Был день как день. Но он уже заканчивался, не предвещая никакой беды. Я ужинал в своем кабинете, когда дверь распахнулась и напротив меня решительно уселся немецкий майор в мундире офицера генерального штаба. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не выразить удив-

ления, ибо в этом майоре я узнал… Берцио! Да, того самого Берцио, которого я же сам и поймал на границе в Граево…

Теперь он улыбался. Я продолжал есть.

— Вы, конечно, не ожидали меня видеть? — спросил он.

— Нет. Но, судя по всему, вы не очень-то долго томились в нашей тюменской ссылке по статье сто одиннадцатой.

— Ах, стоит ли вспоминать об этом!

После этого восклицания он замолк. Я молчал тоже. В двери кабинета не раз заглядывали какие-то подозрительные типы, но Берцио каждый раз давал понять взмахом руки, чтобы они не мешали. Кажется, ему хотелось получить сполна порцию удовольствия, чтобы, поиздевавшись надо мною, расквитаться за свое прошлое унижение — еще там, в Граево.

— Вы работали очень чисто и до поры до времени нигде не дали осечки, — вдруг стал нахваливать он меня.

— Благодарю, — скромно отвечал я. — Вам, конечно, не угадать, когда эта осечка случилась с вами, после чего я и решил возобновить наше знакомство.

Я понял, что проиграл полностью: я разобла-

чен!

— Не помню, — сказал я, освобождая руку от вилки.

Берцио понял мой жест на свой лад.

— Не надо глупостей, — услышал я от него. — Ваше дело проиграно, и мы встретились за ужином не для того, чтобы тут валялись наши трупы. И ваш, кстати, тоже… Будем умнее!

— Хорошо, — согласился я, — будем умнее. Чувствую, что разговор предстоит серьезный. С чего мы его начнем?

— Для начала, — ответил Берцио, — положите на тарелку свой браунинг, который, если я не ошибся, находится в вашем левом внутреннем кармане пиджака.

Должен признать, что в этот момент Берцио даже понравился мне — как профессионал, и я оценил его самообладание.

— Пожалуйста, — сказал я, выкладывая перед ним браунинг, но положил его между тарелок.

Берцио аккуратно проверил отжатие его предохранителя и деловито спрятал оружие в наружный карман своего мундира.

— Итак, — сказал он, — мне выпала высокая честь объявить вам, что с этой минуты можете считать себя арестованным…

## 6. Ich lebe noch (я еще жив)

— Давайте еще немножко посидим, — сказал я. — Вы-то уже бывали в подобной ситуации, а мне трудно смириться с тем, что я попался в ваши руки… именно в ваши, майор!

— Я уже полковник, — рассмеялся Берцио.

— С чем от души вас и поздравляю…

Берцио смотрел на меня почти с нежной жалостью.

— Увы, — сказал он, вроде сочувствуя мне, — мир так подло устроен, что за все надо платить. Даже за свои ошибки. Я ведь расплатился за свой промах в Граево, а теперь настала ваша очередь.

— Ваша правда, — согласился я. — За все приходится платить, а бесплатный сыр бывает только в мышеловках…

Тут мне вспомнились прежние уроки Хромого, и в этот же момент пустая тарелка в моих руках превратилась в смертельное оружие. Берцио лежал на полу. Из наружного кармана его мундира я извлек свой браунинг, а из внутреннего — его револьвер. Конечно, в иных условиях можно было бы и переодеться в его форму, но сейчас было некогда. Минуя туалетную комнату, я спустился во двор. На улице нанял пролетку, велев кучеру:

— На товарную станцию… можешь не спешить.

Просто мне было необходимо время, чтобы обдумать свое дальнейшее поведение. Товарная станция пришла мне в голову случайно, но явилась хорошей выдумкой. Наверное, меня станут ловить на вокзале или в порту, но вряд ли полиция догадается искать меня среди товарных составов. На окраине города я расплатился с извозчиком. Конечно, как и водится, забор, ограждающий станцию, был украшен немецким «запрещено», но я, как истинно русский и православный, ногой выбил одну из досок и протиснулся на зашлакованную территорию станции.

Мне повезло! На запасных путях, в неразберихе множества груженых платформ и остывших локомотивов, я нашел то, что мне надо. Это был пятиосный «компаунд» заводов Борзига, с управлением которого я был знаком еще смолоду, когда служил в Граево. Паровоз сердито попыхивал, уже готовый тащить «порожняк» в сторону польского Щецина. Я заглянул в будку — там никого не было, очевидно, машинист и его свита отлучились перед отправлением. Я понимал, что далеко от Кенигсберга мне уехать не дадут…

«Хоть бы выбраться за Прейсиш-Эйлау», — думал я.

Это была первая крупная станция на моем пути, место, известное в истории, где в 1807 году Наполеон сражался с нашими войсками, отрезая им пути отступления на родину, и в этом я вдруг уловил некий символический смысл для самого себя. Оглядевшись по сторонам, я разомкнул крюк сцепления паровоза от состава. Одним прыжком заскочил в будку. Семафор был еще перекрыт, но меня это не касалось. Одно движение кулисы — и мой «компаунд» взял разбег. На русских дорогах машинисты обычно держали давление пара на отметке в 12 атмосфер, а за границей держали выше, и я разогнал «компаунд» сразу на 15 атмосфер.

Пришлось скинуть пиджак и поработать лопатой, беря уголь из тендера. Помню, я был озабочен одним: «Только бы проскочить Прейсиш-Эйлау...»

Конечно, на товарной станции уже спохватились пропажею паровоза, и я теперь летел под семафорами, сигналящими мне красными фонарями. Стрелка манометра коснулась отметки «17», но мне сейчас было на это наплевать... Вот и Прейсиш-Эйлау! Мимо стремительно пронесло

асфальтированный перрон, украшенный цветочными клумбами, редкие фигуры пассажиров и дачников, но меня здесь, кажется, уже поджидали.

Мой локомотив четырежды вздрогнул, когда под его ведущими колесами взорвались четыре предупреждающие петарды.

— Пора! — сказал я себе, надевая пиджак…

Станция исчезла за поворотом. Я отжал форскран, стравливая излишки пора в сифон, и долго стоял на узеньком трапе, примериваясь к прыжку. Наконец я заметил пологий откос, заросший густою травой, и — прыгнул. Потом, очухавшись, долго ползал по траве, отыскивая браунинг, выскочивший при падении из кармана. Встал. Все в порядке. От моего паровоза где-то за лесом виднелся дым.

Очень долго я шел лесом, мысленно рисуя в воображении карту Восточной Пруссии, дабы лучше ориентироваться. Мне вспомнилось, что близ границы множество озер, богатых рыбой, и там издавна живут русские староверы, занятые рыбным промыслом. Вряд ли они откажут мне в помощи, но до этих озер еще предстояло добраться… Было раннее утро, запели птицы, когда я выбрался из леса на шоссейную дорогу. Мне сно-

ва повезло. На шоссе застрял одинокий «бенц», в нем сидел злой, как тысяча чертей, немецкий генерал, жестоко ругая солдата-шофера, ковырявшегося под капотом. Видно у них испортился мотор. Я не спеша подошел к автомобилю, пожелав генералу доброго утра. Затем, нарочно мешая польские слова с немецкими, учтиво предложил неопытному шоферу:

— Не нуждаетесь ли в моей помощи? Я работаю на местной лесопилке и не раз возил ее хозяина. У него такой же «бенц».

Генерал просто взмолился:

— Я спешу в пограничный Летцен, а этот дурак совсем не умеет водить автомобиль… новобранец! Научите его…

Повреждение в моторе оказалось пустяковым. Я быстро его устранил, и генерал, прислушиваясь к моей речи, спросил, кто я — курп, кашуб или коренной прусс?

— Нет, я поляк, но уже второй год выезжаю на заработки в вашу Пруссию, где легче подработать. Если позволите, я сяду вместо вашего шофера, я люблю водить автомобиль.

— Пожалуйста! — обрадовался генерал. — А вы куда держите путь?

Я ответил, что мне хотелось бы в Летцен, где

в офицерском казино гарнизона служит моя невеста.

— О-о! — восхитился генерал. — Так это не хохотушка ли Владка?

— Да, моя Владка очень любит смеяться… Покажи ей палец, так у нее от хохота в животе даже вода закипает…

Я гнал «бенц» без жалости. Генерал был столь любезен, что из своих рук угостил меня бутербродом, а солдату-шоферу отпустил хорошую оплеуху, сказав:

— Учись, дурак, как надо возить генералов…

Вот уж не думал я, что через два года вернусь в эти же края, где меня ожидал такой позор, после которого мне даже небо казалось с овчинку. Благополучно доставив генерала в Летцен, я, конечно, поспешил прочь из Летцена, пешком пройдя до узловой станции Лык, откуда шла прусская контрабанда (и с которой я когда-то боролся). От Лыка было совсем недалеко до границы, до нашей погранзаставы Граево.

Впереди мне предстояло самое трудное и рискованное — пересечение границы («рвать нитку», как говорят контрабандисты). Я очень хотел есть, но шляться по хуторам не решился. Сидя на пригорке, я долго присматривался к жизни

маленького прусского городка, где лучше бы даже не показываться: каждый новый человек в Лыке сразу будет взят на заметку местной полицией, а меня наверняка уже ищут. Однако голод пересилил боязнь, и я рискнул зайти в ближайший трактир на выезде из города. Мне предстояло изобразить транзитного пассажира, ожидающего попутного поезда. Трактирщик чересчур подозрительно оглядел мой измятый костюм и мое небритое лицо:

— Вы сами откуда и куда путь держите, дружище?

— Да я из Клауссена… метил старые деревья, — небрежно пояснил я. — Проспал утренний поезд, а теперь жду вечерний.

— До Кенигсберга?

Знания генштабиста выручили меня:

— Да нет, я служу в Роминтенском лесничестве.

— Может, закусите? — сам предложил трактирщик.

— Охотно. Все равно делать нечего…

Наконец-то передо мною стояла яичница с колбасой, а над пузатой кружкой вздымалась шапка кружевной пены. В трактире было полутемно, но в уголку примостились какие-то типы, один

из них однажды показал на меня через плечо отогнутым большим пальцем. Радости у меня не прибавилось, когда я узнал известного в этих краях контрабандиста Рувима Петцеля, того самого Петцеля, которого я однажды допрашивал и на прощание подарил ему хороший пинок под зад…

Теперь, поглядывая в мою сторону, его приятели весело посмеивались. «Этого мне только не хватало! — соображал я. — В ресторане угораздило нарваться на Берцио, а в этой пивнухе напоролся на Рувима Петцеля…» Как быть? Подумав, я решил, что из такой ситуации, какая возникла, можно извлечь выгоду. Ведь меня ждет впереди самое трудное — переход границы! Оставив недопитое пиво и недоеденную яичницу, я, уже достаточно взвинченный, встал и быстро покинул трактир. Дойдя до первого угла, я затаился в тихом переулке, ожидая появления Петцеля. Вот он выкатился со своими дружками, о чем-то еще договариваясь с ними, потом зашагал по улице…

Я — за ним! Он завернул в городской сквер. Я бесшумно нагнал его и, схватив сзади за шею, обмотанную косынкой, больно уткнул в спину ему дуло браунинга:

— Ты почему перестал здороваться с прияте-

лями?

Контрабандист оказался очень догадлив:

— Господин поручик… это вы? Я узнал вас в пивнухе Штибера сразу, но подойти не решился. У каждого свое дело.

Я спрятал браунинг в карман, отпустил его шею.

— Здравствуй, — сказал я. — Это даже хорошо, что ты узнал меня. Кажется, ты еще не оставил своего веселого ремесла?

— Жить-то надо, — отвечал Петцель, сплюнув.

— Кого берешь за кордон?

— Своих. Немец. Два поляка. И три еврея.

— Плюс один русский — я!

— Шутите, ваше благородие? — удивился Петцель.

Я затолкал его в самую гущу кустов, чтобы никто из прохожих нас не видел. Спросил по-деловому:

— Возвращаешься с грузом?

— Да, — сознался Петцель.

— Что несете?

— Да так… всякая ерунда. Лекарства. Кружева. Духи. Есть даже пластинки для любителей граммофона с чудесным хоровым пением эмигрантов: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…»

— Ладно. Петь будешь потом, когда окажешься дома.

— Дома-то у нас за такие мотивы сажают.

— Ну, тебя-то посадят не за песни…

Петцель вдруг озлобился, угрожая на своем жаргоне:

— Если вместе будем рвать нитку, а потом завалите мою хурду без гешефта, так вам до кладбища гулять в тапочках.

— Не пугай! Напротив, я обещаю тебе ни словом не выдать твою шушеру, если нитку порвем… Когда рвать будешь?

— Сегодня ночью.

— Вот и хорошо. Рвем вместе. Но если завалишь меня, так я даю тебе честное слово русского офицера, что не только ты, но и твоя Хайка со всеми твоими сопляками очухаются на морозе в Якутском королевстве… Понял?

Ночью, неся на спине мешок, я тайными тропами контрабандистов перешел государственную границу. Страшно подумать, что скоро именно в этих краях я обрету свое бесчестье!

## 7. Бочка с порохом

Дерево не станут трясти, если оно не приносит плодов. Наверное, я все-таки недаром торчал в

Германии, ибо мои услуги вскоре опять понадобились нашей разведке. Но прежде мне в Генштабе пришлось выслушать немало упреков:

— Угораздило же вас нарваться на этого олуха — Берцио, бежавшего из нашей ссылки… вот и влипли. Сразу! Бонапарт никогда не стал бы Наполеоном, если бы начал свою карьеру прямо с битвы при Ватерлоо… позор!

— Ну, до Ватерлоо мне еще далеко, — огрызался я. — Пока что я удачно бежал, как бежал и Бонапарт из Египта…

После этого разговора, весьма неприятного, я навестил могилу отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Мой отец успокоился на окраине столицы — подле могилы поэта К. К. Случевского, и я грешным делом подумал, что моему папе нескучно будет лежать в земле рядом с таким талантливым собеседником. Когда же я покинул тихую юдоль мертвых, то вышел сразу на Забалканский проспект, и в этом названии усмотрел что-то символическое, предупреждающее меня:

— Когда же и я буду там… за Балканами?

После всего, что было, началась полоса душевной депрессии. Ничто меня в жизни больше не радовало, я погрузился в унылую апатию, равнодушный к себе и другим, хотя разумом

понимал, что это вполне естественная реакция после дикого напряжения воли и нервов. Часто вспоминалось, как на опасном перегоне до Прейсиш-Эйлау я стравил пар из котлов локомотива, а теперь мне казалось, что из меня самого выходит пар самого высокого давления…

Страшно одинокий, я снова оказался в пустынной родительской квартире на Вознесенском, где все отжившее больно напоминало о прошлом. Когда-то вот в этой комнате я листал первые детские книжки, а на этом балконе, нависшем над улицей, меня, еще маленького, держала на горячих руках молодая мама, и я, пуская пузыри, радовался войскам, проходящим под нами…

Как давно это было! Лучше не вспоминать…

Мне был предложен отпуск. Но прежде я приготовил подробный отчет о своей работе в Германии перед обер-офицерами Генштаба и, кажется, мало угодил им своим докладом. В конце этой тягостной церемонии меня спросили:

— Каковы же ваши общие выводы из тех наблюдений, что вы сложили за время пребывания в сегодняшней Германии?

Выводов было немало, но высказал я лишь суть:

— Германия вполне готова к войне, однако

она совсем не готова к ней экономически. Мне представляется, что немцы еще не осознали всех проблем, выдвигаемых будущею войною. Все их теоретические работы, — я назвал имена Блаушт-тейна, Артура Дикса и Отто Нейрата, — в области военной экономики посвящены только финан-сам, но они совсем забыли насущный вопрос, чем будут кормить свое население. Мне кажется, что Германия очень быстро станет шататься от голода! Народу нужен хлеб, а финансы варить и жарить не станешь.

— Если это так, — отвечали мне с большим недоверием, — то почему же экономическому процветанию Германии столь остро завидуют все другие страны Европы?

— Если они завидуют Германии, — сказал я, — то почему же, спрашивается, сами немцы, живущие в Германии, постоянно завидуют эко-номическому развитию Америки?

— Ну, это Америка… нам до нее нет никакого дела!

В отделе разведки меня выслушали внима-тельнее:

— Отныне дорога в Германию для вас надол-го закрыта, но… Австрия вас еще не знает, что подтвердила наша венская агентура. Так что на

берегах Дуная вы в безопасности.

— Уж не хотите ли вы, чтобы я выехал в Вену!

— Желательно, но не обязательно… Где вы рассчитываете провести отпуск? Может, вас заранее познакомить с женщиной стиля «вамп», которая не будет стоить вам ни копейки? Все расходы на ее обслуживание мы берем на себя.

— Благодарю — не ожидал! Но я не привык угощать женщин за чужой счет. Мне сейчас попросту не до женщин. Ныне я хотел бы видеть только одну женщину… мою мать!

Мне настоятельно советовали месяц-другой провести на курорте (конечно, отечественном). Я, наверное, очень удивил своих доброжелателей, сказав, что для отдыха мне достаточно купаний в Сестрорецке, с пляжа которого можно наслаждаться лицезрением наших твердынь Кронштадта:

— Тем более и ехать недалеко… дачным поездом.

Но никакого отдыха не получилось. Вскоре я был представлен высокому начальству, от которого выслушал:

— Веселого мало! Мы надеялись, что наша политика станет управлять Балканами, но теперь, когда там затянулась война, стало ясно, что Бал-

каны управляют нашей политикой.

— Потребуется вмешательство? — прямо спросил я.

За столом генералы поежились.

— Вмешательство опасно, — уклончиво отвечали они. — Но зато негласное наблюдение желательно. Попробуйте писать…

Я-то догадывался, что типографская краска иногда густо замешивается на человеческой крови.

* * *

Официальный Петербург всегда старался сделать нечто приятное Европе, нежели приносить пользу своему же народу. Храбрость наших политиков была приспособлена как бы «для домашнего употребления» — вроде ядовитого порошка для истребления клопов и тараканов. Это верно, что Балканы стали неуправляемы. Они выпали из-под контроля русской политики, балканские столицы уже не внимали Петербургу с должным почтением, и в дела на Балканах не боялись открыто вмешиваться Берлин и Вена, а Петербург более интриговал…

Итак, со мною все было ясно: в Германии я отныне буду видимым издалека, словно ворона на телеграфном столбе, зато в пределах Двуединой

монархии Франца Иосифа могу затеряться, как желтый лист в осеннем лесу. Мне было указано ехать на Балканы под видом корреспондента, но только не военного, для чего предстояло оформить отношения с какой-либо столичной газетой, далекой от военного ведомства.

— Вы же смолоду уже пробовали свои силы в журналистике, — было сказано мне в Генштабе, — так вам и карты в руки. А-эс Пушкина из вас все равно не получится, но сможете же вы сочинять хотя бы на уровне полковника Вэ-а Апушкина.

— Господи! — отвечал я. — Да ведь я был всего лишь «бутербродным» журналистом, получая шикарный гонорар рюмкою водки и бутербродом с «собачьей радостью».

— Так мы и не просим от вас печататься в «Новом времени» у Суворина, найдите сами издателя поплоше, лишь бы заиметь официальное прикрытие… для маскировки.

Жаль, что Щелякова уже не было на белом свете, а то бы он мне помог. Но по старой памяти «правоведа» я все-таки заглянул в винный погребок Жозефа Пашу, где случайно встретил серьезно пьющих журналистов — Н. Н. Брешко-Брешковского и того же полковника В. А. Апушкина. Они не принадлежали к числу великих, украшающих

мир, обладая особым талантом писать так, чтобы их не читали (и читать, надеюсь, не станут).

Апушкин, дядька добрый, меня же и надоумил:

— А вы Флору Мартыновну знаете?

— Да откуда? — отвечал я, удивляясь.

При этом Брешко-Брешковский тоже удивился:

— И чему только учат офицеров в Академии Генерального штаба, если они даже не знают жены Проппера?

— Вот Проппера я знаю, — похвастал я.

— Проппера никто не знает, — заострил тему полковник Апушкин. — Это такая превосходная гадина, каких мало. Сущий маг и волшебник! Во времена давние он стащил у Атавы-Терпигорева последние штаны, продал их, на эти деньги купил газету, а теперь стал барином, гребет миллионы с «Биржевых Ведомостей»… Но что бы мы, пишущие, делали без гада Проппера?

Проппер издавал газету «Биржевые Ведомости» и дешевый: журнальчик «Огонек», на пламени которого заживо сгорали в муках творчества непризнанные гении Н. Н. Брешко-Брешковский (сын известной «бабушки русской революции») подсказал мне, что завтра у Пропперов нечто вроде вечернего раута:

— Живут же паразиты! Будто аристократы… А

тут не знаешь, где пятерку занять, чтобы с кухаркою расплатиться.

Пропперы жили на Английской набережной, 62. Паразитов собралось столько, что их мяса и жира вполне хватило бы на целый год для работы мыловаренной фабрики. Я пай-мальчиком сидел между известными Волынским-Флексером и Гореловым-Гаккебушем, которые с пристойным вниманием слушали Флору Мартыновну, распинавшуюся в том, что она… *кровавая* русская (вместо того чтобы сказать «кровная»). В этот вечер я покорил ее слабое сердце, поговорив с нею на русско-немецко-еврейско-польском жаргоне, после чего она рекомендовала меня мужу как своего человека. Я представился ему офицером в отставке, приехавшим из провинции.

Не знаю, каково было настоящее имя издателя, но приходилось величать его «Станиславом Максимычем». Мы договорились, что с фронта Балканской войны я стану поставлять очерки для вечернего выпуска его газеты, а те материалы, которые никуда не годятся, он обещал печатать в журнале «Огонек». Так я с завидною легкостью проник в число сотрудников Проппера, который не скрывал, что он природный австриец:

— Скажите, что вам надо, я все сделаю… в

Вене!

Склонившись через стол, Проппер горячо нашептал мне на ухо, что знает в Вене шикарную куртизанку, согласную брать даже русскими рублями по валютному курсу.

— Хотите, сразу дам ее телефон? Ведь все равно вы никак не минуете Вены, чтобы попасть на Балканы…

Нахал просил записать ее номер «1-23-46», и я подивился тому, как он грубейше и подло работает. Ведь это был номер справочного бюро политической полиции в Вене. Конечно, будь я дураком и позвони туда, красотка по валютному курсу мне была бы сразу обеспечена. Но и меня самого, как приезжего из России офицера, сразу бы взяли на заметку. В разведотделе Генштаба я сказал, что Проппер, похоже, работает на Австрию, неплохо устроившись в русской столице:

— Мы об этом знаем, — уныло ответили мне. — Проппер давно под негласным надзором контрразведки, как и компания швейных машинок «Зингера». Да вот беда — его паршивый «Огонек» высочайше соизволит читать наша императрица, так что эту кучу лучше не разгребать, иначе вони потом не оберешься…

…Перед отъездом я спросил напрямик:

— Мимо Вены мне все равно не проехать. После всего, что произошло, и после кончины отца — могу ли повидать свою мать?

— Сейчас нельзя, — ответили мне, — ибо ваше свидание с нею сразу привлечет внимание к ней как к жене австрийского генерала. А внимание к ней обратится на вас…

И вот тут — впервые! — в мою душу закралось сомнение. Не является ли мама агентом «Черной руки»? Может, она затем и стала женой австрийского генерала, чтобы легче носить свою маску? С такими мыслями я покинул Петербург, на всякий случай проверив свою память — не забылся ли венский адрес мамы? Помнил: собственный дом на углу Пратерштрассе, там, где Пратер заворачивает в сторону дачного Флорисдорфа…

* * *

Между тем положение на Балканах, этой стародавней «бочке с порохом», подложенной в погреб Европы, день ото дня становилось запутаннее, так что, живи сейчас Талейран, и тот, наверное, не смог бы разобраться — кто там прав, а кто виноват. Умные политики хорошо понимали, что грызня на Балканах — это пролог к мировой бойне, но, тоже беспомощные, они лишь могли

разводить руками:

— Когда добрые соседи дерутся, стоит ли нам поджигать весь их дом, чтобы они прекратили драку?..

Наверное, русским дипломатам было не особенно-то приятно узнавать, что на Балканах дико зверствовали кавказские черкесы и крымские татары — из числа тех мусульман, которые не так давно эмигрировали из России, а теперь служили в армии турецкого султана. В министерстве иностранных дел Сазонов диктовал послу в Белград: «Категорически предупреждаем Сербию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собою...» Петербург опасался, что не в меру воинственные болгары вот-вот возьмут Константинополь. Австрию страшило, что сербы получат выход в Адриатическое море и, чего доброго, заведут свой военный флот, это же беспокоило и гордый Рим, зарившийся на Албанию, зато Берлин... Вот он, кажется, ничего не боялся, и кайзер душевно поздравлял Франца Иосифа с началом мобилизации австрийской армии. Румыния пока оставалась нейтральной, в ней правил король Карл I из династии Гогенцоллернов, родственный болгарскому царю Фердинанду из династии Саксен-Кобургской, — первый вы-

шел из рядов-прусской армии, а второй служил в армии австрийской…

Турки, разбитые болгарами, взмолились перед Европой, чтобы она их спасла; в Петербурге тоже хотели разнять дерущихся, и по инициативе Сазонова в конце 1912 года в Лондоне открылась мирная конференция[12]. Дипломаты поторапливались, ибо вся Галиция уже кишмя кишела солдатами Франца Иосифа, готовыми наброситься на Сербию; венская дипломатия была в эти дни настроена очень решительно:

— Мы не уберем штыки, хорошо видимые с улиц Белграда, до тех пор, пока сербы не разойдутся по домам…

Пока в Лондоне мудрили, как принудить Балканы к общему послушанию, в январе 1913 года власть в Стамбуле захватила партия «младотурок», издавна уповавшая на помощь Германии, и Турция вновь напала на славян. Но войска Турции, уже разложившиеся морально, более похожие на скопище голодных инвалидов, чающих милостыни, эти войска снова — в какой уже раз! — были разбиты. Лондонская конферен-

**[12] notes: 12**

Россию на этой конференции представлял граф Александр Константинович Бенкендорф (1849-1917), бывший в ту пору российским послом в Лондоне.

ция попросила турок совсем убраться прочь из Европы, и даже кровожадная Албания, многовековой поставщик для султанов баши-бузуков и головорезов, даже эта дикая Албания теперь получила автономию, изгоняя из своих деревень турецких господ.

Первая Балканская война вроде бы закончилась. Но летом 1913 года, почти без передышки, началась вторая война, разрушившая весь Балканский союз. Военная «добыча» оказалась слишком велика, и вчерашние победители рассорились, не в силах решить, кому больше, а кому меньше достанется. Греки, давние борцы за свободу, заговорили о возрождении «Великой Эллады», в Белграде даже самые последние голодранцы стали мечтать о создании «Великой Сербии». Победители быстро перетасовали карты: на обломках Балканского союза образовалась новая коалиция — из Сербии, Черногории и Греции, а в эту компанию напросился и Карл I, желавший оторвать от Болгарии область Добруджи. Если раньше война была справедливой, освободительной, а идеалы ее были священны, то теперь она превращалась в братоубийственную, попросту грабительскую. Новая коалиция дружно набросилась на Болгарию — свои били своих же, но скоро

к ним присоединились и чужие. Румынский Карл I двинул армию на Софию, а турки ударили с юга, сообща терзая несчастную Болгарию, которая вскоре и капитулировала…

Что добавить к тому, что уже сказано? В конце этих войн над кручами Балкан закружились аэропланы, на расквашенных дорогах застревали в грязи бронеавтомобили, а в походных шатрах стал тихо попискивать, готовый заговорить в полный голос, новорожденный зверь — радио. Мне сейчас трудно судить, в какое время автор мемуаров наблюдал за победами и поражениями друзей или врагов, но я уверен, что не ради литературной славы он явился на грохочущие Балканы…

### 8. Почти легально

Я ехал почти легально, да и трудно придраться к журналисту даже в том случае, если он проявит излишнее любопытство. Перед отъездом из Петербурга я побывал в тире столичного гарнизона, чтобы набить руку в стрельбе. Конечно, общение с оружием не развивает таланта, но я ведь и не стремился в классики. По договоренности с Проппером я должен был дать первую корреспонденцию с болгарского фронта, уже предчувствуя,

что Болгарию я застану не в самый светлый час ее богатой, но трагической истории.

В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода и накоротке сошелся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету «Вечернее Время». Пиленко был популярным профессором международного права, преподававшим в Лицее, и я высказал свое удивление, зачем ему понадобилось залезать в окопы этой Балканской войны:

— Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов, так вы поехали кормить болгарских?

Пиленко отвечал с явным раздражением:

— Но сколько можно читать лекции в защиту угнетенных народов и не видеть, как эти народы дерутся? Я дошел с болгарами до самого Босфора, пережив с ними все ужасы. Вам же я не советую видеть Болгарию сейчас. Не надо.

— Почему? — удивился я.

— Мы теряем в Болгарии остатки своего авторитета. Если Россия — мать славянства, то эта мать слишком жестоко обижает своих славянских детей. Вы бы знали, как хотелось мне плакать на траурной панихиде Балканского союза!

Пиленко сказал, что теперь в Болгарии лишь

старики по-прежнему боготворят Россию, помня о ее жертвах. Но молодежь уже не знает русского языка, а в окружении царя Фердинанда принято дурно отзываться о России. Впрочем, ничего нового от профессора я не узнал, уже достаточно извещенный о том, что русское влияние в Софии падает, зато оно возрастает в Сербии и Черногории. В конце нашей беседы Пиленко пришел к выводу:

— Мы долго ставили на «болгарскую лошадку», но теперь, кажется, пришло время седлать «сербского скакуна»…

Тогда в Одессе можно было встретить немало русских добровольцев, вернувшихся с Балкан, где они сражались под знаменами болгар, сербов и македонцев. Чтобы не остаться в долгу перед Проппером, я со слов этих добровольцев составил очерк под псевдонимом «Волонтер». Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось, пароход ушел без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга, чересчур раздраженный результатами войны.

— Вы… предали нас! — заявил он мне. — Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдем их

на голубом Дунае.

Помню, меня даже передернуло от намека на венскую поддержку. Я ответил этому талейрану (ответил спокойно), что русский народ оставил на болгарской земле двести тысяч солдатских могил, и это стало платой за свободу Болгарии, а личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны:

— Что вы будете делать с нашими могилами?

Тогда этот наглец без зазрения совести отвечал мне:

— Мы будем ходить с…ть на ваши могилы!

(Признаюсь, читатель, я не поверил в подобный цинизм, думая, что автор мемуаров преувеличивает, и хотел вычеркнуть эту фразу из его текста. Но в старом издании Центроархива СССР «Царская Россия в мировой войне» я нашел подтверждение этих циничных слов. Именно так Болгария скатывалась к союзу с австро-германским блоком.)

* * *

Как и в 1903 году, я через десять лет вновь оказался на берегах Дуная… Кто я был тогда и кем явился сюда опять? Если раньше меня привело в Вену смятение юности, то теперь я смотрел на столицу Габсбургов совсем иными глазами.

У русских туристов были весьма примитивные представления: Вена для них — неизбежный шницель и вальс, а Будапешт — мясной гуляш и обязательный чардаш. Русских ошеломляла венская дороговизна: отель — двадцать крон в сутки, скромный обед в ресторане пять-шесть крон (два с половиной русских рубля). В Вене пировали только еврейские банкиры да международные жулики, которым денег не занимать. Так судили наивные люди, но я мыслил несколько иначе. Знаменитое венское очарование, наигранная веселость жителей, возбужденных музыкой, вином и красотою венских женщин, — это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла.

Конечно, я не преминул навестить район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихи и пустынны, и я долго стоял на углу Пратерштрассе, где в углублении сада виднелся дом — том самый, в котором жила моя мать. Непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди, издали всматриваясь в зашторенные окна, и хотелось верить, что увижу ее… Я хотел только посмотреть на нее! Узнает ли меня мама, когда-то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на про-

щание, чтобы я слушался папу? Папы уже нет, а подчиняться мне пришлось распоряжениям Генштаба российской армии. «Ах, мама, мамочка!»

На улице вдруг появился фыркающий газолином автомобиль: сложив руки на эфесе сабли, в нем сидел старенький генерал. Шофер остановил мотор возле калитки маминого дома, и я догадался, что приехал мой отчим — генерал Карл Супнек. Он позвонил у калитки, которая и открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как Супнек сказал шоферу:

— Ты мне больше не нужен. Но вечером заедешь за нами, я с женою должен быть в «Национале» на Таборштрассе…

Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в «Национале»!

…Да, теперь я иначе смотрел на Вену — город великих злодеев-кесарей, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров и торговцев свиной щетиной, волшебное убежище элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов-офицеров, любующихся собой в отражении уличных витрин, и жалких нищих, для которых прокатиться на трамвае — это уже праздник.

Да, Вена была прекрасна, особенно вечерами, когда на Рингштрассе оживленная публика словно напоказ выставляла роскошь своих одежд и сверкание драгоценностей на красивых женщинах, в которых никогда не угадаешь, кто она такая — или герцогиня, вписанная в «Готский Альманах», или просто шлюха, давно занесенная в списки полиции как заразно-больная.

Габсбурги опутали подданных массою указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австриец смолоду не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась, и в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в Пратере оргии, достойные времен Сарданапала. Разврат свыше захватил и нижние этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов.

Меня не удивляло, что мужчина в Австрии становился самостоятельным лишь к тридцати годам, ибо университеты выпускали перезрелых невежд, но и то лишь «кандидатами на должность». Такие оболтусы подолгу «наживали» возрастной ценз, а до этого кормились подачка-

ми от богатых дам, берущих их на содержание. Подобные порядки поддерживались властями, дабы молодежь не задумывалась над вопросами политики, дабы ее волновало лишь устройство своей карьеры. Правда, что Вена — после Берлина — казалась мне беззаботно-жизнерадостной, в венцах отсутствовал налет угрюмой озабоченности, свойственный всем немцам Германии, а над военщиной кайзера Вильгельма II они откровенно потешались. Сами венцы относились к русским беззлобно, зато их пресса, их газеты…

О-о, тут на Россию изливалось столько грязи и столько вранья, что я диву давался. Ничтоже сумняшеся публиковали статьи о том, что Австро-Венгрия накануне нападения России, давно мечтающей о разделе двуединой монархии, а все русские туристы — это шпионы, желающие подкупить наших добрых и бедных офицеров, которым надо срочно повысить жалованье, чтобы избавить их от подобных искушений…

Я остановился в захудалой дешевой гостинице в районе Нижнего Деблинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера, собираясь ехать на Таборштрассе, 18, где в «Национале» я надеялся увидеть свою мать.

Тут со мною начались несуразности, сначала для меня необъяснимые. Старик серб, бывший коридорным подметалой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой двери.

— Апис просил передать, что он ждет вас в Белграде.

Естественно, я на такие удочки не ловился:

— Простите, не знаю никакого Аписа…

Старик молча выложил передо мною визитную карточку, на которой было написано: полковник Драгутин Дмитриевич, и больше ни слова. Я поднял визитку к глазам напротив окна. При ярком свете проступили контуры человеческого черепа, а потом я разглядел и силуэт черной руки с кинжалом.

— Ерунда! — сказал я. — Вы меня с кем-то путаете. У меня нет никаких знакомств в Белграде и быть не может…

Затаив улыбку, старик протянул мне вторую карточку — с полным титулом русского военного атташе в Белграде.

— Господин Артамонов тоже извещен о вашем появлении в Вене, и он тоже настаивает на вашем прибытии в Белград.

— Кто вы такой? — конкретно спросил я.

— Я — серб, и этого вам достаточно…

Я отсчитал ему деньги в мелких купюрах:

— Закажите билет на ночной поезд до Землина…

В некотором смятении я отправился в «Националь». Но боязни не испытывал, ибо чувствовал, что уже повис на крючке Аписа и буду им подстрахован. Заняв столик поближе к выходу, я заказал себе очень скромный ужин, делая вид наивного простака, которому здесь все в диковинку, и теперь он рад поглазеть на красоту женщин. Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супнек, а рядом с ним была пожилая, но еще стройная дама с характерным профилем, который достался мне от нее по наследству. Она была очень красива в длинном белом платье, а над ее шляпой «апашу» колебались легкие перья лебедей…

Я сначала встал. Потом я резко сел.

Сомнений не было — да, это она, моя мать!

Столько лет я мечтал об этой минуте, но, конечно, в иных условиях, в другие времена, когда был еще молод. Узнает ли она меня теперь, как узнал ее я? Какая-то чудовищная магия сродства душ все-таки, наверное, существует. Я заметил, что моя бедная мама вдруг сделалась беспокойной, и неожиданно она… встала. Она как-то беспо-

мощно озиралась, оглядывая публику, словно искала вещь, которую только что видела и вдруг потеряла… Наконец наши взгляды встретились.

И тут я понял — она узнала меня тоже.

Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием.

Разом взвизгнули скрипки румынского оркестра. Легко скользя между танцующих пар, устремленная в каком-то порыве, мама шла ко мне… Ко мне, ко мне, ко мне!

Она остановилась возле моего столика.

— Неужели… ты? — услышал я ее голос.

Внутри меня все оборвалось, но я глядел пустыми глазами, а мои губы источали дурашливую улыбку.

— Вы кого-то ищете? — небрежно спросил я.

— Да… ищу. И… неужели нашла?

— Простите, фрау, я вас не понял…

Что-то изменилось в лице мамы, сделавшейся жалкой.

— У меня был сын… там, далеко, в иной стране, — отвечала она скорбным голосом. — Если он жив, он может быть похожим на вас. Наверное, я ошиблась. Потому ошиблась, что, будь вы моим сыном, вы бы узнали меня, как узнала бы его я…

Она вернулась в компанию своего мужа, но ее

взгляд по-прежнему излучал свет только в мою сторону, и это становилось даже невыносимо, словно меня преследовал луч прожектора. Не в силах терпеть эту невыразимую муку, я понимал, что лучше уйти. Именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, приседающая в услужливом книксене. Из ее красивой корзины я выбрал букет понаряднее и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах.

Мама еще смотрела на меня. Я подозвал лакея:

— Видишь эту даму, что сидит подле старого генерала с погонами в серебре? Передай ей эти цветы.

После чего я встал и резко вышел.

В записке, посланной мною, были слова:

МАМА, ЭТО БЫЛ Я. ПРОСТИ…

## 9. Дубовая корона

Положение на рубежах с Сербией считалось настолько тревожным, что венский «Ориент-экспресс» не шел далее Будапешта; к югу двигались одни воинские эшелоны, а для пассажиров, едущих до Землина, таскался обычный «подкидыш». Я не сомневался, что в этом поезде немало агентов

тайной полиции, которых узнавал по их говорливости. Если все пассажиры помалкивали, то эти провокаторы с нарочитым вызовом порицали венских заправил, расположивших авангард австрийской армии между пограничными городами — Землином и Панчовом:

— Нашим пушкам лучше бы торчать возле Лемберга-Львова или в Перемышле, чтобы пугать русских, а Белград — открытый город, там остались одни старики с детишками…

Когда «подкидыш» дотащился до Землина, кишащего солдатами и расфранченными офицерами, маленький уютный Белград на другом берегу Дуная показался мне даже скромно-величественным, словно крепость. Надо же было великой шутнице-истории соорудить такую оплошность — выдвинуть столицу славян прямо под пушки враждебного гарнизона. Это ведь так же нелепо, как если бы человек имел сердце под ногтем указательного пальца! Речной трамвай, позванивая на корме рулевыми цепями, перебросил меня в иной мир. Я помнил пристань Белграда, заполненную гуляющими и торговцами, а теперь меня встретили седоусые добровольцы столичного гарнизона. Для них не хватило даже мундиров, они оставались в домаш-

них овчинах, а ноги — без сапог, обутые в опанки (обычные лапти, но плетенные не из лыка, как у нас в России, а из кожаных ремешков). Один старик сказал мне:

— Все мои сыновья и внуки ушли на войну, а нас оставили беречь столицу. Пусть только посмеют нас тронуть. Я крови на своем веку перевидал больше, нежели выпил вина…

Город казался безлюдным — все мужчины ушли воевать, кафаны и пиварни пустовали, улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми, некому было работать. Даже почтальонов не стало — среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов. Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги:

— Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно… Куда везти тебя, друже?

Я наугад назвал гостиницу «Дубовая корона» и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кафана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке. Именно здесь иностранные журналисты, очень далекие от фронта, но зато всегда близкие к победам на кухне, высасывали один у другого те «новости», которые завтра

в упоении станет читать европейский обыватель. Я решил не отставать от этой шатии-братии и, присев в уголку, одним махом схалтурил для Проппера великолепный очерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрет в честном бою, нежели уступит свою столицу, и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских рейтузах, с хлыстами в руках, из кобур торчали рукояти револьверов. Такая экипировка скорее годилась для оперетты… Так бывает: чем дальше человек от войны, тем больше он старается изобразить из себя храброго вояку.

Человек в литературе случайный, я очень скоро сообразил: если журналист охотится за сенсацией, он неизбежно скатывается к обычной лжи, а затем не стыдится и клеветать — лишь бы его печатали. К моему счастью, из этой кафаны, перенасыщенной сплетнями, меня вытащил Артамонов, свидание с которым не предвещало ничего хорошего.

— Вы, наверное, плохо представляете себе нынешнее положение на Балканах, — хмуро сказал он. — Здесь, в Белграде, сейчас вяжутся узлы, которые никто не в силах распутать.

— Вы хотите… — начал было я.

— Ничего я не хочу, — резко оборвал меня атташе. — Но события уже созрели, словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена… Какие у вас отношения с полковником Драгутином Дмитриевичем?

Я напомнил о событиях в белградском конаке:

— По сербским понятиям, мы стали побратимами; связанные, как в шайке разбойников, единой кровью.

— А с королевичем Александром?

— Мы знакомы еще по Петербургу, однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем «милостивых взоров монарха». Я ведь, вы догадываетесь, весьма далек от скольжения на лощеных паркетах.

— Хорошо, — отвечал Артамонов. — Даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности. Со своим профилем «щелкунчика» вы останетесь незаметнее… Я вас представлю нашему послу Гартвигу.

Но прежде он свел меня с Раде Малобабичем, наборщиком белградской типографии, и я не сразу мог догадаться, почему Артамонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим, а сам Раде держался с нашим атташе на равных, будто приятель. Артамонов

сразу рассеял мои сомнения:

— Малобабич из числа людей Аписа, он информирован о всех наших делах в такой превосходной степени, о какой не смеют мечтать даже дипломаты в Петербурге. Вы можете смело довериться ему, ибо Малобабич доверенное лицо для связи полковника Аписа с русским посольством…

Артамонов вывалил на стол прошнурованные папки с документами о политике и военных делах на Балканах:

— Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые пригодятся вам для писанины в «Биржевые Ведомости», дабы вы могли отчитаться перед Проппером и его компанией. Все написанное вами прежде пройдет через рогатки цензуры… моей и посла Гартвига! Желаю удачи…

Малобабич легко сошелся со мною и однажды навестил меня в «Дубовой короне», настроенный чересчур откровенно.

— Я убежденный социалист, — сказал он между прочим, — но мои политические убеждения не мешают мне жертвовать во имя исполнения национального долга, ибо свободная Сербия во главе всех южных славян — превыше всего!

Я решил, что Малобабич близок к радикалу Николе Пашичу: премьер имел диплом русского инженера, смолоду поклонник идей Бакунина, он при Обреновичах уже бывал приговорен к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа, — памятуя обо всем этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу, в чем, однако, ошибся.

— Нет, — сказал Раде, — наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений… Нас ожидают в Топчидере!

В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба «Общества трезвенников», весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинета Пашича, далекие от трезвого образа жизни. Я замерз, меня сильно знобило.

— Сейчас выпьем, — обнадежил меня Малобабич.

Он провел меня в задние комнаты клуба, где, как и следовало ожидать, из-за стола поднялась навстречу мне гигантская глыба человека ростом с гориллу — это был Апис, и моя жалкая ручонка

надолго утонула в жаркой и громадной ручище начальника разведки генштаба Сербии. Драгутин мало изменился с той поры, как мы виделись последний раз на маневрах, широким жестом хозяина он обвел картину накрытого стола с живописным натюрмортом выпивок и закусок.

— Садись, друже, — радостно приглашал он. — Не скрою, я был удивлен твоему появлению в Вене… как видишь, моя разведка сработала превосходно. Скажи, какой павлиний хвост ты притащил за собой из столицы Габсбургов?

Я сел за стол, сравнивая батарею бутылок с красочными плакатами о вреде пьянства. Ответил в шутливом тоне:

— Хвост тащился за мной из Германии, но я хорошо обстриг его в Петербурге, сделавшись мелким наемным писакой…

Раде Малобабич покинул нас. Меня по-прежнему знобило, но я оставался крайне внимателен. Согласитесь, не слишком-то уютно быть в компании автора заговоров и покушений, в биографии которого такой впечатляющий проскрипционный список, каким не мог бы похвастать никакой русский эсер или анархист. Но что меня удивило, так это откровенность Аписа, даже не считавшего нужным прятать концы в воду.

— По сути дела, — говорил Апис, — ядро организации «Уедненье или смрт», которую втихомолку называют «Черной рукой», составилось из числа тех, кто десять лет назад прикончил последнего Обреновича, чтобы Сербия, отвратившись от Вены, открытым лицом повернулась в сторону России…

С тех пор, по словам Аписа, в его тайное содружество вошли почти все высшие офицеры армии, сам воевода (генералиссимус) Радомир Путник, самые видные чиновники министерств; об организации Аписа извещен сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козней разведки.

— На нижних этажах, — говорил Апис, — мы поместили людей, без которых немыслимо работать: таможенников, пограничников, учителей, коммивояжеров, студентов, священников, владельцев пивоварен. И, наконец, обрели в своих рядах даже Сашу.

Я не сразу понял, что под «Сашей» следует подразумевать самого наследника престола — королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учебе в «Правоведении».

— А как же сам король Петр? — спросил я.

— Король уже стар, он начал бояться мышей в

темноте, словно ребенок, и мы строим свои планы на том, что королем Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша.

Я нарочно не реагировал на эти приманки, ожидая, что скажет Апис в конце, и только теперь, присматриваясь к нему, я заметил, что он все-таки изменился. Не внешне — нет, но в его речах сквозило явное высокомерие, очевидно, весьма тягостное для его подчиненных. По привычке, обретенной во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы «шелковый порошок» не сохранил следов моих пальцев. Апис это заметил и стал хохотать:

— Друже! Неужели нам нужны твои отпечатки ладоней, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией?

Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета, а последняя — убийственной для меня:

— В организации «Уедненье или смрт» не хватает лишь одного участника событий в белградском конаке — тебя!

Я смело выложил руки на подлокотники кресла:

— Благодарю. Но… спрошу совета в Генштабе.

— Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в

глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо.

— Неужели слово Артамонова значительнее?

— Да, мы с Виктором большие друзья…

Тогда же я донес до Артамонова суть нашей беседы:

— Правомочно ли будет мое официальное вступление в тайную организацию «Уедненье или смрт»? Вы сами офицер Генштаба, а посему понимаете мою крайнюю озабоченность. Идя на такую связь с Аписом, не стану ли я «герцогом»?

В России «герцогов» именовали проще — «двойниками».

— Послушайте! — вспылил Артамонов. — Неужели вы думаете, мы вызвали вас в Белград, чтобы Проппер повысил вам ставки гонорара? Я могу ответить вам только согласием, и тут не стоит долго ломать голову. Если вы офицер России, вы должны лечь костьми ради Сербии, обязанные принять предложение Аписа.

— Смысл? — кратко вопросил я.

Атташе доконал меня безжалостными словами:

— Я не убивал короля Обреновича и не выкидывал из окна его любимую Драгу, а вы — именно вы! — замешаны в этой кровавой процедуре,

и доверие Аписа к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского Генерального штаба… Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах «Черной руки», чем это удалось бы мне?

Все стало ясно: российский Генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья «Черной руки».

— Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, — неуверенно досказал я, — все мы ходим по проволоке, словно канатные плясуны, танцующие над пропастью…

— Кстати, — напомнил мне Артамонов, — у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента, а посему не забывайте навещать литературную кафану под «Дубовой короной».

* * *

Из русских журналистов я там встретил Василия Ивановича Немировича-Данченко, брата известного московского режиссера. Это был удивительный человек, а собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал русские газеты еще с войны 1877-1878 годов, сам сидел на Шипке, получил солдатского «Георгия» за личные подвиги, обличал наших ду-

раков-генералов с полей Маньчжурии, но судьба не баловала этого милейшего и честного человека. Немирович-Данченко ратовал за братство народов — его обвинили в пацифизме. Он восхвалял ратные подвиги России — его называли шовинистом. Он утверждал, что в семье народов России русский народ самый главный — его называли черносотенцем. Наконец, он воспел земную и грешную любовь женщины — его обвинили в порнографии.

Теперь, поглаживая бороду, он скромно говорил мне:

— Вероятно, я плохо исполнил то, что задумал. Но это не вина моих намерений, а лишь недостаток моего таланта…

Затем Василий Иванович крыл на все корки русское правительство и особенно русскую дипломатию:

— А что этот наш министр Сазонов? Да ведь он спит и видит себя на Босфоре, посему и хватал болгар за шкирку, чтобы не опередили нас. Венские пройдохи умнее питерских, а мы на мобилизацию Австрии ответили жалким подобием квазимобилизации, и даже кучера в Вене сложили поговорку: мол, русских лошадей запрягали австрийские конюхи… Я думаю, в грядущей

войне двух непримиримых миров, славянства и германизма, не мы поведем Балканы, а Балканы потащат Россию на войну, как новобранца…

За наш столик нахально подсел пьяный английский журналист Гамильтон, который в 1905 году состоял при японских штабах, красочно описывая разгром русской армии и крах Порт-Артура. Во время Балканских войн Гамильтон состоял при турках, а затем перешел линию фронта, желая «освежить» материал чисто славянскими впечатлениями. Но сербы арестовали его, приняв за турецкого шпиона, а во время обыска неосторожно вывихнули ему челюсть. Теперь, придерживая челюсть рукою, Гамильтон пытался убедить меня:

— Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкою убийц, которые сами напрашиваются на развязывание войны? Разве вам неизвестна стоустая молва за Дунаем, что эрцгерцог Франц Фердинанд не займет престол Габсбургов: «Он осужден умереть на ступенях трона…»

Мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным:

— То, что славяне передрались между собой, так это лишь семейная склока, после чего перемирятся. Но славяне имеют достаточно поводов,

чтобы опасаться угроз из-за Дуная.

— Австрия, — парировал Гамильтон, — имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, приятно ли иметь соседа, бегающего под твоими окнами с ножиком в руках и распевающего с утра до вечера о том, что в Дрине вода течет холодная, а кровь у серба слишком горячая.

— Не преувеличивайте, — ответил я. — На белградской пристани дежурят старики с усами до пояса, а их ружья годятся для размещения в городском музее. Вена же содержит в Землине пушки, постоянно наведенные на крыши министерских зданий и даже гимназий Белграда… Кто же кого должен бояться? Лучше мы восхитимся мужеством жителей Белграда, живущих и работающих под гипнозом внезапного обстрела!

…Заезжих корреспондентов сербы величали «подписниками», как будто мы дописывали то, что они, сербы, уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнера прямо «в гроб господень». Зато меж нами не возникало драк, дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин, ибо женщина была для них свята. Полиция в Белграде не ведала, кого ей «ташшить

и не пушшать», потому, наверное, городовые от нечего делать усиленно козыряли всем иностранцам, словно желая отблагодарить их за массовое истребление свиных котлет, бывших в те времена гордостью белградской кулинарии… По утрам меня в «Дубовой короне» рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять — Милена, Любица, Даринка, Света и Зорка.

Хорошо бы в них не влюбиться…

### 10. Не хочу умирать виноватым

О том, что австрийский эрцгерцог «умрет на ступенях трона», я уже не раз слышал. После Балканских войн Европу наполняли различные слухи и мистические пророчества. Одно из них врезалось мне в память, ибо происходило из научных кругов Германии: немецкий профессор Рудольф Мевес пришел к выводу, что в истории человечества события повторяются с последовательностью, схожей с чередою земных катаклизмов. Еще на исходе XIX века Мевес предсказал, что мир будет нарушен в 1904 году войною в Азии, после чего вражда в Европе с большими кровопролитиями продлится до 1933 года, когда в мир явится сам Великий Сатана,

несущий народам царство вечного блаженства.

Последняя дата разрушает всю логику Р. Мевеса, ибо в 1933 году явился сатана-Гитлер, но до блаженства нам еще далеко, как до луны. Конечно, слишком велика тайна, в которой война рождается, но ее хранят и после войны. Свидетели зарождения войн обычно молчат — от страха, дабы избежать ответственности. Министры пишут мемуары, когда никто не помнит таких министров, а безропотные шпионы стряпают записки, когда они разоблачены. Но чаще бывает так, что никаких бумаг о подготовке войны не остается, хотя отсутствие документов ничего не подтверждает, как не является и отрицанием самого факта.

Много позже, уже после Версальского мира, австрийцы вернули сербам их секретные архивы, захваченные при взятии Белграда. На сербском же катере архивы были из Вены отправлены по Дунаю, но в Белград они не попали. Бесследно исчез и сам катер. Надо полагать, что катер вместе с архивами утопили сами же сербы, ибо тогдашнему королю Александру Карагеоргиевичу было невыгодно, чтобы историки докопались до той истины, что он всходил на отцовский престол, поддерживаемый «Черной рукой» во-

енной хунты Аписа, ответственной за многие преступления… Хочу я того или не хочу, но тут неизбежно возникает вопрос о доле моей личной ответственности.

* * *

Гартвига звали Николаем Генриховичем, и вряд ли можно было догадаться, что этот человек с немецкой фамилией являлся отчаянным славянофилом. В мое время он занимал важный пост русского посланника в Белграде, считаясь творцом Балканского союза; его популярность на Балканах сложилась еще в Петербурге, когда он ведал раздачей стипендий малоимущим студентам из Сербии, Македонии, Боснии и Черногории, приехавшим учиться в русских университетах, и, как говорили, помогал беднякам даже из своего кармана.

Когда-то посол в Тегеране и директор Азиатского департамента, Гартвиг сам сделался «азиатом», внеся в политику на Балканах нечто от восточной эмоциональности, и, если не возникало событий, нужных его замыслам, он сам эти события устраивал, дабы потом убедить министра Сазонова в своей правоте. Гартвиг не только пренебрегал советами Сазонова, но явно саботировал их,

проводя в Белграде ту политику, какую считал необходимой. Один из сербских историков, вспоминая те годы, писал, что «Гартвиг был почти абсолютным господином в нашей внешней и отчасти даже во внутренней политике». Именно благодаря настояниям Гартвига в Петербурге стали уповать не на Болгарию, вышедшую к берегам лечезарного Босфора, а на Сербию, обставленную из-за Дуная пушками Франца Иосифа…

Я, русский «дописник», близкий к атташе Артамонову, был радушно принят в нашем посольстве. Николай Генрихович, кряжистый и плотный, почти лысый, чем-то напоминал мне своей внешностью фабриканта Савву Морозова. С первых же слов посла я догадался, что он знает обо мне если не все, то почти все.

— Вы слышали обо мне от полковника Артамонова?

— Нет, от полковника Драгутина Дмитриевича, а… какая разница? — спросил Гартвиг. — Они так хорошо спелись, что, кажется, уже способны подменять один другого по службе.

Меня насторожил следующий вопрос посла:

— Ваша мать сидела в тюрьме Главняча?

— В секретной башне Нейбоша.

— А где же она теперь?

— Ее следы затерялись… навсегда!

— Но остались же родственники в Сербии?

— Имеются, — заострил я эту тему. — Так, например, даже Карагеоргиевичи приходятся мне очень дальней родней…

Гартвиг пригласил меня на костюмированный бал в посольстве, предупредив, что с меня достаточно, если я украшу себя цветком в петлице. Гостей у входа приветствовали жена Артамонова в костюме казанской татарки и взрослая дочь посла в одеждах московской боярышни. Сам же Гартвиг прогуливался по залу среди гостей, держа под локоток австрийского посла — барона Владимира Гизля, которому меня и представил:

— Офицер в отставке… ныне корреспондент петербургских «Биржевых Ведомостей». Ужасно талантлив!

Гизль почему-то решил, что названная ему газета прислуживает бирже, и просил меня отметить, что таможенные тарифы Австрии на границах с Сербией значительно снижены:

— Мы охотно закупаем стада сербских свиней.

— Благодарю, — отвечал я, даже не стараясь быть остроумным. — Этот факт чрезвычайно обрадует наших читателей, ибо тема о свиньях и поросятах весьма насущна для русских…

Среди гостей русского посла было немало сербов, но я затруднялся понять, кому из них Гартвиг отдавал предпочтение, ибо рядом с министром или богатым коммерсантом были студенты и даже комитаджи (македонские партизаны). Гости танцевали, советник посольства за разгадывание шарад получил приз — поцелуй княжны Елены Черногорской, приехавшей из Цетине. Вовсю дурачился Пьеро в маске на лице, всем надоев своими ужимками и грохотом бубна с колокольчиками. Лишь после бала в нем признали племянника короля — Павла (Арсеньевича), в мать которого я когда-то был безнадежно влюблен. Мне стало печально видеть ее сына, и я удалился в библиотеку посольства…

Здесь было тихо. А на столе разложены для угощения каймак, овечий сыр, жареные цыплята, в бутылке светилась медовая ракия. Сдвинув треножцы (табуретки), рядком сидели два молодых серба, которым мое появление, кажется, помешало. Они, как я догадался, говорили о Богдане Жераиче, стрелявшем в австрийского наместника Верешанина.

— Жераич покончил с собой? — спросил я. — Мне помнится это время, когда над миром крутилась комета Галлея, от которой ничего хо-

рошего люди не ожидали.

Один из сербов был одет с претензией на дешевый шик, а другой носил черную косоворотку — традиционный «мундир» всех русских социал-демократов. Мы познакомились. Неделько Габринович, показавшийся мне франтом, приехал в Белград из Сараево, по его речам я понял, что он социалист, но в голове его крутились мятежные вихри идей анархизма. Второй собеседник, одетый в косоворотку, назвался Данилой Иличем, он был сельским учителем из Боснии, а сейчас служил мелким клерком в банке того же Сараево. Из разговора выяснилось, что Данило — редактор социалистической газеты «Звоно» («Колокол»), переводчик Максима Горького на сербский язык, отсюда, наверное, и возникло его пристрастие щеголять в косоворотке.

— Да, мы говорили о Богдане Жераиче, — сказал он. — Дело в том, что с нами из Сараево приехал гимназист Гаврила Принцип, который несколько ночей провел на кладбище, где, впадая в состояние экстаза, беседовал с Жераичем над его могилой.

— Помешался? — спросил я.

— Напротив, здравомыслящий юноша. Ведь скоро будет юбилей битвы сербов на Косовом

поле, а Гаврила Принцип слишком разгорячен желанием отметить эту дату.

— У русских все юбилеи отмечаются хорошей выпивкой.

Илич и Габринович откровенно рассмеялись:

— Наши страдания не залить никаким вином… У нас, живущих в Сараево под пятой австрийцев, свои счеты с Габсбургами. Рано или поздно Австрия все равно бросится душить нас, и война с нею неизбежна. Мы знаем, что поединок закончится плохо для нас. Но, возможно, случится иначе… для нас лучше!

Не стоило большого труда выяснить, что эти молодые ребята из Сараево, приехавшие в Белград с душевным трепетом, словно мусульмане в Мекку, мечтали о возрождении той «Великосербии», которая погибла на Косовом поле. Неделько Габринович так и выразился — почти доктринерским тоном:

— Любое политическое движение необходимо крепить не только кровью в битвах или вином на партийных банкетах, но его следует возбуждать национальной идеей, иначе все наше дело развалится на радость Вене…

Мне, признаюсь, было жалко этих ребят, уже отмеченных какой-то обреченностью. Во имя чего?

Для них национальное единение всех славян под одной крышей стало идеей фикс, и я понимал, что после жизни в Белграде, где они отмолились на могилах сербских героев, им особено тяжко возвращаться в Боснию, порабощенную швабами.

— Габсбурги имеют такой богатый опыт в разобщении народов, что нам трудно с ними тягаться, — сказал Илич. — Они возвышают над нами хорватов, а подле их костелов высятся минареты мечетей, и стоит нам, православным сербам, сдружиться с хорватами-католиками, как Вена сразу же на нас и на тех же хорватов натравливает галдящие оравы мусульман.

— Да, я бывал в Сараево, — признался я.

— Тогда вы знаете Гришу Ефтановича?

— Впервые слышу!

— Да это же тесть Мирослава Спалайковича, сербского посла в вашем Петербурге… Если будете в Сараево, останавливайтесь только в его гостинице. Гриша Ефтанович посылает в день всего две молитвы к богу — за сербов и за русских, почему швабы уже не раз его разоряли до нитки…

В конце беседы Габринович объявил с ожесточением:

— Дело кончится топором! Лучший способ избавиться от перхоти — отрубить башку под самый

корень, чтобы в ней более не шевелились гниды и не копилась перхоть!

Мне вспомнилась ночь убийства короля Обреновича в конаке, в ушах снова застучали громкие выстрелы. Я сказал:

— Понимаю: хорошо быть сербом, но — нелегко…

За окном пролился освежающий ливень. Мы поднялись из-за стола, и тут я увидел, что «франт» Неделько Габринович носит кожаные «чакширы» — крестьянские штаны. Бал закончился. В посольстве уже гасили огни, советник Гартвига, получивший приз в виде поцелуя, провожал последних гостей. Павел в костюме Пьеро на прощание ударил в бубен, глухо звенящий. Гартвиг, откровенно позевывая, раскрыл передо мною портсигар:

— Как вам понравились молодые люди из Сараево?

Я отвечал уклончиво — ни да, ни нет.

— Кстати, — пояснил Гартвиг, — эти беглецы из Сараево вчера ночью имели секретную аудиенцию у принца Александра Карагеоргиевича. Смею думать, что с наследником престола они были откровеннее, нежели с вами.

— В этом я не сомневаюсь, господин посол!

* * *

Проппер из Петербурга затребовал у меня статью о делах в Македонии, уже покинутой турками, но теперь на нее яростно претендовали греки, сербы, черногорцы и болгары. Желание Проппера совпало с моими интересами: я давно хотел посмотреть, как партизанят сербские комитаджи. В канун поездки я посетил королевский парк Топчидер — ради тренировки в тамошнем тире «Народна Одбрана». Меня сопровождал ближайший друг Аписа — майор Войя Танкосич, отчаянный вождь комитаджей, излазивший все горные тропы Македонии, а в Белграде он прославил себя тем, что однажды набил морду принцу Георгу Карагеоргиевичу, и принц только утерся, но жаловаться отцу не посмел, ибо за Танкосичем стоял сам Апис, а за спиною Аписа черная рука сжимала кинжал возмездия…

Именно здесь, в стрелковом тире, я впервые увидел Гаврилу Принципа: мне он показался юнцом в последнем градусе чахотки, уже обреченным. Мне даже подумалось: не затем ли этот несчастный гимназист молился над мертвым Жераичем, чтобы тот потеснился в могиле, освобождая ему место рядом с собою…

Танкосич резким ударом выбил оружие из руки Принципа.

— Дерьмо! — внятно и грубо заявил майор. — Какой же ты серб, если не умеешь держать даже оружие, данное тебе страдающим нашим отечеством? Подними… пали дальше!

Мне не понравилась эта сцена, я тихо спросил:

— Вы к чему-то готовите этого гимназиста?

— Каждый серб должен отлично стрелять, — уклончиво отвечал майор…

Моя поездка в Македонию была короткой, статью для Проппера я подписал псевдонимом «Босняк», но в типографии допустили опечатку, и я вышел в свет под именем «Босяка». Я уже понимал, что в Сербии возникла «ситуация посторонних факторов»; страной правили не те, кто занимал ответственные посты в государстве, а те, что затаились в мрачном подполье организации Аписа. Мне казалось (и вряд ли я ошибался), что «Черная рука» даже премьера Николу Пашича заставляла плясать под свою волшебную дудку…

В беседах со мною полковник Артамонов с горячей убежденностью доказывал:

— Поймите! Такая страна, как Сербия, не может не опираться на военную хунту. А как же иначе? После расправы с династией Обреновичей

сербская армия закономерно стала главною повелительницей в стране, и не только Пашич, но даже король Петр никого так не боится, как своих же офицеров…

С тех пор прошло уже много лет, не стало короля Петра, сына его Александра прикончили в Марселе хорватские усташи, а этот дуралей в костюме Пьеро, игравший на бубне в нашем посольстве, уже ездил на поклон к Гитлеру, — да, очень многое обратилось изнанкой, весьма отвратительной, и я часто спрашиваю себя: стоит ли говорить об этом? Стоит ли снова возмущать покой мертвых и тревожить память еще живых?

Ладно. Буду откровенен. Но в тех пределах, которые никак не задевают ни моей чести, ни чести моего государства.

Артамонов велел мне душевно приготовиться:

— Отнеситесь к этому так же просто, как если бы вы решили вступить в масонскую ложу. Но вы обязаны знать: войти в организацию Аписа вы можете, а выход из нее карается смертью. Отныне вы теряете право уклоняться от решений верховного совета «Черной руки», и даже самые страшные пытки не извинят вам измены, караемой очень жестоко… Вы сомневаетесь? — вдруг спросил меня Артамонов.

— Отчасти — да! Пристало ли мне, офицеру российского Генштаба, влезать в этот хоровод, в котором сами танцующие не знают, какой дракой это веселье закончится. Мне все-таки было бы желательно иметь согласие своего начальства, дабы не зависеть едино лишь от сатанинской воли Верховенского из «Бесов» Достоевского… Вы поняли, кого я имею в виду!

Артамонов словно и ждал такой реакции. Он развернул передо мною бланк шифровки из русского Генштаба, в которой было четко сказано: «От предложения А. не отказываться».

— Воля ваша, — сказал я, отбросив сомнения…

Что было, то было. Очевидно, в мою судьбу тоже вмешались «посторонние факторы».

— Ты будешь не один в этот торжественный день, — сообщил мне Апис. — Вместе с тобою даст присягу второй…

Странно! Меня привезли в ту самую одноэтажную казарму Дунайской дивизии, где я когда-то скрывался от ищеек Обреновичей и откуда начался мой путь в большую жизнь. Меня провели в комнату, где горела лишь одна свеча: в полумраке я глянул, кто же второй, и перестал всему удивляться: рядом со мною стоял гимназист Гаврила Принцип.

— А вам это зачем? — спросил я его шепотом.

— Я готов. Ко всему…

На столе, накрытом черным бархатом, лежали крест, кинжал и револьвер. Из боковой двери неслышно появился некто с черною маскою на лице, и я невольно вспомнил Пьеро с его бубном. Этот некто, колыша дыханием маску на лице, внятно зачитал жесточайшие правила организации «Уедненье или смрт», после чего нас привели к присяге. Вот ее текст:

— Клянусь солнцем, согревающим меня, клянусь и землей, питающей меня, клянусь кровью моих предков, моей жизнью и честью, что всегда буду готов принести себя в жертву нашей организации. Я клянусь перед всевышними силами, что все тайны организации унесу только в свою могилу.

Некто задул свечу и удалился, чтобы никто из нас не узнал его. В комнате сразу вспыхнул электрический свет.

— Я готов, — шептал Принцип, целуя крест. — Я готов… я готов… я готов… Господи, укрепи меня!

* * *

Может, я напрасно разоблачаю себя?

Но теперь, думается, нет смысла скрывать то,

что стало известно многим. Да, люди из России в Белграде были, пусть даже косвенно, причастными к событиям, послужившим причиной великой войны. Нашу причастность уже невозможно отрицать, и мне не стоит отказываться от того, что было.

Взаимодействие русской и сербской разведок подтвердил Лев Троцкий в книге «Годы великого перелома» (Москва, 1919); Анри Барбюс в своем журнале «Clartй» (Париж, 1925) опубликовал показания очевидцев, это же дополнил барон Е. Н. Шелькинг, бывший царский дипломат (Берлин, 1922), и, наконец, нас разоблачил некий Н. Мермет (Вена, 1925) в журнале Балканской федерации коммунистических партий…

После всего этого стоит ли мне притворяться?

Я состарился и совсем не хочу умирать виноватым, хотя невинным ангелом себя не считаю. При этом мне вспоминается Сократ; когда он взял чашу с ядом, ученик спросил его:

— Учитель, зачем ты умираешь невинным?

На это Сократ отвечал ему так:

— Глупец! Разве ты хочешь, чтобы я умирал виноватым?..

## Постскриптум № 4

Россия считалась тогда великой аграрной державой, к началу первой мировой войны имея 20 миллионов крестьянских дворов, в которых проживали и трудились в поте лица ТРИ ЧЕТВЕРТИ всего населения великой Российской империи…

С самого начала XX века многострадальная мать-Россия настрадалась от юбилеев со множеством банкетов и заздравных речей, а сами участники этих празднеств с полным основанием могли бы вспомнить на старости лет, как им было трудно:

*Уж мы ели, ели, ели,*
*Уж мы пили, пили, пили,*
*Так что еле, еле, еле*
*По домам нас растащили…*

В 1911 году Россия праздновала пятидесятилетие «освободительной» Крестьянской реформы, и по всем городам и весям великой империи водружались на стогнах памятники императору Александру I — хорошие и дурные, сидячие и стоячие, где одни бюсты, а где и головы на постаментах.

1912 год — год особый, величественный, и для народа он был священным. Россия дружно отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. Весь двор, генералитет, историки, делегации из других стран и толпы народа стекались к Бородинскому полю — полю славы русского оружия. Устроители торжеств отыскали в деревнях стариков и старух, лично видевших Наполеона. Их приодели в чистые зипуны, согбенные, они шли, опираясь на палки, шли на Бородинское поле. Старцы были представлены царю, одна старуха пала в ноги Николаю II, и он поднимал ее с земли, вежливо приговаривая:

— Бабушка, ну хватит… не надо! Прошу вас…

В 1913 году династия Романовых-Голштейн-Готторпских праздновала трехсотлетие своего сидения на престоле российском. От первого царя Михаила Федоровича до самого последнего пролегла слишком долгая дорога, и Николай II, «ныне благополучно царствующий», еще не ведал путей господних, кои приведут его в дом тобольского купца Ипатьева, а этот юбилей явился как бы генеральной репетицией похорон дома Романовых.

1914 год обещал тоже немало банкетов для сладкоглаголющих прокуроров и адвокатов, ведущих

свой корень от Судебной реформы 1864 года, а для военных людей он сулил немало почестей, ибо Россия не забыла 1814 год, когда русская армия, освободив Европу, вступила в Париж. Впрочем, эту дату старались особенно не выпячивать, ибо этот юбилей мог быть не слишком-то приятен для честолюбивых союзников-французов.

Наконец, ожидался еще один юбилей!

28 июня 1914 года сербский народ собирался отметить 525 лет со Дня национальной скорби. Именно в этот день (в 1389 году) в битве на Косовом поле Сербия была закована в цепи турецкой неволи, после чего и начались многовековые страдания южных славян.

Да, это был очень мрачный юбилей — день Видовдан в память св. Витта, и никто ведь еще не думал, что с этого дня вся Европа, словно потеряв разум, бешено задергается в конвульсиях той болезни, которую так и называют -

ПЛЯСКА СВЯТОГО ВИТТА.

# Глава вторая
# Пляска святого витта

*Не надо несбыточных грез,*
*Не надо красивых утопий.*
*Мы старый решаем вопрос:*
*Кто мы в этой старой Европе?*

***Вал. Брюсов***

НАПИСАНО В 1940 ГОДУ:

…сомневаюсь. В таких условиях работать невыносимо, и в утешение себе почаще вспоминаю древнюю мудрость Нила Синайского: «Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим». Теперь, когда все мыслящие люди оказались «врагами народа», их посты занимают трусливые и безграмотные личности, у которых анкеты в идеальном порядке; такие люди очень уважают сами себя, но больше всего им нравится, когда аплодисменты «переходят в бурные овации». Однако еще не было такого врага, которого бы устрашили аплодисменты, и не бывает войн, выигранных овациями…

* * *

Наша армия застряла на линии Маннергейма, несет страшные потери, масса обмороженных, Питер сделался сплошным госпиталем. Об этом, конечно, у нас помалкивают. Зато всюду мелькает гладко обритая голова маршала С. К. Тимошенко, в газетах старательно подчеркивают его скромность. Конечно, знать об этом приятно, но все-таки не скромность — главное условие для победы. Сейчас на железобетонные доты Маннергейма он бросает массы пехоты, не задумываясь о количестве жертв. С. К. бьет в одну стенку, пока не проломит в ней дырку, совсем не думая о том, что обходный маневр — не сегодня же придуман! Помилуй бог, но подобная горе-тактика была осуждена еще в русско-японскую войну, так следует ли повторять зады минувшей истории? Я боюсь, что эта возня на линии Маннергейма раскроет перед Гитлером всю нашу слабость, ведь от Европы не скроешь, что красноармейцы вооружены винтовками еще из царских арсеналов, а финский солдат поливает нас из автоматов «суоми»…

Страшно, какой тяжкий крест несут поляки! Уничтожается цвет нации — аристократия, духо-

венство, интеллигенция. Во все времена тираны именно так и поступали, отрубая народу голову думающую, оставляя лишь безгласное тело. Подозрительны вести из Югославии, наводняемой загадочными «туристами». Через таможни хлынул с наклейками дипломатического багажа поток громадных чемоданов, которые исчезают бесследно, оказываясь потом в руках этих «туристов». Ясно, что идет доставка оружия из Германии… Что будет?

На Западном фронте без перемен. По утрам из окопов, французских и немецких, вылезают заспанные солдаты и совершенно открыто делают физзарядку. Война выражается через громкоговорители, противники облаивают один другого, а после короткой перестрелки боевой день заканчивается.

Одну из лекций в Академии я посвятил проблеме войны в условиях окружения, но тут же был вызван «наверх»:

— Вы с ума сошли! Кто вам позволил заниматься подобным паникерством? Красный командир целеустремлен в активном наступлении, и — только! Никаких окружений… Это вы еще не опомнились после того, как маршал Гинденбург устроил вам «Канны» под Алленштейном… За-

будьте год четырнадцатый! Прошлое никогда не повторится…

* * *

Меня вызвал к себе Ф. И. Г[оликов], выведывал сведения о начальнике финского генштаба при Маннергейме:

— Что вы можете сказать о генерале Энкеле?

Оскара Карловича я хорошо знал, и его жену Надю. Энкель не скрывал своих симпатий к Швеции и Финляндии, но как русский генштабист служил хорошо. Думаю, что Энкелю вряд ли приятно воевать с нами. Ф. И. допытывался:

— Он был царским шпионом, как и вы?

— Ну зачем же так грубо? Да, он служил в русской разведке, был военным атташе в Риме. Затем, состоя при Жилинском, начальнике Генштаба, Энкель вел слежку за Распутиным и даже не скрывал, что Гришка у него «случайно» попадет под колеса трамвая. До меня доходили слухи, что финны ставили в упрек Энкелю скорую карьеру при Маннергейме и женитьбу на русской… Больше я ничего не знаю.

— Или не хотите сказать? — посуровел Ф. И. Г[оликов].

— Если вы так думаете обо мне, своем подчи-

ненном, — отвечал я, — так не лучше ли вам со мною расстаться?..

12 марта был подписан мир с Финляндией, и — по слухам — Энкель был одним из тех финских генералов, которые желали этого мира. Тимошенко назначен наркомом обороны СССР в звании маршала. Боюсь, что на этом посту он проявит свою похвальную скромность. Вряд ли он осмелится возражать Хозяину, как это делал не раз Б. М. Ш[апошников]. Была уже весна, Гитлер оккупировал Данию и Норвегию, его вермахт, отлично моторизованный, был упоен успехами, а у нас, слава богу, догадались ввести генеральские и адмиральские звания.

Печальный, я возвращался домой после очередной лекции в Академии Генштаба, где невольно порассуждал перед слушателями о знаменитом «стоп-приказе» Гитлера, который задержал лавину своих танков на подступах к Дюнкерку, позволив англичанам спокойно убраться восвояси.

— Вряд ли этот шаг продиктован легкомыслием или, паче того, боязнью. Скорее, в этом поступке заключен немаловажный политический смысл, вроде приглашения к танцу. Не исключено, что мало кому понятный «стоп-приказ» выразил же-

лание Гитлера обратить Англию из противника в своего союзника…

В булочной на углу Столешникова я купил свежий батон и уже подходил к дому, когда возле меня, резко взвизгнув тормозами, остановилась черная легковая машина. Первая мысль была такова: «Ну, сейчас станут брать…»

— Здравствуй, — услышал я приятный голос. — У тебя есть свободная минута, чтобы поговорить?

В машине сидел епископ Нафанаил, в прошлом мой сокурсник по старой Академии Генштаба, в миру бывший князь Сергей Оболенский. Я сел подле него в машину, и мы медленно покатили по вечерней Москве. Долго молчали.

— Ты, кажется, очень печален?

— Мне присвоили звание генерал-майора.

— Поздравляю. Так надо радоваться!

— Ты бы, Сережа, на моем месте не возрадовался. Потому и печален, ибо вторичный путь к генеральскому чину оказался гораздо сложнее, нежели первый.

— Конечно, — засмеялся Нафанаил, — генерал без эполет, с черствым батоном в руках — это еще не генерал, а так… Заедем на подворье и отметим твое возвышение.

В покоях епископа было уютно, мягкие ковры глушили шаги, в клетке распевала канарейка, перед ликами святых теплились лампады, а неподалеку от киота висел портрет Хозяина. Служка в подряснике быстро накрыл стол, появилось вино.

— Ну, садись, — предложил Нафанаил.

Радио передавало последние сводки с западных фронтов: «панцер-дивизии» вермахта вторгались во Францию, Бельгию и Голландию. Нафанаил советовал мне закусить.

— У диктора, — сказал я, — такой ликующий голос, будто не Гитлер разогнал свои «ролики» до Парижа, а сам Хозяин освещает нам путь к победе.

— А я верю Сталину, — отвечал Нафанаил. — Да и стоит ли беспокоиться за Францию? У них же там «линия Мажино».

— Которую легко обойти через Бельгию, — добавил я, — как это сделал еще кайзер в четырнадцатом…

У нас тоже поговаривали о «линии Сталина», но я-то знал, что никакой «линии», ограждавшей наши западные рубежи, не было и в помине, вместо нее громоздились кучи строительного мусора: после переговоров Молотова с Риббентропом

работы по укреплению границы забросили как ненужные и даже вредные, а тех, кто укреплял эту границу, всех пересажали по тюрьмам как паникеров и врагов народа, не верящих в силы Красной Армии. Я ни с кем не делился своими мыслями, но мне казалось, что было бы правильным — отвести наши войска на сто-двести миль от границы, дабы избежать первого мощного удара немцев, хорошо подготовив контрудар на отдельных рубежах… Но кто бы меня стал слушать?

— Скажи, что будет? — вдруг спросил Нафанаил.

— Война.

— С кем?

— Конечно, с Германией.

— А как же договор с нею?

— Не задавай наивных вопросов, Сережа. Ты ведь сейчас красуешься панагией, украшенной рубинами, но когда-то носил аксельбанты знающего генштабиста… Соображай сам!

— Скажи, а мы… готовы?

— Нет, — ответил я. — Впрочем, когда и в какие времена Россия была готова? Это же ее нормальное состояние — быть постоянно неготовой. Уж не в этом ли и заключена наша тайная, почти

мистическая сила — ждать, пока жареный гусь не клюнет нас в задницу, чтобы очухаться и… ура! ура! ура!

Нафанаил, явно удрученный, долго думал.

— Все равно, — сказал он, — Россия способна вынести любые поражения, но побежденной ей не бывать. И нет такой силы, чтобы сломить ратный дух русского человека. И что бы ни случилось, но церковь всегда останется с народом…

14 июня немцы вошли в Париж. Приезжие из Берлина рассказывали, что город не узнать: витрины магазинов украсились айсбергами датского масла, громоздились, словно ядра, пирамиды голландских сыров «со слезой» (сыр немцам, а слезы голландцам), всюду французские вина, немки раскупают парижскую парфюмерию. Когда автомобиль Гитлера появился на Вильгельмштрассе, берлинцы сыпали под колеса букеты цветов…

У нас тоже новости. Последовал здравый указ о введении восьмичасового рабочего дня. Вместо дурацкой пятидневки образовалась старинная рабочая «неделя» с понедельниками и субботами, и я от души приветствовал этот указ, ибо народ уже разболтался, слишком радуясь успехам советского футбола. Хватит! Пора браться за дело. Теперь прогульщиков сажали, а не убеждали

исправиться…

Но даже в Москве я слышал грохот немецких сапог…

* * *

Летом 1940 года меня направили в Таллинн (бывший Ревель); к этому времени согласно договорам с СССР в государствах Прибалтики размещались наши воинские гарнизоны, а в гаванях дислоцировались корабли Балтийского флота.

Следовало ожидать, что Литва, Латвия и Эстония скоро вернутся в состав нашего государства — на правах республик.

Я ехал в Эстонию на птичьих правах «советника», заранее предчувствуя, что хорошего ничего не будет, ибо гитлеровский абвер давно опередил нас. Именно тогда — по договору с Германией — началась массовая депортация немецкого населения Прибалтики, которое со времен Ордена меченосцев по-хозяйски обживало эти края. Возникало немало конфликтных ситуаций. Под видом «немцев» желали удрать русские белоэмигранты, бывшие офицеры армии Юденича, а некоторые из природных немцев, напротив, отказывались выезжать в гитлеровскую Германию, слезно умоляя наши власти о советском

гражданстве.

Перед моим отъездом сослуживцы завидовали мне:

— О! Да там, в Эстонии, всякого добра завались. За сущие пятаки можно приодеться джентльменом. Это не наш ширпотреб, когда на пиджаке забывают сделать дырки для пуговиц…

Тряпья действительно в магазинах Ревеля было много, но в канун моего приезда подорожали продукты, особенно бекон, ибо депортированные в «счастливую» Германию немцы вывозили жиры тоннами, так как боялись маргарина. Я, конечно, ехал в Эстонию не ради пиджака и бутербродов, но жизнь чужого города казалась мне любопытной. На улице Пикк по вечерам загорались огни ресторанов и баров, из лакированных автомобилей, украшенных флажками иностранных посольств и консульств, респектабельные господа выводили элегантных дам — все было так, будто ничего не изменилось, а советские корабли на рейде — это так, ради экзотики. Но за приятными декорациями укрывались непривлекательные детали. Наших матросов не пускали на берег, зато с немецких кораблей матросы валили по трапам толпами, быстро разбегаясь по закоулкам города и его злачным местам, отчего

агенты абвера — под видом гуляк-матросов — становились для нас неуловимы.

Телеграфный кабель, протянутый по дну моря из Таллинна до Хельсинки, работал по-прежнему, и что там передавали для услуг абвера — оставалось тайной. Финская радиостанция «Лахти» транслировала для жителей Эстонии антирусские передачи на русском же языке.

Я снимал комнату в частной квартире старого еврея Хацкеля, который портняжил еще тогда, когда Эстония была Эстляндской губернией. Однажды Хацкель, не стесняясь меня, увеличил громкость радиоприемника до предела. Выслушав рассказ «Лахти» о том, что в одном колхозе жители, доведенные голодом до отчаяния, зарезали и съели своего председателя, я сказал хозяину:

— Арон Исакович, охота вам слушать такую ерунду?

— А цо? Рази васы не врут! — засмеялся он.

— Еще как врут! — не отрицал я. — Но врут в вашу же пользу, а не для пользы Германии…

С настоящей ненавистью я столкнулся в антикварной лавке, где осматривал старинное оружие. Какой-то потрепанный человек предлагал хозяину купить у него орден Станислава 3-й

степени. Хозяин лавочки отказывался, говоря, что у него полный набор царских орденов. Было видно, что голодранец сильно огорчен, и мне стало жалко его, явно голодающего:

— Не изволите ли продать Станислава мне?

Он узнал во мне не только русского, но и советского человека, хотя я был в штатском. Почти наорал на меня:

— А-а-а! У себя в Совдепии все уже разорили, так теперь и сюда забрались, чтобы грабить… Нет уж! Лучше вот так… вот так… смотрите… вот так!

И, выкрикивая эти слова, он, когда-то русский офицер, злобно давил и плющил свой орден каблуком ботинка.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Наверное, легко достался вам этот орден, иначе вы бы не поступили с ним так…

— А ты заработай себе хоть один! — крикнул он мне.

— У меня, ваше благородие, было их восемнадцать… вот таких, как ваш, и еще более высоких.

— Кто же вы такой? — оторопел он.

— Честь имею. До революции был «превосходительством»…

Мне трудно. Наша контрразведка, поставленная в необычные условия, работала вяло,

арестовывая невинных, и наоборот, через ее фильтры проскакивали хищные акулы абвера. Однажды я не сдержался и наговорил дерзостей:

— В тридцать седьмом не боялись сажать людей за «измену родине» даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Кагановиче, а сейчас, попав сюда, вдруг стали такими добренькими, что боитесь тронуть явных агентов Гитлера.

— Но мы, — отвечали мне, — делаем все, чтобы не раздражать Германию, связанную с нами, договором о мире.

— А вот Гитлер плевать хотел на все договоры…

Я сказал своим сотрудникам, что они даром едят хлеб:

— Вот, пожалуйста! При аресте взяли у одного типа карту Эстонии, тут тебе все, что надо для абвера: дислокация наших частей, батарей и аэродромов.

— Мы же не гестапо, чтобы хватать всех подряд.

— А я думаю, что в гестапо работают точнее вас…

Этот «семейный» скандал притушили, а вскоре в наших фильтрах застряли два немецких агента. Я контролировал работу германского

акционерного общества «Умзиедлунгс-трейханд-Акционен-гезельшафт» (УТАГ), которое ведало имуществом немцев, согласных на депортацию. УТАГ с утра до ночи таскал по городу и грузил на корабли гигантские контейнеры с мебелью и добром уезжающих. Я велел сотрудникам:

— Откроем один, какие черти оттуда выскочат?

В контейнере сидел видный германский агент Я. Штельмахер, бывший адвокат в Риге, который выдал своего напарника — Наполеона Красовского, и они сами навели нас на след еще одного агента абвера. Это был Борис Энгельгардт[13], бывший паж, бывший полковник, бывший член Государственной думы, бывший член Временного правительства при Керенском, ныне работающий тренером на рижском ипподроме. Я допрашивал его сам 3 августа 1940 года, предупредив, что биографию его знаю:

— Вы, еще пажом, участвовали в коронации Николая Второго заодно с нашим генералом

---

**[13] notes: 13**

Б. А. Энгельгардт (1877-1962) до 1946 года жил в ссылке в городе Хорезме; в 1943 году обратился к Сталину с просьбой, чтобы его солдатом отправили на фронт, но по возрасту в армию принят не был. После войны вернулся в Ригу, где честно трудился переводчиком в гидрометеослужбе, был членом судейской коллегии рижского ипподрома. Оставил после себя мемуары, опублико.ванные в «Военно-историческом журнале».

Игнатьевым, автором книги «Пятьдесят лет в строю». Игнатьев свято хранил честь мундира, я видаюсь с ним в Москве, и мы как-то даже вспоминали о вас. Что прикажете делать с вами, Борис Александрович?

— Расстреливайте, — грустно отвечал Энгельгардт.

— Жалко, — отвечал я. — Вы же прекрасный жокей… Лучше договоримся. Я обещаю вам пять лет ссылки, после чего с вас бутылка коньяка. Но прежде — сознание…

Энгельгардт признал, что работал на Германию с 1933 года, его резидентура засылала агентов даже на Чудское озеро, вся собранная информация поступала к главному резиденту германской разведки — Целлариусу. Я сказал, что мне нужны каналы для личной связи с Целлариусом. Энгельгардт предостерег:

— Я бы не советовал вам с ним связываться.

— Почему?

— Целлариус раскусит вас сразу, будто орех.

— А вот это уж не ваше дело…

* * *

Целлариус повел себя со мною так, будто он мой начальник, даже покрикивал, но встреча

с ним была выгодна для нашей разведки, ибо заводила нас в темные дебри абвера. Вскоре меня срочно отозвали в Москву, а на перроне Рижского вокзала, едва покинув вагон, я был арестован. Это надо же так: 1937 год меня миловал, так попался сейчас, когда я нужен не в тюрьме, а в абвере. Мне инкриминировали то, что я фашистский шпион, пробравшийся в советский Генеральный штаб.

— Но я этого и не отрицаю, — отвечал я.

### 1. Враги, съеденные червями

Миру не забыть пышных усов Франца Иосифа…

После войн и революций дезертиры, калеки и спекулянты торговали на барахолке мундирами с обветшалой позолотой:

— Бери, не прогадаешь! Мундир австрийского императора Франца Иосифа… да ему и сносу не будет!

Не было «сносу» и самому Францу Иосифу, который никак не мог умереть. Вопрос о вырождении венценосцев Европы поставлен давно, а в 1905 году этим занимались французские антропологи. Габсбурги, по их мнению, самый яркий образец вырождения. У них удлиненная нижняя челюсть, выдвинутая вперед, а нижняя губа, непомерно

раздутая, безобразно выпячена. Сравнивая древние медали и монеты с профилями монархов, антропологи указывали, что в династии Габсбургов не все в порядке. Их способность к мышлению тоже отличается от здравого рассудка. С ними государство стоит — с ними оно и рухнет…

Император Франц Иосиф помнил еще Меттерниха, а пережил Бисмарка; из мира кабриолетов и дилижансов он дожил до того времени, когда над крышею его Шёнбрунна залетали аэропланы, а на подводных лодках в Адриатике загрохотали первые дизеля.

— Все умирают, — жаловался он придворным, — один я, несчастный, никак не могу умереть…

Австро-Венгрия по праву считалась «тюрьмой народов», в которой надзирателями служили немцы. Во владениях Габсбургов немцы всегда оставались в меньшинстве, но именно это меньшинство управляло «лоскутной империей». Венграм (мадьярам) в 1867 году была сделана уступка в автономии, и дуализм получил название Двуединой монархии, а на картах Европы возникло новое государство — Австро-Венгрия. Габсбурги высоко ценили удобство яркой «лоскутной» одежды, выражая свое кредо в таких словах:

— Наши подданные болеют разными болезнями. Если во Франции революция поднимает на баррикады всех французов разом, то у нас горячка по частям. Это очень удобно для правления. Коли бунтуют итальянцы, мы напускаем на них хорватов, на галицийцев кидаются мадьяры, а если бунтуют сами мадьяры, мы доверяем их усмирение богемским жителям. Взаимно все наши подданные ненавидят друг друга, но из этой взаимной ненависти как раз и рождается благопристойный порядок…

Великая Дунайская империя вальсов и чардашей, венгерского шпика и венских колбас, кулачного мордобоя и взяточников, католического засилья и шарманок — эта империя давно разваливалась… и никак не могла развалиться, ибо слишком велик был давний престиж венских кесарей. Настолько велик, что Наполеон, не раз бивший Австрию на всех перекрестках Европы, все-таки не устоял перед ее величием — и взял себе в жены капризную девицу из семьи Габсбургов…

Франца Иосифа любили изображать «добрым дедушкой» в окружении детей с букетами. Но скажите, какой деспот не любил, чтобы дети подносили ему цветы?! Он женился на Елизавете

из баварской династии Виттельсбахов, которые из рода в род славились умопомешательством. От брака с психопаткой император имел дочерей и сына Рудольфа. Но Елизавету он вскоре отлучил от себя, его метрессой стала Екатерина Шраат, венская акушерка. Чем она прельстила императора — не знаю, но она осталась при нем до конца его жизни. Взяточница была страшная, и мимо нее никто не мог проскочить в кабинет монарха, прежде не одарив фаворитку кольцами, серьгами, бриллиантами. Если кто из венцев мечтал сделать карьеру, ему говорили:

— Прежде подумай, как понравиться Шраат…

Между тем вокруг Франца Иосифа возникала трагическая пустота. Вот краткий перечень несчастий этой семейки, отмеченной зловещим роком уничтожения: родственники императора сходили с ума, были застрелены на охоте, сгорали на пожарах, кончали самоубийством, пропадали без вести, разбивались при падении с лошади, испивали на пиру смертную чашу. Родной брат Максимилиан возмечтал стать императором Мексики, но мексиканцы привязали его к столбу и расстреляли, а вдова его тихо помешалась.

Нормальным считался лишь принц Рудольф, наследник престола, любивший общество ар-

тистов и писателей. Женатый на Стефании Бельгийской, он не оставил распутной жизни, и жена сама ездила по ночным вертепам, чтобы вытащить оттуда своего гулящего мужа. Наконец Рудольф скрылся в охотничьем «Меерлинге», с ним была красавица Мария Вечера. Отсюда он написал отцу письмо, в котором отказывался от престола Габсбургов, чтобы довольствоваться любовью красавицы… Что случилось далее — историки не понимают. Рудольф был найден кастрированным, а подле него лежала мертвая Мария Вечера.

Когда в Вене прослышали о позорной кончине наследника, придворные не знали, как оповестить отца. Но мать убитого Рудольфа выручила вельмож, посоветовав:

— Поручите это дело акушерке Шраат…

У историков мало поводов для того, чтобы восхищаться Францем Иосифом, так, позвольте, похвалю его я: что бы в мире ни случилось, Франц Иосиф никогда не терял хладнокровия, стойко перенося любые удары судьбы. Порою кажется, что календарь перестал для него существовать: к чему знать течение времени? Вокруг него обязательно кого-то калечили или убивали, а он, словно заговоренный, всегда оставался невредим

и на здоровье не жаловался. Наверное, если бы в него стреляли в упор — все равно бы промазали.

— Сколько мух… сколько мух! — говорил Франц Иосиф, озирая свои апартаменты в Шёнбрунне. — Эти паразиты-ученые чего только не изобретают, а вот уморить мух не способны…

После безобразной смерти сына Рудольфа император провозгласил наследником престола своего брата эрцгерцога Карла Людвига, но в 1896 году братец загнулся, и тогда право на престол Габсбургов перешло к сыну покойного — эрцгерцогу Францу Фердинанду, родному племяннику императора.

— Терпеть не могу этого святошу, — говорил он акушерке Шраат. — Но что делать, если род Габсбургов мельчает на глазах… вот только я не могу умереть!

Императрица Елизавета, его отверженная жена, пребывала в мрачной меланхолии, оживляясь лишь в общении с лошадьми. Но в 1898 году она была зарезана итальянским анархистом Лукени, когда всходила на трап отплывающего парохода. Узнав о ее гибели, Франц Иосиф даже не дрогнул, повелев:

— Позовите ко мне Екатерину Шраат…

Шёнбрунн насчитывал 400 комнат, и по этим

комнатам, переполненным сокровищами, блуждал выживающий из ума старик с хлопушкой в руках. Этой хлопушкой он перебил миллионы(!) мух, залетавших с улицы, и при этом бормотал:

— Странно! Все умирают, один я — бессмертен… А сколько мух, сколько людей… за что мы платим ученым?

* * *

— Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сообщила Швейку его служанка в знаменитом романе Ярослава Гашека.

— Какого Фердинанда, пани Мюллер? — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруша и выпил у него как-то по ошибке бутылку жидкости для ращения волос. А есть еще Фердинанд Кокошка, тот, кто собирает собачье дерьмо. Обоих ничуточки не жалко.

— Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда…

Указанный служанкою Фердинанд родился в 1863 году.

Это был мрачный и нелюдимый человек с залеченным туберкулезом легких. Смолоду он мечтал о самой широкой популярности, почему и хотел бы нравиться всем — и немцам, и

венграм, и даже славянам. Однако нравиться не умел, от него всегда исходил мертвящий холод, никто не слышал от него доброго слова, не видел даже приветливой улыбки. Франца Фердинанда боялись все жители Австрии, и не только сам народ, но даже аристократы говорили: «Чтоб его черви съели...» Русская печать информировала читателей об эрцгерцоге: «Он терпеть не может азартных игр, не любит официальных приемов, презирает банкетные речи, которые ненавидит больше всего».

— Он умрет на ступенях трона, — предсказывали другие...

Что же хорошего было в этом неприятном человеке? «Я большой мечтатель, страдающий музеоманией», — записывал он в дневнике, и был даже прав; из наследника престола мог бы получиться хороший экскурсовод по старинным музеям. В 1892 году эрцгерцог совершил кругосветное путешествие, посетив почти все страны мира, вплоть до Японии и Австралии. Лучше всего он чувствовал себя на обеде у вице-короля Индии, ибо лорд Лэндсдоун, жена лорда и сам Франц Фердинанд не произнесли за обедом ни единого слова.

Путешествуя, он усиленно осматривал арсена-

лы, казармы и броненосцы, не ленился узнать, мягкие ли у солдат матрасы и что им сварили на ужин. Япония поразила его способностью к быстрому освоению материального и научного прогресса, он тогда же пророчил: «Европе когда-нибудь в будущем придется еще горько раскаяться в том, что она открыла секреты своей мощи желтолицым сынам Азии…» Путешествуя, эрцгерцог никогда не забывал о собственном величии, а любое ущемление своего превосходства переживал трагически. Поводов же для гнева было достаточно. Так, на английском пароходе ему не позволили курить там, где он хочет. В США хозяин гостиницы похлопал его по плечу: «Ну, как житуха, герцог?» А на вокзале в Калифорнии носильщик стал ругаться, усталый от переноски чемоданов и кофров: «Еще холостой человек, а уже успел накопить кучу всякого барахла…»

Вернувшись на родину, он поселился в замке Конопишт под Прагой, в основном занимаясь охотою. Эрцгерцог поставил себе задачу — убить никак не меньше пяти тысяч оленей и слово свое сдержал: убил! Об экологии тогда еще не думали, но статистики Австрии подсчитали, что наследник угробил около ста тысяч штук дичи (включая сюда и зайцев). Кстати, стрелок был отличный:

прицелился — смерть…

Окруженный всеобщей ненавистью, эрцгерцог отгородился от нее одиночеством, и, пожалуй, не было человека, которому он был бы симпатичен. Даже те люди, которые относились к нему благосклонно, писали о нем в таких выражениях: «Нельзя отрицать в нем ярко выраженного эгоиста и той жестокости, которые отнимали у него интерес к чужим страданиям… Горе всем тем, кого он преследовал своей ненавистью!» В 1898 году император Франц Иосиф разделил с племянником верховное командование своей армии. С той поры эрцгерцог стал привлекать внимание всей Европы, ибо понемногу оттеснял на задний план своего дядюшку. В политике Франц Фердинанд всегда оставался отчаянным русофобом. В популярной газете «Райхспорт», которую он издавал, Россию сравнивали с чудовищным осьминогом, удушающим беззащитную Австрию. Эрцгерцог не терпел русских: когда Пражская академия избрала Льва Толстого в свои почетные члены, Франц Фердинанд со злорадством вычеркнул имя писателя…

Вмешиваясь в политику, Франц Фердинанд лучше императора понимал, что «лоскутная» империя когда-нибудь треснет по всем швам, узники

«тюрьмы народов» разбегутся в разные стороны. По этой причине ему хотелось дуализм заменить триализмом, чтобы из двуединой монархии «Австро-Венгрия» создать монархию триединую под общим названием «Австро-Венгро-Славия». Он хотел спасти будущее своей династии, давая хорватам права, одинаковые с теми, какие имели немцы и венгры.

— Тогда, — доказывал он, — примолкнут славяне, получив равные привилегии с мадьярами… Что им еще надо?

Ненависть к нему сразу усилилась. Немцы с трудом делили власть с Будапештом, а буржуазия Будапешта никак не желала делить власть со славянами. Особенно возмущались сербы: за призрачной автономией хорватов они разглядели причины для подавления их вольности. Сербы повторяли как клятву:

— Австрия сама давно съедена червями, а наследника престола скоро съедят могильные черви…

Желая развить идеи триализма, эрцгерцог сошелся с чешской графиней Софьей Хотек, от которой имел трех детей, сделавшись хорошим мужем и отцом. Но император не дозволил причислить чешку к семейству Габсбургов, и в 1900

году был оформлен брак лишь морганатический, а Софья Хотек получила титул «графини Гохенберг». Можно пожалеть эту женщину! Она была ненавидима венской знатью, которая откровенно издевалась над нею. Напыщенные аристократы травили Хотек насмешками, глумились над ее чешским происхождением, в придворных церемониях она тащилась, как побитая собака, в самом хвосте процессии… Император не желал видеть невестку, для которой отводили место в конце стола, как для отверженной. Франц Иосиф предупредил, что ее дети никогда не должны претендовать на престол Габсбургов:

— Я тебя однажды уже засадил в монастырь и упрячу снова, если будешь загрязнять мой престол всяким… мусором!

«Мусором» он называл ее детей. Женщину выручил германский император. Вильгельм II, однажды навестив Вену, зычно объявил в кругу придворных Франца Иосифа:

— Я не сяду за стол, пока не увижу своей соседкой благородную графиню Гохенберг, жену моего приятеля…

Не с этого ли случая Франц Фердинанд, благодарный кайзеру, и поплыл в русле германской политики? Резкая перемена в их отношениях

произошла в 1908 году, когда Вильгельм II навестил эрцгерцога в замке Эккартзау, где они совместно охотились на оленей. О чем они там договорились, между прочим постреливая, никто не знает, но их беседы были чреваты огромными последствиями. Возвратившись с охоты, эрцгерцог радостно сообщил жене:

— Мы разрушим все козни! Наши дети будут королями Сербии и Славии, а ты станешь византийской императрицей…

## 2. Умрет на ступенях трона

Когда ничего не ясно, тогда неясности приобретают особую пикантность. Просматривая мемуары лорда Эдуарда Грея, знатока тайной дипломатии Англии, я невольно улыбнулся, отметив его фразу: «Миру, вероятно, никогда не будет рассказана вся подноготная убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Возможно, — писал Грей, — в мире нет и даже не было человека, знающего все, что требовалось об этом знать».

Не сразу, а спустя много лет я выяснил, что Апис перед расстрелом его в Салониках сделал важное признание: о том, что Франц Фердинанд обязательно будет убит, в Белграде отлично знали двое русских.

Гартвиг? Артамонов? А где же третий? Где я?

Если Апис не причислял меня к числу людей, посвященных в эту зловещую тайну, то, наверное, он считал меня сербом наполовину. Я так думаю. Мне так хочется думать…

Наконец, на сараевском процессе гимназист Гаврила Принцип сознался, что было некое третье лицо, включенное в заговор. «Имя этого третьего лица, а равно и сведения относительно его роли Принцип сообщить суду отказался».

Что было бы, если бы Принцип не отказался?

В этом случае из меня бы вытрясли всю душу наши знаменитые историки Покровский, Тарле и Полетика…

* * *

В начале любой войны первая ее жертва — правда!

Посол не всегда проводит политику своего кабинета, и в этом я убедился. Гартвиг спокойно, как чиновник, «подшивал к делу» распоряжения министра Сазонова, но политику на Балканах творил на свой лад. Стараниями сербской разведки Белград превратился в некий вулкан, выбрасывающий, словно кипящую лаву, множество заговоров. В нем образовались как бы два прави-

тельства, гласное и тайное, но тайное во главе с Аписом управляло явным. Конечно, Гартвиг было достаточно умен, он с должным почтением относился к Николе Пашичу, но мне всегда казалось, что полковник Апис гораздо ближе ему по духу. Общение посла с этим человеком было глубоко законспирировано, зато велико было значение полковника Артамонова, который связывал русское посольство с сербской разведкой. Апис доверял свои замыслы Артамонову, тот оповещал о них Гартвига, и требовалось одобрение посла, чтобы замыслы воплощались в дело… При этом Апис оставался в прекрасных отношениях с королевской семьей Карагеоргиевичей, а министры, покорные воле короля, поддерживали разведку своими субсидиями… Круг замыкался!

В самом конце 1913 года, минуя Артамонова, разведка нашего Генштаба завела для меня надежный «почтовый ящик» в аптеке на Призренской улице, чтобы впредь я действовал самостоятельно. Мне вменяли в обязанность негласный контроль за событиями в Белграде, я информировал Генштаб о делах в Сербии и даже… даже в нашем посольстве, где под руководством Гартвига крутились всякие бесы и бесенята. Наверное, я вел себя достаточно деликатно, ибо

Артамонов, доверявший мне, не заметил, что я веду наблюдение и за ним.

То ли в декабре 1913 года, то ли в январе 1914-го я узнал, что Апис замышляет что-то крупное, но кто им будет взорван или зарезан — не установил. В разговоре с Артамоновым я умышленно повел речь о Франце Иосифе:

— Не думаю, что Сербия выиграет, если рамолика не станет. Он уже достаточно дряхл и настолько поглупел, что скоро загнется без посторонней помощи. Скорее для Сербии будет опаснее его наследник-эрцгерцог.

— Пожалуй, — согласился Артамонов. — Но сейчас Белград наладил связи с болгарскими революционерами, чтобы сообща с ними свернуть шею царю Фердинанду Саксен-Кобургскому.

— А я-то думал, что Аписа тревожит другой Фердинанд.

— Этот пусть еще поживет, — хмуро отозвался Артамонов. — А царь болгарский слишком связан с Германией и Австрией, и нам, русским, выгоднее устранить в Софии немецкое влияние.

Я подъехал к Артамонову с другого конца:

— А кто такие Виктор Чернов и Лев Троцкий?

— Русские политэмигранты. Первый — матерый эсер, у которого руки по локоть в крови,

второй играл немалую роль в нашей социал-демократии… Почему вы меня о них спросили?

— Потому что с ними связаны сербские студенты в Лозанне, посвященные в дела боснийского подполья. А эти господа эмигранты любят хлебать пойло даже из чужого корыта.

Артамонов понял. Понял и ответил, что сербские студенты в Лозанне могут знать «от и до», но никак не больше, ибо они кормятся в основном лишь слухами.

— Но… откуда вы, коллега, об этом узнали?

— У меня свои «от и до», — намекнул я.

— Молчание — золото, — предупредил Артамонов.

— На золото и покупается, — отвечал я со смехом…

На самом же деле, освоясь в Белграде, я никого не подкупал, да и не было надобности сорить деньгами. Просто у меня окрепли дружеские связи с офицерами сербской армии, помнившими меня по давним событиям в конаке Обреновичей, многие из них видели во мне своего кровного «побратима».

В эти дни я, как «дописник», взял краткое интервью для «Биржевых Ведомостей» у славного воеводы (генералиссимуса) Радомира Путника,

окончившего русскую Академию Генштаба. Воевода тоже состоял в обществе «Черная рука» и на мой вопрос об угрозе войны ответил уклончиво:

— Мы, сербы, верим, что Россия не оставит нас, как оставила во время боснийского кризиса, как пренебрегла нами в последнем разладе на Балканах. Конечно, случись война с Австрией, мы все будем раздавлены мощной пятой германского содружества, но… Все может обернуться иначе, и даже из пламени руин, подобно сказочному фениксу, возродится та «Великая Сербия», которая станет маткой в этом балканском улье, гудящем семейными раздорами…

* * *

Извольский, автор боснийского кризиса, был сейчас нашим послом в Париже, и оттуда он, связанный по рукам и по ногам французскими масонами, сознательно разжигал войну в Европе, считая, что этой войной он лично «накажет» Австро-Венгрию за свое унижение в период кризиса. Алоиза Эренталя, обманувшего его в Бухлау, как последнего дурачка, Извольский считал своим личным врагом, но Эренталь скончался в 1912 году, его пост министра иностранных дел занял граф Леопольд фон Берхтольд.

Этот человек, умерший при гитлеровском режиме, в самый разгар Сталинградской битвы, перед смертью уничтожил все свои бумаги, вместе с ними сокрыв и свои преступления. Берхтольд долго был венским послом в Петербурге, весьма памятный всем нашим проституткам с Невского проспекта, а русское общество интересовалось им лишь как внуком композитора Моцарта. Но ведь никто в Европе не думал, что этот ветреный бонвиван станет министром. Тогда ходил слух, что Франц Иосиф — по дряхлости и слепоте — перепутал бумаги на столе и подписал его назначение в министры по ошибке. Император и сам удивился, когда с докладом о политике к нему в кабинет вошел сияющий граф Берхтольд.

— Помилуйте! Я ведь назначал не вас, а графа Сечени… Впрочем, не все ли равно, чью болтовню мне выслушивать!

Моцарт умер в нищете, а его внук стал миллионером, владея огромными поместьями в Венгрии и чешской Моравии. Он выгодно женился на графине Карольи, которая принесла ему в приданое замок и конные заводы. Связанный по жене с венской аристократией, Берхтольд, сам капиталист, и служил, естественно, запросам венской

буржуазии. Правда, служитель он был паршивый, и, отсидев на Баллыплатцене свои часы, бежал на улицу срывать цветы удовольствия… с прекрасных венок… Римский нунций Чацкий, живший в Вене, точно определил будущее:

— Этот вертопрах доконает бедную Австрию! Я вижу германизм чистой воды, а венский Баллыплатцен сделался отделением берлинской Вильгельмштрассе…

Это Берхтольд и доказал во время Балканских войн, угрозами не допуская сербов к Адриатическому морю, именно на его совести вся кровь второй Балканской войны, когда он натравил Болгарию против Сербии и Греции. Берхтольд говорил:

— Дайте мне только повод, и я сведу счеты с Белградом!

Знает ли Берхтольд о том, какие «поводы» вызревают сейчас в преисподней Сербии? Вряд ли. Австрийские власти издалека чуяли брожение сербской молодежи, особенно среди студентов из оккупированной Боснии, учившихся в Белградском университете. Конечно, на Баллыплатцене могли догадываться о роли «Народна Одбрана», может, они даже проникли внутрь мятежной «Млада Босна», но «Черная рука» оставалась для

Вены незримой, как рука циркового престидижитатора, показывающего фокусы на фоне черного бархата. «Народна Одбрана» ловко укрылась за вывесками спортивных корпораций и общества трезвости, но, как и «Млада Босна», она подчинялась «Черной руке» полковника Драгутина Дмитриевича (Аписа).

Белград не слишком-то церемонился со своим грозным соседом на Дунае, и в день 80-летия императора Франца Иосифа газета «Политика» напечатала портрет террориста Богдана Жераича, а чтобы вышло крепче, тиснула и такие стихи:

> *Император, ты слышишь в треске револьвера,*
>
> *Как свинцовые пули пронижут твой трон?*

В феврале мне казалось, что дни Фердинанда болгарского уже сочтены, в заговор против него включились революционеры Македонии; Гартвиг даже не скрывал, что стрелять в царя будут русскими рублями, а сам Апис высказал мне одну фразу, которую потом почти дословно повторил Бенито Муссолини на страницах своей газеты «Аванти!»:

— Профессия королей — занятие слишком доходное, но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью…

В один из дней я выехал на посольскую дачу в Сенжаке, где меня никак не ожидал видеть Гартвиг, пребывающий в подозрительном возбуждении. Я спросил:

— Николай Генрихович, вам нездоровится?

Посол молча протянул мне вырезку из сербской газеты «Србобран», которая издавалась в Загребе; в ней говорилось о предстоящих маневрах австрийской армии в Боснии.

— Не знаю, насколько это верно, — заметил Гартвиг, — но инспектировать армию приедет сам эрцгерцог, которому не сидится в своем Конопиште. А нетерпение сербской молодежи столь велико, что выстрел может грянуть раньше, чем Россия успеет пришить последнюю пуговицу на своем мундире…

При этих словах мои глаза не полезли на лоб, а брови не вздернулись в изумлении. Я извлек из своего портфеля сараевскую газету «Вечерне Пошта», извещавшую о том же.

— Откуда она у вас? — удивился Гартвиг.

— От Данилы Илича, переводчика Максима Горького; с ним я познакомился в вашем же по-

сольстве. Сейчас он живет в Сараево, и вот… как видите, переслал!

— Это похоже на предупреждение.

— Меня не стоит предупреждать, — отвечал я. — Просто я сам хотел предупредить вас… Думаю, вовремя!

Я имел немало случаев присмотреться к белградской молодежи с ее «нетерпением». Их патриотические общества напоминали итальянских карбонариев, но в них было немало и от русских народовольцев — с культом жертвенности во благо светлого будущего. Студенты-белградцы читали Герцена гораздо больше, нежели русские студенты, они штудировали Чернышевского, а стойкий образ Рахметова казался им идеалом. Подражая Рахметову, они избегали женщин, отвращались от вина, у них была ясная цель — пострадать ради объединения всех южных славян под эгидой Сербии, но для этой цели они избрали путь террора. Королевский тир в Топчидере гремел от выстрелов — молодежь училась стрелять, по рукам студентов Белграда ходила измятая фотография Франца Фердинанда, и слышались восклицания:

— Живео Богдан Жераич! Уедненье или смрт!

Они смутно знали о «Черной руке» Аписа, но

эта рука уже развернула над Сербией знамя, на котором оскалился череп, а по углам знамени красовались нож и бомба…

…Мне предстояли неприятные испытания.

* * *

Я не предпринимал никаких попыток к возобновлению знакомства с королем Петром, столь любезным ко мне в Петербурге, избегал встреч с королевичем Александром, да и не было в том необходимости. Александр наверняка знал о моем пребывании в Белграде, при желании он мог бы и сам найти повод для встречи со своим однокашником по Училищу Правоведения, но он этого не сделал. Старый конак, в котором прикончили Обреновичей, пустовал, словно проклятый, Петр Карагеоргиевич селился в новом конаке. Сыновей короля в поездках по городу сопровождал эскорт, а король Петр шлялся по городу без охраны, уже сгорбленный от старости.

Меня в эти дни больше занимали герои будущей драмы, которые перед выходом на авансцену политики таились за кулисами. Войдя в дружбу с майором Танкосичем, большим приятелем Аписа, я заметил его особенное внимание к Габриновичу, Принципу и Грабечу; однажды майор

и сам проболтался:

— Эти юнцы готовы на все.

— Не слишком ли они молоды? — спросил я.

— Для них же лучше! — цинично пояснил Танкосич. — Они австрийские подданные, а по законам Австрии смертная казнь угрожает только тем, кто старше двадцатилетнего возраста.

— Значит, они согласны и умереть в тюрьме?

— Нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать, а Гаврила Принцип болен туберкулезом. Все равно не жилец на свете…

От Артамонова я знал, что чахоточный Принцип учится на пенсию, получаемую от сараевского купца Гриши Ефтановича и доктора Сполайковича, сербского посла в Петербурге:

— Он болен туберкулезом, и потому сам догадывается, что смерти ему не миновать… — невнятно пояснил атташе.

Принцип был приятный шатен с голубыми невинными глазами. Он целыми днями просиживал в библиотеках, читая запоем, казался замкнутым и отчужденным от мира. Когда Неделько Габринович получил доступ в королевский конак, беседуя с наследником престола Александром, мои подозрения усилились. А вскоре после этой аудиенции вся троица сараев-

ских студентов отправилась в Крагуевац, где им выдали оружие и метательные бомбы из государственных арсеналов. Пришлось потревожить Артамонова:

— За битые горшки дорого платят, и боюсь, что платить станет Россия… Полковник Драгутин Дмитриевич привык советоваться с вами по любому вопросу, так я вас прошу, Виктор Алексеевич, чтобы он не расколол горшки раньше времени.

Артамонов хорошо меня понял:

— Сейчас в военных кругах Белграда убеждены, что маневры под Сараево завершатся нападением на Сербию, и хотят его упредить. Я докладывал в Петербург о подобных настроениях в Белграде, но ответ получил невразумительный…

Зато меня вразумили… Через «почтовый ящик» на Призренской улице Генштаб уведомил меня, что графиня Хотек, жена эрцгерцога, уже выехала в Илидже — лечебный курорт под Сараево, где она и станет дожидаться прибытия мужа. Генштаб приказал мне выехать в Боснию, чтобы пронаблюдать за проведением маневров австрийской армии. Как и под каким видом я это сделаю — указаний не поступило.

Маневры намечались на день Видовдан 28

июня 1914 года, так что я не спешил: у меня было время подумать…

### 3. Форс-мажор

Навыки тайного агента я приобрел даже не в Германии, которую покинул «на полных порах», а, скорее, именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешить без промедления. Вроде бы еще ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами бежали сербы-подростки, желая учиться в Белграде, а сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу. Все это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято именовать «форс-мажором».

Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг, будто накануне сараевских событий вдруг всполошился сербский посланник в Вене — Иован Иованович. Через своего брата Любу Иовановича, министра в кабинете Николы Пашича, он был предупрежден,

что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим, он посетил австрийского министра Леона Билинского, ведавшего делами Боснии и Герцеговины. Иованович говорил лишь намеками.

— В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время маневров не заменит холостой патрон боевым, и кто знает — нет ли опасности для эрцгерцога.

Сказать больше того, что им было сказано, Иованович не осмелился, ибо тогда Билинский мог бы поставить вопрос: если Белград беспокоится, значит, в Белграде что-то известно? Билинский не придал словам Иовановича должного внимания, а может, и не захотел. Не захотел внимать намекам и канцлер Берхтольд… Во-первых, граф был слишком увлечен гривуазными приключениями, а во-вторых, Берхтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, Берхтольд сам искал повод для нападения на Сербию, а в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми…

Никола Пашич, в свою очередь, не слишком-то доверял Апису, ибо «Черная рука» откровенно ковырялась в его государственных бумагах, и по-

тому, чтобы противостоять Апису, премьер ввел в тайную организацию своего личного агента. Так что глава сербского кабинета кое-что знал. В конце мая на тайном совещании Скупщины он ошеломил своих министров.

— Что-то замышляет против нас Вена, — примерно так сказал Пашич, — но что-то замышляют и у нас против Вены… Балльплатцен уже предупрежден мною. Молодые беженцы хотят вернуться в Боснию, чтобы там устроить эрцгерцогу такую пляску святого Витта, от которой затрясется вся Европа… Я вынужден, — здесь я цитирую точные слова Николы Пашича, — отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Дрине, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращение в Боснию.

Говоря так, премьер рисковал очень многим, но старика пугала война, которая не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников. Пашич не учел главного — на холодной Дрине служили подчиненные Аписа, у которых кровь была слишком горячая.

— Мы пропустим через Дрину хоть черта лысого, — решили они, — лишь бы Фердинанда не было на нашей земле…

Именно в эти сумбурные дни я навестил аптеку на Призренной улице. Аптекарь сказал, что «почтовый ящик» пуст, и тут же шепнул, что на днях к нему заходил майор Войя Танкосич, просил изготовить ампулы с цианистым калием.

— Вы приготовили?

— Как можно отказать Танкосичу?

— Сколько ампул?

— Три…

В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, Неделько Габринович и Трифко Грабеч, обвешанные оружием, пересекли границу и тайными «каналами» прибыли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данило Илич и Раде Малобабич.

* * *

Итак, у меня оставалось время до начала австрийских маневров, но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый «форс-мажор», замышляемый в Сараево. Кроме своего сердца и своих наблюдений, у меня сейчас не было иных советников — Генштаб далеко, а «Черная рука» уже собралась в крепкий кулак для решительного удара.

До сих пор считаю, что мои рассуждения были

правильны: устранив Франца Фердинанда, Апис и его подручные окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которая любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный и законный повод для нападения на Сербию. Артамонову я сказал:

— Вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения. Но подумали ли вы с полковником Дмитриевичем о кошмарных последствиях?

Далее наша беседа напоминала горячий бой: на все мои атаки военный атташе отвечал контрударами.

— Сейчас, — доказывал я, — самое лучшее для сохранения мира, если произойдет естественная «утечка информации», чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Франца Фердинанда, и тогда Апис не рискнет на это убийство.

— Глупости! — отвечал Артамонов. — Именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией… Чего бояться? Это же не государство, а труп, давно изъеденный червями.

— Я боюсь, что одна лишь пуля может уподобиться мелкому камешку, который сдвигает в горах снежные лавины… Мы, разведка, не имеем права вызывать войны. Нам, разведке, более

пристало предотвращать возникновение войн.

— Вы, — парировал Артамонов, — не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб… довольно они насмердили! Даже у нас в России канцлер Нессельроде был покорным слугою Меттерниха!

— История, — отвечал я, — сама назначит Габсбургам свои сроки, а вы заодно с Аписом желаете толкать историю в спину, чтобы она поспешила, но история не любит насильственных понуканий… Виктор Алексеевич, вы разве не подумали о том, что выстрел в Сараево может вызвать мировой резонанс? Или вы имеете особые полномочия из Петербурга?

— Никаких полномочий от Генштаба я не имею, — сознался Артамонов. — Вы сами понимаете, что в Генштабе, узнай они об этом, мне просто свернули бы шею. Впрочем, — засмеялся Артамонов, — если вы так настоятельны, я могу показать вам то, что ответили из Генштаба на мой запрос…

Он предъявил мне копию шифровки, где было написано по-французски: «ДЕЙСТВУЙТЕ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАДУТ…»

— Но ведь никто еще не напал, а вы уже начинаете действовать, — сказал я. — Однако эта

шифровка достойна помещения на помойке, ибо напоминает фальшивку.

Виктор Алексеевич надолго застыл в молчании.

— Не ведете ли вы свою игру… *помимо меня?* — вдруг спросил он, обозленный. — Я, упаси бог, не собираюсь вам угрожать. Но сказанное вами в моем присутствии не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушите его планы.

Не угрожая, Артамонов все-таки угрожал. «Черная рука» сама по себе цепко держала меня за горло, чтобы я не рыпался, именно так я и понял предупреждение Артамонова. Однако атташе ничего не выиграл, ибо я не покорился ему.

— Виктор Алексеевич… дорогой мой, — нежно проворковал я, — вы напрасно решили, что я устрашусь расправы со стороны сербской разведки. Повторить сказанное перед вами я берусь и перед полковником Драгутином Дмитриевичем.

— В таком случае сразу составьте завещание.

— Увы! Прожив сорок лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать…

Я не пошел в сербский генштаб, а направился

сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа в старом ресторане «Милица», где он привык ужинать с влюбленными в него женщинами. Но там его не оказалось, а буфетчик сказал:

— Он теперь в «Казбеке» на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлыки из баранины…

Скадарская улица с обветшалыми лавками напоминала трущобы времен турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от ветхости, торчала башня минарета, а вдалеке высился кирпичный брандмауэр кинематографа «Балкан». В отдельной клетушке «Казбека» крепко почивал на тахте Апис в расстегнутом мундире. Я бесцеремонно разбудил его, высказав примерно те же соображения, что и Артамонову. Апис равнодушно выслушал меня и, ковыряя пальцем в ухе, сказал, что «утечка информации» уже произошла.

* * *

— Но при этом на венском Балльплатцене даже кошка не шевельнулась… Наверное, — сказал Апис, — у кого-то из окружения Николы Пашича не выдержали нервы. Конечно, если бы Франц Фердинанд нанес в Белград визит вежливости, я бы сам кормил его шашлыками. Но ведь он,

гадина, собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. «Млада Босна» не позволит ему устраивать маневры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещен мною обо всем…

— Но Артамонов… — заикнулся я.

— Артамонов не знает того, что известно мне. А на твоем месте, друже, я бы срочно выехал тоже в Сараево.

Я понял, как далеко он метит, и сказал, что ответственность Сербии за покушение не стоит перекладывать на Россию.

— Войны не будет, — хмуро произнес Апис.

По его словам, Вена сама заинтересована в устранении эрцгерцога, в доказательство тому он заявил, что на Балльплатцене никак не реагировали на предупреждение, словно давая понять всем нам — убирайте наследника, нам его не жалко.

— В конце концов, — заговорил Апис леденящим тоном, — покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии, желающей найти предлог для нападения на Сербию. Не мы, а именно австрийцы нарочно прикончили своего эрцгерцога, чтобы потом расквитаться с нами…

Не скрою: изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав. Ведь в запасе у Франца Иосифа был еще целый клан из 80 герцогов, каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов, и после выстрела Гаврилы Принципа последуют восхищенные рукоплескания венских аристократов.

— Конечно, — вяло согласился со мною Апис, зевая, — конфликт с Австрией возможен. Но, скорее, все завершится сварою дипломатов, которые с того и живут, что грызутся словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей триализма, который более всего опасен для славянского мира…

Я убедился, что мои доводы бесполезны, и хотел уйти, но Апис задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревниво он пронаблюдал, как огненная ракия перемещается из фужера в мое нутро, и держал шашлык наготове.

— Теперь закуси! Мы одни не останемся, — вдруг захохотал он, словно Мефистофель. — Франция вложила в наши банки столько добра, она дала нам столько пушек от фирмы «Крезо», что Париж теперь не позволит России остаться в стороне,

когда нас станут калечить. Хотят в Петербурге или не хотят, готова ваша армия или нет, — это уже безразлично, если один выстрел в Сараево соберет всех нас в едином окопе…

Провожая меня, он добавил с усмешкой:

— Кстати, друже, ты на Призренскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался… Пришлось отвезти беднягу в дом для умалишенных. Но там мест свободных не оказалось, и потому я велел поместить его в тюрьму Главняча… Вот ведь как бывает! Береги себя, друже…

В самом деле — разве Апис не страшный человек?

### 4. Свидание в конопиште

Странно! Я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II и его гросс-адмирала Тирпица, но оба они, болтая о чем угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Конопишт для свидания с эрцгерцогом.

Конопишт — замок в сорока милях от Праги, построенный еще в XIV веке. О том, как там было при Франце Фердинанде, мог бы лучше всех рассказать чех Позель, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших

солдат. Позель провел их в громадный зал, и тут солдаты ахнули: весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советских библиотек. Потом долго шли на восток эшелоны, увозя эти сокровища обратно на родину…

Позель, прожив долгую жизнь, повидал на своем веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам:

— Здесь раньше процветал иной мир, а теперь Гитлер все разворовал для своего «музея фюрера» в городе Линце…

Конопишт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеоманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого, любил похвастать ружьем Лоренцо Медичи, прозванного «Великолепным». Набожный католик, он молился перед староготическим алтарем, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинною мебелью. Конопишт благоухал цветами, в которых эрцгерцог понимал толк, и в этот благоуханный «рай», где не хватало только порхающих

над клумбами ангелов, однажды заявился сам грозный Цольре — германский император со своим гросс-адмиралом. Свидание в Конопиште до сих пор задернуто траурным флером, но до нас дошла четкая программа кайзера:

— Пора всем сербам выбить их последние зубы!

(«Советская Историческая Энциклопедия» по этому поводу сообщает, что в Конопиште «обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию, который был одобрен Вильгельмом II; при этом герм. император обещал Австро-Венгрии помощь и поддержку Германии», — таким образом, полковник Апис был прав в своих подозрениях...) Известен и вопрос эрцгерцога: гарантирует ли Германия свою военную помощь, если на защиту Сербии подымется вся Россия?

— Если мы за вас не вступимся, — отвечал Вильгельм II, — тогда сербы станут выбивать ваши последние зубы... С сербами надо покончить именно теперь. Цольре зовет на бой!..

Памятуя о детях эрцгерцога от графини Хотек, которым не хватало престолов, кайзер обещал их отцу, что, разгромив Россию и Сербию, он создаст два королевства для детишек: одно — польское, а другое — южнославянское, куда войдут и гре-

ческие Салоники… Управляющий замком Позель мог поручиться, что в Конопиште не было никаких шпионов, способных подслушать эти беседы. Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу же оповестил о них Аписа.

— Теперь, — ответил тот, — не осталось сомнений в том, что Франц Фердинанд затем и устраивает маневры под нашим боком, чтобы с ходу развернуть войска на Сербию… Один хороший обстрел с фортов Землина — и от Белграда останутся руины!

Конопишт имел завершение. Пока там совещались, в Константе проходила встреча Сазонова с Братиану, министром Румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к Братиану:

— Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит?..

Неужели пророчество, взятое с потолка? Или предупреждение, основанное на раскрытии конопиштской тайны? Можно думать, Сазонов что-то уже знал. Но знали ли в Париже и в Лондоне? Возможно. Ибо космополитические связи масонства тянулись, как телеграфные провода,

от самого Белграда до... до... до... Не знаю — докуда они тянулись, но международный конгресс масонов в 1926 году собрался именно в Белграде.

Подводя общие итоги своей подпольной работы, масоны сочли нужным не скрывать главное: «ИЗ БЕЛГРАДА НАЧАЛАСЬ МИРОВАЯ ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВИЛА МНОГИЕ ЧАЯНИЯ МАСОНСТВА».

Вот тут поневоле разведешь руками...

* * *

15 июня — сразу после Конопишта, после Констанцы, где Сазонов договорился о союзе России с Румынией, — Драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет «Черный руки», прямо поставив вопрос:

— Убивать эрцгерцога или не убивать?

Возникли жаркие прения, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич, и тогда Апис решительно пресек все возражения:

— Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить ее никому не дано. Мои люди готовы. Они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево... предупредить их уже не осталось времени!

Июнь близился к концу, и я, связанный кон-

кретным указанием Генштаба, просил Артамонова, чтобы он известил меня, когда эрцгерцог двинется в путь:

— Графиня Хотек уже выехала в Боснию.

— Значит, и вы решили быть в Сараево?

— Да.

— В таком случае примите от меня подарок…

Виктор Алексеевич вручил мне четыре стальные пластины. Две я вложил во внутренние карманы пиджака, а две другие укрепил на его подкладке, оберегая себя на уровне лопаток. Гартвиг сообщил мне адрес Гриши Ефтановича:

— Это наш человек в Сараево, страдающий за все беды Сербии, и на русских людей он готов молиться…

Что творилось тогда в конаке, чего домогался премьер Никола Пашич — этого я не знаю. Но историки иногда намекают, будто как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако все обошлось без крови, и даже Никола Пашич не пострадал. Король Петр быстро дряхлел, «Черная рука» принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Карагеоргиевичей занял его сын — Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке, искусно проводимой

гроссмейстером Аписом, военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного…

— Пора, — шепнул мне в эти дни Артамонов.

Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом: он ехал на маневры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же маневрами как тайный агент российского Генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. О своей безопасности мне говорить не пристало, но зато я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За четыре года до визита эрцгерцога Сараево посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, туча шпионов кидалась туда, где слышалась сербская речь, а вместо нарядной и ликующей толпы, должной изображать радость при виде «обожаемого монарха», вдоль улиц Сараево выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды:

— Откуда я знаю? Может, из-под их вуалей, закрывающих лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина…

Как бы то ни было, но эрцгерцог не пожелал выселения подозрительных, не хотел он и войск для охраны:

— Если мне суждено умереть «на ступенях трона», так тут никакая охрана не поможет. Я верю в фатум, хотя дурные предчувствия, не скрою, с юных лет угнетают мою душу…

Леон Билинский, предупрежденный сербским посланником, все-таки выделил в Сараево трех филеров из состава венской полиции, велев им ехать в Сараево и пошататься по кафанам среди публики. Ему сказали, что трех филеров мало, а на целый отряд охраны потребуется семь тысяч крон.

— А где их взять? — отвечал Билинский. — Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию, так помилует бог и его престолонаследника…

Когда поезд с эрцгерцогом тронулся в сторону Триеста, в вагонах погасло электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи.

— Совсем похоронная обстановка! — воскликнул он. — Не хватает лишь пения херувимов, возносящих мою грешную душу на небеса… Великий боже, на тебя единого уповаю!

Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Наренты, откуда он поездом добрался до Мастара, бывшего столицей Герцеговины, где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Илиджа, где его устала ожидать любимая и любящая жена.

— Наконец-то, мой друг! — расплакалась Хотек. — Мне так страшно… такие ужасы рассказывают про этих сербов!

Вечером 25 июня эрцгерцог с женою анонимно навестили Сараево, чтобы пошляться по магазинам, придав себе вид досужих покупателей. Чету все равно узнали, супруги оказались в окружении публики, но — удивительное дело! — никто в них не стрелял, никто не кидался с ножиком, не рвались под ними бомбы.

— Я начинаю любить босняков, — признался эрцгерцог Софье. — Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать ковны для детской комнаты в Конопиште…

Я снимал номер в гостинице Гриши Ефтановича и, глядя в окно, хорошо видел «высоких гостей», почтивших Сараево своим визитом, видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону

набережной. Все это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы… Если бы в толпе людей, махавших отъезжающим, я не увидел Гаврилу Принципа! Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах перевести дыхание.

— Какой ужас! — простонал он, падая на диван и трясясь от рыданий. — Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда, я даже помог графине Хотек взобраться в коляску, а при мне… Боже праведный, при мне не было даже револьвера!

Я просил Принципа успокоиться, даже утешал его:

— Что вы так переживаете? Уж не думаете ли, что Фердинанду и его жене очень хотелось, чтобы в них стреляли…

— Но я себе этого не прощу! — поклялся Принцип. — Я сейчас же поеду в Илидже и там прихлопну обоих.

— Не делайте глупостей, — резко возразил я. — Иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе…

Получив «Вечерне Пошту», я еще раз подивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали все, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская

газета четко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после маневров; указывались ратуша, музей, арсенал и прочее. Однако я разуверился в покушении и отбыл на маневры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов Герцеговины, Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога, на маневрах присутствовал и Франц Конрад-фон-Гетцендорф, начальник австрийского генштаба; наверное, по его почину для развертывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под бедняга-крестьянина, был обут в опанки, в кожаных штанах-чакширах, и когда меня окликали часовые, я показывал им уздечку:

— Люди добрые, лошадь сбежала, какой день ищу…

В долинах проливались дожди, а выше — в горах — сыпал снег. Ничего такого, что могло бы встревожить наш Генштаб, я не высмотрел. Однако, издали наблюдая за маневрами, я лишний раз убедился в том, что армия занята своим обычным делом, никакого коварного нападения на Сербию не предвидится. «А значит, — решил я,

— и повода к войне не возникнет…»

Вернувшись в Сараево, я сразу связался с русским консулом, прося его зашифровать мое донесение для Петербурга.

— Вы еще задержитесь в Сараево? — осведомился консул.

— Только до Видовдана, — отвечал я. — Поверьте, мне желательно как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям…

Говоря так, я ведь не думал, что день святого Витта положит четкий рубеж не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей: Видовдан проведет четкую грань между войной и миром… В моем гостиничном номере было второе окно, выходившее на узкий двор, в котором размещались конюшни для лошадей Гриши Ефтановича. Я машинально запомнил, что вчера с улицы во двор привезли громадный воз с сеном…

## 5. Видовдан

Рано утром 28 июня эрцгерцог с женою и свитою выехал в Сараево на легковых автомобилях. В кортеже было четыре машины, Франц Фердинанд с графиней Хотек ехали на второй, в которой место подле шофера занимал боснийский губернатор — генерал Оскар Потиорек. В

первом автомобиле (самом опасном, ибо он был первым) сидели начальник полиции Сараево и бургомистр города — Феким-Эффенди. Наступал чудесный день.

— Сначала по набережной Аппель едем в ратушу, — указал эрцгерцог. — Но я изменил бы сам себе, если бы после обеда в ратуше не навестил сараевский музей истории…

Город казался праздничным, Аппель и даже мосты через Милячку были переполнены народом. Восточный колорит Сараево сохранился во множестве бань, медницких и ювелирных лавок, в кофейных и мечетях, которые соседствовали с древними синагогами, остро вонзались в небо пики католических церквей, а в запустении трущобных переулков притихли православные храмы сербов. Мусульмане, каких в городе было немало, вели себя с показной преданностью венскому престолу; в каверзном вопросе, кому поклоняться — Вене или Белграду, турки не отставали от хорватов-католиков, восторженно приветствовавших Габсбургов…

Много лет прошло с той поры, и сейчас многое осмыслено заново — совсем не так, как думали раньше. В новом Сараево социалистической Югославии все так же грохочет под мостами

Милячка, а в 1953 году распахнулись двери музея «Млада Босна», и теперь туристы замолкают на тротуаре набережной, где в жаркий асфальт вделан трагический отпечаток ступней человека… Именно на этом месте стоял Гаврила Принцип!

При нем был револьвер, а в запотевшем кулаке он сжимал ампулу с цианистым калием. Как хотите, но это был его праздник — день Видовдан, День национальной скорби всех сербов.

Первый автомобиль кортежа уже выезжал на Аппель…

* * *

Приодевшись франтом, я тоже затерялся в толпе, разделяя с нею свой восторг верноподданного. Конечно, от меня не укрылось размещение террористов, занявших боевые посты вдоль всего маршрута кортежа. Возле здания Австрийского банка я встретил Данилу Илича, а возле проулка, ведущего к проспекту Франца Иосифа, заметил и Гаврилу Принципа, изнывающего в нетерпении. Мне бросилась в глаза и халатность охраны, явно видимая даже непрофессионалу. Грешным делом, я подумал тогда, что Апис все-таки прав: австрийские власти будто нарочно подставляли Франца Фердинанда под пули, чтобы сделать

приятную сенсацию для венской знати…

Мне казалось, что лучше уйти, и я энергично начал пробираться через ликующую толпу, машинально отметив время — десять часов двадцать пять минут. Над моей головой летели букеты цветов, которыми католики и мусульмане забрасывали именно *вторую* машину в кортеже… Именно в это самое время, отмеченное на моих часах, возникла первая мировая война!

…Роскошный букет будто плыл по воздуху, запущенный издалека сильной рукой, а за ним, словно за ракетой, тянулся хвост дыма. В букете что-то щелкнуло, графиня Хотек вскрикнула, а Франц Фердинанд геройски отбил бомбу в сторону. Кортеж продолжал движение, и бомба лопнула под третьим автомобилем, в котором ехали придворные. Взрыв разметал начинку снаряда, составленную из ржавых гвоздей и мелкой «сечки» свинцовой проволоки. Но удар взрыва оказался очень мощным. Внутрь магазинов вогнулись даже металлические жалюзи, в ближних домах со звоном посыпались стекла из окон, а в толпе встречающих истошно завопили раненые люди…

— Стой! — велел Потиорек шоферу, и кортеж замер.

— Кто пострадал? — обернулся назад эрцгерцог.

Софья Хотек все время хваталась за шею.

— Жива ли графиня Ланьюс? — спрашивала она. — Если жива, пусть подойдет. У меня что-то случилось с шеей… жжет!

Придворная дама из третьей машины не пострадала. Подбежав, она сразу расстегнула кнопки на воротнике платья Хотек и увидела шрам — след от взрыва капсюля бомбы.

— Вам повезло, — сказала Ланьюс, — а вот бедняжка граф Мерициии уже без сознания… из головы его — фонтан крови!

Франц Фердинанд обратился к Потиореку:

— Генерал! В хороший городок вы меня завезли… Не знаю, чем отблагодарить вас. Ведь если меня разорвут на сто кусков, убийца получит удобную камеру в тюрьме, а его белградские друзья помогут ему бежать, и тем все кончится…

Третий автомобиль был разворочен взрывом, бомба вырыла под его колесами громадную яму. Потиорек доложил:

— Не волнуйтесь! Преступник уже в наших руках…

Но бомбометатель не сдавался. Он ловко выкручивался из рук полиции и добровольных ее

усердников из числа хорватов. Еще рывок — и вот он, перемахнул через парапет набережной Аппель, кинулся «солдатиком» в холодные воды Милячки.

— Держите его… уплывет! — завопил Потиорек.

Все боялись. Из парикмахерской вдруг выскочил цирюльник с расческой, заложенной за ухо, и защелкал ножницами:

— Во имя закона… расступитесь… я умею плавать!

Вслед за парикмахером сиганули в реку и стражи порядка. Настигнутый под мостом, преступник отбивался даже в воде, но все-таки был схвачен и вытащен на мостовую. Здесь его сразу начали зверски избивать. Били и спрашивали имя.

— Неделько Габринович, — сказал он, весь в крови.

Из кармана его пиджака вытащили мокрую газету и развернули ее. Это была газета сербских радикалов — «Народ».

— Ах, ты еще и серб? — и его стали бить снова.

— Да, серб, — кричал Неделько, — и горжусь этим…

Настойчиво продираясь через сумятицу галдя-

щей толпы, чтобы поскорее укрыться в гостинице Гриши Ефтановича, я вдруг увидел Гаврилу Принципа, дежурившего у Латинского моста.

— А где Грабеч? — шепнул я. — Неделько взяли.

— Сейчас я пойду и… застрелю его.

— Чем он виноват?

— Ничем, но он может не выдержать пыток в полиции и всех выдаст. Лучше сразу конец ему. Затем я пущу себе пулю в лоб, чтобы никаких свидетелей не осталось.

— Где Грабеч? — повторил я вопрос.

— А черт его знает… в этой толпе не разберешь…

Я вернулся в отель, уверенный, что все кончилось.

* * *

Нет, не все! Сараевские власти ожидали высоконареченную чету в городской ратуше, и Феким-Эффенди, стоя внизу лестницы, репетировал речь, чтобы приветствовать высокого гостя. Франц Фердинанд сразу перебил его болтовню:

— Хватит, господин бургомистр! Что мне с ваших слов, если на улицах города нас забрасывают бомбами?..

Феким-Эффенди заткнулся. Эрцгерцог сам произнес речь.

— Я надеюсь, — с пафосом заявил он, — ликование жителей Сараево вызвано даже не лицезрением моей особы, а именно тем обстоятельством, что злодейство сербских революционеров не удалось… Дорогие жители, я счастлив быть душой с вами!

Очевидцы заметили, что эрцгерцог был страшно бледен, графиня Хотек тоже белее полотна. Но оба они держались с большим достоинством и хладнокровием. Церемония в ратуше длилась краткие минуты. Начальник полиции настоятельно умолял эрцгерцога прервать поездку по городу, ибо поручиться за безопасность не мог. Об этом же просила мужа и графиня Хотек.

— Нет смысла испытывать судьбу далее. Помните, друг мой, что у нас дети… Не оставим же мы их сиротами!

В эрцгерцоге никогда не угасал пыл «музеомана»:

— Но я же еще не видел городского музея… как можно? Потом я сам буду горько жалеть об этом.

— Тогда, — подсказал Потиорек, — прикажите вооружить полицию палками, и пусть она разгонит всю сволочь с улицы, чтобы жители

разбежались по домам и закрылись.

— Не делайте меня смешным, — возразил эрцгерцог. — Я ведь приехал сюда, чтобы люди видели меня. Наконец, я обязан заехать в госпиталь, чтобы навестить раненого графа Мерции!

На том и порешили. Потиорек предупредил шофера ведущей машины, чтобы гнал кортеж на большой скорости:

— Прямо по набережной Аппель. Жми клаксон, чтобы все разбегались. А я поеду с его высочеством на второй машине…

Тронулись. Замычал клаксон, распугивая зевак. Придворный граф Гаррах вскочил на подножку герцогского автомобиля.

— К чему это? Сойдите, — велел ему Франц Фердинанд.

— Нет, — возразил Гаррах, — я должен исполнить свой долг, согласный закрыть вас от пуль даже своим телом…

Кортеж двинулся очень быстро. И вдруг шофер первой ведущей машины круто завернул с набережной в тесный проулок улицы Франца Иосифа, а шофер второй машины, думая, что так и надо, тоже завернул свой автомобиль в проулок. Потиорек, вскочив с сиденья, треснул его по морде:

— Куда? Ведь было сказано, что ехать прямо…

— Слушаюсь, — отозвался шофер, резко затормозив.

Он пытался развернуть автомобиль в узком проулке, выкатив радиатор машины на панель тротуара, и здесь застрял. Народ, увидевший Франца Фердинанда, начал орать:

— Живео наш добрый герцог… живео!

Грянул выстрел. Графиня стала подниматься и упала, обнимая мужа. Принцип, даже не целясь, послал в нее вторую пулю. Третья сразила Франца Фердинанда, успевшего сказать:

— Софи, ты обязана жить… ради наших детей.

Эти слова были сказаны им уже полумертвой жене. Изо рта его хлынула кровь, и они оба застыли, упираясь друг в друга.

— Помогите! — завопил Гаррах. — Убивают!..

— Скорее в конак, — велел Потиорек шоферу…

Началась паника. Публика кинулась бежать, насмерть затоптав одну барышню-хорватку, другие накинулись на стрелявшего, зверски его избивая; Гаврила Принцип, уже лежа на мостовой, принимал удары как должное, восклицая:

— Живео Сербия… живео сербы… живео, живео!

— Бомба! — раздался чей-то возглас.

В стороне, под ногами людей, каталась из сто-

роны в сторону, словно пустая бутылка, «адская машина», которую Принцип не успел швырнуть под колеса автомобиля. Избиваемый, уже почти искалеченный, он раздавил на зубах ампулу с ядом, но его тут же вырвало. Какой-то хорват в белой юбке и черном жилете подскочил к нему, сдирая с лацкана его пиджака трехцветный значок «Великой Сербии»… Хорват кричал:

— Смерть сербам! Всех вырезать сразу…

Лишь теперь полиция очухалась, Потиорек призвал ее:

— Немедленно провести обыски и аресты всех подозрительных в городе… Никого не жалеть! Всех тащите в тюрьму.

В сараевском конаке были созваны по телефону лучшие врачи города, но их попытки оживить эрцгерцога и его жену оказались бесполезны. Духовники провозгласили «глухую исповедь», уже не доходившую до сознания обреченных. Около 11 часов с четвертью врачи констатировали смерть эрцгерцога, а через несколько минут скончалась и графиня Софья Хотек, с которой Ланьюс тут же сняла бриллианты…

В соседней комнате Потиорек раздавал пощечины трем опытным венским филерам. Он их лупил и приговаривал:

— А ты куда смотрел? А ты что видел?

— Да мы смотрели, — отзывались филеры, покорно принимая удары. — Если бы это в Вене, а здесь… город чужой, народ какой-то сумасшедший… вон послушайте, что горланят!

Потиорек накинулся с кулаками на шофера первой машины, который непонятно почему завернул весь кортеж автомобилей в тесный проулок, где и нарвался на Принципа:

— Сознавайся, что был в сговоре с убийцами!..

…Почти сразу началось бегство сербов из Сараево.

* * *

По городу уже двинулись демонстрации:

— Смерть сербам! Раздавим шайку Карагеоргиевичей!

Начался погром, схожий с еврейскими погромами. Мусульмане и хорваты, хлынув по улицам, разбивали витрины, грабили лавки сербов, а чиновники, разъезжая по городу, зачитывали приказ Потиорека о том, что в Сараево вводится осадное положение. Со стороны казарм трубили воинственные горны…

Ко мне в комнату вбежал Гриша Ефтанович:

— Они идут сюда, сейчас полетят и мои стекла…

Простите, не лучше ли вам покинуть мой отель?

— Но я же — русский.

— Тем хуже для вас…

В комнату вломился служитель гостиницы, сказал, что внизу уже полно полиции, которая требует хозяина. Ефтановича зашатало от ужаса, он воздел руку кверху:

— На чердак… скорее, — велел он мне.

Я сразу накинул пиджак, тяжелый от стальных пластин:

— Задержите полицию разговорами. Я вас не выдам…

Со времени жизни в Германии я приучил себя снимать номера в гостиницах не выше второго этажа, оставляя за собой шанс на прыжок из окна. Но теперь черная лестница отеля, провонявшая кошачьей мочой, уводила меня наверх — третий этаж, четвертый, пятый… вот и чердак. Я прислушался. Снизу доносится грохот сапог, звоны сабель — и шаги. Полиция поднималась с этажа на этаж — выше! Я понял, что отстреливаться глупо. Их много, в барабане револьвера не хватит пуль. Я решил, что лучше уходить по крышам. Через слуховое окно мне виделось, что крыша очень крутая. Но выхода не было.

«Рискни… смелее», — внушил я себе.

Под моими ногами громко хрустела старая черепица, ее обломки скатывались в глубину двора. С трудом я выбрался на самый конек крыши; двигаясь вдоль него, я словно ступал по острой хребтине какого-то ихтиозавра. Из слухового окна вдруг выглянуло чье-то лицо, я услышал радостный возглас:

— Тут кто-то ходит… лезьте за мной!

Потеряв равновесие, я пошатнулся. Черепицы, словно клавиши, ходили у меня под ногами, и каждая издавала противную хрустящую мелодию. Вспомнилось, что вчера на двор завезли воз с сеном. Удержаться на крутой крыше уже не было сил. Лежа на спине, я покатился вниз и думал лишь об одном — что меня ждет там, внизу? Или двор, мощенный булыжником, или…

«Или этот воз остался на прежнем месте?»

Крыша кончилась — без барьера, словно обрыв в пропасть. Надо мною быстро неслись облака. Раскинув руки, я уже летел вниз, и сено приняло меня, как большая пружинящая подушка… хоп! Я жив, я спасен. Из раскрытых ворот дворовых конюшен на меня равнодушно глядели большие морды ломовых лошадей. Я спрыгнул с воза и выбежал со двора на улицу, где быстро растворился в толпе, галдящей в упоении праздничного

погрома…

## 6. Хвала матери

Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайтхолл, Балльплатцен, Кэ д'Орсэ и Консульта в Риме — всюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая оторопь, алчная радость или предположения, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов в Сараево?..

Надо же было так случиться, что выстрелы на реке Милячке совпали с народным праздником, вся Сербия отмечала день Видовдан, в кафанах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая стародавний подвиг Милоша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы Принципа, его сравнивали с Обиличем. Столицу королевства охватило всеобщее ликование, прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого:

— Наконец-то мы расправились с этим толстяком! Это наше право — мстить Вене за свои унижения… Нет, мы не простили этим зазнайкам потерю Боснии и Герцеговины!

По наблюдениям немцев, «нафантазирован-

ная чернь предалась самому необузданному взрыву страстей, который, если судить по многочисленным излияниям одобрения, можно характеризовать как положительно нечеловеческий». Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ, восхваляя Обилича, подразумевал убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол барон Гизль, Пашич выразил ему сочувствие, намекнув:

— Террористы из Сараево — это подданные вашей короны, вот вы сами и разбирайтесь… нам их не жалко!

О покушении в Сараево, как и обо всех других несчастиях в семье Габсбургов, императору Францу Иосифу осмелилась доложить акушерка Шраат. Старый император заплакал:

— Есть ли на этом белом свете хоть одно тяжкое испытание, какое бы миновало меня?.. В моей жизни ничего не пощадили! Нет сына, нет жены, а теперь убрали и наследника…

Никто в Австро-Венгрии — ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы — слезинки по убитому не обронил; напротив, в кругах высшего света воцарилось веселье, и аристократы даже оскорбляли покойного, а дамы посмеивались над

убитой графиней Хотек, которая — вот дерзость! — осмелилась носить титул «графини Гохенберг». Гулянье на Пратере не отменяли, улицы Вены наполняла музыка… Маркиз Монтенуово, внук императрицы Марии-Луизы (второй жены Наполеона I) от ее второго брака заявил архицинично, но вполне разумно:

— Нам давно был нужен предлог, чтобы поставить Сербию на место — в углу на коленях, и Франц Фердинанд дал нам его, а теперь его задача в этом мире окончена.

Еще точнее рассудил сам граф Берхтольд:

— Убийцам надо бы соорудить памятник! Они сделали нам в Сараево такой великолепный подарок, какого мы устали от них ждать… До сих пор мы только наступали сербам на пятки, а теперь сядем на них, чтобы услышать, как они пищат!

«Взрыв народной ярости» был умело подготовлен венской полицией, а заработать на лишнюю кружку пива — на это в Вене всегда немало охотников. Толпы людей, требующих отмщения, тащили по лужам мостовых сербские флаги, их сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. При появлении на балконе посла ему устроили «кошачий концерт». Здание русского посольства заранее оцепили полицией,

но мостовую перед фасадом посольства разобрали по камушку, чтобы высаживать оконные стекла…

Наконец на Балльплатцене стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому эрцгерцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа — это все равно что готовить бутерброд, намазывая сверху варенья соленую икру. Конрад-фон-Гетцендорф доказывал графу Берхтольду:

— Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы вразумить всю сербскую сволочь из пушек. Два-три хороших нажима дипломатии, после чего форты Землина и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище…

Берхтольд был настроен даже активнее генерала, признаваясь, что он сторонник войны без объявления войны:

— Но я боюсь, что в своей берлоге сразу заворочается русский медведь… Что тогда? Наконец, наши планы — это дерьмо, и это дерьмо станет чистым золотом только в том случае, если заслужит одобрения на Вильгельмштрассе…

Балльплатцен договорился с военщиной: не объявлять мобилизации до тех пор, пока не станут ясны результаты следствия в Сараево — кто стоял за спиной убийц, кто взводил курки их

револьверов? Начинался удушливый, изнуряющий июль, памятный всему человечеству своим кризисом. Австрийская дипломатия уже засела за работу. Надо было так составить ультиматум Сербии, чтобы каждый его пункт заранее оказался неприемлемым для чести и достоинства суверенного государства.

— Пусть они даже отвергнут наш ультиматум, — посмеивался граф Берхтольд. — Нам и не требуется, чтобы Белград отвечал покорностью. Нам необходим именно отказ, чтобы с чистой совестью начинать войну… Не станем медлить!

* * *

Не ожидал, что окажусь в западне: все дороги в сторону Белграда были уже перекрыты, вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал: выкручивайся как знаешь, но попасть на допрос в «Хаупт-Кундшафт-Стелле» попросту не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику желтого листа в осеннем саду, который не отличить от остальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнет появиться именно там, в австрийской столице?

Мой паспорт, заверенный градоначальством Петербурга, не вызывал подозрений, он был оформлен на мое подлинное имя. Такое же имя было проставлено и в документах журналиста «Биржевых Ведомостей». Буду полагаться на свою сообразительность, а там… что бог даст! Пока же не затихли в Сараево погромы и пока не прекратились избиения сербов, я два дня провел в библиотеке культурного общества «Просвет», обложив себя книгами о производстве дешевых вин из боснийской коринки. Чтобы не выглядеть сущим дураком, я старательно делал выписки…

Мне повезло, и в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасения от погромов; полиция тщательно проверяла их документы, рылась в чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишнее равнодушие, чем и привлек внимание полиции.

— Вы из Сараево? Ваш билет. Документы.

— Пожалуйста, — не возражал я.

Бланк «Биржевых Ведомостей», заверенный Проппером, навел проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, и я подтвердил, что они недалеки от истины. Показав пачку бумаг с ценами на коринку, я сказал, что послан в Боснию от винодельческих фирм для будущих

финансовых операций, связанных с закупками по сезону. Меня оставили в покое, и я до самой Вены демонстративно читал еженедельник «Гросс-Эстеррейх» («Великая Австрия»), удивляясь наглости, с какой в нем писалось: «Только в войне может возродиться новая и великая Австрия, поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны потому, что только посредством войны может быть решительно и мгновенно достигнут наш идеал: это — сильная Великая Австрия…»

На что я мог рассчитывать, подъезжая к Вене, я и сам точно не знал, надеясь выйти на связь с нашим военным атташе Занкевичем; я рассчитывал вызвать его на встречу звонком по телефону, чтобы он передал мне другие документы. Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдберга, долго тащился вдоль Нового канала; справа проплыли массивные строения Арсеналов, и наконец вагоны остановились под задымленными сводами Венгерского вокзала. Помахивая портфелем, набитым бумагами, в сутолоке спешащих к выходу пассажиров я уже выходил на привокзальную площадь, и здесь… крах!

Здесь я напоролся на человека с громадными ушами, похожими на безобразные калоши. Встре-

ча, какой никому не пожелаю! Кажется, за эти годы уши выросли у него еще больше, они даже обвисали на воротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку — майор Ганс Цобель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле», именно он завел меня на Гожую улицу Варшавы с тем злосчастным письмом, а теперь оскал его радостной улыбки не предвещал ничего хорошего.

— Извините, — сказал он, приподняв котелок.

— Извините и вы меня, — отвечал я, обходя его…

Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый «профиль Наполеона». Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я вынужден был обернуться. Все сомнения отпали: Цобель издали наблюдал за мной, потом поманил к себе носильщика, что-то говоря ему… С этого момента я попал под наблюдение венской агентуры и, петляя по улицам района Гофбурга, потащил за собой «хвост»…

Сначала филеров было двое. Но за собором св. Стефана к ним прилип и третий. Никакие мои уловки, чтобы отцепиться от «хвоста», не помогали; филеры были натасканы на слежке, как легавые собаки на дичь. После полудня, едва

волоча ноги от усталости и даже не видя города, я не выдержал и зашел в уличное кафе, заказав себе венский шницель (о, горькая ирония судьбы!). Затем прошел за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника Занкевича.

— Михаил Ипполитович занят, — был ответ.

— Скажите, что время не терпит. Очень нужен…

Беда моя в том, что я не знал Занкевича, как не знал и он меня. На вопрос «кто его просит» я наобум отвечал:

— С ним будет говорить… Наполеон!

Скоро в трубке телефона послышался голос:

— Маршал Бертье… готов служить Наполеону!

Конечно, военный атташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из «одной богадельни».

— На мне, кажется, навис «хвост»… Я пропал!

Пауза. Тягостная. Занкевич соображал. Поверил.

— Ладно, — услышал я торопливую речь, — старайтесь оборвать все «хвосты». Лучше всего в аллеях за Большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на Пансион Ирис…

(Все агенты разведки знали, что Пансион Ирис

— нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведке всякие продажные авантюристы и жулики, а заодно с ними кормились и «герцоги».)

— Адрес? — спросил я.

— Улица Мишодьер. Мадам Бернагу… запомнили?

— Да.

— Завтра в восемь сорок через Вену проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург… более ничем помочь не могу!

*Спасибо*: все главные сведения я получил.

Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филеры ждали меня на улице, и, едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собою «хвост». Мною овладело отчаяние. Задержавшись возле мусорной урны, я у всех на виду стал разрывать свои записи о производстве вин из коринки, надеясь, что возле урны филеры и застрянут, решив, что я уничтожаю секретные бумаги. Верно! Один из них тут же с головой зарылся в мусор, собирая клочки моих бумаг, а другой… не отставал. Я ускорил шаги, он тоже. Почти инстинктивно меня тянуло в зеленый район Флорисдорф, где жила моя мать… Только бы сразу отыскать ее дачу!

В этом районе улицы были почти пустынные. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров, он даже отстал, и в один из моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала Супнека. Филер где-то затаился, я не видел его. Звонок был электрический, я раз за разом нажимал кнопку…

Калитка отворилась — передо мною стояла мама.

Раньше, год назад, когда я встретил ее в «Национале», она не казалась мне такой постаревшей. Но даже сейчас я угадывал в ее лице черты той молодой и красивой женщины, какой она осталась в моей памяти с детства… Нужных слов не было, я мог лишь повторять те слова, что оставил ей в записке.

— Мама, это я, прости… прости, — говорил я.

— А разве ты виноват?

Виноват, ибо пришел, чтобы снова уйти. Но так надо. У меня нет спасения. Только ты, мама… только ты…

Она выглянула через решетку сада на улицу и, кажется, все поняла. Мне скрывать было нечего:

— Меня преследуют. Я офицер русского Генштаба.

— Пойдем, — сказала мама, и моя рука очутилась в ее руке. — Нет такой матери, чтобы не спасла сына… Там, за домом, вторая запасная калитка. Через нее сразу попадешь на другую улицу…

Она провела меня через комнаты дома, и мы вышли с другой его стороны. Опять не было слов. Мать зарыдала:

— Увижу ли я снова тебя?

— Да. После войны…

Было слышно, как с улицы ломятся в ворота.

— Беги. Я задержу их…

Я был уже в безопасности, когда моего слуха коснулись отдаленные выстрелы. Первый, второй, третий… Что там случилось — не знаю, как не знаю и конца своей матери. Но я продолжаю свято верить, что мать ценой своей жизни оплатила мне свободу. Иначе не могло быть…

* * *

Ровно в 08.40 по среднеевропейскому времени от «Вестбанхоффа» отошел поезд, бравший в котлы свежую дунайскую воду.

Раз в неделю из Ниццы в Петербург пролетал курьерский экспресс, называемый «цветочным». В его составе был вагон-ванна, в котором ита-

льянцы привозили для жителей русской столицы свежие фиалки. Итальянцам я сказал, что меня в Вене обворовали, денег на билет нету, и просил их принять меня в свою трудовую компанию:

— Я согласен делать, что надо…

Экспресс быстро наращивал скорость, в широких цинковых ваннах плескалась вода, в которой плавали нежные цветы. Итальянцы дали мне рабочий комбинезон, делились со мною вином и сыром. Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. Границу мы проскочили благополучно, в наш вагон жандармы даже не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов, и с тех пор не выношу аромата фиалок. «Цветочный» экспресс прибыл в Петербург на рассвете, итальянцы (добрые ребята) дали мне на прощание букет цветов.

— У каждого есть мама, — сказали они мне, — и пусть этим цветам порадуется ваша мама… Мы все — от мамы!

…Дома, на родине, мне присвоили чин подполковника.

### 7. «Мы готовы, но…»

Берта Зуттнер, лауреат Нобелевской премии

мира за ее роман «Долой оружие!», вряд ли думала, что те «ужасы», которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у Человечества почти десять миллионов жизней; дамское чистописание Берты Зуттнер способно вызвать у читателя только смех:

— Нашла мне ужасы! Пацифистка несчастная…

Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный «шантеклером» (петушком) за его повадки молодящегося донжуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций, но — как говаривал министр Сазонов — днем его не заставишь трудиться, а уж правды никогда не добьешься.

— Что вы мне толкуете о новинках боевой техники? — всегда возмущался Сухомлинов. — Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне Алой и Белой розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания… Драка всегда останется дракой!

Еще до выстрела в Сараево, весною 1914 года,

Сухомлинов дал интервью для «Биржевых Ведомостей», открыто возвестив: «РОССИЯ ГОТОВА, НО… ГОТОВА ЛИ ФРАНЦИЯ?». Хотел он того или не хотел, но своим голосистым ку-ка-ре-ку Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цольре, петушиная буффонада министра лишь раззадорила драчливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью — до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой Большой Войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия, во Франции и Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долее шести месяцев. Именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что, продлись война долее полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов — не только в России, а во всех воюющих странах…

В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги:

— Какой-то гимназист-серб пришлепнул, как муху, герцога-австрияка… значит, тот заслужил! Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуарэ или фельетонов Аверченко… Вспомните, господа! Французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся…

Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска «оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами»:

— Я буду рад войне! Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал», русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «танго»… Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трется своим пузом о брюхо партнера? Это ведь ужасно… Куда смотрит полиция! Сейчас только война образумит нас и поставит все на места…

Между тем война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа, но русским стало худо еще с 1

июля, и тут их приходится пожалеть.

* * *

Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно — в Германии, славной хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германию, чтобы — после великой Сюзьмы или прекрасного Свияжска — приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по триста марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии.

Один выстрел в Сараево — и сразу все изменилось!

Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских как на заядлых

поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу: 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана, всюду развевались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы «пангерманцев»:

— Пусть все против нас, а мы против всех!..

Войны не было. Еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким «солдатским» шагом. Еще вчера милые и услужливые, хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньках. Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских (даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции). Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие: «ЛОВИТЕ РУССКИХ ШПИОНОВ». Приказ получен — думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы: одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались

крики:

— Вот бежит русский шпион… ловите!

— Где? Где ловить?

— Убегает… переодетый в женское платье!

Опять не я придумал: по улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась:

— Мы ошиблись совсем немного… Если это не шпион, так шпионка! Сейчас наши парни из полицайревира покажут ей…

С немцем, выпившим пива, еще можно было разговаривать как с человеком, но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил.

— Германия, — туго утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру, а ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной… Мало вам досталось от японцев! Так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга…

Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами:

— Русские вывозят золото из Франции…

— Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха…

— Русские казаки уже идут на Берлин…
— Русские насилуют даже старух…
— Русские посыпают раны пленных перцем…
— Русские выкалывают глаза нашим детям…

На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными «diser Barbare» (этими варварами), уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный «паровой каток». Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума, ибо им пришлось терять прибыль:

— Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога! Теперь, случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров…

Только в одном Берлине скопилось до пятидесяти тысяч русских. Тех, кто протестовал против издевательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступались за своих жен — расстрел, отцы за честь своих дочерей — расстрел! Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее закончить этот летний сезон дома, где и солома

едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов. Наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицайревиры (русские «участки») с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток:

— Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится!

— Петя, буду ждать в Марселе… пиши!

— Катя, поцелуй за меня Анечку…

— И я тебя целую, береги себя…

Доброжелательный шуцман утешал женщин:

— Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулки и учат петь хорошие песни.

Одна из женщин кричала в ответ:

— Мой муж приехал к вам с язвой желудка…

Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной!

— Возможно, — не возражал шуцман. — Но сейчас ведь будет война, может, я тоже не вынесу жизни на фронте…

Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали:

— Все, имеющие российское подданство, отданы покровительству короля Испании… валяйте к испанцам!

А в испанском посольстве виконт де Молиньо охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе, но этим помощь испанского короля и заканчивалась.

— Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники, — мы высоко ценим гений Льва Толстого… Разменять деньги? У нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара. Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару…

Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью.

Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии, их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем, пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода, а немецкие носильщики отказывались помочь им:

— Русские! Так сами и таскайте багаж…

Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые «обыски», раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины.

— Что вы делаете? — кричала старуха. — Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете…

Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод:

— Мы очень много рассуждали о культуре! Но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется чело-

век с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой — более высокой и более духовной…

Страшно! Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике, плакали дети, ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстущая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу.

— Тут все посходили с ума, одна я нормальная, — сказала девушка. — Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительства делают войны… Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Хо! Зачем мне это нужно?

* * *

Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что «мы готовы», еще муссировалась в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело.

«Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя.

Однажды посетив заседание Государственной думы, я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и предста-

вителем военного министерства.

— Вы давали заказ на полторы тысячи пулеметов?

— Да, — следовал четкий ответ.

— Отвечают ли они последнему слову техники?

— Это *высочайше* установленный образец 1905 года.

— Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?

— Безусловно.

— Порохом какого образца они начинены?

– *Высочайше* установленного образца 1908 года.

— А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в четыре раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?

— Извещен. Достаточно.

— Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?

— Да-а… выходит, что так.

— Если так, так зачем же вы это делаете?

— Но образцы *высочайше* установленные! — И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который

в колыбели играет заряженным пистолетом…

Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы засучив рукава устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и, сами не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России:

— Это когда же нас били? Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови, а так… выкручивались! Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием.

Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления, зато отсутствует рутина в вопросах вооружения, и, как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его «высочайший» образец, если он непригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде «ботика Петра Великого», на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в кар-

тежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе «национальную опасность», от которой армию следует избавить еще до войны — отставкой! К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех, русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших «составить компанию», чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким…

Замолкаю. Но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанный мною еще в Граево. Из одного зоопарка убежали три льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась, два льва шатались от истощения, а третий был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал: «Я был в Америке и чуть не подох от голода, ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать». «А я, — признался второй тощий лев, — жил в Англии, где одни засохшие пудинги и овсяная каша, так что едва унес оттуда ноги». Зато третий лев, очень жирный, начал смеяться: «А я, друзья, вернулся из матушки-России… вот где сытно! Каждый день я съедал по одному генералу, но их в России так

много, что в Генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения…»

## 8. Июльская лихорадка

Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос: быть или не быть? В промежутке дней между выстрелом Г. Принципа и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия, все его раздоры и конфликты при дележе мира. Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории.

* * *

«Кильская неделя» — праздник германского флота, сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаенно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату; может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего:

— За один стол с этим аферистом я не сяду…

28 июня в самый разгар парусных гонок, к борту флагманского «Гогенцоллерна» стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма: «Три часа тому назад, — прочитал Вильгельм II, — в Сараево убиты эрцгерцог и его жена…»

— Теперь придется начинать!

Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал: «ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА! СЕРБОВ СОГНУТЬ В БАРАНИЙ РОГ…»

— Время вспомнить о Бернгарди, — намекнул кайзер. Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о «праве» Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое «право» не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства.

В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии, за

роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Болена.

— Русская артиллерия, — закончил он свой спич, — находится еще в периоде формирования, зато германская не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас: «Пруссия вылупилась из пушечного ядра!»

* * *

В эти дни встретились в Вене два человека. Карл — новый наследник престола Габсбургов, еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволом, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом-фон-Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал:

— Скоро решится вся эта история с Сербией.

— Плодородная страна, — причмокнул генерал. — Сербия станет дивным бриллиантом в вашей будущей короне.

— А Польша? — спросил наследник престола.

— От Польши никак нельзя отказываться, как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией.

— Ну а Греция с ее портом в Салониках?

— Греция, — отвечал любитель горных высот, — тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили… Знаете, какие там завидущие люди?

Тогда же престарелый мухобой Франц Иосиф заявил, что целиком полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией, а Россия, несомненно, вступится за Сербию.

— Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвиг — хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает.

10 июля в Белграде венский посланник барон Гизль со сдержанной враждебностью принимал у себя Николая Генриховича Гартвига. После ужина Гартвиг вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизля собрала окурки папирос, которые накануне выкурил Гартвиг в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около ста тысяч жителей, а проводить посла России до кладбища тронулись восемьдесят тысяч, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Ни-

кола Пашич.

— Что там с окурками? — спросил он Аписа.

— Обычные окурки, каких я могу набрать где угодно…

* * *

15 июля, беседуя с германским послом графом Пурталесом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал:

— И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны…

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

— Австрия серьезно ожесточилась на Сербию…

Пришлось снова повидаться с Пурталесом:

— Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна!

20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре, и в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду,

чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции… Это был ловкий ход венской политики!

* * *

20 июля… Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу:

— Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю — не бросилось ли воспаление на мозг? Давно поговаривают, что он не в себе, но императора в бедлам не упрячешь…

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут «Франс», рыскали миноносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре был принят царем у трапа «Александрии», взявшей курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Омывая золотые фигуры скульп-

тур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды.

— Версаль, — заметил Пуанкаре. — Нет, Версаль хуже…

Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли полыхающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров… Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу, ее декольте было целомудренно закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, — отметил Палеолог, — она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком…» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке.

Была ночь, когда Палеолог просмотрел питерские газеты.

— Обратите внимание, — подсказал секретарь, — сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

— Их подстрекают германские агенты, — ответил посол.

* * *

21 июля… Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в

Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари — посла австрийского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда:

— Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Франции… Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал:

— Я думаю, все еще обойдется…

Вечером французское посольство давало обед русской знати; в городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры, дамы танцевали, от изобилия корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать… В этот день Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кай-

зеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» — говорил Сазонов.

Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку: «Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

* * *

22 июля… Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Царское Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками — вплотную. На трибунах полно публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич — будущий главковерх.

Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана, непрерывно трещавшие как сороки:

— Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине… Германию мы уничтожим!

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума).

Русские войска сегодня маршировали перед

Пуанкаре под звуки Лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции…

На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум — провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имей сербы даже крупицы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум — равносильно отказу Сербии от своей независимости…

В этот же день кайзер очень крупно проболтался:

— Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников… Переловим их всех с помощью полиции!

Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, на писание которой Вена отпустила им 48 часов.

* * *

24 июля… В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с Палеологом и Бьюкененом.

— Нам нужно быть твердыми, — сказал Палеолог.

— Твердая политика — это война, — ответил Сазонов.

Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские амбиции»). В три часа дня в Елагином дворце собрался совет министров, решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет: в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решения посол Спалайкович.

— Пока ничего не ясно, — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль.

В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами.

— А мы не оставим сербов в беде, — предупредил его Сазонов.

— Послушайте, — нервно заговорил Пурталес, — австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?

— Ради Бога! — воскликнул Сазонов. — Пускай

он помирает! Весь мир только и делает, что дивится его долголетию.

— Вы, русские, просто не любите Австрию…

— А почему мы, русские, должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали восемьдесят миллионов рублей, хранившихся в германских банках. Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручили ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

* * *

25 июля… Столичные вокзалы уже трещали, дачники метались как шальные, масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи — с цветами, веселые, нервно-возбужденные. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: «АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ…» В Царском Селе уже знали, что Германия проводит скрытую *общую* мобилизацию. Царь на общую не решился

— он стоял за *частичную*. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона…

Сазонов конкретно заявил Бьюкенену:

— Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови… Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время Никола Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гизлю. Сербское правительство выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума. И не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских штыков навести «порядок» на сербской земле. Гизль мельком глянул в ноту, увидел, что там что-то не принято, и… потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений.

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны:

*Вагоны шли привычной линией,*
*Подрагивали и скрипели;*
*Молчали желтые и синие;*
*В зеленых плакали и пели…*

* * *

26 июля… Сазонов жаловался Палеологу:

— Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, не способны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф великой державы, скатываясь в болото держав второстепенных… у нас тоже есть самолюбие!

* * *

27 июля… Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком-бабочкой. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журна-

листов. «Что им сказать? Сам ничего не знаю…».

Сазонов долго откашливался, потом сказал:

— Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию — этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти, сохранить мир!

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было…

* * *

28 июля… Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

— Еще день-два, — сказал Палеолог, — и, если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуя на Австрию.

— Призываю бога в свидетели, — крепко зажмурился Пурталес, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права.

— Очевидно, — пикировал Палеолог, — положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории…

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову. В приемной министра появляется

австрийский посол Сапари.

— Можете ли вы сообщить, что происходит? — спросили его.

— Коляска катится, — прищелкнул пальцами Сапари.

— Это уже из Апокалипсиса, — отвечал Бьюкенен…

Сазонов признался Палеологу, что ему не сдержать горячку Генштаба; там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий.

— Наш президент еще плывет во Францию на дредноуте.

— А немцы мобилизуются, — отвечал Сазонов. — Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты.

Кайзер (с большим опозданием) прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав:

— Это вполне достойный ответ! Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным…

Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным перегово-

рам. Но совет кайзера опоздал: австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

* * *

29 июля… Пурталес притащился к Сазонову, зачитав ему наглое требование Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола — весь в ярости:

— Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима… Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню…

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

— Я протестую против неслыханного оскорбления!..

На стол министра легла свежая телеграмма: «Австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди».

— Первая кровь наша — *славянская*, — сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость...» Вечером генерал Добророльский прибыл на Главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добророльский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты... вся Россия ощетинится штыками... Звонок! Вызывал к телефону Сухомлинов:

– *Отставить передачу указа.* Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта. Мобилизация возможна лишь частичная!

Николай II принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

* * *

30 июля... Одно дело — мобилизация в России,

другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина.

Но частичная мобилизация срывала план всеобщей — об этом и рассуждали… Сазонов сказал «шантеклеру»:

— Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич:

— Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России…

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

— Не вешайте трубку… здесь и Сазонов!

Тихо свистнув в аппарат, царь сказал:

— Хорошо. Давайте Сергея Дмитрича.

Сазонов настоял на срочной аудиенции, царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергоф министр повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого:

— Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но

я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству?

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекала камни в горной реке:

> ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

— Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

— Благодарю, — с мрачным видом отвечал Пурталес.

В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему, графики трещат, военные округа запутаются. «Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку…»

Николай II отвечал министру:

— Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму… угрожающую! Он пишет, что снимает с себя роль посредника и, — прочитал царь, — «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир!».

Сазонов разъяснил: кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

— А вы понимаете, Сергей Дмитрич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

— Дипломатия свое дело сделала, — отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

— Позвоните Янушкевичу сами… пусть будет общая!

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

— Начинайте, — сказал он, и тот его понял…

Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. Еще поддал

сапогом по аппарату:

— Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет — я умер!

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну.

* * *

31 июля… Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир…» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталес.

Сазонов понял — важное сообщение. Он встал.

— Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, — сказал посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

— Означает ли это войну? — спросил он небрежно.

— Нет. Но мы к ней близки…

Часы пробили полночь, как в сказке. Пурталес вздрогнул.

— Итак, завтра. Точнее, уже сегодня — в полдень! Сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал.

— Я могу сказать вам одно, — заметил он спокойно. — Пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться! Спокойной ночи, посол…

**Постскриптум № 5**

В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами (эти «сироты» были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше). В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится.

Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази-Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви и даже музей старинного сервиза, в котором легко убедиться, что раньше людей в гостиницах и ресторанах обслуживали во много раз лучше, нежели ныне. Музей «Млада Босна» и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии…

Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретные депеши Гартвига к Сазонову. Это первое. А вот и второе. Осенью 1918 года, когда Европе, очумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадаться, что он еще цел…

Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сровняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке; не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы

в песнях и школьных учебниках «преступники», возведенные в ранг «национальных героев». Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Карагеоргиевичей не соизволил поклониться их праху, король Александр сознательно отвертелся от воздания почестей, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства.

Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая, мать Данилы Илича, поставила над могилою сына четыре зажженные свечечки.

— Золотое мое дитятко, — шептала она.

Данила Илич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни была участь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Неделько Габриновича и Трифко Грабеча перевели в имперскую крепость Терезиенштадт, и здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному Кресту хватало своих хлопот, потому об узниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности.

Казалось, из каменной тесницы Терезиенштадта, этого габсбургского «Монте-Кристо», не

вырвется наружу даже слабый стон человека. Но кое-что все-таки дошло до нас… лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты?..

Венский психиатр, профессор М. Паппенгейм, не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал доверие Принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево:

— Мною двигали исключительные мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам. Думаю. Мои мысли о жизни и любви… Я понимаю, что жизнь кончилась. Лишь бы не кончалась жизнь моего народа…

Принцип был настолько истощен, что не мог удержать карандаш. На просьбу Паппенгейма изложить свои настроения он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку Принципа: «Что существеннее в человеческой жизни — инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог хоть бы два-три дня читать, то

мыслил бы более ясно и выражался точнее…»

— Я не могу, — сказал Принцип, и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Паппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка…

Неделько Габриновича перед смертью повидал поэт Франц Верфель; по его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически-прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил «бледное видение, вроде невещественного пара, словно освобожденный из плоти дух человека готовился рассеяться в неестественном желтом блеске…».

Почти одновременно, весною 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за родину, самое страшное в том, что они уже знали жестокую правду:

СЕРБИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

# Глава третья
# Париж был спасен

*Вздувается у площади за ротой рота,*
*у злящейся на лбу вздуваются вены.*
*«Постойте, шашки о шелк кокоток*
*вытрем, вытрем в бульварах Вены...»*

***Вл. Маяковский***

НАПИСАНО В 1941 ГОДУ:

...узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады, они сами перешли в наступление, и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своем Палаццо-Венеция, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал: «Пусть идет снег! Пусть от мороза передохнут все мои бумажные итальянцы, пусть выживут лучшие представители нашей расы, способные побеждать!» Об Эфиопии-Абиссинии все уже перестали думать, — и вдруг 6 апреля босяки-партизаны, учинив разгром итальянцам, изгнали их из Аддис-Абебы — факт ошеломляющий, ибо в

пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам, и… где?

Гитлер держал войска в Болгарии, моторы его панцер-дивизий алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австралийские войска, но… что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге. Королем Югославии был тогда малолетний Петр II (сын Александра, убитого в Марселе), а повелевал страною принц-регент Павел — тот самый, что в костюме Пьеро когда-то дурачился с бубном на карнавале в русском посольстве. Павел решил включить Югославию в гитлеровскую систему, но за это желал получить греческие Салоники. В марте 1941 года он тайно посетил Гитлера в Берхтесгадене, после чего был подписан протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту.

Скрыть предательство от народа не удалось, и сербы ответили восстанием, демонстрации двигались мимо королевского конака, люди истошно выкрикивали в слепые окна:

— Лучше война с Гитлером, нежели пакт с ним! Верните страну к союзу с Россией, как делали наши деды и прадеды…

Павел был удален из конака, а королем провозгласили Петра II, которому исполнилось

семнадцать лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скрепленная общей кровью «побратимов», какими всегда были сербы и русские.

Хронология событий потрясающая: 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР, а на следующий день, 6 апреля, немецкие бомбы разворотили Белград столь варварски, что город померк в пожарах; немцы с особым садизмом бомбили Сараево — город, в котором родилась первая мировая война… Свершая нападение на Югославию, Гитлер никак не «блеснул гением», повторив те же положения ультиматума Сербии, которые в 1914 году предъявила славянам и монархия Габсбургов. На четвертый день войны армия сербов была разгромлена. Петр II улетел в Каир, словно отрешаясь от прав Карагеоргиевичей на престол в белградском конаке. Южные славяне, столько веков страдавшие под гнетом османлисов и Габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятою Гитлера…

Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя — Тито! Изолирован-

ный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, тогда я был лишен возможности раскрыть «Правду» от 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором Хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию…

А тогда, простите, ради чего она собирает войска?

Документ невежественный и трусливый, мое отношение к нему самое отвратительное. Никто не переубедит меня в том, что это позорное заявление ТАСС пагубно отразилось на армии, деморализуя ее. Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там, наверху, Хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро-спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвященным в тайны его Большой Политики.

Возникла преступная потеря бдительности, зато появилась пассивность. Дело дошло до того, что командиры стали ночевать по частным квартирам, а в казармах раздевались на ночь, благодушничая. Между тем, словно в насмеш-

ку над нашим разгильдяйством, в германском посольстве открылась фотоэкспозиция, дабы посетители убедились своими глазами: вот что осталось от Белграда, а вот и победный марш вермахта, вступающего в Афины…

О, эти Балканы — старая боль в моем стареющем сердце!

* * *

Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля ее на четыре продольные спичечки с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в господа бога, трудно оформить по статье «троцкистско-зиновьевского блока», а когда не найти вины человека по 58-й статье, тогда его лучше всего расстрелять, чтобы он сам не мучился и не мучились его следователи[14].

Получивший клеймо «враг народа», я охотно признал себя «тайным агентом германского

**[14] notes: 14**

Очевидно, автор мемуаров был арестован вместе с А. Д. Лактионовым, командующим войсками Прибалтийского военного округа; тогда же была репрессирована большая группа военных, уцелевших после 1937 года. Часть из них — по решению Сталина — была возвращена, как маршал К. А. Мерецков, на свои посты, а другая часть вместе с их женами была расстреляна в октябре 1941 года.

фашизма», тем более что я ведь действительно поставлял «дезу» немецкому абверу и установил прямые контакты с Целлариусом в Прибалтике, — что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший свое поганое нутро под псевдонимом «Шлык», оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был «агентом британского империализма». Чтобы сделать этому дураку приятное, я легко подмахнул протоколы допроса.

— Вижу, что вы меня раскололи как следует, — сказал я. — Потому решил сделать добровольное признание… Пишите. Я за деньги продался еще разведкам Эквадора, Гондураса и Гватемалы, заодно уж моими услугами пользовалось княжество Монако, обещавшее мне долю дохода с рулетки…

Шлык, потея от радости, вел протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться:

— А чем вы можете доказать свои показания?

— А вот это уж не моя забота, — отвечал я. — Вы на то здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое… Я вас понимаю: надо бить своих, чтобы чужие боялись!

В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю «Русь» Пантелеймона Романова и увлекся изучением этюда Мережковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем, и мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком «достоевщины». Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды, построенной на хорошем знании психологических перегибов людской совести. Подумав об этом, я заказал в библиотеке две книги: «Психология толпы» француза Г. Лебона и «Преступная толпа» С. Сигиле, тоже француза, которые до крайних пределов разили теорию стадной управляемости народных масс, покорно следующих за преступной, но сильной личностью. Странно, что этих книг не выдали на руки. Следователь — в ответ на мой протест — советовал заказать для прочтения популярный роман Николая Шпанова «Первый удар».

— Эту книгу, — сказал он, — одобрил сам товарищ Сталин, и сейчас все краскомы и все красноармейцы обязаны изучить ее… такие книги мобилизуют массы в нужном направ-

лении. Автор толково показал, как немецкий пролетариат, вооруженный могучими идеями Ленина-Сталина, сам свергает неугодный режим, а все немцы вступают в партию большевиков.

— Благодарю, — отвечал я, — но с этим романом уже знаком, прочтя его с неслыханным удовольствием…

После 22 июня 1941 года допросы прекратились. Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его — так он переменился, посерев лицом, и без того серым от беспощадного курения папирос «Казбек». Мне эту паскуду было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного, угнетенного состояния. Черт меня дернул сказать:

— Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?

— Почему? — удивился он, даже растерянный.

— Потому что вы уже неспособны к работе, и вам, кажется, будет полезно общение с врачом в кабинете невропатологии.

Шлык запустил в меня тяжелым пресс-папье.

— Ну, ты… гнида старая! — заорал он, хотя прежней уверенности в его голосе я не заметил…

Этого следователя я больше никогда не видел, а при встрече с ним на том свете плюнул ему

в похабную морду. Допросы прекратились, но кормить стали лучше. Я получил целый коробок спичек, не изнуряя себя расщеплением каждой на четыре доли. Однажды вечером меня в камере навестил молодой полковник НКВД, благоухающий одеколоном «Красная Москва», за ним надзиратель внес в камеру чернила с пером и большую стопку бумаги.

— Нет, допроса не будет, — утешил меня полковник. — У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напало некое государство Европы… Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите свои размышления на бумаге.

Я сразу отказался от этой страшной затеи:

— Я не извещен, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию? Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война…

Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и был намного откровеннее, нежели вчера:

— Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии, наши войска отступают по всему

фронту, и не в лучшем порядке… Нами оставлены многие города, под угрозой нашествия даже Киев — мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, что бы вы предприняли для противоборства?

Бояться мне было нечего, я отвечал честно:

— Сначала я бы убрал наркома Тимошенко с его высоким самомнением о своих талантах, убрал бы из области вооружения Кулика и всех прочих куликов, много взявших власти на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных «врагов народа», специалистов военного дела и конструкторов оружия, а меня, — заключил я, — можете оставить в этой камере, ибо я сейчас уже мало пригоден для общего дела.

— Тимошенко уже нет, — ответил полковник, — как нет и многих куликов, а наркомом обороны назначен сам товарищ Сталин… Как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой?

— Работа абвера совершенна, — отвечал я. — Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморощенных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях…

Меня избавили от неволи 22 июля — как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мною извинились, сославшись на «обстоятельства».

— Ваши извинения принимаю, — был мой ответ. — В конце концов можно понять: я дворянин и бывший генерал царской армии, мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему «врагами народа» стали сыновья крестьян и рабочих, делавших революцию?..

И вот я снова в пустой затхлой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире… какая свистопляска… как издевались над нами! Я плакал…

* * *

Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власти утаивали от народа свой позор — Минск немцы взяли на шестой день войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на Минском «направлении» (понимай как знаешь). 3 июля Хозяин заявил по радио, что лучшие дивизии врага разбиты, танки и авиация противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более

миллионов немцев «убивало» Совинформбюро в своих кабинетах; иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, все уже давно похоронены нами…

Когда я снова появился в разведотделе Генштаба, меня встретили очень дружелюбно, сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность.

— Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с кайзеровской Германией… Много у вас таких?

— Больше, чем у вас советских, — отвечал я…

Однако в разведке меня использовали, скорее, в роли «консультанта», а затем в том же амплуа перевели ради «укрепления кадров» в Радиокомитет, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мною на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же.

Здесь уместно дельное примечание. Со времен

библейской давности народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии, признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля добела. С тотальным государством вообще труднее бороться.

И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращенную к гитлеровским солдатам, ее отнесли — ради проверки — Льву Захаровичу М[ехлису], заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к Хозяину, всю листовку снабдил множеством грубейших ругательств по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе им худо будет… Помню растерянность Вильгельма П[ика], увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым.

— Вы не верите в силу нашей пропаганды?

— укорил он меня.

— В такую вот филькину грамоту, составленную из брани, я не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера — по меньшей мере нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться. Убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, — это занятие для идиотов. Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время…

Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки разбит русской армией; напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится вдребезги; напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации.

— Наконец, — сказал я, — надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арндта, который говорил, что короли

приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются… Если мы сегодня еще не обладаем ораторским искусством Ганса Фриче, радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арндта, которые красноречивее Геббельса… Будем бить немцев примерами немецкой истории!

Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпову, что выпускать ее в эфир никак нельзя.

— Почему? М[ехлис] одобрил текст.

— Нельзя, — объяснил я, — чтобы московский диктор, вещающий на Германию, зараженную антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом.

— Помилуйте, но Лев Захарович…

— Но… акцент, черт побери! — вспылил я. — Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея?

Не знаю, дошло это до Л. З. М[ехлиса] или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня чересчур выразительно:

— Мало сидели? Еще захотелось? — и отошел…

Я предложил, помимо официальной («белой») пропаганды, вести иногда и «черную», когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случай-

но нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой, добропорядочной Германии; никаких призывов — одни эмоции… Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора.

Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет — можно начинать.

— Германия! — начал я. — Где твои милые, уютные города, обвитые старомодным плющом, где твоя былая философская скромность бытия и твои прекрасные музеи, наполненные сокровищами старой мысли? Я люблю тебя, умная, деловая, скромная и просвещенная Германия — страна, давшая миру так много, всем европейцам и всем нам, немцам. Теперь у меня нет сердца — открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом…

* * *

В сорок первом, когда всем русским людям хоте-

лось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились горе-ученые, строившие в угоду нашим правителям добренькие прогнозы о том, что Германия вот-вот выдохнется, ибо в ней наступит истощение от нехватки сырья.

Наша армия по-прежнему отступала, обгоняя ревущие стада колхозных коров и многотысячные толпы изнуренных беженцев, а наш академик Е. С. Варга печатно заверял публику, что еще месяц-два, и все моторы танков и самолетов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть «паникером», выступил наш знаменитый ученый А. Е. Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока, и пришел к самому точному выводу:

— Германия развалится к весне сорок пятого года…

Я увлекся своей работой, занимаясь «черной» пропагандой, как немецкий антифашист, живущий где-то в Германии, и, подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта: «Офицер генерального штаба не должен иметь своего имени!» У меня и не было теперь имени — и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины…

## 1. Наша Катерина просто кипит…

Я вернулся в Петербург еще до объявления войны, и в моей голове почти болезненно пульсировал идиотский рефрен для детского понимания: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от волка уйду…» После двукратного бегства — из Германии и Австрии — меня угнетало чувство своей непригодности для работы в разведке, и я, страдая самолюбием, считал себя «мертвецом в отпуску». Тайный агент, я как бы перестал быть тайным после двух разоблачений, и даже не удивился, получив на домашний адрес почтовую открытку, украшенную целующимися голубками: «Дорогой Наполеон! Остров св. Елены — слишком роскошно для Вас, а потому приготовьтесь закончить свои гулянки на виселице. Сразу же заверяем Вас, что лишних свидетелей Вашего позора не будет…»

Хотя угроза войны была очевидна, но я почему-то не очень верил в то, что война возможна. Мне казалось, что июльский кризис так и останется лишь кризисом. Кажется, и сами петербуржцы, лучше других россиян осведомленные, не слишком-то верили, что доживают последние дни мира. Посетив однажды недорогой ресторан на

Стрелке, я был удивлен легкомыслию публики, которая откровенно потешалась над сущей ерундой, преподносимой с эстрады балалаечниками:

*В далеком ущелье Кавказа*
*Царица Тамара жила,*
*На ней треугольная шляпа*
*И серый походный сюртук…*

По возвращении в столицу первое, что меня поразило, так это бешеное падение цен на все товары и баснословная дешевизна продуктов, а цены все падали и падали — это было результатом июльского кризиса: вдруг не стало экспорта, а потому все торговцы спешили сбыть свои товары. Примерно за неделю до 1 августа (роковое число!) я был вызван в Генштаб, где без лишних свидетелей меня наградили высоким военным орденом. Почти тогда же — без публикации в газетах — я был жалован во французском посольстве орденом Почетного Легиона, который в присутствии посла Палеолога мне вручил военный атташе Маттон де ла Гиш…

После того как меня достаточно обмазали медом, я был причислен к «Разведывательному отделению Главного управления Генштаба», работа которого была почти легальна; моя фа-

милия появилась в официальных справочниках должностных лиц Российской империи, только начальную букву своей фамилии «О» я просил переделать на букву «А».

Я держался особняком от сослуживцев, чаще всего общаясь с Оскаром Энкелем, будущим начальником генштаба Финляндии, и полковником Сергеем Марковым, который — по словам Алексея Толстого — навсегда отравился «трупным дыханием» войны. Я занимался балканскими делами, поглощенный «изменой» болгарского царя Фердинанда, переставившего Болгарию на рельсы Тройственного союза — против России, и частенько сожалел, что Апис не довел заговор до конца, чтобы прикончить этого холуя Гогенцоллернов и Габсбургов. Мне кажется, мы просто не сумели «купить» эту продажную сволочь, а банковский концерн «Дисконто-Гезельшафт» вовремя отсчитал царю 500 миллионов франков… С высшим начальством я мало общался, и только один раз о моих делах справился генерал Янушкевич:

— Ну, чем можете порадовать?

— Радости мало, и, пожалуй, я солидарен с мнением Конрада-фон-Гетцендорфа, который недавно отпустил комплимент по нашему адре-

су, более схожий с оплеухой: «Победить русских очень трудно, но и самим русским трудно быть победителями!»

Поглощенный делами, я жил очень скромно, совсем не грешил винопитием и не нарушал седьмую заповедь, хотя соблазнов было — хоть отбавляй. Я сознательно избегал шипов и роз Гименея, ибо, сидящий, на самом верху вулкана, скоро уже сообразил, каким извержением закончится «июльский кризис», и не одна Помпея будет засыпана пеплом…

Случай возобновил мое давнее знакомство с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, приехавшим в столицу из Чернигова. Он был старше меня лет на пять, если не больше; выделялся своей образованностью: помимо Академии Генштаба окончил Межевой институт и Московский университет. Я был извещен, что его брат Владимир Дмитриевич убежденный большевик, сотрудник ленинской «Искры», знаток религиозных культов. Теперь один брат готовил Россию к войне, а другой протестовал против войны… Что ж, и такое в жизни бывает!

Разговор у нас был короткий, но содержательный. Бонч-Бруевич — об этом было нетрудно догадаться — ведал делами контрразведки, и он

не скрывал своей озабоченности тем, что на верхних этажах империи кто-то нам сильно гадит. Был упомянут и Сухомлинов, ослепленный старческой страстью к своей вульгарной Екатерине, даме блудливой и развязной.

— В конце-то концов, — уныло говорил Михаил Дмитриевич, — это просто баба, которой нравится быть первой в деревне. Но вокруг нее крутятся не только модистки и спекулянты бриллиантами. Через нее в дом военного министра проник и некий Альтшуллер, бывший у нас на примете еще в Киеве. Но едва раздался выстрел в Сараево, как он моментально скрылся, а следы его обнаружились в Вене. Подозрителен и полковник Мясоедов, окруженный всякой нечистью, недаром же Вильгельм II любил охотиться с ним в горах прусского Роминтена…

К чему я вспомнил эту беседу? Только к тому, что впоследствии, когда земля горела у меня под ногами, я оказался в секретном вагоне Бонч-Бруевича, стоявшем на запасных путях революционного Петрограда, и, может, именно потому из генералов царской армии я сделался генералом советским…

И вот настал судный день — день 1 августа 1914 года!

* * *

Утро… Кайзер накинул поверх нижней сорочки шинель прусского гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где никто их не ждал. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию… Пурталес спросил:

— Прекращает ли Россия свою мобилизацию?

— Нет, — кратко ответил Сазонов.

— Я еще раз спрашиваю вас об этом.

— И я еще раз отвечаю вам тем же — нет…

— В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи *принимает вызов* …» Это было попросту глупо!

— Можно подумать, — усмехнулся Сазонов, — мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока

он не снизошел до того, что вызов принял. Россия не начинала войны. Нам она не нужна! У нас достаточно и своих нерешенных проблем…

— Мы защищаем свою честь, — напыжился Пурталес.

Сазонов без надобности открыл и закрыл чернильницу.

— Простите, но в этих словах — пустота…

Только сейчас министр заметил, что Пурталес, пребывая в состоянии аффекта, вручил ему не одну ноту, а… две!

Берлин снабдил посла двумя редакциями нот для вручения Сазонову одной из них — в зависимости от того, что тот скажет об отмене мобилизации. Но Пурталес допустил чудовищный промах, вручив министру обе редакции. Затем, объявив России войну, германский посол сразу как-то ослабел и, шаркая, поплелся к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже, пока его лоб не коснулся подоконника.

Пурталеса буквально сотрясло в страшных рыданиях.

Сазонов подошел к нему, похлопал его по спине:

— Взбодритесь, коллега. Нельзя же так отча-

иваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил министра в объятия:

— Мой дорогой, что же теперь будет… с нами?

— Проклятие народов падет на Германию…

— Ах, оставьте… разве вы или я хотели войны?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра утром будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков. Но в четыре часа ночи Сазонов разбудил его звонком по телефону из министерства:

— Кажется, нам не расстаться. Дело вот в чем. Государь только что получил телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы наша армия ни в коем случае не нарушала германских границ. Я никак не могу освоить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой — эта же Германия просит нас не переступать ее границ.

— Этого я вам объяснить не могу, — отвечал Пурталес.

— В таком случае извините. Всего хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались…

Примечательно: самые здравые монархисты — и в Берлине и в Петербурге — отлично понимали, что в этой войне победителей не будет — всех сметут революции! Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии.

— А как же иначе? — говорили наши головотяпы. — Немцы, они, брат, культурные. Не то что мы, сиволапые…

* * *

— Побольше допинга! — восклицал Сухомлинов. — Германия — лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку крупповской брони. Моя Катерина просто кипит! Дома сам черт ногу сломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты… Вот лозунг наших великих дней: все для фронта, все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не ведал такой жарищи, а Янушкевич уже хлопотал о валенках и полушубках.

— Помилуйте, с меня льет пот. Какие валенки?

— Еще и подковы с шипами на случай гололедицы.

— Да мы через два дня будем в Берлине, — смеялся министр. — Нынешняя война не Семилетняя, когда наша бедная Лиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого…

На Исаакиевской площади озверелая толпа «патриотов» уже громила германское посольство — уродливый храм «тевтонского духа», отвечающий призыву кайзера: «Цольре зовет на бой!». С крыши летели на панель бронзовые кони-Буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев; рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников с жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса… Настроение этой дикой толпы лучше всего отобразил Маяковский, еще молодой:

*Морду в кровь разбила кофейня,*
*зверьим криком багрима:*
*«Отравим кровью игры Рейна!*
*Громами ядер на мрамор Рима!»*

Берлин упивался тевтонской мощью, тамошние ораторы утверждали, что «железное исполнение

долга — это ценный продукт высокой германской культуры». Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война — война «четырех F»:

Frischer. Frommer. Frцlicher. Freier.

Освежающая. Благочестивая. Веселая. Вольная.

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

— Еще до осеннего листопада вы все вернетесь домой…

В русском Генштабе появился полковник Базаров, бывший военный атташе в Берлине, он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года. Был удивлен:

— Я не вижу пометок министра. Читал ли их Сухомлинов?

— Подшивали аккуратно. Наверное… читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

— Это преступно! — закричал он. — Что мне с того, что его Катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи… Не я ли предупреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые.

— Вы забыли об Англии, — тихо напомнил Энкель.

— Да плевать я хотел на вашу Англию! — совсем осатанел Базаров. — Для англичан война — это спорт, а для нас, для россиян, война — это смерть…

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Шла русская гвардия — добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах, — они были воспитаны погибать, но не сдаваться.

Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

Столичные рифмоплеты поспешно строчили стихи для газет, чтобы завтра же положить в карман лишнюю пятерку:

*И поистине светло и свято*
*Дело величавое войны,*
*Серафимы, ясны и крылаты,*
*За плечами воинов видны…*

Сухомлинов названивал в Генштаб — Янушкевичу:

— Ради бога, побольше допинга! Катерина кипит… Хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разок в жизни поживет у нас, словно Ротшильд.

— Владимир Александрович, — отвечал Янушкевич, — люди по три-четыре дня не перевязаны,

раненых не кормят. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски — требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхтерруссен»! А наша воздушная разведка…

— Ну, что? Здорово наавиатили?

— А наша артиллерия…

— Небось наснарядили?

— Я кончаю разговор. Неотложные дела.

— Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяницы, с тихим ужасом воспринявшего сообщение газет о введении в стране «сухого закона». Все алчущие спешили напоследок надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказывать внукам: «Вот кады война с германом началась… у-у, что тут было!»

Мерно и четко шагала русская гвардия. Под грохот ее сапог «кричали женщины „ура“ и в воздух чепчики бросали».

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

— Господи, спаси императора Николая…

— Господи, спаси короля Британии…

— Господи, спаси Французскую Республику…

Литавры гремели, дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас «На Берлин!», через три года станет кричать «Долой войну!». А газетчики надрывались:

— Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил и скоро окажется в бедламе… Последняя новость: наши войска пленили парадный мундир императора Франца Иосифа!

Звонок.
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

— Умоляем… спасите честь Франции!

Август. Битва на Марне. Немцы шли прямо на Париж.

## 2. Париж надо спасать

Я никогда не бухался на колени перед громогласными доктринами германской военщины, всегда твердо зная: России можно нанести поражение, но победить ее нельзя. «Перевоевывать» войны на иной лад — занятие бесполезное, но повторять историю пришлось, и в 1944 году наши солдаты шли по тем же лесам и болотам, где в 1914 году погибали их отцы и деды. Они побеждали, чтобы освободить Европу от насилий фашизма, а мы ложились костьми, чтобы спасти честь Франции!..

Лето выпало жаркое: вокруг Петербурга горели леса и массивы торфа, столица плавала в едком дыму, который окутывал улицы пеленой, словно саваном, едко щекотал ноздри. Как мне было грустно в пустой квартире, где после смерти отца я все оставил так, как было при нем, а он оставил все так, как было еще при матери. Невольно я ужасался:

*В квартире прибрано. Белеют зеркала.*

*Как конь попоною, одет рояль забытый;*

*На консультации вчера здесь Смерть*

*была*

*И дверь после себя оставила открытой...*

Помню, что выходную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и потому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть:

— Если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после чего кайзер поджал бы хвост. Но в Лондоне исподтишка радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, что чесалось еще в воскресенье. Война — факт!..

— Павел Александрович, — сказал я, — что вы тут выводите мне цыплят из вареных яиц? У вас ко мне дело?

Дело касалось меня. При штабах армий заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка — тем более в условиях фронта — это не полицейская облава.

— Сейчас образован Северо-Западный фронт под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии, дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. Первая — генерала Ренненкампфа, известного по кличке «желтая опасность»[15]. Вторая — под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую стать «Самсоном Самсонычем»… В какой вы хотели бы служить?

Я спросил коллегу о генерале Ренненкампфе:

— Можно ли доверять Павлу Карлычу? «Желтая опасность» уже проявил себя ложью, хапужеством и негодяйством.

— Что делать? — со вздохом отозвался Базаров. — Ренненкампфу особо доверяет сам государь император, который не может забыть его услуги в пятом году… Кстати, Жилинский тоже склонен не доверять «желтой опасности»…

Разговор с Базаровым был у нас откровенным.

— Я не доверяю авторитету и Жилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб при

---

**[15] notes: 15**

Это странное прозвище имело простое объяснение: «желтая» — по цвету желтых казачьих лампасов, которые носил П. К. Ренненкампф на своих штанах, «опасность» — в память о 1905 годе, когда этот генерал жестоко подавил революционное движение в Сибири.

Куропаткине, подтверждая те глупости, которые делал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но… популярности в армейской среде не обрел. По сути дела, это военный бюрократ, недаром в Генштабе его зовут «живым трупом»…

Выслушав это, я просил время подумать.

— Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет».

— А кто при Самсонове начальником штаба?

— Генерал-майор Постовский.

— Это «сумасшедший мулла»? — спросил я.

— Да, таковым именуют его, не считая вполне нормальным, ибо он делает себе «намазы», как правоверный мусульманин.

— А кто при Самсонове военным агентом? Француз?

— Нет. Англичанин. Майор Нокс.

— Павел Александрович, — спросил я, поразмыслив, — а в какой из армий, в Первой или Второй, хотели бы вы служить сами начальником разведотдела?

– *Ни в какой*, — ответил Базаров, поднимаясь. — Кстати, не держите свои двери открытыми. Вы уже на заметке германского генштаба, а потому

советую быть осторожнее… В любом случае вы не имеете права попасть в плен.

— Так что же мне? Прикажете стреляться?

— Стреляйтесь. А я пошел. Всего доброго…

* * *

Воюют не за власть — люди погибают за Отечество!

Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914?м, так было в 1941 году… Наверное, в русском народе слишком сильно давнее недоверие к Германии, которая со времен Петра I поставляла для царского двора временщиков, а немцы входили в «элиту» придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющие именно лесковского немца, и тот плетьми и палками выколачивал из людей оброки. Если собрать воедино цитаты из русской литературы, в которых обличается немец-поработитель, то соберется громадный томина, но достаточно вспомнить салтыковско-щедринский разговор «мальчика в штанах» с «мальчиком без штанов»…

Теперь против многонациональной России

ополчилась единонациональная Германская империя, спаянная «железом и кровью» из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех «вольных городов» (Гамбурга, Любека и Бремена). В эти дни я слышал выражение одного интеллигента «Сатана связался с Люцифером», но кто тут был Сатаной, а кто Люцифером — об этом не хотелось думать. Мне виделось иное. Крестьянин, выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. Армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь этой манящей цели — к чему же тогда наши усилия?

Увлеченный общим патриотическим порывом (не боюсь высоких слов), я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах «тыловой крысы», и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе Второй армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор в кабинете генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича, который был памятен мне по Академии Генштаба, где он читал лекции по военной администрации. Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял

начальником штаба при главковерхе, умея ладить и с барином, и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров Генштаба, но я, помнится, утешил Энкеля ответом, что перепискою не грешу.

В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнения:

— Пока что я имею хомут, не имея лошади. Налаживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами.

— Вы же служили в погранстраже Граево, — сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. — Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами.

— Простите, — отвечал я, — но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? Вербуя контрабандистов, можно быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой и согласятся стать «герцогами», чтобы получать от немцев марками, а от меня — рублями… Нет уж! — сказал

я. — С этой сволочью не стоит связываться, дабы сохранить чистоту мундира.

Янушкевич напомнил мне, что в таком «грязном» деле, как шпионаж, отбросов нет — есть только кадры.

— Верно! — согласился я. — Но меня взяли в разведку Генштаба не из отбросов общества, ночующих под мостами Обводного канала. Единственное, что могу сделать, так это привлечь к работе поляков или мазуров, населяющих Пруссию с давних времен, благо сейчас их древняя столица Эльк (нынешний город Лык) открывает нам дорогу в Пруссию.

— Прусские мазуры — лютеране, — возразил Янушкевич.

— Но они же и славяне, порабощенные крестоносцами, мазурам выпала участь наших ливов и эстов в Прибалтике.

— Воля ваша, — отвечал Янушкевич…

С удовольствием кота, поймавшего мышь, он открыл секретный сейф своего кабинета. Я считал его умным человеком, но он удивил меня глупостью, когда с таинственным видом извлек наружу роскошный бювар с казенной надписью: «Дело № 00001. МАРИЯ СОРРЕЛЬ». В бюваре хранилась фотография голой женщины, которая, лежа

в постели, вздымала за здравие мужчин бокал с вином. Я не был бабником, даже возмутился:

— Помилуйте, при чем здесь эта дешевая порнография, если речь у нас идет о серьезных делах?

Янушкевич с тем же удовольствием кота плотоядно обозрел сочные прелести красотки.

— Вы, — начал он, — напрасно ополчаетесь противу жандармов, взявших в свои опытные руки дело фронтовой разведки. Как видите, жандармы тоже даром хлеб не едят. Именно они раздобыли не только эту карточку, но им удалось даже составить список господ офицеров Первой армии, имевших удовольствие «употребить» эту даму. А в конце этого списка, — сказал Янушкевич, показав и сам список, — мы видим «желтую опасность» со стороны самого генерала Ренненкампфа.

— Напомните, как зовут эту женщину?

— Мария Соррель.

— Француженка?

— Таковой считается.

— А вы уверены в этом? — спросил я, и мне стало тошно. — Вы меня извините, Николай Николаевич, но это еще не разведка. Если мы станем коллекционировать фотографии всех красивых б..., так нам не совладать с разведкой противника

и уж, конечно, трудно наладить свою разведку.

Янушкевич с огорчением захлопнул бювар.

— Повезло же Павлу Карлычу… на старости лет! Хороша его Гильза Патроновна, хороша. А на меня вы напрасно обиделись, — построжел Янушкевич. — Этой фотографии придал немалое значение не только главнокомандующий. Его императорское величество тоже высочайше оценил вкус Ренненкампфа. У вас же, я вижу, иной вкус?

— Мне импонирует красота Надежды Плевицкой.

— Так у нее пасть как у лягушки. Когда она разинется, так будто сейчас тебя проглотит…

«Дурак ты дурак», — подумал я, поднявшись, чтобы откланяться. Мне стало ясно, что налаживать фронтовую разведку будет трудно. В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, он был пристрелен конвоирами, и мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкампфа, как не жалел и его Гильзу Патроновну — эту Марию Соррель!

* * *

С началом войны среди офицеров появилась глупая мода — украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на

слабонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями портупеи, при шпорах, а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой «кодака» и даже свистком для поднимания солдат в атаку — смотреть страшно! Я, конечно, этим барахлом не увлекался, мои сборы на фронт были скромнее: купил десять банок мясных консервов у Елисеева, обзавелся пачками кофе и табаку — этого пока хватит…

До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Янушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на варшавский экспресс, когда — совсем неожиданно! — со мною пожелал встретиться А. И. Гучков, слишком авторитетный в политических кругах Думы как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе: Гучкова я чуточку помнил еще по англо-бурской войне, в которой он, как и я, участвовал добровольцем; я отделался тогда пленом, а Гучков тяжелым ранением…

Александр Иванович обеспокоил меня по телефону:

— Вас не затруднит короткая встреча, скажем, на Стрельне? С вашего соизволения, со мной будет Николай Виссарионович Некрасов, тоже

думец и мой соратник.

Я согласился, хотя к политическим говорунам относился так-сяк. Бранить кадетов могут только праздные люди, ибо ловкачество входит в их партийную программу так же естественно, как желание человека обедать. Мы встретились в ресторане «Стрельна». Некрасов, знакомясь, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись «профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций». Мне это было безразлично даже в том случае, если бы он назвался «ученым по изготовлению кислых щей». Мы уселись за столик, и ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, запела низким, страдающим голосом: «*Слышишь ли, разумеешь ли?..*»

Я слушал и разумел, а Некрасов напомнил нам о «сухом законе», обязательном для всех:

— Коньяк подают только под видом чая в стакане, который надо помешивать ложечкой...

Гучков вдруг пылко заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии:

— Все гораздо проще! Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом

напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще *над* политические и *над* национальные силы, способные организовать человеческий материал в наилучшем общественном порядке.

— Это… — намекнул я, нарочно запнувшись.

— Это… — не решился Гучков сказать открыто.

— Смелее! — прикрикнул я. — Догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями… Не так ли?

— Примерно так, — кивнул Гучков.

Не требовалась ума палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня завлекают. Ясно, что оба думца желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил:

— Знаете, из кабака не идут в церковь, а из храма божия не станут шляться в кабак. Паче того, вы, господа, и ваша ложь являетесь лишь филиалом известной французской фирмы.

Об этом я был извещен достаточно точно.

— Неправда, — тихо возразил Гучков, — мы уже давно порвали с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа, болеее широкая… поверьте мне! И шкура у нас покрепче, самой высокой выделки — почти дубленая.

— Жизнь в России и без того сложная, — отвечал

я, — так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очакова иль покоренья Крыма? Сейчас война, — рассудил я, — и Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку, чтобы не вредили своими связями с врагами России.

— Вот мы и добиваемся… мира, — ляпнул Гучков.

— А зачем вам понадобился мир? — спросил я.

— Чтобы не было войны.

— У нас получается детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию, в таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать, а не думать о символическом значении треугольника или «Розового креста» мальтийского рыцаря Кадоша…

Некрасов словно очнулся от сладкой дремоты:

— Видно, вы начитались Тиры Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадать, сколько будет дважды два… Между тем все гораздо сложнее! Интернациональная надстройка масонов всего земного шара способна разрушить узкополитические козни продажных правительств.

На этот вызов я решил не отвечать.

— Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам *будущей* России? — напрямик спросил Гучков.

— А почему я должен относиться к вам хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные реки и кисельные берега, потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности.

— Вы… монархист? — вдруг спросили меня.

— Неубежденный. Всегда был далеко от людей, которых еще протопоп Аввакум именовал «шишами антихристовыми», и я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу.

— Может, вам близки замыслы социалистов?

— Тоже нет, — отвечал я. — Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа «всем поровну», но я сторонник древней латинской формулы: «каждому свое».

Некрасов молчал, но почему-то — даже молчавший! — он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову:

— Вы ошиблись во мне… Что честно, то не таит-

ся света. А что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными Общество народной трезвости или Союз взаимопомощи зубных врачей. Извините, господа. Я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею.

Гучков с Некрасовым переглянулись, и по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через три года, когда Гучков станет моим военным министром, а потому он с превеликим удовольствием сделает из моей бравой личности последнее дерьмо собачье…

* * *

Уже через день я был в Варшаве, похожей на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Мессаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу увечных русских воинов. Накоротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль.

— Вы сразу на фронт? — спросил он меня.

— Но прежде загляну на Гожую улицу.

— Зачем? — удивился Батюшин.

— А вдруг мне откроет двери пани Вылежинская?

— Не надейтесь. Она уже посажена нами в тюрьму.

— Вот как? На какой срок?

— Этого ей хватит, чтобы состариться.

— В чем же моя «жена» провинилась?

— Вернувшись из Италии, попалась на контактах с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион «Стрелец», направленный против нас — против России, мечтая о возрождении «Великой Речи Посполитой» — от моря до моря… Так что забудьте навсегда об этой Гожей улице.

Я поехал по следам Второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной для удара в подвздошину Восточной Пруссии.

Россия была обязана спасти Париж…

### 3. Двумя клиньями

Старое еще не сдавалось новому, наши генералы негласно делились на «огнепоклонников» и «штыколюбов». Первые уповали на массиро-

ванный огонь, вторые — на молодецкое «ура», памятуя об известном афоризме Суворова: мол, пуля — дура, а штык — молодец… Штыколюбы не слишком-то жаловали громы пулеметов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова:

— Чтобы укокошить человека, достаточно и одной пули. Но зачем всаживать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом…

Вообще-то нет ничего труднее — писать о войне, и тут даже не знаешь, кому верить — историкам или очевидцам, оставившим мемуары. Авторы воспоминаний, на своей шкуре испытавшие, каково им было, доносят до нас боль своих ран и свои личные эмоции; порою они пишут столь выразительно, словно от них, авторов, зависела судьба всей войны. Винить их за это не стоит, ибо солдату всегда кажется, что его рубеж — самый главный, а враг обрушил свой главный удар именно на него. Личные впечатления в таких случаях затемняют главное.

Историки, сами не воевавшие, пишут иначе. В тиши кабинетов нет особых эмоций, кроме одной — оправдать победителя (своего) и на чем свет стоит разругать побежденного (чужого). Справедливость иногда отступает перед натис-

ком «квасного» патриотизма. Стиль же писания научных монографий иной: читатель с трудом выкарабкивается из соотношения цифр, и, не имея высшего математического образования, он в них и погибает, как в трясине. Зато красноречиво звучат нумерации частей, названия никому не ведомых речушек и деревень, в голове возникает шурум-бурум оттого, что 13-й полк занял позицию раньше срока, а XIII дивизия не успела выйти к рубежу вовремя. Бывает и так, что историк, подгоняя события под современные настроения, из поражения делает победу и, наоборот, победу врага он превращает в постыдное поражение.

Август 1914 года… Мое мнение о тех днях: беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал; русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоны… Полно всяких эмоций!

В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью:

— Сволочи! Предали… нажрали себе морды, как бураки, а мы пять дён не жрамши. Рази ж

это война?

Убийство…

Тоже эмоции. Достоверные. Но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружен в кабалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но, как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни — надо взглянуть на себя и глазами противника. Всякий актер мнит о себе, что он красавец, но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующей, то свистящей…

Да, нет труднее занятия — быть баталистом!

* * *

Знаменитого «чуда на Марне» еще не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских «чуда в Пруссии», чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил…

Я проезжал знакомые места, напомнившие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных, и я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами

Чингисхана, желающими поработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта-на-Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы, прусские аристократки, взывающие лично к германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались косоглазыми уродами с волосами до плеч, на остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев.

Шофер, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла Первая армия генерала Ренненкампфа.

— Грабят много? — спросил я его.

— А чего там грабить? Комод или трюмо на себе ведь не потащишь, — отвечал он, смеясь. — Вот один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели, портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде… А там, у немцев, и грабить не надо. Войдешь в дом — все открыто; сыр, колбаса — это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба

прямо звереют.

— А что же хозяева? Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите, их колбасу с сыром жрете?

— Ха! — воскликнул шофер. — Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался непоен, некормлен. Свиней там — туча, и все жрать просят. Визжат.

— А как же ландштурм? Партизаны есть ли?

— Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим. Ну, ссадили его. Вмиг протрезвел. Отобрали ружье, дали хорошего тумака — и все.

Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чересчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городовые куда-то попрятались. Над городом нависла вязкая отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти вросла в землю, словно надгробие, я зашел в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся с налету в оконные стекла, а выводок тощих кошек встретил меня просительным «мяу». Из соображений брезгливости я ограничил свой обед вареными яйцами, а когда покинул ресторацию, мой авто-

мобиль был окружен еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в ермолках.

— А ну, цадики, — прикрикнул я. — Расступитесь…

Как и следовало ожидать, на бортах автомобиля я сразу разглядел таинственные знаки «пантофельной» почты, знакомой мне еще по службе на Граевской погранзаставе. Я тут же велел шоферу стереть их дочиста, учинив ему выговор:

— Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау только и ждут, чтобы узнать свежие новости…

Следующая остановка — в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонием кожевенной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв Второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый, походный госпиталь, к большому шатру под флагом Красного Креста тянулась длинная солдатская очередь.

— Что тут происходит? — спросил я из автомобиля.

Последний в очереди солдат охотно пояснил:

— Так что, ваше высокоблагородие, всем нам

тиф от холеры прививают, а оспой, слава богу, уже переболели…

Конечно, над темным человеком можно и потешаться, но иногда стоит и пожалеть таких «детей Отечества», которые у себя дома знали одно лекарство — верхний полок в родимой баньке.

Ехали дальше. Но после того как были стерты знаки «пантофельной» почты, я испытывал сумбурно-неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором…

— Стой! — заорал я шоферу, как бешеный.

Автомобиль замер. Перед нами, совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе, строился в железный порядок батальон немецкой инфантерии. Хищно торчали шишаки шлемов «фельдграу», обтянутых серою парусиной, блестела новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. С ними бог! Тут шофер захохотал:

— Фу, как вы меня напугали.

— Да я и сам, братец, перепугался.

— Это ж — пленные. Передых делали, а теперь их дальше погонят… тудыть, где волков хорошо морозить.

Только теперь я заметил наших конвоиров, по-хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места

во главе колонны, сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра. — Трогай, — велел я шоферу…

Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист и, казалось, угадываю: вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого «мюншенера», вот долговязый пролетарий из рабочего Веддинга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа, а дисциплина сплотила всех в чеканном строю даже здесь — под охраною русских конвоиров. Каюсь, в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей… обычных людей, вырванных войною из привычного уклада жизни.

И вдруг — совсем неожиданно — мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему «тиф от холеры», а вот этим немцам, глядящим на меня, смолоду прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них

и сказал шоферу:

— Ты можешь ехать побыстрее?..

* * *

Теперь по существу дела. Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лихой кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в Сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боев под Мукденом. Прямо из атаки, еще не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришел на мукденский вокзал — к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампф; когда Павел Карлович садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Ренненкампфу жестокую оскорбительную пощечину:

— Вот тебе на вечную память... носи на здоровье!

Ренненкампф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду:

— Ферфлюхтер проклятый! Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с

фланга, а он просидел весь бой в гаоляне и даже носа оттуда не высунул…

Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нем был достаточно извещен и военный министр Сухомлинов, а потому он — хотя бы по нормам военной морали — не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Ренненкампфа — армии одного фронта, должные взаимодействовать на едином направлении главного удара.

Ладно уж «шантеклер», у которого в голове «кипящая Катерина», но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гоффман, который как раз в те времена состоял военным атташе при русской армии в Маньчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию, и… И тут можно задуматься: забыл эту драку Макс Гоффман или учитывает ее в своих умозаключениях? Скорее всего, он — человек большого ума — учитывает, что Ренненкампф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощечину на перроне мукденского вокзала…

В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гоффман давно был

на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех — и даже Шлифена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском генштабе. Именно он, Макс Гоффман, умевший выпить два литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя ставил выше всех. Гоффман презирал любое начальство — как свое, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своем штабе прусского Мариенбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок, и смеется над своим генералом Притвицем, издевается над указаниями из Берлина…

Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем «Каннам», которые готовятся нашей армии.

Шофер завернул автомобиль в сторону просеки.

### 4. Вперед – с закрытыми глазами

Еще в июле — до объявления войны — немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России, в небесах — лениво и сонно

— плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было, а солдаты, задирая головы, рассуждали:

— Во, гады, до чего додумались! Мало им на земле пакостей, так они еще в облака забрались…

Теперь, когда почти не осталось свидетелей тех событий, а время безжалостно вытоптало их могилы, писать о трагедии августа 1914 года все равно тяжело. Тяжело и горько! Будем же объективны. Не пристало нам, русским, похваляться успехами, как не пристало и принижать своего противника. «Да ведают потомки православных», что Первая армия Северо-Западного фронта повела наступление на Восточную Пруссию хорошо.

Тут, читатель, без карты не обойтись. Вот древний Кенигсберг (славянский Кролевец), вот и польская Варшава; если между ними провести линию, то где-то посредине ее и отыщем то памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа — судьбу всей Франции! На карте хорошо видны Мазурские озера, а армия Ренненкампфа обходила их с севера, а Второй армии Самсонова предстояло огибать их с юга — так было задумано. Клинья двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское воинство. Париж и

Берлин лихорадило. Толпы берлинцев осаждали редакции газет, ожидая известия о том, что германская армия вошла в Париж, а в Париже французы расхватывали газеты, чтобы узнать — вошла ли русская армия в пределы Восточной Пруссии, когда же они услышат тяжкий грохот знаменитого «парового катка» России?..

Для немцев осталась загадкой быстрая мобилизация русской армии. На самом же деле секрета не было: Петербург послал на битву войска лишь наполовину готовые для войны; командующий фронтом Жилинский, сидя со своим штабом в Волковыске, не желал слышать, что нет походных пекарен, что слаба лошадиная тяга, что мало тяжелой артиллерии.

— Вперед! — указывал он. — Только вперед…

Всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии (8-й армией) командовал генерал фон Притвиц; Мольтке считал его баламутом, которого лучше не трогать, ибо кайзер любил Притвица именно за его бесподобное умение рассказывать бравые «солдатские» анекдоты. Один корпус 8-й армии был целиком составлен из местных жителей-пруссаков, он считался самым стойким, а командовал им генерал Франсуа — потомок парижских гугенотов, искавших в Германии

спасения от резни Варфоломеевской ночи. Полковник Макс Гоффман, презирающий всех, советовал Притвицу не мешать Ренненкампфу «лезть на рожон»:

— Ясно, что у Ренненкампфа генеральная дирекция — на Кенигсберг! Пусть он подальше оторвется от своих границ, пусть от него оторвутся тылы и обозы, а тогда его можно бить, пока с юга не успела подойти армия Самсонова…

Но не таков был генерал Франсуа, чтобы выслушивать советы, даваемые полковником:

— Казаки идут! — кричал он. — Дикари из Сибири!..

Франсуа предъявили первых военнопленных. Вряд ли эти люди понимали столь скорую перемену в своей жизни, но Франсуа тоже не понимал, что под Сталлупененом он разбил только передовой отряд русских, который попросту… заблудился. Тут и смеяться нечего: ведь русскому человеку нетрудно заблудиться в немецкой провинции. Франсуа вышел из себя, увидев перед собой адъютанта Притвица с приказом — отойти.

— Передайте генералу Притвицу, — не покорился Франсуа, — что я отведу войска, когда все русские разбегутся по домам и закроют за собой

двери… Победа близка!

Вторая армия надвинулась на корпус Франсуа в районе двух городов — Гумбинена и Гольдапа; безжалостный «паровой каток» расплющил под собой лучший корпус 8-й германской армии. Узнав об этом, фон Притвиц даже не пошевелился, ибо врачи не советовали ему делать резких движений, а полковник Макс Гоффман пошел в казино и заказал себе десять порций сосисок.

— Так ему, дураку, и надо, — сказал он о Франсуа…

Следует заметить: Франсуа был разбит только офицерами и солдатами Второй армии — без вмешательства Ренненкампфа, который от начала боя и до конца подозрительно долго возился в палатке, отведенной для Марии Соррель.

— Конечно, — говорили офицеры его штаба, — от нашей Гильзы Патроновны так скоро не выберешься… Но это и лучше, что он не вмешивался в наши дела…

Гумбинен (ныне город Гусев) встретил русских настежь открытыми дверями квартир, контор и магазинов, но в них — ни одного человека. Жители, убегая из города, даже не погасили лампы, и город встречал русских ярким вечерним освещением. Кое-кто из немцев, покидая свои дома,

оставил для русских записки, прося, чтобы они не забывали поливать цветы. На кухонных плитах еще не остыли кофейники, к ужину были накрыты семейные столы, наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке. Правда, обстановка им понравилась:

— А хорошо живут немцы! Не сравнить с нашим Крыжополем… опять же — порядок, занавесочки, подушечки, салфеточки. Вот вернусь домой, так накажу своей Размазне Ивановне, чтобы тоже эвдак старалась… Хватит щи лаптем хлебать!

Ренненкампф выбрался из палатки, изможденный завершением планов с Марией Соррель. Ему доложили, что наступать невозможно: все дороги плотно забиты громадными стадами коров, овец и свиней, гонимых жителями к станциям железной дороги. Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы за Вислою, о чем он сразу оповестил ставку Жилинского.

— Можно и расслабиться, — мудро изрек он. — Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы…

Ясно, что Мария Соррель была опытным полководцем. Между прочим от Гумбинена панически

бежал только корпус генерала Макензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Ренненкампфа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики… Притвиц застыл в раздумьях о людской суете, а Макс Гоффман распечатал бутылку с вином.

— Последнее слово за мной, — сказал он. — Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией…

Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ракеты — зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилали дымы пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разный. Не сразу в штабе сообразили, что это сигналы: белесый дым указывал расположение русской пехоты, а темный — артиллерии.

* * *

Вторую армию я застал на марше, когда она, палимая солнцем, двигалась по столь глубоким пескам, что жалко было глядеть на лошадей, которые выбивались из сил, влача через холмы пушки, снарядные фуры и походные кухни. Пруссия была богата железнодорожным хозяй-

ством, но колея германских дорог не совпадала с шириною российских, и чтобы пользоваться дорогами Пруссии, нам прежде следовало иметь трофейные поровозы и вагоны. Падали лошади, в их постромки впрягались люди, помогая себе лошадиными призывами: «Ннно-о… ннно-о…»

Самсонова я впервые увидел мельком, когда он знакомился с пополнением новобранцев, только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молодняком, «Самсон Самсоныч» решил провести опрос жалоб и претензий:

— Не обижают ли вас младшие офицеры?

— Никак нет… рады стараться.

— Получали ли вы свои три фунта хлеба на день?

— Получали, ваше превосходительство.

— Получали ли портянки с сахаром?

— Получали…

И что бы ни спросил их Самсонов, на все следовал ответ: получали. Наконец и генерал заподозрил недоброе:

— Может, и ананасы вам выдавали?

— Давали, — радостно отозвались новобранцы.

— И угря под соусом крутон-моэль?

— Получали…

— Дураки вы все, мать вашу так! — внятно произнес Самсонов и, понурясь, пошел к своему автомобилю…

Начальник самсоновского штаба генерал Постовский («сумасшедший мулла») принял меня сдержанно и без радости, как в нищей семье, и без того несытой, принимают лишнего нахлебника. Молча он ознакомил меня с приказом Жилинского, похожим на понукание: «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 1-ю армию», — писал он, как бы оправдывая Ренненкампфа. Между тем я даже без подсказок Постовского убедился, что армия Самсонова по двенадцать часов в сутки выдирается из песков, но еще не выбилась из графика движения.

— Люди измотаны, — огорченно сказал Постовский. — Мы словно тащимся через Сахару, лошадям нет овса, солдаты голодают…

На привале я подслушал такой диалог солдат:

— Опять чечевица! Раньше-то ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала. А теперича нам суют — русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзаду, а спереду. Оно и видно, что хлебца нам не видать.

— А все они — офицеры! Сами-то небось рисинки кушают, а нам опосля чечевицы даже

ребеночка бабе не сделать…

В направлении на Алленштейн армия выбралась из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольварков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами, подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях, не убраны; громадные просторы топорщились ботвою кормовых бураков. Жители уходили от нас, поджигая свои дома, в загонах оставались стада коров, жалобно блеяли бесхозные овцы. Солдат удивляло, что в домах прусских бауэров были телефоны, а в каждой деревне имелся ресторан, клуб с подмостками и бильярдные комнаты.

— А у нас — што? — рассуждали они. — На завалинке посидишь, с соседом полаешься — вот и все радости…

Это одна сторона дела. Но была и другая. Армию возмущало поведение немцев, бегущих от них, словно от чумы. Солдаты не понимали, в чем дело. Неужели они такие страшные? Все объяснилось очень просто. Пятьдесят тысяч русских, так и не успевших выбраться из Германии, уже были убиты, изнасилованы, ограблены, сидели

в тюрьмах, разлученные с детьми и женами, — и вот, чтобы свалить грехи с больной головы на здоровую, Вильгельм II велел насытить Европу грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись косоглазые орды дикарей, которым ничего не стоит вспороть животы почтенным бюргершам или разбить череп младенца прикладом…

Пропаганда страха перед русскими была поручена пасторам. На стенах домов, церквей или станций висели красочные олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюдца. Под картинками было написано: «РУССКИЙ КАЗАК. Питается сырым мясом младенцев». Однажды на улице Омулефофена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться.

— О чем она причитает? — спросил урядник. — Бьемся с ней, бьемся… ровно припадочная, а

мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно?

— Она просит, — объяснил я, переводя речь задуренной женщины, — чтобы вы не съели ее ребенка, согласная даже на то, чтобы самой быть съеденной вами.

— Да типун ей на язык! — стали материться казаки…

Но постепенно, по мере продвижения армии в глубь Пруссии, эти слухи примолкли, жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись, но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря: «О, Kosaken, Kosaken…» Наши офицеры стыдили их, выслушивая в ответ всякие басни:

— Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водится особая порода зверей — казаки, и ваш царь специально разводит их для истребления немцев…

Брошенные селения понемногу оживали, возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддался этим искушениям, говоря:

— Нет, нет! Мы имеем приказ только поку-

пать…

За один рубль шли три немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали, а военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке пруссаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указал срывать всюду олеографии, изображающие «русских зверей», но я ему отсоветовал:

— Да пусть висят, вам-то что?

— Как что? Зачем эта гадость?

— Для контраста, — пояснил я…

Во время этой беседы в Постовском неожиданно пробудился «сумасшедший мулла», шепотом он предупредил меня:

— Если Александр Васильевич станет обижать вас, вы сразу жалуйтесь мне, а я с ним поговорю как надо…

В ответ на эту глупость я только козырнул, не совсем понимая, зачем Самсонову меня обижать? Меня в это время тревожило иное — не столько сам генерал Самсонов, сколько его армия. Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами.

* * *

У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо, скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет, я знал его за человека честных и твердых правил, он казался мне воплощением силы и прямоты храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем Пржевальского, звавшего его в свои азиатские экспедиции.

— Напрасно я не согласился, — рассказывал мне Самсонов. — Я романтик Востока, и в Азии мне легче дышится… подальше от начальства. Вообще-то, — признался Самсонов, — на мое место прочили Брусилова, и, может быть, Алексей Алексеевич, человек талантливый, лучше меня справился бы на посту командарма… Вы говорите, — продолжал он, — что моя армия бредет с закрытыми глазами? Допускаю. Но сие не от меня зависит. Я повинуюсь приказам Ставки и окрикам Жилинского, который толкает меня в спину…

Судьба баловала Самсонова, но начальство держало его подальше от Петербурга — на задвор-

ках империи. После войны с самураями он был атаманом войска Донского и Семиреченского, потом стал генерал-губернатором Туркестана, немало сделав для развития этого края. Самсонов осваивал новые площади под посевы хлопка, в пустынях бурил артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительные каналы. В солидном возрасте он женился на молодой женщине, имел двух детей. Со вздохом тоскующего мужа Самсонов показал золотой медальон, внутри которого хранились изображения сына и дочери, показал и фотографию жены.

— Мое запоздалое счастье, — сказал он, не скрывая своей любви. — Что бы я делал без этой женщины?..

Мадам Самсонова показалась мне красивой барышней, очень довольной тем, что стала «превосходительной» дамой, которой позволено теперь заказывать платья в Париже у Демулена. Странно, но я запомнил ее облик, что мне пригодилось впоследствии. Пряча фотографию в бумажник, Александр Васильевич вернулся к нашему разговору:

— Вы правы, что бредем с закрытыми глазами. Но что делаете вы, разведка, чтобы открыть нам глаза?

При всем желании угодить Самсонову я не мог похвастать своими успехами, сославшись на отсутствие агентуры:

— Вот, разве что местные поляки, желающие нам победы… иногда помогают. Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, опутывающие Пруссию, словно цепи — опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кенигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже… даже обнаружил их в пчелиных ульях!

Наконец я сказал Самсонову, что были случаи поимки шпионов, переодетых священниками или в женское платье.

— Проверке такие случаи не поддаются, ибо кто же давал мне право задирать юбки на женщинах, вызывающих подозрение? Но разоблачать переодетых иногда приходилось. Их выдавала походка и слишком размашистые движения.

— Вешали? — отрывисто спросил Самсонов.

— Нет. Не вешал. Но одного пристрелил.

— Законно?

— Да, он очень хорошо от меня отстреливался…

В конце разговора Александр Васильевич Самсонов подкупил меня чересчур откровенным признанием.

— Ах, какой из меня полководец? — горестно сказал он. — Жена плохо переносила жарищу в Ташкенте, ради нее вывез семью в Пятигорск, чтобы попить нарзанов. Все было тихо да мирно, вдруг — бац! — этот выстрел в Сараево. Вызывает меня Сухомлинов и говорит: бери армию… Я, — признался Самсонов, — даже одной дивизией не смог бы командовать, а тут сразу — армия, в которой девять дивизий. А из Волковыска жмут: давай, давай, вперед, только вперед. Вот и гоню армию… Верно — с закрытыми глазами!

И об этом тоже «да ведают потомки православных»…

## 5. Обстановка

Постовский оказался дальновиднее других.

— Смотрите! — развернул он передо мной карту, — Жилинский, этот «живой труп» с охладевшим сердцем, вообразил, что после успеха Ренненкампфа у Гумбинена немцы отступают за Вислу, и теперь настоятельно требует от Самсонова отрезать им пути отступления. Ближе к истине будет другое: немцы сознательно открыли перед

Ренненкампфом «дирекцию» на Кенигсберг, а все свои силы массируют против нашей армии… Макс Гоффман — скотина мыслящая!

— Вы не ошибаетесь? — намекнул я.

Постовский превратился в «сумасшедшего муллу».

— Побойтесь гнева Аллаха! — закричал он. — Если в этом бардаке ошибаются все, то я, начальник штаба Второй армии, волею судьбы лишен права делать ошибки…

Английский майор Нокс, приставленный к нам вроде официального соглядатая, не вызывал у меня симпатий. Казалось, его присутствие при штабе Самсонова понадобилось союзникам лишь затем, чтобы подталкивать нашу армию, и без того разогнавшуюся на маршах. Мне претило явное пренебрежение Нокса к нашим солдатам, которые, по его мнению, плохо готовы к войне, ибо никогда не играли в футбол. Нокс не заметил в быту наших офицеров и ни одного теннисного корта.

— Это правда, — согласился я, — что наши офицеры к сорока годам редко сохраняют осиную талию, а нашим солдатам, марширующим с полной выкладкой по сорок миль в день, не до футбола — лишь бы дотянуть ноги до привала.

Но мы, русские, не понимаем и ваших солдат, идущих на войну с пачками разноцветного пипи-факса, не поймем и ваших офицеров, которые тащат в окопы резиновые надувные ванны. Если говорить объективно, — сказал я, — то самые крепкие вояки в Европе — это мы и немцы, и нам одинаково смешно, что французская пехота не может расстаться с красными штанами, а ваши кавалеристы красуются красными мундирами.

— Умирать надо красиво, — заметил Нокс.

Тут меня передернуло. Я вспомнил концлагерь в Трансваале и сказал, что буры сражались в тех же костюмах, в каких пасли скот, а к войне относились, как к охоте на диких животных. Вряд ли мои слова понравились Ноксу, но в ответ он сказал, что английская армия способна наступать только в тех случаях, когда обеспечит свой тыл, когда последний солдат пришьет последнюю пуговицу к своему мундиру.

— А вы? — с усмешкой спросил Нокс. — Ренненкампф не вошел в Пруссию, а просто свалился в нее, словно пьяный в ближайшую канаву. Первая армия едва отодвинулась от границ, как ее обозы уже застряли, и пушкам нечем стрелять…

Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипи-

факс и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало! Моих академических знаний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-прусских сражений.

— Возможно, мне уже не дорасти до понимания Большой Стратегии, которая из подполковника делает полководца. Суть военного искусства даже не в звании! — сказал я. — Бывает же и так, что сельский фельдшер легко излечивает болезни, лечить которые не возьмется самый модный в столице профессор, окруженный сворою ассистентов…

Во многом, очевидно, повинен я сам, ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии к Алленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что, форсируя наступление, мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею, а связи между частями не было… Увы! Об этом даже стыдно писать: армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки, и мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир пруссаков, а кто нас выслушивал на

другом конце провода — об этом можно догадываться…

Наконец, можно считать позорным, что Жилинский, словно кучер, настегивал Самсонова и Ренненкампфа, желая видеть в них своих «рысаков», а эти «рысаки» тянули в разные стороны. Ненавидя друг друга, наши генералы проводили не одну совместную, а сразу две самостоятельные операции. То, что принято в штабах называть «оперативной увязкой» между соседями, полностью отсутствовало, фланги армий не смыкались, а, наоборот, размыкались, и, усиливая их разобщенность, между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже забросанные всякой падалью… Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нем смысла, ибо библиотечные полки ломятся от изобилия книг, в которых все сказано, и, пожалуй, лучше, чем у меня.

В один из дней я допрашивал пленного немецкого офицера, облик которого был словно скопирован с карикатур из юмористического журнала «симплициссимус». Но он оказался достаточно начитан в вопросах военного права и морали военного человека. В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому.

— Если в жизни, — сказал офицер, — мы наблюдаем сплошь да рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильная и более умная нация не способна возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно… Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии?

— В отношении племенного скота вы правы, — ответил я. — Тут я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но… Люди не скоты!

Этот офицер запомнился даже не беседою с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии.

— Я заберу ее у вас, — сразу сказал я.

Это была превосходная топографическая карта, изданная для офицеров рейхсвера еще в 1907 году, когда кайзер проводил в Пруссии маневры своей армии, чтобы попугать Россию. Карта указывала и все фортеции близ Мазурских озер.

— Когда вы нас ждали? — спросил я.

— На сороковой день после вашей мобилизации, учитывая русскую неорганизованность. За этот срок, пока вы наматываете портянки, мы бы успели разделаться с Францией.

— Значит, мы появились вовремя, — заметил я.

— Кстати, Япония объявила вам войну… Как вы к этому относитесь?

Мой вопрос вызвал безудержный смех офицера:

— Никак! Японцы не полезут штурмовать Берлин, а станут обделывать свои делишки в Китае… вот уж о японской угрозе мы, немцы, плакать не будем!

Сообщить о планах 8-й армии в обороне и настроениях в штабе Притвица офицер отказался, а я не имел права настаивать на его признании. В эти дни Самсонов подарил мне хорошую ездовую кобылу — уже под седлом — по кличке Норма, верхом я часто выезжал на передовые позиции, знакомясь с положением дел на фронте. В самсоновской армии были два примечательных генерала, оба из образованных генштабистов. Командир 13-го армейского корпуса Николай Алексеевич Клюев показался мне маловыразительным человеком, наш знаменитый А. А. Брусилов отзывался о нем неважно: умный, знающий, но карьерист и свою карьеру ставил выше интересов России… Клюев жаловался мне:

— У меня большие потери. Все от германских пулеметов… стригут и стригут, словно косят…

Не сам Клюев, а его солдаты вразумили меня в

старой воинской примете. После боя убитые немцы лежали с лицами, обращенными в сторону наступающих, и один ефрейтор сказал:

— Недобрый знак! Видать, драпать придется.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Эвон как лежат… и на нас смотрят. Примета на войне дурная. В нее еще наши прадеды верили и нам верить заказывали. Нехорошо, если убитый враг на тебя зырит…

15-м армейским корпусом командовал генерал от инфантерии Николай Николаевич Мартос, потомок великого скульптора. Это был человек с утонченным лицом русского интеллигента, а узкая бородка придавала ему сходство с Дон Кихотом. За личную храбрость в войне с японцами Мартос был награжден «золотым оружием». Недавно он разгромил из пушек немецкий городок Нейденбург, и я, естественно, спросил Мартоса:

— Была ли в этом крайняя необходимость?

— Иначе было нельзя, — пояснил Мартос. — Немцы выкинули на кирхе белый флаг, а когда мы вошли в город, из каждого окна посыпались пули… Почти всюду засели ландштурмовцы, вооруженные чем попало, даже охотничьими ружьями, а прусские мегеры поливали солдат из окон крутым кипятком… На войне как на войне,

говорят наши союзники-французы, и они правы: щадить противника — не жалеть себя…

Вечерело. Через призмы бинокля я разглядел вдалеке ленту шоссе, по которой посыльные мальчишки мчались куда-то на велосипедах. В окрестных лесах рыскали лающие своры доберманов-пинчеров, натасканных на то, чтобы находить раненых. В лучах прожекторов, которые скрещивались в небе, подобно клинкам в поединке, вдруг ярко высветился русский аэроплан… Вот по этим же дорогам 1914 года в 1945 году снова будут проходить наши усталые солдаты, чтобы штурмовать древнюю цитадель Пруссии — Кенигсберг.

* * *

Над лесными болотами Пруссии, казалось, парил загробный дух Шлифена, словно предвещая крах всему, что он задумал в жизни. Все планы Шлифена рушились, а теперь Притвицу предстояло своей шкурой расплачиваться за хвастовство, с каким генерал Франсуа вовлекал его в позор поражения.

— Лучше бы мне не знать, что случилось…

«Перед нами как бы разверзся ад, — сообщал очевидец. — Врага не видно, только огонь тысяч

винтовок, пулеметов и артиллерии. Части быстро редеют. Целыми рядами лежат убитые… между орудий рвутся снаряды… по полю скачут лошади без всадников. Наша пехота прижата к земле огнем русских», — так писал немец, уцелевший под Гумбиненом, не вписанным в хронику русской военной славы, и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о Гумбинене забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший: «Очень немногие англичане слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа…» Мы не виноваты, что нам достался позор «похабного» мира в Брест-Литовске, а когда сиятельные дипломаты стран-победительниц рассаживались за столом Версаля, русская кровь была списана ими со счетов, как лавочники списывают убыток в товаре на «утруску и усушку»…

…Гоффман, почти злорадствуя, известил Притвица в Мариенбурге, где Притвицу жилось спокойно:

— Что вы скажете об успехах Франсуа и Макензена? Два кретина поработали на славу. Теперь по шоссе к Гумбинену не проехать даже на телеге — все шоссе сплошь завалено трупами наших солдат. Приятно доложить, что запас русской ар-

тиллерии рассчитан по двести двадцать четыре выстрела на один пушечный ствол, но…

— Но сколько же они выпустили? — спросил Притвиц.

— Кажется, четыреста сорок… Теперь за Гумбиненом образовался «слоеный пирог», в котором солдаты лежат, как тесто, а начинкою к пирогу служат наши господа офицеры.

Притвиц, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр 8-й армии был взломан, Самсонов двигал войска к Алленштейну, и Притвиц, далеко не трус, уже видел себя в «мешке» окружения двух русских армий, которые вот-вот сожмут свои железные «клещи»…

— Где? — одним выдохом спросил он.

Макс Гоффман умел читать мысли начальства.

— Вот здесь, — показал он на карте, — под Алленштейном.

— Но Ренненкампф недвижим.

— Зато крайне подвижен Самсонов.

— Вы думаете…

— Я жду, когда все обдумаете вы.

На самом же деле, что бы там Притвиц ни думал, Гоффман надеялся управлять его мыслями, ибо — и это справедливо! — он по праву считал

себя умнее генералов. Притвиц всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте.

— Знать бы нам, — рассуждал он вслух, — надолго ли застрял Ренненкампф в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы, возможно, еще успеем отразить натиск Самсонова… Впрочем, — вскинулся Притвиц от карты, — срочно свяжите меня с Франсуа!

Франсуа он велел немедленно отходить, сознавшись, что не видит иного выхода, кроме общего отступления:

— Пруссию придется оставить… Конечно, жаль оставлять столько добра с молоком и маслом, но это необходимо. Вся восьмая армия займет новые позиции на Висле.

— Но сейчас, — грубо вмешался Гоффман, — уже не мы, а войска Самсонова ближе к Висле. Что ответил вам Франсуа?

— Он сказал, что русские не преследуют его. Но Самсонов не снижает темпов на марше, и может случиться так, что его войска окажутся на Висле раньше нас… Сейчас, — заключил Притвиц, — попрошу всех удалиться из моего кабинета.

— И даже мне? — удивился Гоффман.

— Даже вам. Я буду звонить в Кобленц — прямо в ставку его величества, дабы сообщить Мольтке

о своем решении, ибо вы сами видите, что Пруссия для рейха потеряна…

Макс Гоффман ответил ему на берлинском жаргоне:

— Валяйте, — и, щелкнув каблуками, удалился…

Вскоре мы увидим, что останется от Притвица! Ничего не останется, кроме фамилии… Зато мы, читатель, ознакомимся с двумя воистину историческими персонами. Хочется думать, полковник Макс Гоффман нарочно не сказал Притвицу, чтобы тот не барабанил в Кобленц, чтобы не тревожил своего кайзера… «А пусть они все треснут»! — так, наверное, решил здравомыслящий Макс Гоффман, поглощая одну за другой жирные прусские сосиски.

…В лесах Пруссии следовало ожидать явления «богов»!

### 6. Явление богов

В «клубе господ» — среди господ — сидел господин…

Дело было в Ганновере, а господина звали Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф; лакей подносил ему пиво в персональной кружке, по краям которой плясали веселые чертики с бе-

сенятами. Гинденбург пребывал в заслуженной отставке, а потому, спрашивается, почему бы ему, черт побери, и не выпить? Если пьет всякая нищая мелюзга, так генералу на пенсии сам великий господь бог велит наливать полнее.

Когда человеку 68 лет, торопиться некуда. Если же истории угодно, пусть она сама торопит его, а он лучше посидит дома, читая газету. Гинденбург не ведал своей судьбы. Сразу предупредим читателя: отставная шваль не представляла собою ничего замечательного, но в тех случаях, когда посредственность обретает значение великой личности, тогда любая тварь истории невольно делается превосходным явлением.

Итак, наш генерал пребывал в гордом унынии отставки, сохраняя невозмутимость камня, отодвинутого в сторону от большой дороги. Похвальное качество! Именно оно и решило судьбу Гинденбурга… Ставка кайзера находилась в Кобленце, и там, гордые успехами на западе, еще мало думали о делах на востоке. Однако Мольтке предупреждал Вильгельма II, что никакие успехи на западе не будут чего-либо стоить, если «русский медведь», выбравшись из берлоги, встанет на задние лапы. В Кобленце считали, что судьба Франции уже решена, а после взятия Парижа

можно развернуть армию на восток; совершенство железных дорог Германии было неоспоримо, ибо их тянули не хапуги-подрядчики (как в России), а над ними поработали умнейшие головы аналитиков-генштабистов.

Истерический звонок генерала Притвица из прусского Мариенбурга даже не вывел, просто вышиб Мольтке из равновесия. Притвиц докладывал, что 8-я армия еще способна, наверное, унести ноги за Вислу, но он, ее командующий, уже не ручается, что 8-я армия на Висле удержится. Мольтке, вконец ошарашенный, перебирал варианты спасения.

– *Притвица убрать* ... за полный развал фронта! На его место сгодится любой бездельник из отставки, зато штабом должен руководить человек небывалой энергии...

— Там уже есть Макс Гоффман, — подсказали Мольтке, — руководящий оперативным отделом штаба.

— Гоффман в Мариенбурге и останется, — решил Мольтке. — Но Гоффман не годится, ибо способен только критиковать... Вы же сами знаете, какой у него отвратный характер!

Как раз в это время в Бельгии пал Льеж, взятый Эрихом Людендорфом, который теперь при-

ступил к осаде крепости Намюра. Людендорф когда-то был адъютантом Мольтке.

— Срочно отзовите Людендорфа из-под стен Намюра.

Людендорф прибыл в Кобленц моментально, еще не остывший после горячки боя с бельгийцами.

— Вы, — сказал ему Мольтке, — не будете отвечать за то, что случилось в Восточной Пруссии, но вы будете ответственны за все, что случится с Пруссией. Сейчас нам требуется для работы в штабе человек с вашими нервами…

Понятно. Людендорф спросил:

— Если генерал Притвиц вылетит на свалку, то кто же будет командовать Восьмой армией?

— Для этого нужен человек без нервов. Такого мы ищем, перебирая списки отставных генералов… Пока мы нашли только один застарелый пень, который еще не догнил до конца. Зная ваш горячий характер, Эрих, я понимаю, что командующий армией не должен мешать вам… — И Мольтке назвал: — Гинденбург!

Очевидец выбора Гинденбурга писал: «Единственной причиной его избрания было то обстоятельство, что при его флегматичности от него ожидалось абсолютное бездействие, дабы

предоставить полную свободу Людендорфу». Пригодилась и такая подробность: Людендорф хорошо владел русским языком, а Гинденбург, уроженец прусского Позена, достаточно хорошо понимал русский язык. Вильгельм II, живший в Кобленце, сразу принял Людендорфа и оснастил его мундир орденом «Пур ле мерит», выразив уверенность в скорой победе.

— Я, — напомнил кайзеру Мольтке, — уже послал телеграмму Гинденбургу… может, вы его примете тоже?

— А зачем мне этот старый болван? — отвечал кайзер…

Берлинским газетчикам не стоило труда живописать подвиги генерал-майора Эриха Людендорфа, которому исполнилось сорок лет: вся жизнь впереди! Зато они здорово попотели, чтобы представить Гинденбурга в наилучшем свете. Сначала его просто не отыскали в списках генералов рейхсвера. Перерыли все что можно — никаких следов. Наконец случайно встретили его на букве «Б»: Гинденбург начинался с Бенкендорфа.

— А-а-а! — обрадовались газетчики. — Это же родственник графа Бенкендорфа, того самого, что был на святой Руси шефом корпуса жандармов и

умер от нервного изнурения, истощив свои силы в борьбе с крамолой… Пишем!

Имя Гинденбурга стало приобретать особый блеск, доступный лицезрению немецкого читателя. Но тут случилась беда. Гинденбург за время отставки здорово растолстел от пива, штаны на нем никак не сходились. Жена Гертруда с двумя дочерьми (которым позже Гитлер столь нежно лобызал ручки) срочно кинулись вшивать в штаны генерала обширные клинья. В самый пикантный момент примерки расширенных штанов Гинденбурга обеспокоил почтальон с новой телеграммой от Мольтке.

— «Пур ле мерит»? — с надеждой спросила жена.

— Пока не награждают. Но Мольтке диктует мне сесть на ганноверский поезд, который отходит в четыре часа утра, а этот зазнайка Людендорф встретит меня в пути.

— Могли бы и уважить твои годы… орденом! — недовольно ворчала жена. — Смотри, тебя не приглашают даже в Кобленц, а сразу гонят на вокзал…

«Бракосочетание» Гинденбурга с Людендорфом, начальником его штаба, произошло именно на вокзале в Ганновере. Людендорф одним прыжком

выскочил из салон-вагона, прицепленного к мощному локомотиву, а навстречу ему, не ручаясь за сохранность штанов, двинулся сосредоточенный Гинденбург, и первые его слова были таковы:

— Что ты скажешь?..

Людендорфу было что сказать, ибо, выехав из Кобленца, он по документам изучил обстановку на фронте Восточной Пруссии, и потому Гинденбург, выслушав его доклад, сказал:

— Лучше и не придумать! Пошли спать…

Они уселись в салон-вагоне экспресса, который сразу помчался в сторону Берлина, где их компанию хотела оживить прекрасная Маргарет — жена Людендорфа.

— Ей очень хочется поглядеть на мой новый орден, а потом мы выставим ее на перрон, — обещал Людендорф. — Теперь же я позволю изложить наши ближайшие планы…

Он сообщил, что армия Ренненкампфа — по материалам ставки Кобленца — начала подозрительное отклонение в сторону Кенигсберга, уже далеко оторванная от Самсонова грядою Мазурских болот и озер, а Самсонов по-прежнему гонит свои войска на запад, словно желая отрезать 8-й немецкой армии пути отступления.

— Я не вижу иного выхода, кроме одного: снача-

ла обрушиться на армию Самсонова, выдвинутую вперед, чтобы использовать его отдаленность от армии Ренненкампфа…

Гинденбургу хватило терпения лишь на 15 минут.

— Ты здорово соображаешь, — похвалил он докладчика. — Но пойми правильно и меня — я должен сначала выспаться…

Маргарет, подсевшая к ним в Берлине, сама пожелала покинуть их в Кюстрине, и с перрона помахала мужу ручкой. Женщина не выдержала пытки скукою мужских разговоров. Позже, скандально разводясь с Людендорфом, она сообщила в своих мемуарах, что в такой компании тупиц и дураков, какими были Гинденбург с ее мужем, ей бывать еще никогда не приходилось. Так что она без сожаления рассталась с ними… Экспресс наращивал скорость, приближаясь к Мариенбургу, где располагалась ставка 8-й армии.

— Проснитесь, генерал, — с трудом разбудил Людендорф своего командующего. — Нас, кажется, встречают…

Среди встречающих был и Макс Гоффман.

— Явление богов, — саркастически заметил он, когда вслед за громадною тушей Гинденбурга появилась фигура Людендорфа, оснащенная выс-

шим военным орденом Германской империи…

Гинденбург первым делом спросил встречающих:

— Все ли в порядке? Где тут можно выспаться?..

(Впоследствии Макс Гоффман, сопровождая ротозеев-туристов по местам боев Восточной Пруссии, никогда не терял твоего превосходного остроумия: «Вот на этом стуле фельдмаршал любил дремать до битвы при Танненберге, на этой кровати он крепко спал после битвы, и, между нами говоря, тут он всхрапнул во время битвы… Пойдем дальше! Я вам покажу места, где выспался наш легендарный полководец…»)

Всегда останется насущным здравый философский вопрос:

— Собака крутит хвостом или хвост крутит собакой?

То, что Людендорф раскручивал Гинденбурга как ему хотелось, это объяснять не приходится. Но тогда возникает вопрос: кем же будет крутить Макс Гоффман?..

Гоффману можно и посочувствовать: вертеть Людендорфом так, как он крутил Притвицем, ему было труднее, хотя он еще не терял веры в свои силы. Когда-то они оба проживали в одном

берлинском доме и, кажется, не могли похвастать добрососедскими отношениями, — недаром же Людендорф ворчал: «Мало, что я имел Макса своим соседом, так теперь вижу в своем оперативном отделе». При появлении в Мариенбурге Людендорф напомнил:

— Надеюсь, вами исполнен мой приказ, переданный мною еще из Кобленца, чтобы Франсуа и вся армия скорее оторвались от противника, дабы переформироваться заново.

— Да, — отвечал Гоффман, — но такой же точно приказ я отдал еще раньше из Мариенбурга, а ваш приказ из Кобленца лишь подтвердил правильность моих распоряжений…

Людендорф тогда же, наверное, решил, что, если станет писать мемуары, так имени Гоффмана даже не упомянет, будто его и не было. В их соперничестве побеждал все-таки Гоффман, и как ни крутил своим хвостом Людендорф, но его предначертания каким-то образом всегда выглядели лишь повторением приказов Гоффмана, из чего можно сделать вывод: полковник Гоффман был той собакой, которая с большим умением крутила хвостом — генералом Людендорфом, а Людендорф раскручивал самого Гинденбурга.

Между тем Гинденбург недаром получил

прозвище «Маршал Что Скажешь»; при любом вопросе он поворачивался к Людендорфу:

— Что ты скажешь? Лучше нам не придумать…

Чтобы раз и навсегда избавиться от влияния Гоффмана, Людендорф, минуя оперативный отдел, общался лично с командирами корпусов, используя телефоны и телеграф. Гинденбург не вмешивался. Он настолько закостенел в прошлом, которое было лучше настоящего, что один вид телефонного аппарата вызывал у него тошнотную слабость.

— Пусть этой штукой пользуется молодежь, — говорил он, — а мы при Седане побеждали своей глоткой…

Людендорф не отвечал за то, что натворил до него Притвиц, но он становился ответственным за все после удаления Притвица. Следовало принять решение — почти фатальное, от которого будет зависеть не только его карьера, но, пожалуй, и весь ход войны — как на востоке, так и на западе. Людендорфу снились еще бельгийские пожары, во сне бельгийские франтиреры стреляли в него из окон своих квартир.

— Когда же увижу прусские сны? — говорил он…

На разъездах и станциях между Инстербургом

и Кенигсбергом нервно покрикивали паровозы. Одни эшелоны разгружались, другие грузились заново — пехотой, пушками и тюками прессованного сена для кавалерии: 8-я армия перетасовывала свои дивизии, словно опытный шулер карты, чтобы начать всю игру сначала. Некоторые части ландвера и ландштурма (из местных жителей) были сознательно распущены по домам, но вместе с оружием.

— Побольше ярмарок! — наказывал Людендорф. — Русские охотно поддерживают прежнюю торговую жизнь, чтобы народ торговал и веселился… Этим надо воспользоваться! В нужный момент вы прямо с ярмарочных площадей ударите им в тыл — взводами, ротами, батальонами…

Навещая Гинденбурга, Людендорф информировал его:

— Ренненкампф после ошеломляющего успеха при Гумбинене мог бы делать из нашего мяса отбивные котлеты, но вместо этого он снова застрял, даже не преследуя отступающих.

— Не могу уснуть, — жаловался Гинденбург. — Опять всю ночь лаяли собаки… откуда их столько?

Это лаяли своры доберман-пинчеров. Немецкая войсковая разведка рыскала по местам недавних

боев, обшаривая карманы и сумки убитых русских офицеров, все документы без промедления поступали в штаб Людендорфа. Он планировал операцию по разгрому армии Самсонова на юге Пруссии, которую еще до него спланировал Гоффман, но… сомневался.

— Можем ли мы, собирая силы на юге, игнорировать армию Ренненкампфа, нависшую с севера подобно грозовой туче? Собрав все войска против одного Самсонова, — рассуждал Людендорф, — мы рискуем оголить пути, ведущие к Кенигсбергу, а «желтая опасность» в лице Ренненкампфа может развернуться, чтобы раздавить нас всех…

Макс Гоффман выложил перед ним оперативный план русских, подписанный Жилинским, и его перехваченную радиограмму, найденную в портмоне убитого офицера. «Энергично наступайте, — заклинал Жилинский Самсонова. — Ваше движение навстречу противнику, отступающему перед армией Ренненкампфа, имеет цель пресечения немцам отхода к Висле».

— Что вы скажете? — ухмыльнулся Гоффман.

— Все не вяжется.

— А не вяжется потому, что Ренненкампф врет, — объяснил Гоффман. — Он врет, обманывая Жилинского, а Жилинский, обманутый Рен-

ненкампфом, невольно обманывает Самсонова. Ренненкампф давно потерял соприкосновение с нами, но продолжает врать Жилинскому, будто он нас преследует. Я все продумал… все, пока вы гостили в Кобленце.

Людендорф проглотил обиду. Он еще сомневался:

— Не случится ли так, что Самсонов, попав под наш первый удар, призовет на помощь армию Ренненкампфа, и тогда вся наша Восьмая армия окажется в мешке русских…

Пришло время смеяться Гоффману:

— Ренненкампфа я лично знаю по битвам на полях Маньчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту: какой разрыв между армиями русских, и мы этот разрыв должны использовать… *Ренненкампф не придет!*

7. СЛЫШУ ГОЛОС ТАНГЕЙЗЕРА…

Прошлое имеет привычку как бы перекликаться с будущим — это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу.

Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам, что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и

никому не известный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого «Вольфшанце» («Волчье логово»). Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти…

Сейчас там тихо. Даже трагически тихо в болотистых лесах, что лежат близ мазурского Кенштына, а земля бывшей Пруссии стала землею народной Польши, но она, эта земля, не сберегла ни черепов, ни братских могил русских солдат, павших здесь в августе 1914 года.

Не остались в живых и восемнадцать тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию.

Теперь там — на месте минных полей — сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте «Вольфшанце» остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы и ради каких целей разобрали здесь

эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже, и теперь из Кенштына катят нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время войны прятался Гитлер.

Но разве не символично, что он избрал для себя «Волчье логово» именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая великая битва первой мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова. Но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами, те самые «волки», которых мы выгнали из «Волчьего логова»…

Говорят, что теперь там часто поют соловьи.

* * *

Случилось это после страшного рукопашного боя…

Ночь была прекрасная. В глухом лесу — на бивуаке — я выбрал кочки посуше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал Норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом. Я уже засыпал, когда лес пронизало диким, почти истошным воплем… Я схватился за револьвер:

— Что там? — вскинулся я, спрашивая солдат.

— Да кто ж его знает? На то и война…

Я снова улегся на попону, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию Тангейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик — это еще можно понять, но чтобы вот здесь, в этих чащобах Пруссии, давали бесплатный концерт… это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли, возмущенный:

— Во, зараза какая! Не даст поспать… нашел время!

Я проверил барабан револьвера, мне сказали:

— Вы куда? Не надо ходить.

— Почему?

— Да страшно как-то.

— Мне тоже. Однако певец-то отличный… Ведь не граммофон же там кто-то заводит…

Я осторожно вошел в лес, следуя на призыв поющего голоса. Тангейзер — великий миннезингер XIII века, о котором в немецком народе слагали легенды, вдохновившие Вагнера, и вот теперь, казалось, он подзывает меня к себе. Из-за туч пробилась лунища, осветив лесную поляну, на которой я увидел немецкого офицера без фу-

ражки. Лицо его было гладко выбритым, как у актера, и, прижав ладонь к сердцу, он хорошо поставленным голосом изливал свою душу в любовной арии. Наверное, решил я тогда, передо мною оперный певец, призванный из запаса, который так потрясен ужасами войны, что, бедняга, спятил… Я невольно заслушался его пением.

Но тут подо мною громко хрустнул сучок, певец смолк.

— Браво, браво, — неожиданно сказал я, похлопав в ладоши. — Сегодня вы превзошли сами себя…

Немецкий офицер как-то слепо-безумно смотрел на меня.

— Я — великий Тангейзер, — отвечал он вполне серьезно. — Но боюсь, что Елизавета ко мне уже не вернется.

У меня не оставалось сомнений: это был сумасшедший. Тут я заметил, что глаза певца полны слез, и во взоре невыразимая мука… Надо было увести его из леса.

— Я не хочу вам льстить, — сказал я. — Но директор театра послал меня к вам, чтобы продлить контракт до конца сезона… Поверьте, он ждет вас… пойдемте!

Но едва я сделал попытку увлечь его за собой,

как певец вырвался из моих рук и, ломая кусты, скрылся в лесу, и долго-долго потом я слышал из мрака его чудесное пение…

Наверное, я был последним, кто слышал его голос!

## Постскриптум № 6

Как говорили великие ораторы древности, «вернемся к нашим баранам»… Пора нам покончить с Ренненкампфом!

Я не желаю интриговать читателя, чтобы он гадал — а что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрывать перед ним свои карты. Паче того, в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано…

Когда судьба армии Самсонова была уже решена, Ренненкампф не стал ждать своей очереди и подлейше бросил свою армию на произвол судьбы. Конечно, он забрал с собою Марию Соррель, вместе с нею уселся в автомобиль, который и умчал счастливых любовников в глубокий тыл. За такую активность Ренненкампфа с позором изгнали из числа русского генералитета — как труса, обманщика и невежду. Правда, царь пытался защищать своего любимца, но его дядя,

великий князь Николай Николаевич, доказал царю, что Ренненкампф всегда был большой сволочью, а вместе с ним виноват и командующий фронтом Жилинский…

Английский историк Ричард Роуан писал, что предательское поведение Ренненкампфа известно, «но никому и уже никогда не удастся установить, в какой мере вина за катастрофу армии Самсонова падает на генерала, а в какой — на коварную шпионку Марию Соррель». Да, мы не знаем, какова роль этой женщины в сдерживании Ренненкампфа, чтобы он не спешил на штурм Кенигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова… Разоблаченная офицерами штаба Первой армии, Мария Соррель нашла свой конец в прусских лесах, повешенная на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры!

Осталось разобраться с П. К. Ренненкампфом…

* * *

Место действия — Таганрог, время — март 1918 года.

Ф. И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался в огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, не замечен в

пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Ковырялся в земле — больше для приличия.

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, но боялся и красных, зато поджидал немецких оккупантов:

— Вот немцы придут, кулаком трахнут — порядок будет!..

Но сначала кулаком трахнули ночью в двери его дома:

— Гражданин Смоковников, откройте… телеграмма…

Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты:

— Гражданин Смоковников, вы… Ренненкампф?

— Впервые слышу. Какой еще там Рененене…

— Ну, пойдемте. Хватит дурака валять…

Боровоподобная личность «желтой опасности» была настолько выразительна, его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года:

— Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?..

Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская разведка тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, что за гибель армии Самсонова ему пришлось держать ответ уже перед Советской властью… Возмездие было неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор.

«В расход!» — как говорили тогда…

# Часть третья
# При исполнении долга
## Глава первая
## Долгий путь

*Долгий путь. Он много крови выпил,*
*О, как мы любили горячо -*
*В виселиц качающемся скрипе*
*И у стен с отбитым кирпичом.*

***Ник. Тихонов***

НАПИСАНО В 1942 ГОДУ:

...под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом «28-м бюллетене». Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно,

что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе вшей, обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений…

А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан, лекции занимали лишь четыре часа в неделю. Чувствовалось, что моя неприкаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки.

— Мне, — заявил я в особом отделе, — не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает Отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор… Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгардта, я действительно вышел прямо на Целлариуса… Не понимаю! Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатом.

— У вас другие фронты, — ответили мне…

Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупицами народной мудрости. Сначала мне ядовито

намекнули на мои расхождения с начальством:

— Говорят, вы не исправились.

— Но я же не ребенок, чтобы, нашалив, исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня, и не вам меня перекраивать.

— А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высокой доверенностью партии и народа?

— Я старею. Семьи нет. Дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накормят. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга.

— Честным… ведь вы были в немецком плену?

— При царе это не считалось вселенским позором, напротив — мученичеством, и бывших в плену награждали орденами.

— За что? За трусость?

— Простите, — обиделся я, — тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен…

Это озадачило моих собеседников:

— А вас взяли в плен? Или сдались сами?

— Сам… На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки…

Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет Хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленный в золотую раму. Тут рассуждали более откровенно.

— Сколько у вас было орденов?

— До революции?

— До.

— Много! Но в семнадцатом я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же наград имею лишь нагрудный знак «XX лет РККА».

— У вас отличные аттестации по службе до революции.

— А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет, так, наверное, чего-нибудь стоил… Не так ли?

— Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть?

Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа — без экивоков:

— Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов.

Ответ был малоутешительным для меня:

— Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тито, там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот… Ведь вам уже далеко за шестьдесят.

— Но еще не семьдесят же, черт побери! — чересчур горячо возразил я. — Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке оказывая немалые услуги отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалуюсь.

— Хорошо, — закончили разговор. — Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго…

Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран.

— Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране?

— Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины — ароматные, как розы Исфагана.

— Вот и хорошо, — сказали мне. — Сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки…

* * *

Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами абвера, активность которых вызвала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана с воем пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы, а немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками… В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтиаров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато абвер расплачивался с ними чистым

золотом.

Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково, маршал Тимошенко оставил там 480 000 человек и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавались, что 90 000 «пропали без вести». Вермахт двигался на Сталинград! Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами, город на Волге стонал от рева скота, гонимого на восток, все были взволнованы самыми мрачными слухами.

Мы летели через Астрахань и Баку, наш «дуглас» основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником «Русский в Персии», изданным до революции, и теперь зубрил:

— Кэнди вэ чай дарид? — есть ли у вас чай с сахаром? Бераи бенда лехаф-э-э-табистани лазим ест! — прошу дать одеяло…

В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу абвера на границах

с Индией и СССР. Посадка нашего «дугласа» в сильно разреженном воздухе Тегерана показалась мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан; здесь же, под крыльями самолетов, сновали юркие «джипы» и «виллисы» с хохочущими и орущими «томми». Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь «дугласа» пахнуло такой жарищей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понравившуюся мне персидскую поговорку:

— Самый вкусный виноград всегда достается шакалу…

Английский контроль. Я предъявил документы — ревизор Управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и безрукавке едва глянул в бумаги, спросив меня по-русски:

— Долкая дорога… верно, папаша?

— Долгая, сынок, — ответил я в том же духе.

Но это мимолетное «папаша» еще раз напомнило мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии «Русско-иранского банка», солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обра-

щений, а теперь — в роли московского ревизора — я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен, что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Т[уманову], который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране…

На выходе с аэродрома Т[уманов] ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами, сверкали витрины фешенебельных магазинов, в нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам; среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды.

— Вас прислали… — начал майор Т[уманов].

— …в помощь вам, — опередил я его вопрос.

При этом объяснил: мои задачи просты, хотя и хлопотливы — я должен установить связь с влиятельными белоэмигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни, мне следовало наладить контакты и с богатой армянской колонией, которая душою всегда была близка армянам нашего Еревана.

— Может быть, — сказал я Т[уманову], — кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам…

Т[уманов], легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов абвера не выдадут:

— Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за «освободителей мусульман от британского и русского империализма» — старая песня, известная нам со времен кайзера! Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают — через Кавказ — объединить свои армии с армией Роммеля, которая — через Каир — выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее — прямо на Индию… В каком вы звании? — вдруг спросил Т[уманов].

— Всего лишь генерал-майор.

Машина в его руках рыскнула в сторону.

— Простите, — сказал Т[уманов], — я ведь только майор, а Москва велела принять вас как своего подчиненного.

— Все верно. В таком деле, каково наше, чинопочитание излишне. Я охотно исполню все ваши указания.

— Благодарю. Вот и «Континенталь», где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить: Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений — звоните…

Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком.

— Каковы ваши первые впечатления от Персии?

— О! — воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которые я никогда не читал. — Пьер Лоти прав: розы благоуханны, персиянки очаровательны, а лохмотья нищих по-рубенсовски живописны… Итак, с чего мы начнем?

— Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах.

— Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени? Знаете, я человек в летах, а тут… такие шеншины… такие шеншины! Где мне, старому петербуржцу, устоять перед ними?..

Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловелас и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил

связи, нужные для группы Т[уманова]. От этих встреч с «нужными» людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышколенных официантов, надрывные возгласы джазов, а в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко — как самое сокровенное:

— Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем, и обязательно напомню ему о ваших заслугах…

Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура абвера связывалась с фон Паленом, гитлеровским послом в Стамбуле; мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во 2-м отделе абвера на Тирпицуфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось… В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня

к стене здания, интуитивно я загородился от них портфелем.

Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет; а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Т[уманова]:

— Скажите, чтобы Сергей Сергеевич приехал…

Меня поместили в английский госпиталь. Т[уманов] спросил:

— Вы запомнили лицо стрелявшего?

— Кажется, его лицо было русского типа.

— Лежите. Самолет в Москву будет вечером…

Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом муллы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом — могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратно домой я летел уже над калмыцкими степями, и в районе Элисты по нашему «дугласу» во всю ивановскую жарили немецкие зенитки…

* * *

Орден боевого Красного Знамени мне вручили

уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем не нужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена, как своих ушей…

Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл — в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь без тепла и уюта, с мучительным ожиданием весточек от мужей, с рыданиями женщин при вручении им похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стыли древние леса, картины русской провинции оживали передо мною в порушенных храмах без куполов, в запустении старых гостиных лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпитали. Было морозное утро, кружился мягкий снежок, когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившегося дымками печных труб. Здесь в годы войны — за очень высоким забором — располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов, а

я был назначен руководить этой школой… Мне выделили квартиру в городке; с утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимоновна, меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой в день получения мною генеральского пайка. Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежное, то свирепое «мурлы-мурлы» с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ.

Школа считалась интернациональной, в ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев, в основном это была молодежь, и мне нравилось с нею общаться. Группы курсантов, уже готовые для работы в немецком тылу, я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно, и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность: я ведь невольно вспоминал молодость…

В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрел и до станции. В зале ожидания возле холодной печки сидела изможденная женщина, вокруг шеи которой, словно веревочная петля, была обвита старая

шкурка лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки. Вещей с ними не было, и поначалу я принял их за беженцев. Мне казалось, они так и останутся здесь, обреченные на тихое умирание. Что-то больно кольнуло мне в сердце.

— Куда вы едете? — спросил я женщину.

— Не знаю… мы теперь ничего не знаем.

— Билет у вас в какую сторону?

— Нет у нас билетов. Нет и никогда их не будет.

На меня с надеждой воззрились девочки. Чего они ждали от меня? Чудесной посадки на поезд? Или… куска хлеба?

— Продуктовые карточки у вас при себе? Тогда их можно отоварить, — подсказал я. — Утром, когда откроются магазины.

— Нет у нас карточек, — отвернулась женщина…

Руками без перчаток, посиневшими от стужи, она перебросила облезлый хвост лисы через плечо. Даже кокетливо!

— Кто вы и откуда? — спросил я.

— Мы… немцы, — услышал я. — Мы… высланы.

Не знаю почему, но в этот момент мне вспом-

нилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молча я вышел из зала ожидания. Постоял на перроне. Вернулся обратно.

— Но так же нельзя! — заговорил я. — Вы тут замерзнете… погибнете. Без билетов, без денег, без карточек.

— А кому нужны мы теперь? — вопросила женщина.

— Мне! — выкрикнул я так, словно отдал приказ…

Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота:

— Иди к чертовой бабушке… Дарья Филимоновна, — велел я на кухне, — ставьте самовар да печи топите пожарче…

Я сам накрыл стол. Смотрел, как пугливо едят женщина и ее дети. Чувствовал, что они боятся уйти из моего дома.

— Вы останетесь здесь, — сказал я женщине. — Вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь. Как-нибудь проживем…

…Боже, как поздно я обрел тихое семейное счастье!

## 1. «Цо то бендзе?..»

Французское правительство покинуло столицу,

вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бордо, отчего французы, не потеряв остроумия, называли министров «говядиной по-бордоски»; вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст «Марсельезы»:

*К вокзалам, граждане!*

*Дружно штурмуем вагоны…*

В утешение парижанам газеты публиковали карты Восточной Пруссии, на которых мощная стрела русского наступления врезалась графическим острием прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далекой России, нежели от ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное, и когда французские врачи наугад вскрыли несколько трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натощак атакуя французов. Шлифен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка.

За широкие планы Шлифена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлозу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим паролем названия русских городов, и на выкрик «Москва» они отзывались именами Рязани и Калуги…

В коалиционных войнах трудно найти примеры, чтобы союзник жертвовал собой ради успехов союзника. Но август 1914 года убедил весь мир в том, что Россия свято верна союзническому долгу. В эти дни Петербург информировал Париж: «*С удовольствием* констатируем факт переброски немецких сил *против нас*, чем облегчается положение французов…» Даже французский маршал Фердинанд Фош уж на что не любил делить свою славу, но и тот вынужден был открыто признать:

— Именно русским солдатам мы всегда останемся благодарны за то, что имеем право гордиться «чудом на Марне»…

Между тем в прусском Мариенбурге полковник Макс Гоффман объяснял пассивность Реннен-

кампфа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Ренненкампфу по морде:

— Не думайте, что Ренненкампф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за свое публичное унижение…

Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга.

— Решайтесь, мой генерал, — сказал ему Людендорф.

— Я как ты скажешь, — мудро отвечал Гинденбург…

Самое пикантное во всем этом: хотел того или не хотел Людендорф, но так уж получалось, что все-таки не собака крутила хвостом, а хвост раскручивал собаку, — Людендорфу поневоле приходилось следовать за мнением Макса Гоффмана:

— Именно на том убеждении, что Ренненкампф не придет на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию…

Неизвестно кто, Людендорф или Гоффман, но один из них подошел к телефону, на чистом русском языке сказал:

— Генерал Клюев? Здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич, рад вас слышать… К сожалению, обстановка изменилась, вашему корпусу при-

дется отступить назад. Понимаю, понимаю… отступать всегда неприятно. Но — что поделаешь? Так надо…

* * *

…неоправданные потери в пехоте, особенно среди офицеров, бравировавших своей лихостью, считавших особым шиком дефилировать с сигарой в зубах под косящим огнем вражеских пулеметов. И все лишь ради того, чтобы не прослыть трусом и заслужить прозвище «молодчага». Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской офицер шел впереди солдат, помахивая тросточкой или былинкой травы, почему самая первая пуля доставалась непременно ему. Выговоры не помогали:

— Я же офицер, черт возьми! — оправдывались «молодчаги». — С кого же, как не с меня, брать пример солдату?..

Предгрозовые дни августа застали меня в ухоженном и уютном Нейденбурге, где немки почтительно кланялись нам, русским офицерам, а поляки снимали шляпы; по вечерам немцы закрывались на все запоры, а поляки, до нашего прихода в Пруссию принужденные говорить по-немецки, теперь свободно распевали гимны

своей стародавней вольности:

*Плыне, Висла, плыне*
*по польской крайне,*
*а допуки плыне,*
*Польска не загине…*

Постовский руководил самсоновским штабом тоже из Нейденбурга, недалеко от границы с Россией, и настроение «сумасшедшего муллы» было далеко не из лучших. Он сказал:

— Когда старый козел гоняется за молоденькой козочкой, тогда всем нашим козляткам бывать сиротами.

— Вы намекаете на Павла Карлыча? — спросил я.

Постовской протирал стекла пенсне с таким старанием, как артиллерист оптику боевого прицела родимой пушки.

— Да, — ответил не сразу. — Я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в пятом году, когда они играли незавидную роль карателей. Может, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся… Ренненкампф уже попался (и не раз) на грязных махинациях с продажными интендантами, а теперь не стыдится таскать за собою

молодую красивую сучку, словно желая доказать подчиненным и всем нам свое геройское «молодечество»…

Самсонов удивлял меня своей выдержкой и, даже ненавидя Ренненкампфа, никогда не бранил его открыто, признавая в нем своего боевого соратника, обязанного прикрывать его армию с правого фланга. На рабочем столе Самсонова я видел раскрытый том Масловского о Семилетней войне, когда Восточная Пруссия покорно присягнула на верность России, и рукою моего генерала были жирно подчеркнуты в тексте слова графа Шувалова, сказанные еще в 1760 году: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга достать Берлин всегда можно…»

Я доложил данные разведки, которые никак не могли вызвать радостных эмоций. Активное перемещение немцами эшелонов за линией фронта казалось мне подозрительным.

— Вы меня не пугайте, — грузно поднялся Самсонов и, достав платок, смачно в него высморкался. — Русские генералы с детства пуганные… всякими сказками.

— Извините. Я не вправе вмешиваться в ваши распоряжения. Но мне думается, что 13-й корпус генерала Клюева, как и 15-й корпус генерала Мар-

тоса, рискованно выдвинулся вперед, а «бедным михелям» никак не смириться с потерею Алленштейна, этого важного узла железных дорог всей Пруссии.

— Алленштейн… как его историческое название?

— Олштын — древний польский город, когда-то столица епископов… Наконец, — договорил я, — наши буквенные коды, придуманные для развлечения младенцев, надо полагать, уже давно расшифрованы немцами, а штаб вашей армии, смею заметить, ведет переговоры по радио даже открытым текстом…

Самсонов, явно раздраженный, захлопнул книгу.

— Клюев чего-то попятился назад, — сказал он, — хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери. Николаю Алексеевичу, наверное, стало жалко солдат.

— Мне тоже их жалко. Тем более что наши солдаты четверо суток не видели хлеба. Там, в Алленштейне, пять пивоваренных заводов, но одним пивом сыт не будешь…

Самсонов признал, что обозы безнадежно отстали, а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями. Но подвоза не было: узкая

колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Жилинский из Волковыска не скрывал, что все эшелоны с боеприпасами и провизией застряли где-то возле самых границ, образовав страшную «пробку» за Млавой.

— Если пробка, — диктовал Самсонов, — пускай сбрасывают вагоны под откос, дабы освободить пути под новые эшелоны.

Жилинский отбил ответ по телеграфу, что за Млавой откоса не имеется. Вся эта дурацкая перебранка происходила на моих глазах. Самсонов вызвал к себе Нокса.

— Дорогой майор, — сказал он ему, — вы уже достаточно пронаблюдали за успехами своей армии, а теперь… Теперь, я думаю, вам лучше бы покинуть армию.

Впоследствии Нокс, ставший генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака, а тогда, еще скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало не праздное любопытство:

— Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха.

— Это вам не удастся, — грубо ответил Самсо-

нов, так грубо, словно отпихнул Нокса от себя. — Ваша армия слишком далека, а я не способен координировать свои действия даже с Жилинским и, стыдно сказать, даже со своим соседом по флангу…

Нокс, кажется, был смущен. Европейцы всегда много болтали о «загадочной русской душе», парижане восхваляли особый «славянский шарм», а Нокс выразился о нас конкретнее.

— Все русские похожи на сумасшедших, — сказал он, когда мы покинули штаб Самсонова. — Широта славянской натуры совмещается с узостью предвидения. Вы считаете нас, англичан, слишком осторожными на войне, но согласитесь, что именно этого качества вам никогда и не хватало.

Я не стал вдаваться в полемику, кратко ответив, что в калейдоскопе событий трудно выявить общую картину. Со стороны Мазурских озер в направлении Нейденбурга наплывали темные грозовые тучи, вдали, словно переблеск сабель, полыхали молнии, вонзавшиеся в гущу лесов. Было душно, смутно, тревожно.

Наверное, и Нокса угнетали дурные предчувствия.

— Вы, надо полагать, знаете больше Самсо-

нова?

В этот момент я вспомнил старую солдатскую притчу о тех убитых врагах, которые пустыми глазами глядят на своих победителей, словно предсказывая им скорое отступление.

— Наше положение сейчас как при… Ватерлоо!

— Не понял вас, — оторопел Нокс.

— Наполеон выиграл бы эту битву, если бы на помощь ему вовремя подоспели резервы маршала Груши. Но Груши не пришел, и Наполеон перестал быть Наполеоном.

Нокс все понял и натужно засмеялся.

— Смелое сравнение Самсонова с Наполеоном, — сказал он. — Но еще смелее сравнение Ренненкампфа с Груши…

Вечер этого дня я закончил в польской семье, предки которой — увы! — давным-давно оказались германскими подданными. После грозы в природе наступило затишье, город засыпал, опустив ставни на окнах, а дочь хозяина, обворожительная в своей греховной красоте, навзрыд читала гостям Адама Мицкевича, глядя в мою сторону, словно спрашивала одного меня:

*Тихо вшендзе. Глухо вшендзе.*
*Цо то бендзе? Цо то бендзе?*

В этот вечер мне очень хотелось в нее влюбиться.

* * *

Все началось как-то исподволь, хотя сведения с передовой еще не давали причин для нервотрепки. Накануне возле Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия. Но на этот раз противник, даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию. Мне удалось связаться с Клюевым раньше Постовского, и Клюев сказал, что он не «пятится назад», хотя все-таки немного отошел, ибо на этом отходе настаивали из штаба.

— Ерунда, — ответил я. — Вы не слишком-то доверяйте местным телефонам, а то узнаете даже базарные цены на говядину. Прежде, убедитесь, кто говорит с вами.

— Говоривший представился Постовским, и в разговоре с ним я убедился в его отличном знании обстановки.

— Вас обманули, а подключиться к нашим проводам это раз плюнуть…

В числе пленных стали попадаться «михели», еще вчера спокойно сидевшие в гарнизонах на Висле, и это настораживало. Мне казалось, что противник усилился в два раза, но я ошибался.

Позже выяснилось, что немцы имели даже четырехкратное превосходство над нами в силах пехоты, противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клина еще вонзалось в самую сердцевину Пруссии, дорогу для Второй армии Самсонова прокладывали 13-й и 15-й корпуса генералов Клюева и Мартоса. Мне тоже удалось перехватить разговор немецких штабов, Гинденбург оповещал ставку кайзера в Кобленце: «ДУРНОЙ ИСХОД ДЛЯ НАС НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ». Это признание Гинденбурга меня несколько подбодрило: значит, и противник не уверен в своем успехе…

После войны, вчитываясь в материалы германского рейхсархива, я убедился, что в восьмой армии Гинденбурга царила такая же неразбериха, как и в наших частях. Но «михелей» выручала отличная связь и быстрая передвижка резервов по рельсам, чего у нас-то и не было. Расплющить нашу армию немцы собирались в четыре часа утра 13 (26) августа, но планы были спутаны непокорным генералом Франсуа… Он отказался атаковать нас на рассвете, самовольно перенеся атаку на время полудня. Но в полдень Франсуа вторично ошеломил Людендорфа новым отказом. Атаку отложили на час, потом ее оттянули еще

на три часа.

После всего этого Франсуа вообще забастовал.

— Ничего страшного, — весело сказал он, — бывает же так, что концерт откладывается по болезни артиста…

Гинденбург и его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался неколебим в сознании своей правоты:

— Пока я не получу перевеса в тяжелой артиллерии, я не строну свою дивизию с места, чтобы не видеть ее погибшей с воплями на русских штыках…

Макс Гоффман, не дослушав перебранки генералов, уселся в автомобиль, докатил до ближайшей станции, где ему вручили сразу две радиограммы — Ренненкампфа и Самсонова, переданные в эфир открытым текстом. С этими радиограммами Гоффман перехватил Гинденбурга и Людендорфа в дороге.

— Оставьте бедного Франсуа в покое, — сказал он. — Наш трамвай еще не ушел… Читайте сами: завтра генерал Ренненкампф останется далеко от Самсонова, а Самсонов расценивает бои с нами как бои с нашим арьергардом, прикрывающим отход восьмой армии в сторону Вислы…

В середине дня 6-й корпус армии Самсонова

оставил позицию возле городка Бишофсбурга, но все попытки Гинденбурга потеснить, левое крыло русской армии не удались. Однако потери с нашей стороны были ужасающими.

— Дерутся страшно, — сообщил мне Постовский. — В седьмом пехотном полку не осталось ни одного офицера, а солдат полегло сразу три тысячи… Целое кладбище!

Ближе к вечеру до Нейденбурга дошло известие, что 4-я дивизия оставила на поле боя уже пять с половиной тысяч солдат. Фронт стал напоминать мясорубку.

— Пушки мы оставили тоже, — хмуро признался Постовский. — Что делать, если на один наш пушечный ствол немцы выставляют сразу четыре… Наконец, — сказал «сумасшедший мулла», — нельзя же уповать на одни сухари, ибо хотя бы раз в неделю русский солдат имеет право нажраться мяса.

— В чем дело? — отвечал я. — Вокруг все дороги забиты брошенным скотом, так не начать ли его реквизицию, как это всегда делалось в старые добрые времена? Наконец, — напомнил я, — у каждого солдата был неприкосновенный запас.

— Давно сложилось убеждение, что мы вступили в бои не с арьергардом отступающего

противника — напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновленная резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас.

Александр Васильевич нехотя согласился со мною.

— Возможно, — сказал он. — Но Жилинский настаивает, чтобы я держался за Алленштейн, дабы оседлать главную железную дорогу, связующую Восточную Пруссию со всей Германской империей. В одном вы, конечно, правы: немцы усилились! Даже дивизия Макензена, недавно драпавшая от нас, теперь держится стойко. Тяжелее всех достается ныне бедному Мартосу, но его пятнадцатый корпус стоит как вкопанный…

Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы, но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны пленных немцев. Жаркий день угасал, до окраины Нейденбурга едва докатывался грохот тяжелой артиллерии, где-то «пахавшей» позиции.

— Это не наша, — сказал Постовский за ужином. — Четвертая дивизия отходит, ибо у нее не осталось даже окопов.

— Куда же делись окопы? — спросил Нокс.

— Они сровнялись с землей, а земля перемеша-

лась с людьми. Положение на флангах, чувствую, обострилось…

Это было еще мягко сказано. В согласное и почти мажорное звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стол и, на ходу пристегивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга… Перед нами катились санитарные фуры, шли солдаты без фуражек, иные топали босиком, перекинув сапоги через плечо, редкий из солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен; покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпьях, изможденные…

Самсонов повелительно окликнул одного из них:

— Эй… босяк! Ты почему оказался здесь?

— А где же нам ишо быть? — ответил ему солдат. — Пять дён не жрамши, и — держались… А чем? Чем воевать? — «Босяк» в бешенстве продернул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. — Вот так воевали… до последнего патрона, — с глубоким надрывом сказал солдат. — Ныне все кончилось… амба всем! Потому я здесь, а не там…

Самсонов не треснул солдата в ухо. Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату

вернуться назад:

— Иди, братец, куда ноги тащат… Бог с тобою!

Эту чересчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка запомнивший обоюдное бессилие — и солдата и генерала. Я понял, что мое место не здесь. Самсонову я сказал, что навещу корпус Мартоса. Александр Васильевич отвел меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами.

— Поезжайте, — широко перекрестил он меня. — Но вы начальник армейской разведки, слишком много знаете о наших делах, а посему… Простите, вам следует быть очень осторожным.

— Ясно. В плен сдаваться нельзя.

— Ни в коем случае, — подтвердил Самсонов. — И будет, наверное, лучше, если вы появитесь на передовой в форме солдата, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

— Я вас понял. Понял и благодарю…

Самсонов со вздохом извлек из-под мундира золотой медальон с фотографиями своих детей и сказал мне тихо:

— Ради них… я обязан сохранить честь. Честь русского солдата! Чтобы детям не было потом совестно. Прощайте…

Больше я никогда не видел генерала Самсо-

нова.

Денщик вывел оседланную Норму, я сказал ему:

— Спасибо, дружище. Ты оставайся здесь…

Навстречу мне бурно изливался поток отступающих и раненых, ковылявших по обочинам, а я ехал на фронт — навстречу гулу батарей, вспоминая ту удивительную красавицу, еще вчера вопрошавшую меня в тоскливом отчаянии:

— Цо то бендзе? Цо то бендзе?..

* * *

На этом, читатель, мемуары нашего героя обрываются, свое повествование он продолжит потом, а сейчас придется далее говорить за него мне… Конец этого дня сохранил три подробности, место которым если не в анналах истории, то хотя бы в грязеотстойниках, необходимых для каждого скотского хлева. Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич — длинный и сухой, как заборная жердина. Редко кто видывал его трезвым.

— Где Самсонов? — вопросил он еще с порога.

— Очевидно, в Нейденбурге, — ответил Жилинский.

— А где сейчас топчется армия Ренненкампфа?

— Не знаю, — честно ответил командующий фронтом.

Могучая оплеуха чуть не обрушила его на пол.

— Сволочь! — сказал ему главковерх. — На кой черт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь? Ренненкампф обязан двигаться к югу… к югу… к югу! Слышишь?..

Павел Карлович Ренненкампф, получив такой приказ, чуточку стронул кавалерию в сторону Алленштейна и вскоре задержал ее движение, что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем присутствие при штабе любвеобильной Марии Соррель становилось подозрительным, а на все доводы своего штаба Павел Карлович тут же приводил свои доводы:

— Если я стану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется за Вислой, и тогда Самсонов не успеет посадить их в «мешок». Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Кенигсберга…

Солнце скрылось за лесом. День 13 (26) августа заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге Морис Палеолог услышал от русского министра Сазонова:

— Кажется, там все не так, как надо бы… Но мы не подведем нашу доблестную союзницу — Францию! В любом случае вы можете считать, что Париж нами уже спасен…

«Цо то бендзе? Цо то бендзе?» — Что-то будет?

### 2. Танненберг – бывший Грюнвальд

14 (27) августа… Еще темно. С опозданием на сутки, но ровно в четыре часа утра генерал Франсуа перешел в наступление. Все командование восьмой армии заранее собралось на высоком холме, откуда оно и посверкивало оптикою биноклей, стереотруб, линзами очков и моноклей. Против русского корпуса стояли два немецких, которым нечего было делать, ибо за них работала одна лишь тяжелая артиллерия.

На походном планшете была укреплена карта: где-то впереди лежал городишко Усдау, от него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Танненберг — место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев учинили полный разгром Тевтонского ордена; битва исторического значения именовалась Грюнвальдской, именно тогда была надолго задержана агрессия германского «дранг нах остен».

Теперь Гинденбург, позевывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гоффман оставил трубку полевого телефона:

— Усдау взят… русские отошли!

Гинденбург величаво кивнул, а Людендорф плотоядно потер ладонь о ладонь — типичный жест гурмана, вдруг увидевшего стол, накрытый для объедения. Сейчас там, где были русские траншеи, земля вставала дыбом, развороченными пластами она заживо погребала убитых и раненых, даже без помощи оптики было видно, как между огненных гейзеров мечутся жалкие фигуры русских солдат, тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудий Франсуа еще кричал, что он был прав, перенеся атаку на сегодня:

— Сегодня все и решится… даже без штыков!

Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно:

— Господа, не пора ли нам вернуться в Лобау?

Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лобау, где рестораторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня:

— Может, вчера Франсуа и был прав в своем неисправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Нейденбург открыта…

Но обед был прерван сообщением с передовой:

— Корпус Франсуа бежит.

— Опять? — взревел Людендорф.

— Опять… на станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остероде.

Стекло монокля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден «Пур ле Мерит». Мучительная тишина нависла над столом, как пороховой дым над развороченными траншеями русских. Людендорф спросил:

— Где вторая дивизия?

— Остановлена русскими возле Гросс-Таурзее.

— А где бригада генерала Мюльмана?

— Задержана к востоку от Хенрихсдорфа…

«Притвиц, Притвиц… неужели Притвиц был прав?»

Пожалуй, один только Гинденбург не терял хладнокровия, почти равнодушный, он продолжал насыщение желудка.

— С русскими всегда так, — ворчал он, тщательно пережевывая пищу. — За один день с ними никогда не справиться. Они умеют наступать даже в том случае, если им оторвать ноги. Но мы, слава всевышнему, уже вошли в Усдау, а потому…

— Усдау снова в руках русских, — сообщил Гоффман. — Сейчас на вокзале в Остероде стоит под разгрузкой свежая дивизия ландвера, прибывшая из Шлезвига. Но я не вижу возможности передвигать резервы, ибо все дороги забиты стадами скота и фургонами с барахлом. Жители деревень бегут в сторону станций, и солдатам ландвера предстоит бодаться рогами касок с рогами быков и баранов.

— Не до юмора! — резко заявил Людендорф, поднимаясь из-за стола. — Но если мы сегодня останемся в дураках, истратив массу снарядов впустую, то генерал Самсонов будет глупее нас, не используя выгоды своего положения…

Самсонов не воспринял трагически удар немцев по его флангу возле Усдау, но и сам не заметил, что его медлительное тугодумие оказывает противнику «любезную услугу» (слова об услуге — из материалов рейхсархива). 13-й и 15-й корпуса Клюеву и Мартоса почти не встречали сопротив-

ления. Постовский тоже не сразу сообразил, что немцы, открыв семафоры перед войсками Клюева и Мартоса, группируют силы по русским флангам, готовя корпусам Клюева и Мартоса хороший «мешок». Таким образом, мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги Второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало пока лишь то, что немцы уже выдохлись, их пехота едва таскала ноги, давно не кормленная, как были не кормлены и сами русские…

— Резина, — сказал Самсонов, указывая на карту.

Да, фронт, словно резиновый, растягивался все шире, и на пространстве в 70 миль, не имея между собой связи, русские полки, бригады и дивизии перемещались не туда, куда следовало, а туда, куда их зачастую вела лишь интуиция офицеров. По этой причине русские, идя в атаку, кончали ее всеобщим хохотом, увидев, что атакуют своих. А вступая в деревню, где должны быть «свои», они погибали под огнем блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же, угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе, крутившем жизнями трети мил-

лиона человек, не могли разобраться ни Самсонов с Постовским, ни Гинденбург с Людендорфом.

Людендорф хотя бы четко знал, *чего ему бояться*. Попирая свое самолюбие, он повторял доводы Макса Гоффмана:

— Если генерал Ренненкампф еще не выжил из ума и развернет свою армию к югу, чтобы поддержать Самсонова, тогда вся наша комбинация треснет, как паршивая бочка, а к древнему позору германцев при Грюнвальде добавится новый позор… скорее всего вот тут! При Сольдау…

Самсонов часто спрашивал у Постовского:

— А что Жилинский? Думают они там или нет?

— Боюсь, в Волковыске ничего не знают.

— А что Павел Карлыч? Он-то, яти его так, знает?

— Знает, что между нами всего сто миль по прямой…

Только к ночи до командования Северо-Западным фронтом дошло, наконец, что там, в приграничных лесах и болотах Пруссии, завязывается узел, который пора распутывать. Жилинский диктовал Самсонову: «Отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург — Млава, где и заняться устройством армии» (иначе говоря, привести ее, сильно потрепанную,

в прежний божеский вид). Но этот приказ Жилинского до Самсонова не дошел. Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Ренненкампфа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы…

Было уже темно, когда на лужайке возле Лобау, постреливая мотором, как пулеметом, сделал посадку разведочный «таубе», завонявший цветочную поляну бензиновым перегаром. Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота:

— Страшная пылища на дорогах, но я все-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Ренненкампфа.

— Где вы его заметили?

— На бивуаке возле Растенбурга.

Людендорф вздохнул с явным облегчением:

— На бивуаке? Впрочем, Растенбург от нас далеко…

Растенбург ныне слишком памятен — «волчьим логовом» Гитлера!

* * *

15 (28) августа… Итак, приказа об отходе к рубежам Самсонов *не* получил, а Клюев и Мартос еще пробивали дорогу вперед своими корпусами.

Постовскому сам Бог велел указать Самсонову, чтобы отводил 13-й и 15-й корпуса обратно до Нейденбурга, но он этого не сделал. Бои становились ожесточеннее. Убитых даже не пересчитывали, а раненых оставляли умирать на поле брани… Между тем в упорных схватках немцы умело расчистили себе путь для охвата «головы» геройски сражавшихся корпусов.

Было еще раннее утро, когда Александр Васильевич стал жаловаться, что приближается приступ астмы:

— Душно… дышу, словно через тряпку. Плохо…

Он уложил в чемодан личные вещи, велев ординарцу отправить их жене, затем указал свернуть работу штаба и сразу разбирать радиостанцию Второй армии:

— Отправьте ее в Остроленку, но прежде отстучите в Волковыск, что связи больше не будет. Я выезжаю на фронт, дабы разделить судьбу своих солдат… до конца! Душно…

На окраине Нейденбурга ему встретился майор Нокс, и Самсонов, уже сидя верхом на лошади, дружески сказал ему:

— Вам остался последний шанс. Удалитесь, пока есть время. Вы исполнили свой долг, теперь я прощаюсь с вами, чтобы исполнить свой… Во-

енное счастье переменчиво!

Николай Николаевич Мартос руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные свалки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях — они спешили к нему. Подскакав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль:

— Что это за колонна… вон там? Немцы?

— Да. Пленные. Гоним в тыл, чтобы не мешали…

— Много набрали?

— Насчитали до тысячи, потом плюнули. Некогда…

Самсонов был отличным кавалеристом, но теперь, напуганная взрывами, лошадь под ним то давала «козла», то делала «свечку», вставая на дыбы, генерал с трудом удерживался в седле.

Он сказал Мартосу, что все надежды на его корпус:

— Вы один спасете честь армии.

Мартос думал о другом — о спасении людей:

— Я еще способен обрушить немцев, чтобы пробиться на север, выходя на соединение с войсками Ренненкампфа.

В их разговор вмешался начштаба Постовский.

— Верю вам, — сказал он. — Вы обрушите. Вы спасетесь. Но с какой совестью вы оставите на

разгром корпус Клюева?

— Ваша правда, — горестно отозвался Мартос…

Наверное, в поступке Самсонова было немало гусарской бравады. Но, оторванный от связи с войсками, и без того разобщенными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства. Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаяла, как масло на солнцепеке, выстелив поле сражения трупами, другая была растрепана так, что откатилась на станцию — по вагонам… Самсонов, мучимый астмою, вел себя храбрецом, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определилась.

— Это… конец! — вдруг сказал он Мартосу…

Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Нейденбург.

— Капкан с юга защелкнулся, — доложил он, — а Клюев с Мартосом уже отрезаны мною от выхода на границу…

Дабы усугубить положение русских, Франсуа развернул на марше дивизию на Ваплиц, чтобы она померилась силами с корпусом Клюева. Но вся дивизия Франсуа полегла замертво, оста-

вив Клюеву 13 орудий и 2400 трупов. Советский историк А. К. Коленковский не скрывал своего восхищения: «Истомленные, полуголодные русские стояли непоколебимо, они победоносно атаковали…» Гинденбург в это время дремал в деревушке Танненберг, а Людендорф психовал, ругая Франсуа, который вел себя, словно киплинговская кошка, «которая гуляла сама по себе»:

— Вы здорово поможете русским, если и далее будете вытворять все, что взбредет в вашу дурацкую башку.

На эту отповедь по телефону Франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребенком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение Второй армии Самсонова им не удалось:

— Нам хотя бы разделаться с его центром, где застряли эти два проклятых русских корпуса…

Это понимал и Самсонов; он смотрел на заходящее солнце, почти не мигая, и, ослепленный, слушал доклад Мартоса:

— Офицеров выбили, солдаты наперечет… Решайтесь: или завтра всем здесь и умирать, или… Клюев уже отходит.

— Мы тоже, — ответил Самсонов.

— Куда?

— Домой… Где же Ренненкампф? Куда провалился?

Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимый тем же вопросом. Пилоты, вернувшись из полетов, отмечали в один голос «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа, которого вдруг (!) потянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы выручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел:

— Выходит, этот забулдыга Макс был прав, когда говорил, что Ренненкампф не простит Самсонову оплеухи на вокзале в Мукдене. Оплеуха пришлась кстати!..

Ночь отведена полководцам для подведения итогов минувшего дня. Гинденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев, но Вторая армия все-таки не попала в немецкий «мешок». В ночь с 15 на 16 августа в Кобленц поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа: «СРАЖЕНИЕ ВЫИГРАНО. Преследование будет продолжено. Окружение русских корпусов БОЛЬШЕ НЕ УДАСТСЯ».

Это было очень важное признание немцев…

* * *

16 (29) августа… Самые горестные страницы! Все могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла мощная русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии, но она не стронулась с места. Жилинский, отослав накануне приказ об отходе Второй армии, на том и успокоился, даже не проверив, дошел ли его приказ до генерала Самсонова. Слепо убежденный, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Ренненкампфу, что Вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для ее прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя, смерть главного героя становится обязательной…

Старинная немецкая пословица гласила: «Утренние часы с золотом во рту», и Людендорф с утра был на ногах, действуя с прежней оглядкой на север. Его страх можно понять.

— Заходя в тыл самсоновской армии, — говорил он, — мы невольно обнажаем тылы своей армии, подставляя их под удары армии Ренненкампфа…

В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем!

Но Ренненкампф, лучше Жилинского знавший обстановку на фронте, не пришел на помощь соседу, уподобясь тому мужику, который, глядя на пожар в деревне, говорит, почесываясь: «Моя хата с краю, я ничего не знаю…» В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13-й и 15-й корпуса — весь центр самсоновской армии. В этом ему повезло.

— Kriegsglьck (военное счастье)! — сказал он. — Теперь мне жаль Самсонова… противник, достойный уважения. Сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных…

(В докладе правительственной комиссии, которая исследовала причины поражения Второй армии, было сказано, что в окружении русские солдаты «дрались героями, доблестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходящих сил противника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних резервов… офицеры и нижние чины честно исполнили свой воинский долг до самого конца!») Александр Васильевич Самсонов, задыхаясь от приступа астмы, лично — с револьвером в руке — водил солдат в безумные атаки против немецких пулеметов.

— Зачем вам это? — не раз укорял его Постовский.

— Я должен умереть, — отвечал Самсонов.

— Подумайте о молодой жене. О своих детях!

— Жена найдет себе другого, как поется в песнях, а дети будут гордиться именем своего отца…

На перекрестках лесных просек немцы установили пулеметные кордоны, по дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окруженных крупнокалиберные «чемоданы». Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберман-пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В загонах для скота держали толпы пленных, а раненым не меняли повязок. «Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонились, а старались избавиться сразу, добивая нашего брата прикладами». Один раненый офицер (позже бежавший из плена) писал: «Пруссаки обращались со мною столь бережно, что — не помню уж как — сломали мне здоровую ногу… они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить „русскую собаку“, другой

— растоптать каблуками мою физиономию, а третий настаивал, чтобы повесили…»

Людендорф иногда сам допрашивал пленных:

— Где ваш генерал Самсонов?

Ошеломленные чистотой русского выговора, ему отвечали:

— Самсонов остался со своей армией.

— Но вашей армии более не существует.

— Как? Она ведь еще сражается…

Берлинские газеты откровенно писали: «Вся эта попытка (прорыва из окружения) являлась чистым безумием и в то же время геройским подвигом… русский солдат выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». Немцы методично прочесывали темень кустов разрывными пулями, они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартосом пулеметная очередь разрезала пополам генерала Мочуговского, начальника его штаба. Адъютант на призывы Мартоса не откликался (а вместе с ним пропали все документы и компас). Мартос остался с двумя казаками, лошадей они вели в поводу. Прожектор высветил их, послышалась немецкая речь. Мартос вскочил на коня, но конь был сразу убит. Мартос упал, застряв ногой в стремени…

Так он оказался в плену. С него сорвали именное «золотое оружие» и отвезли в штаб Восьмой армии. Людендорфу, замечу я, не хватило воинского благородства, и он, как последний хам, стал издеваться над пленным Мартосом:

— Вы считали версты до Берлина, но теперь мы станем считать мили до вашего Петербурга… Глупо! Неужели ваши головотяпы способны побеждать нас, лучшую в мире армию?

— Позвольте! — возмутился Мартос. — Сначала в роли головотяпов были вы — немцы… Это я, а не вы, уставал пересчитывать трофейные пушки, это мы сбились со счета, пересчитывая ваших пленных. Наконец, вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством… Так?

Людендорф недовольно фыркнул и вышел[16]. Гинденбург хуже Людендорфа владел русским языком, но был вежливее.

— Вы должны успокоиться и поспать, — сказал он Мартосу, пожимая ему руку. — А мы вернем вам «золотое оружие» как достойному противни-

---

**[16] notes: 16**

Людендорф позже отомстил Н. Н. Мартосу, находившемуся в плену, устроив его травлю в германских газетах. Мартоса предали суду якобы за обстрел мирного Нейденбурга, тогда как известно, что Мартоса вынудили к этому, ибо его войска были обстреляны на улицах Нейденбурга.

ку, которому сегодня не повезло…

Оружия, конечно, не вернули. И даже не покормили. Благороднее всех оказался Макс Гоффман, который достал из сумки сверток с бутербродами и протянул его Мартосу:

— Поешьте… коллега. Забыл, как вас зовут?

— Николай Николаевич.

— Верно! Мы с вами уже встречались.

— Где? — удивился Мартос.

— Еще на полях Маньчжурии… помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя…

Мартос, вестимо, не знал, что сталось с корпусом Клюева, куда подевался Самсонов и его штаб. Комусинский и Грюнфлисский леса стали безымянной братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь, в непролазных болотных чащобах (если верить документам), попали в окружение около 30 тысяч человек, уже расстрелявших патроны, и около 200 орудий с прислугой, расстрелявшей снаряды. Сообща было решено пробиваться на родину группами — на штыках! Самсонов, страдая удушьем, все еще доказывал Постовскому, что ему позора не пережить.

— Прекратите! — раздраженно отвечал ему тот. — Не имеете права так думать. В конце-то концов,

ваша совесть чиста…

— Где Клюев?

— Его левая колонна, говорят, полностью уничтожена, зато правая еще сражается, а среднюю он ведет сам.

— Мартос?

— Ходят слухи сомнительных очевидцев, будто его в куски разнесло снарядом, когда он садился в автомобиль.

— А где… я? — вдруг вопросил Самсонов.

— Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрыва снаряда.

— Легкая смерть, — не сразу отозвался Самсонов. — Господи, смилуйся надо мною и пошли мне легкую смерть… и пусть от меня ничего не останется. Пусть!

* * *

Русская пресса оперативно известила публику о гибели генерала А. В. Самсонова: «Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не знает». Подробности стали известны лишь в 1939 году, когда Генеральный штаб РККА опубликовал подробный отчет Александра Ивановича

Постовского — о том, как все это случилось…

Случилось же так! В стороне от шоссе, огибающего деревню Виленберг, Самсонов и приставшие к нему люди переждали время, чтобы наступила полная темнота. При командующем армией оставались несколько офицеров и один солдат по фамилии Купчик.

Купчик все время подставлял Самсонову свое плечо:

— Опирайтесь на меня, я сильный… выдюжу! Лошадям не раз помогал гаубицы через болота тащить, так уж ваше-то превосходительство как-нибудь… за милую душу! Не стесняйтесь…

До государственной границы было примерно верст десять, и сознание, что родина близка, вселяло в людей чувство уверенности. О том, что немецкие заслоны уже стояли на рубежах, расстреливая всех выходящих из окружения, как-то не думалось. Ночь же была очень темная, даже звезды укрылись за тучами, а сверять путь по компасу не могли, ибо, как назло, у всех кончились спички. Правда, на руке подполковника Андогского еще чуть-чуть фосфоресцировала стрелка компаса, и потому он шел впереди. Люди двигались гуськом в затылок один другому, держась за руки или за хлястики шинелей, часто

спотыкаясь о болотные коряги и острые корневища деревьев.

Александр Васильевич Самсонов то и дело повторял:

— Мне бы лучше здесь и остаться… С какими глазами я вернусь, если меня спросят: куда делась моя армия?

— Тише, тише, — говорил ему Купчик, на которого Самсонов наваливался грузным телом. — Тут кругом «михели» и полно всяких собак, аль не слышите, как ихние псы заливаются.

Постовский писал, что Самсонов «не раз говорил мне, что его жизнь как деятеля кончена. Все мы следили за ним и не давали ему возможности отделить свою судьбу от нашей общей». В два часа ночи (уже наступили сутки 17 августа) был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсонова, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верно ли их направление. «Тут же происходила перекличка, — писал Постовский. — На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армией».

— Александр Васильевич? — тихо окликнули лес.

Но Грюнфлисский лес враждебно молчал.

— Вернемся, — решил Постовский.

Все повернули назад, окликая Самсонова, наконец Андогский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул — как бы означая призыв к атаке… В этот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел.

Постовский все понял и сразу обнажил голову.

— Господа, — сказал он, — тело командующего армией, как и знамя армии, нельзя оставлять врагам. Будем искать…

Но поиски в ночном лесу оказались напрасными, хотя искали Самсонова до рассвета, пока окруженцев не стали обстреливать из пулеметов немецких автомобилей, разъезжавших по шоссе. Случайно им встретился лесничий — поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц:

— Там уже ваши казаки… бегите скорее!

Самсонов покончил с собой возле молочной фермы Каролиненгоф в окрестностях Виленберга. Впоследствии обнаруженный немцами, он был там же и погребен в неглубокой яме — как неизвестный солдат. С него сняли генеральские

сапоги и наручные часы, но — к счастью — мародеры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей.

…В самой первой советской книге, посвященной героизму и гибели самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно: «НАД ТРУПОМ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ — ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ ЭТИКИ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ. НИКТО НЕ МОЖЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ ЭТОЙ ЧЕСТИ НЕ ЗАСЛУЖИЛ…»

### 3. От Гинденбурга до Гитлера

После революции, когда наша страна шаталась от голода и разрухи, бывшие союзники-французы требовали, чтобы Россия вернула им старые (еще царские) долги. Тогда же у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой спрашивалось: кто кому должен, русские вам или, наоборот, вы, друзья, должны русским?

Россия пожертвовала целой армией, чтобы спасти Париж, и тысячи людских жертв, принесенных во имя исполнения союзнического долга, никак нельзя окупить золотом. «Спасибо» от французов мы до сих пор не услышали, зато в Париже шумно праздновали «чудо на Марне», и когда маркиз де ла Гиш высказал Сазонову глубо-

кое сочувствие по случаю разгрома самсоновской армии, министр мрачно ответил:

— Наши жертвы — ваши победы…

Франция о наших жертвах забыла. Но, к сожалению, у нас тоже забыли, чту было брошено на весы беспристрастной истории, почему планы Шлифена были скомканы и разорваны еще тогда — в топях Мазурских болот… Схема исторической правды всегда требует от нас внимания и справедливости!

А теперь спросим себя: что же случилось?

Ведь, по сути дела, ничего страшного не произошло, разгром армии Самсонова не стоил тех торжествующих воплей, которые издавала кайзеровская военщина, ибо наше поражение — на общем фоне войны — выглядело лишь эпизодом. Известие о нашей беде не вызвало в русском народе трагедийных эмоций. Как раз тогда, когда немцы окружали самсоновскую армию, вся Россия бурно переживала разгром генералом А. А. Брусиловым всей австрийской армии, которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями.

Недаром же Франц Конрад-фон-Гетцендорф, начальник австрийского генштаба, открыто

утверждал, что Германия *предала* Австрию ради своих иллюзорных успехов в лесах Восточной Пруссии: «Они (немцы), — писал он, — забыли о нас и полезли защищать конские заводы Тракенена и охотничьи угодья в Роминтене, где кайзер так любил охотиться на оленей заодно с известным русским предателем полковником Мясоедовым…»

А что же немцы? Германия восприняла известие о победе «почти с ужасом», впав в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумелась о «триумфе при Танненберге», хотя географически деревня Танненберг была притянута за уши; но сражение 1914 года рисовалось теперь как историческая расплата за позор 1410 года, ибо поражение Тевтонского ордена при Грюнвальде случилось именно близ Танненберга.

Это еще не все. Берлинские газеты кричали, что одних пленных взято более девяноста тысяч… Наглое вранье, ибо в армии Самсонова никогда не числилось столько людей. В плен к немцам попали едва тридцать тысяч, еще двадцать тысяч штыками пробились из окружения, остальные пали в боях или просто остались умирать, бро-

шенные на поле боя… Такова истина!

* * *

Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблестях Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить «русский паровой каток» на подступах к Висле…

Все немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обыватели вывешивали трехцветные флаги империи, в гимназиях лопоухие школяры писали сочинения на тему «Наш добрый и любимый Гинденбург», а лучшие сочинения сразу отсылали в подарок Гинденбургу. Все поэты ринулись слагать хвалебные гимны в честь Гинденбурга, все города Германии торопились сделать Гинденбурга своим «почетным гражданином»; корабли флота и даже рыбацкие шаланды срочно переименовывались в «Гинденбургов»… Может, хватит?

Нет! Выпускались почтовые открытки с портретами Гинденбурга, рекламировалось мыло «Гинденбург», а необъятные бюстгальтеры для полногрудых женщин назывались теперь победным именем «Танненберг». В детских яслях, сидя на горшках после тощего обеда, младенцы хором разучивали кантаты в честь героя: «Ах,

мой милый Гинденбург!» — после чего играли куклами, изображавшими опять-таки Гинденбурга. Кондитеры выпекали пряники в форме квадратного черепа Гинденбурга, оснащая их усами из цикория. Но все рекорды возвышения героя до небес побила ликеро-водочная фабрика, которая на бутылках со шнапсом наклеивала этикетки: «Целебные капли Гинденбурга». Наконец, немецкие зоологи, открывшие на Новой Гвинее дотоле неизвестный вид сумчатой крысы, дали ей гордое название — «Гинденбург»…

От Гинденбурга немцам уже не было никакого спасения! Осталось лишь покориться ему и послушать ораторов:

— Может ли Россия предъявить истории нечто подобное, что мы видим в нашем чудесном Гинденбурге? Сильный, как Зигфрид, он добродушен, как малое дитя. Какое трогательное спокойствие олицетворяет его стойкий характер! Мы видим в нем заботливого отца и верного мужа. Хорошо понимая нужды военного времени, Гинденбург донашивает старые штаны времен побед при Седане, а заботливая женушка расставила их вширь, своими руками вшивая в них клинья из лоскутьев парадного мундира…

Стоит ли удивляться? В истории немало приме-

ров, когда посредственность венчается лаврами, ибо — на фоне всеобщего безголосья — воробьи всегда с успехом заменяют соловьев. Бывало не раз, что никому не известные генералишки, вознесенные к высотам власти, становились «гениальными полководцами всех времен и народов», без стыда и совести обвешивая себя гирляндами орденов, на которые не имели никакого права. Гинденбург очень быстро освоился с ролью идола нации, и он даже обижался, если на вокзалах его не встречали с оркестром:

— Трудно им, что ли, подуть в трубы или постучать в барабаны? Могли бы и флаги вывесить на перроне…

Скоро вся Германия покрылась памятниками Гинденбургу.

Нехватка цветных металлов заставила немцев увековечивать Гинденбурга памятниками, сколоченными из досок. Первый такой монумент был сооружен на берлинской набережной Лютцовуфер. Возле грубо размалеванной «деревяшки» всегда лежали молотки и кучи гвоздей. Каждый немец, желающий выразить свой патриотический восторг, платил налог, получая гвоздь, который и вколачивал в Гинденбурга. От патриотов не было отбоя, и очень скоро деревянный

памятник Гинденбургу превратился в железный, весь истыканный шляпками гвоздей.

В этом памятнике были и те гвозди, которые с великим наслаждением забили в него немецкие социал-демократы…

* * *

Разоблачая миф о «чудо-генерале», советские историки пишут, что «военная биография Гинденбурга не дает никаких материалов для объяснения того высокого авторитета, каким он пользовался». Это, кстати, отлично понимал и Людендорф, который никак не разделял всеобщих восторгов.

— Я, — говорил он с явной обидой, — подобрал этого завалящего барсука из отставки, словно бесхозный багаж, оставленный кем-то на пустынном перроне Ганновера…

Возникла какая-то историческая нелепость: Гинденбург похитил славу победителя у Людендорфа, хотя Людендорф присвоил себе ту славу, которая должна бы принадлежать Максу Гоффману, — получалось как в анекдоте: вор у вора украл. Людендорфа мы знаем как автора мемуаров, в которых досталось и Гинденбургу, и тому же Максу Гоффману, которых он низвел

до уровня жалких исполнителей его приказов. (В скобках замечу, что Гинденбург не был способен писать, за него сочинял мемуары некий Мерц фон Квирнгейм, а Гинденбург их только читал сам или давал читать другим.) В 1925 году, когда Германия буквально корчилась в судорогах голода и инфляции, Гинденбург стал президентом страны, возрождая ее военный потенциал, чтобы «переиграть» войну заново. Лично он сделал все, чтобы фашизировать голодную и обнищавшую Германию…

Людендорф стал близким приятелем Гитлера, посвятив ему свою жизнь. В январе 1933 года Гинденбург вручил власть над страной Гитлеру, а сам вскоре умер. Благодарный ему, фюрер устроил фельдмаршалу торжественные похороны в Танненберге, а мавзолей над его могилой получил официальное название «Имперского почетного мемориала».

Над могилою Гинденбурга фюрер воскликнул:

— О, почивший вождь, так войди же в Валгаллу…

Наверное, только в Валгалле (этом древнейшем убежище германских богов) и было место для Гинденбурга…

Вы думаете, что это конец? Как бы не так!

О конце Гинденбурга читайте в постскриптуме этой главы, а сейчас мы вернем право голоса нашему главному герою…

### 4. «Соловей, соловей, пта-ашечка…»

Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии, он всегда желает найти для себя оправдание, а мне оправдываться даже не хочется. Лучше я расскажу все, как было, а вы уж сами, пожалуйста, рассудите — прав я или виноват…

Самсонов словно предвидел, что меня ждет, и хорошо, что я внял его совету, переодевшись в солдатскую гимнастерку. От офицера у меня остались лишь наручные часы-компас и бельгийский браунинг, а в кармане штанов, мешая бегать, болтался тяжелый револьвер марки «диктатор». Я был пленен 5 сентября, когда нашей армии уже не стало, остатки ее разбрелись по лесам, пробиваясь к русской границе. Кажется, я перехитрил сам себя. Меня подвела теория «желтого листа в осеннем лесу».

Когда все окруженцы — кто как мог — прорывались на юг, черт меня дернул подумать, что я буду умнее других, если стану двигаться на север, где я рассчитывал встретить передовые разъезды армии Ренненкампфа. Благополучно минуя

вражеские патрули между озером Спирдинг и городом Иоганнесбургом, я выбрался в знакомые места, памятные мне по службе на границе, и решил выйти сразу на Граево…

Вот тут я и попался! Почти на «пороге» своего дома.

На рассвете, когда я отдыхал в лесу, меня разбудил лай собак, громкий смех женщин и мужские голоса. Между редких стволов сосен я разглядел солдат местного ландвера. Каждый из них вел под ручку свою деревенскую пассию (очевидно, немцы возвращались после вечеринки). Я быстро рванулся в сторону, но собаки уже кинулись ко мне. Привлеченные их неистовым лаем, бежали на меня и солдаты, на ходу срывая с плеч карабины. Отбиваясь от собак, я лихорадочно соображал: как быть? Отстреливаться бесполезно, ибо на каждый мой выстрел немцы ответят пачками выстрелов, и потому я разбросал по кустам свой браунинг и «диктатор», избавился от офицерского свистка и часов-компаса. Удары прикладов тут же свалили меня на землю…

Сразу набежали и молодухи, оплевывая меня, словно падаль, а одна из них, встав надо мною и растопырив ноги, вызвала безумное веселье солдат, когда решила на меня мочиться. Ну, я, ко-

нечно, поднялся и сразу заговорил по-немецки:

— Перестаньте! Я ведь ваш военнопленный…

— О! — разом восхитились пруссаки. — Ты, приятель, наверное, из офицеров, если знаешь наш язык?

— Я… русский, — был мой ответ, — но я уроженец Саратова, где полно немцев и даже вывески магазинов на русском и немецком языках. А сам я служил приказчиком у бакалейщика Шейдемана, почему и владею немецкой речью, как и своей…

Тогда бабье успокоилось, отойдя подальше, а ландверовцы дружелюбно хлопали меня по спине и даже угостили русской папиросой марки «Элегант». Так просто и почти обыденно я угодил в плен. Читатель, наверное, сочтет, что я поступил не слишком геройски, а вот он, окажись на моем месте, принял бы неравный бой… Возможно! Но судить о моем поведении читатель может лишь в том случае, если он сам оказался бы в подобной ситуации… Докурив папиросу, я сказал старшему из немцев:

— Ну, веди меня… Тебе сегодня здорово повезло!

* * *

Что бы там ни говорили, а плен есть плен, и он

всегда ставит человека в постыдное, унизительное положение. Мое счастье, что я был пленен солдатом и таким образом не замарал офицерской чести. Покорившись судьбе, я давал себе точный отчет в том, что мне, как начальнику разведотдела при штабе армии Самсонова,*никак нельзя* «раскрывать себя», а потому я сразу решил слиться с толпою рядовых, заранее отрешившись ото всех привилегий, положенных военнопленному офицеру…

Всех нас, отмеченных злобным роком, немцы собрали на окраине Алленштейна; близ товарной станции был устроен загон — как для скота, опутанный колючей проволокой, безо всякого укрытия над головой. Я вел себя крайне осторожно, боясь нарваться на кого-либо из тех, кто знал меня раньше бравым подполковником, козыряя мне еще за десять шагов — издалека.

Однажды ко мне подсел на корточках пожилой вахмистр кавалерии Епимах Годючий, уроженец Мелитопольщины, сильно тосковавший по молодой жене и своим малым деточкам.

— Ты, кажись, судя по морде, из тилигентов будешь, — сказал он. — Коли образованный, так соображай, как бежать-то?

— Из Пруссии не удастся, — отвечал я. — Давай

побережем нервы, пока не привезут в Германию… там и подумаем.

Епимах Годючий, мужик здравый, уже был у меня на примете. Он умел объясняться на немецком языке, ибо до призыва в кавалерию батрачил на хуторах у наших немецких колонистов.

— Ребятишек у меня двое, — часто горевал он, — кто приголубит их, сиротиночек? А жена така гулёна красивая, уж така стерва ладная, без меня вконец испакостится… Бежим, друг, коли ты в версититкитетах разных учился.

— Терпи, Епимах, — успокаивал я его…

Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязной баландой из картофельных очистков, немцы щедро высыпали перед нами целые бурты турнепса, которым почтевали своих тучных свиней. Мы ели! Перевозить нас в Германию не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали вповалку под открытом небом, днем нас палило солнце, поливали дожди, а по ночам, испытывая холод, пленные сползались, как черви, в неряшливые клубки, начинались стоны, бормотания, плачи, выкрики, призывы… Понятно: люди еще недовоевали, и теперь они героически сражались во сне, как бы заново переживая все кошмары

минувших боев.

Наконец в лагере Алленштейна собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть, а чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае. Лишь тогда немцы подогнали к станции длинный товарный состав для перевозки скота, безжалостно распихали нас по вагонам. Конвоиров было мало, нам даже позволили настежь распахнуть двери теплушек. Мы поехали, и, помню, молодой белобрысый парень, свесив ноги из дверей вагона, надрывал душу в истошном и дурацком пении, более похожем на истерику:

*Ёлки-палки, лес густой!*
*Ходит Ванька холостой.*
*Кады Ванька женится,*
*Кудыть Манька денется?..*

Епимах не отлипал от меня, настойчиво уговаривая:

— Бежим, прыгнем… гляди, и двери открытые.

— Терпи, — сдерживал я его. — Двери-то, правда, открытые, а вдоль насыпи бродят дозорные. Прыгни под насыпь, так после тебя, отец семейства, и могилки не останется.

Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу,

двери закрыли, и мы ехали невесть куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился, я прочел название станции: Гальбе.

— Это где же мы? — спросил Епимах Годючий.

— Недалеко от Берлина, так что не унывай…

Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения; невдалеке находился лагерь Кроссен — для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами; оттуда вечерами лился электрический свет, дымились печные трубы.

Епимах Годючий чуть не отвалтузил меня:

— Тилигент проклятый! Сказывал же я тебе, что бежать надо было еще в Пруссии, а теперь завезли… на погибель!

— Будь умнее, — убеждал я вахмистра. — Еще повидаешь свою задрыгу, еще не раз надаешь ей по шее, чтобы себя на забывала. А сейчас — терпи… Главное — выжить.

— Попробуй выживи! На германской-то помойной яме даже ворона с голоду околеет. Сдохнем и мы, яти их в душу…

Пленные наладили в бараке печурку, грелись возле нее по очереди, жадно улавливая ладонями

слабое тепло. С ужасом я заметил на себе вшей. Впрочем, и все пленные давно чесались. Ни один ученый не мог объяснить мне, отчего на человеке, даже очень чистоплотном, вдруг появляются вши. Думаю, эти твари — вечные и неразлучные спутники народных бедствий, которые только и ждут, когда грянет война или случится голод. Между тем близилась зима, и однажды, оглядевшись вокруг, я увидел, что вместо прежних людей меня окружают не люди, а какие-то призраки, обвешанные лохмотьями, кишащими паразитами. Теперь я сам пожалел, что ранее не послушался вахмистра, ибо стал понимать, что нас ждет… Я предупредил Епимаха Годючего:

— Бей их, проклятых! Сам знаешь, где зашевелилась вошь, там в скором времени явится тиф…

Комендантом лагеря в Гальбе был офицер запаса, бывший агент компании «Зингер» по распродаже швейных машинок, весьма популярных среди женщин разных сословий. Он долго мотался по градам и весям России, хорошо знал русскую жизнь, но особенно любил русские народные песни. По этой причине все мы, маршируя даже в направлении отхожего места, обязаны были услаждать его слух своими песнями. Я никогда не пел, ибо не считал себя обладающим вокаль-

ными способностями, как другие счастливчики. Комендант заметил мое молчание и огрел меня палкой:

— Запевай, русская скотина, или сгною в карцере…

Мне, солдату, пришлось исполнить персонально для него:

*Соловей, соловей,*
*пта-ашечка-а-а,*
*канаре-ечка*
*жалобно поет…*

* * *

Никаких ярких воспоминаний из плена я не вынес, но зато в памяти уцелели две выразительные встречи.

Однажды нас предупредили, что на обед будет гороховый суп с мясом и чтобы мы вели себя пристойно, не кидаясь на миски с супом, словно ненасытные звери. Нас посетит очень видное лицо, весьма близкое к его величеству — кайзеру! Вопросов лучше не задавать, а если он сам спросит, надобно отвечать, что мы очень довольны пребыванием в плену, не участвуя, таким образом, в «преступлениях кровавого царизма».

Вообще, замечу, немецкие власти поощряли в нас ругань по адресу царя и царицы.

— Как зовут высокого гостя? — спросил я коменданта.

— Очень знаменитый человек… Свен Гедин[17]!

Нас построили возле обеденных столов, протянувшихся вдоль барака; перед каждым, искушая нас, стояла миска с гороховым супом, но мы лишь вдыхали аромат пищи, не смея прикоснуться к ней до появления гостя. Я не читал, но однажды листал двухтомник Свена Гедина о его маршрутах по Азии, а теперь мне было даже любопытно увидеть автора… Вот он появился, облаченный в богатую шубу, снял мохнатую шапку. Лицо его было сытое, холеное, стрижка волос короткая, как у прусского «фендрика», броско сверкали стекла пенсне. Гедин обходил наши ряды, вглядываясь в нас с таким же отвращением, с каким, наверное, микробиолог рассматривает бациллы, еще неизвестные научному миру.

Диалог между Гедином и нами строился таким

---

**[17] notes: 17**

Свен Гедин (1865-1952) — известный шведский путешественник, исследователь стран Востока, русского Туркестана, Тибета и Сибири; его книги печатались в русском переводе. Был отъявленным германофилом, ненавистником России. В годы Первой мировой войны сотрудничал с Германией, а во времена фашизма был яростным сторонником Гитлера и его клики.

образом:

— Почему вы осмелились развязать войну с Германией?

Все заткнулись. Только один храбрец из угла вякнул:

— Чтобы Австрия не издевалась над сербами.

— А вам-то какое дело до сербов?

— Сербы — наши братья-славяне.

На это последовал вполне «академический» ответ Гедина:

— Все славяне — отсталая, вымирающая раса, пригодная лишь для удобрения картофельных полей в Германии. Я не вижу надобности для России вступаться за сербов, которым Австрия желала нести яркий свет немецкой культуры и правопорядка.

Вот тут сорвался мой вахмистр — Епимах Годючий.

— Врешь, падла! — заорал он на весь барак. — Да у нас-то даже в конюшнях лампочки по сорок свечей под потолок вкручивали, чтобы лошади газеты читали, а здеся — гляди сам! — сидим впотьмах, при дённом свете пожрать радуемся…

— Переведите, — обратился Гедин к нашему коменданту.

Тот перевел, что оравший вахмистр выкрики-

вал проклятья царскому режиму, загубившему его жизнь и карьеру.

— Это очень хорошо, — сказал Гедин, шествуя далее.

Чем-то я, наверное, привлек его внимание, может, необычным профилем Наполеона, потому что Гедин любезно спросил меня:

— Вы из какой семьи?

— Мой отец держал лавку скобяных товаров.

— Зачем вы пошли воевать?

— Германия объявила войну России, а это значит, что русскому человеку следует браться за оружие.

— Сидели бы дома и топили печку... Неужели вы думаете, что бестолковая и немытая Россия способна победить Германию? Вы, русские, полтора столетия не воевали с нею, и Европа жила спокойно, довольствуясь всеобщим процветанием.

Тут я не вытерпел безграмотности Свена Гедина:

— Это вы, шведы, жили в процветании после прискорбного для вас случая, когда в 1809 году русская кавалерия гарцевала под стенами Стокгольма. Вы бы, — сказал я, — как приятель германского кайзера напомнили ему, что русские

бывали в Берлине, а вот немцам бывать в Петербурге не приходилось…

Кто-то, заметив, что суп остывает, выкрикнул:

— Когда закончим трепаться? Не мешай кондер жрать, а то ведь, сам видишь, совсем остыл… апекит пропадает!

Свен Гедин надел роскошную шапку и величаво удалился, а мы алчно схлебали суп и облизали тарелки дочиста. Вскоре комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России, — как уполномоченная Международного Красного Креста. На этот раз супа с мясом не обещали, и потому глядеть на даму никому не хотелось. Но когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал ее — это была Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне ее фотографию (память на лица у меня превосходная).

Самсонова в белом обличье сестры милосердия была принята немцами очень хорошо, но, кажется, ее мало волновали наши клопы и вши, она приехала искать среди пленных людей, знавших место гибели ее мужа… Я, подумав, рискнул.

— Екатерина Александровна, — назвал я ее по имени-отчеству, тем самым давая понять, что Самсонова я знал лично, — ваш супруг остался

возле фермы Каролиненгоф, вблизи Виленберга.

— Почему вы так уверены в этом? — удивилась она.

— Мне так говорили, — уклончиво ответил я.

— Могу ли я опознать его?

— Да. Если его не обчистили местные мародеры, то на груди должен сохраниться золотой медальон с фотографиями ваших детей, сына и дочери. Извините, мадам, но более того, что мною сказано, я сообщить вам ничего не могу…

(Вдова отыскала мужа именно по этому медальону; с помощью немецких властей прах Самсонова был переправлен через линию фронта в Россию, и наш генерал успокоился на семейном кладбище в селе Егоровка Херсонской губернии.) Но визит «знатной дамы» в Гальбе завершился скандалом. Когда мадам Самсонова стала вручать пленным крестики и молитвенники, привезенные в дар от самого царя, Епимах Годючий страшно обозлился:

— Да у меня свой хрест имается! Ты бы, барыня, коли с царем чай пьешь, привезла нам утешенье, а не крестики. Докель мы тут в холодрыге да голодухе загибаться будем?

— Уповайте на скорую победу, и свободу обрящете…

Лучше б она этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой — так, словно всадил в нее заряд дроби, перемешанной с солью:

— Передайте царю, что, когда тысячи таких, как мы, вернемся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего… Мы еще расквитаемся!

Нет, не германская пропаганда — сами пленные своим умом доходили до мыслей, до которых ранее они не додумались.

### 5. Два шага вперед

Конечно, после крематориев Майданека и Освенцима, концлагерей уничтожения Маутхаузена или Треблинки жалкое прозябание в немецком плену при кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда (в четырнадцатом!) нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было еще намного легче, ибо подобное скотское состояние я еще смолоду познал на себе, испытав все прелести английского концлагеря, созданного для африканских буров. Но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией со-

стоялся обоюдный обмен пленными калеками, нуждающимися в серьезном лечении, однако у меня руки-ноги были на месте…

— Когда же? — мытарил меня Годючий. — Спасу не стало, конец терпежу приходит. Лучше бы мне ногу оторвало! Согласен калекой на родине быть, нежели здоровым в плену…

В углу барака с утра кипел, отвратно булькая, громадный чан, в нем варился суп из маиса, перетертого пополам с гнилою картошкою, — бурда бурдою, но выбирать по карточке меню нам не приходилось: ели что дают! По воскресеньям каждому давали по три вареные картофелины. Распределением их ведали немецкие унтер-офицеры, они же прекращали скандалы и драки, ибо для голодных людей всегда коварен вопрос: кому больше, а кому меньше досталось? Мы дрожали в своих бараках, и не только от холода, но даже от мерзости унижения, в котором приходилось жить и страдать нам, великороссам…

Наши соседи из Кроссена нужды не ведали, немецкой бурды не ели. Русские пленные с ведерками и мисками слонялись возле бараков пленных союзников, вымаливая остатки супа, за что и были обязаны перемыть грязную посуду, а заодно уж почистить обувь своих собратьев по

оружию. Разве не позор? Но мне приходилось наблюдать и другое. Русский человек вообще чертовски сообразителен, по природе он большой выдумщик. Пока не пришла нужда, он плевать хотел на свои таланты. А теперь у него все шло в дело! Увидит наш Ванька калабашку, вырежет из нее фигурку бабы с коромыслом на плече. Найдет проволоку, и тут же скрутит ее в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дранины мастерили коврики, кромсали свои сапоги, делая из голенищ красивые кошельки.

Все поделки наши мастера торговали немцам, но пфеннигов с них не брали, а просили хлеба… только хлеба!

Я даже близко не подходил к воротам Кроссена, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. Затаись. Терпи. Помалкивай. Выжди. Победим…

* * *

Если раньше немцы придерживались соблюдения Гаагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточились сами и ожесточили свое отношение к пленным. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к «осеннему

листопаду»; война «четырех F» (освежающая, благочестивая, веселая, вольная) превратилась в затяжную бойню, из которой Германия теперь сама не знала как выбраться. Сами голодные, немцы и нас морили голодом. Начались издевательства, побои и даже… даже пытки! В лагерях Гальбе и Кроссен разом умерло более полутора тысяч пленных. Голод, грязь и антисанитария вызвали эпидемию тифа, вот он и косил людей, как траву, а клопы вступили в боевой альянс со вшами, подвергая нас изуверским физиологическим истязаниям. Сидя на нарах, дрожащий от холода, я — сверху вниз — смотрел на своих товарищей по несчастью, и мне все чаще вспоминались гётевские строчки из его «Коринфской невесты»:

*Жертвы валятся здесь.*
*Не телячьи. Не бычачьи.*
*А неслыханные жертвы –*
*человечьи!*

В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными, их правительства заваливали пленных посылками с калорийной пищей, слали теплую одежду и новую обувь. Наконец, немцы не лупцевали их — все беды обрушивались именно на нас, на рус-

ских, а из Петербурга мы крошки хлеба не видели, крестики да иконки, что привезла от царя Е. А. Самсонова, — вот и вся «помощь» благодарного отечества. Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами, а беседовать меж собою мы должны были очень тихо, почти шепотом. Зато, маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче: «Дуня, Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя…» В бараках слышались возмущенные голоса:

— Всех их в такую-то патоку с медом! Вот расписывали у нас в газетах, будто кайзер да наш Николашка друзья такие, что их, как собак, водою не разольешь. Если они, шкуродеры, меж собой разлаялись, так пущай бы на кулаках дрались, а мы-то за што страдать должны? Шоб она горела, эфта политика. Нам с ихней политикой, окромя вшей, никаких прибытков…

Наказания сделались изощреннее. Военнопленных подвешивали на столбе, так что они едва могли касаться земли пальцами ног, и эту пытку люди выдерживали не долее двух часов, потом начинали орать. Епимах Годючий — на удивление палачам — провисел в таком положении с утра до вечера. Но сознания не потерял, а в барак он приполз на четвереньках.

Я помог ему взгромоздиться на нары и шепнул:

— Долго не протянем. Надо выкручиваться.

— Может, пожар устроить? Спалить все к чертям собачьим.

— Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой.

— Поесть бы, — зябко поежился вахмистр.

— А где я тебе возьму? Лежи…

Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего «рейха». Но острая нехватка рабочей силы, пропадавшей в окопах, заставила их обратиться к нашей помощи. Принуждения, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мостить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно комендант лагеря объявил, что требуются чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка.

— Таковым будет выдано чистое белье, оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги… Кто согласен — два шага вперед!

— А где предстоит работать? — спросил я.

— На заводах в Эссене…

Люди молчали. Одни не владели немецким языком, другие не верили соблазнам коменданта, третьи — из патриотических убеждений — не желали, чтобы их труд использовали враги.

— Ну, Епимах, — сказал я, — два шага вперед… марш!

* * *

Таких, как я с вахмистром кавалерии, набралось по лагерям немало, и всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего в Дюссельдорф. К нам приставили только одного конвоира, который почему-то любил убеждать остальных пассажиров поезда:

— Вы не путайтесь! Я сам поначалу боялся. Но это не преступники, а русские пленные, которых надо занять полезной работой, чтобы не поедали наш хлеб даром….

Одни пассажиры уходили, а новым он снова внушал:

— Только не пугайтесь! У всех русских такие морды, что сначала я сам их боялся, но потом привык. И вы привыкнете…

Немцы сдержали свое слово, и при отправке из Гальбе мы с Епимахом были одеты вполне при-

лично, ничем не отличаясь от сезонных рабочих. На путевые расходы нам выдали по десять марок, которые мы сразу отдали нашему оболтусу-конвоиру, чтобы не запугивал немецких пассажиров своими комментариями относительно наших персон. Поезд шел на запад, чтобы в районе Эссена вышвырнуть пленных на прожор того чудовищного молоха, который зовется «империей Круппа». Попутчики мои были люди недалекие, понимавшие вещи чересчур упрощенно. Соответственно их развитию я рассказывал им житейские истории об этой семейке, которая поставляла миру орудия истребления:

— Недавно, братцы, умер Альфред Крупп, от которого женка сбежала, ибо вонищи не вытерпела. Этот Крупп держал в своем дворце «Хюггель» целые кучи коровьего навоза, вдыхание паров которого заменяло ему общение с подлинною природой.

Моим попутчикам таких фокусов было не понять:

— И на што эдаким идиотам божинька мильёны отсыпает? Мне бы стока денег, так я бы избу подновил, маслобойку отгрохал. И на што, хосподи, экие люди на белом свете живут?

— Это не люди… ненормальные! — нарочито

упрощенно толковал я. — Круппы — миллионеры, но когда зовут гостей, то гости обязаны приходить со своими бутербродами. Они за грош сами удавятся и всех нас удавить готовы… Мужайтесь!

Многие из моих попутчиков даже крестились:

— Спаси и помилуй нас, царица небесная! Знал бы, что Круппы такие жлобы, лучше б в лагере на нарах остался…

Говоря откровенно, у меня еще не было никаких планов. Но в дороге вспомнилось Училище Правоведения, общение в участках полиции с уголовными типами; теперь их давние практические уроки пошли мне на пользу. Ни пассажиры поезда, ни даже сам конвоир ничего криминального не заметили, зато у нас с Епимахом завелись лишние деньжата, которых вполне хватало, чтобы задабривать нашего цербера выпивкой. Потом я обзавелся ручкой для открывания дверей, дабы, минуя услуги проводников, самому переходить из вагона в вагон — вдоль всего состава.

— Чего шукаешь? — обеспокоился Епимах.

— Привычка такая, — неопределенно отвечал я…

Чем ближе подходил поезд к Дюссельдорфу, тем более сторонился меня мой бравый вахмистр,

отец семейства и прочее. Кажется, он решил, что я совсем не тот, за кого себя выдавал в Гальбе, и он не понимал, откуда у меня лишние деньги, к чему обзавелся я стандартной ручкой для открывания дверей.

— Послушай, ты не из этих? — спросил он меня ночью.

— Из этих, — не отрицал я. — Ты вот считал меня «тилигентом», а теперь скажу тебе сущую правду, только не удивляйся. Нет, я не карманник — бери выше. Такие дела проворачивал, что если будешь держать язык за зубами, так мы не пропадем.

— Христос с тобою! — испугался Епимах. — Вот уж не думал, что с ворами в компанию угожу. Одно дело в России, тамотко побьют и отпустят на покаяние, а здеся, в чужих краях, мне сразу шулята отрежут… Ты уж, милок, меня не подведи. Коли своруешь что, сам и слопай, а меня не угощай — не надо! Я, видит Бог, отродясь в жизни ничего ворованного не едал…

Средь ночи паровоз истошно взревел, в окнах вагонов проступило страшное багровое зарево. Все всполошились:

— Пожар! Никак горит вся Германия, туды-т ее…

— Нет, дорогие россияне, это мы горим… Рур!

Смятение моих коллег по несчастью легко понять: такого они не видели и видеть, наверное, не желали. Наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами старого «вишневого сада», а Германия давно утопала в производственной копоти, и величественная панорама Рура — даже мне! — показалась в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса.

Почти сразу за Дюссельдорфом, повернув на север, поезд долго-долго проезжал через монолитный город-завод (или завод-город), и русским было в диковинку, где же начало этому городу, а где этот исполин закончится. Наш поезд словно попал в самый центр ада: громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов полыхали уродливым пламенем, в ярком дыму метались тени людей-дьяволов, и даже грохот колес состава не мог заглушить работы крупповского чудовища, которое денно и нощно перекатывало что-то громоздко-железное, раскаленно-удушающее. Вровень с нашим поездом неслись груженные углем платформы, под насыпью мчались ярко освещенные трамваи, бибикали автофургоны, дребезжащие перевозимым металлом, и все это — в дымном едком чаду, в гуще которого тащились

толпы людей, отработавших смену, а навстречу им двигались колонны других, чтобы заступить им на смену…

Один пленный смотрел, смотрел на все это и сказал:

— Не дай-то Бог, ежели и на Руси такое станется…

Наконец поезд замер под сводами обширного вокзала.

— Эссен! — объявил наш конвоир и, чтобы показать свою власть над нами, загнал в карабин свежую обойму. — Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен… Пропустите пассажиров, а потом всем выходить и строиться на перроне. Мы приехали!

Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил:

— Ну, ворюга, бежим, покедова не поздно.

— А куда бежать? Ты знаешь?

— Вестимо куда — домой.

— Ошибаешься. Сначала — в Голландию.

— Эх, пропаду я с тобой, — отчаялся бедный вахмистр.

А я и сам пребывал в подлейшем отчаянии…

* * *

Над городом-монстром Эссеном, столицею Рура, возвышалась райская вилла «Хюггель», отстроенная Круппами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках нашего мира. Рур всегда нуждался в дешевой рабочей силе, и мы, русские военнопленные, загнанные в барак, совершенно растворились во множестве наемных рабов; на Круппа трудились поляки, венгры, итальянцы, словенцы, галицийские русины, закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшиеся Бог весть откуда. Мне стало так паскудно, я был так подавлен своим положением раба, что, закидывая котомку с барахлом на самые верхние нары, в минорном тоне сообщил Епимаху Годючему:

— Будешь моим соседом! Вообще-то ты дуралей и ни черта в жизни не смыслишь, а мне делается страшно, стоит подумать, что этот Крупп начинал с производства ночных горшков…

Эти «горшки» произвели на Епимаха сильное впечатление:

— То-то, я помню, ты сказывал, что Крупп любил навозом дышать. Теперь мне понятно — он сначала от ночных горшков как следует наню-

хался дерьма всякого…

Я не стал просвещать своего приятеля, и без того чересчур премудрого. Засыпая на нарах, словно каторжник, я невольно реставрировал в памяти былое. Когда в IX столетии орден бенедиктинцев основал на берегу тихой речушки Рур женскую обитель, безгрешные монахи, конечно, не думали, что здесь возникнет адская преисподняя германского милитаризма…

Всю жизнь я мечтал о рае, а угодил прямо в ад!

## 6. Между Крупном и Кайзером

«Василий Федорович», как называли русские германского императора Вильгельма II (сына Фридриха), не раз говорил: «Когда случится война, я не буду знать никаких партий, только единую германскую нацию, покорную моей железной воле, а там, где наступает моя гвардия, там нет места для демократии!»

Конечно, за время агентурной работы в Германии мне было не до того, чтобы вникать в партийные программы немецких социалистов. Я знал, что облик русских социал-демократов житейски прост, отсидка в тюрьме или ссылка в Якутию была для них вроде «ордена», русские революционеры не страшились жертвовать

собою ради того «светлого будущего», как они вообще понимали любое будущее… Немецкую социал-демократию я узнал в иной ипостаси. Помню, как «вожди» социализма, при котелках и смокингах, чем-то похожие на откормленных нуворишей, важно расселись в парадных экипажах и, приветствуемые толпой и полицейскими, покатили ко дворцу императора, дабы принести ему самые пылкие поздравления по случаю дня его ангела. Никто не хватал этих «революционеров» за шкирку, никакая «Якутка» им не грозила, но, если бы наш питерский рабочий увидел своих «вождей» с цилиндрами на головах, едущими на поклон к царю, он бы верно решил:

— Во, шкуры продажные! Зажрались, сволочи…

Мне, далекому от политики, признаюсь, всегда было неловко видеть немецких радикалов, когда заставал их вполне легальные сборища в ресторанах. Господа с сонными лицами, развалясь на стульях, открыто пережевывали свои партийные «тезисы» одновременно с жареными сосисками, а их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. Думается, кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партий, и он не ошибся, ибо его социал-демо-

краты дружно голосовали в рейхстаге за войну с Россией, после чего надо было кричать «Ура императору!». Но император, уважая своих социалистов, позволил им расширить свои права, и вожди германского пролетариата кричали: «Ура императору, народу и родине!..»

*Мне — уже после революции — довелось читать дневник А. М. Коллонтай, которую начало войны застало в Берлине. Так вот, одна берлинская социал-демократка не подала ей руки:*

*— Вы мне теперь не товарищ — вы русская! А для нас, для немцев, сначала родина, а потом уж и партия. Теперь-то ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией о всемирном братстве трудящихся всего мира... Нет уж! С этим уже покончено...*

*Волей-неволей, и не хочешь, да задумаешься.*

* * *

Барак пробуждался в шесть часов утра, и к столу, где каждый получал две остывшие картофелины с кружкой кофейного брандахлыста, подавали свежий номер рабочей газеты «Форвертс», призывавшей пролетариат всего мира сплотиться под знаменами кайзера, дабы противостоять «темным и диким силам Востока».

Прихлебывая квазикофейное пойло, я читал своим русским газету, тут же с листа переводя на русский язык, чтобы мои товарищи не мучились в познавании немецкого стиля:

— «Марксисты много лет долбили нам в головы, что отечество лишь воображаемое понятие, а теперь мы видим, что нас обманывали. И мы, немецкие рабочие, не позволим, чтобы армия русского царя угрожала передовому пролетариату Германии созидать новое счастливое общество! Мы охотно идем на войну с русским царизмом, чтобы помочь тем самым русским братьям по классу...» Ну, что, ребята, скажете? — спрашивал я, складывая газету.

— Все это хреновина, — отвечал мрачный Епимах...

Сначала нас, пленных, использовали на разгрузке открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали ее ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над кружкою пива. Кормили же архибезобразно. Утром картошка «в мундире», запиваемая жидким отваром цикория, в обед вареный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уже безо всякого намека

на присутствие маргарина…

Епимах упрекал меня, что я откладываю время побега:

— Ведь ноги протянем у эвтого Круппа…

— Не канючь, — отвечал я. — Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в «полицайревире» нам все зубы не выбили. Моя задача, Епимах: доставить тебя к молодой жене в полном здравии, обязательно веселым и богатым.

— Ну уж! Счудишь же ты, тилигент поганый…

По натуре я всегда был человеком замкнутым, может быть, даже излишне обособленным от людей, но, если требовалось, я всегда умел налаживать знакомства, внушая людям симпатию к своей малоприглядной особе. Вечерами я, погрузив руки в карманы пальто, подолгу и бессмысленно шлялся по улицам Эссена, вспоминая притчу, слышанную от немецкого конвоира: «Эссен — это Крупп, а Крупп — это Эссен». В самом деле, куда бы я ни пришел, всюду имя Круппа преследовало меня, как проклятое наваждение: проспект Альфреда Круппа, бульвар Берты Крупп, памятник Фридриху Круппу, изображенному у наковальни с молотом в руке, общественная биб-

лиотека имени Круппа! В витринах магазинов — альбомы с видами заводов Круппа, а женщины с одинаковыми кошельками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паек на мужей из лавок «кооператива» заводов Круппа; наконец, однажды я забрел на кладбище Эссена, и сторож сразу указал мне, по какой тропинке надобно следовать:

— Стыдно побывать в Эссене и не увидеть надгробия наших великих Круппов… О-о, какие дивные памятники! Идите…

Был, кажется, январь 1915 года; блуждая по городу, я сильно продрог и забрел в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Круппов. Здесь я увидел немца, по виду рабочего, рыжеватого и чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтер, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов — силикоз легких… Сейчас он, явный кандидат на тот свет, упиваясь вниманием случайной публики, взахлеб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до ее сокровищ, схожих с драгоценностями мифического Грааля. Я заметил, что он

выронил из кармана бумажку в десять марок, и, нагнувшись, передал ее шахтерскому поэту Круппов:

— Пожалуйста. Вы обронили ее случайно.

— О, как я вам благодарен! — воскликнул поэт. — Это мои последние деньги, и, если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы с женою остался сегодня без ужина.

— Увы, — вздохнул я, — не имею счастья принадлежать к великой нации... я — русский. Русский военнопленный.

Фриц Руге (так звали этого немца) оказался недалеким, но симпатичным человеком; он сразу выделил в разговоре, как нечто очень важное, что состоит в партии социал-демократов, а свои стихи публикует в эссенской рабочей газете:

— К сожалению, только в Эссене... Муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума, но она, как и я, гонима из других редакций Германии. Однако шахтеры считают меня своим поэтом. А платят тут мало. Кому сейчас нужны мои стихи? Но с женою кое-как перебиваемся.

— Так вы мой коллега, — обрадовал я Фрица Руге. — Правда, я не грешил стихами, но печатался в петербургских газетах... Мне близки и понятны порывы святого вдохновения!

Руге, не в пример другим немцам, был далек от презрения к русским и даже пригласил меня навестить его. Мне было любопытно узнать, как живет и что думает рабочий поэт. Я не преминул быть гостем в его квартире, состоявшей из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться. Обстановка жилья Фрица Руге была крайне убогой, все кричало об отвратной бедности, едва приукрашенной кружевными салфетками и дешевыми безделушками. Даже не это поразило меня — совсем другое! Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землей, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепою шуткой: подле Фердинанда Лассаля красовался император Вильгельм II в каске с пышным султаном, а возле Августа Бебеля нашлось место и канцлеру Бисмарку. Не желая обидеть хозяина, я осторожно намекнул:

— Забавно видеть этих людей в единой компании!

— Почему же? — невозмутимо отозвался Руге, надрывно кашляя. — Все великие люди Германии вполне гармонично умещаются в едином Пантеоне немецкой славы… Зайдите в любой

дом эссенского пролетария, и вы всюду увидите, что почитание Бебеля и Лассаля не мешает им высоко чтить кайзера и Бисмарка.

Бедный Руге! Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы обликами святых, а каждый имел определенное назначение: один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа от запоев, а четвертый помогал при зубной боли. Вполне серьезно, без тени сомнения. Руге втолковывал мне о задачах германской социал-демократии:

— Свой долг перед партией мы уже выполнили, теперь как раз время исполнить долг перед кайзером. Нельзя позволить темной и отсталой России раздавить образованную и процветающую Германию — это была бы гибель всей мировой социал-демократии! Мои товарищи охотно идут добровольцами в армию, чтобы в борьбе с проклятым царизмом оказать помощь вам…

Получалось так, что немецкий рабочий, убивая на фронте русского пролетария, помогает ему в свержении ненавистного царизма, но при этом сам он никак не отказывается от любви к своему императору. Как подобная ахинея могла укладываться в головах одураченных немцев? Только вежливость гостя удержала меня от возражений.

Тут хозяйка пригласила к столу, и я опять увидел ту же опостылевшую картошку, приправленную маргарином. Правда, супруги Руге — после долгих совещаний на кухне — вынесли еще и супницу с «селедочным бульоном». Это был рассол из бочек, в которых развозят селедку. Но бедный поэт настойчиво рекомендовал:

— Очень полезно! Вы попробуйте… разве не вкусно?

Я согласился, что никогда не пробовал такого прекрасного бульона. Руге очень много говорил, убежденный, что эта война будет последней, после чего все человечество погрузится в нирвану вечного блаженства и мира, германский кайзер, конечно, укрепит свой авторитет в немецком народе:

— А ваш царь потеряет остатки монархического престижа, и русские после войны вправе ограничить его самодержавие…

Про себя я решил, что с меня хватит «селедочного бульона», и к Руге я больше не ходил. Но этот наивный человек имел добрую душу, что и доказал мне в ближайшие дни. Помню, мы только что вернулись с погрузки угля, измученные до предела, а Руге поджидал меня в бараке, тихо покашливая. Вроде заговорщика, поэт затолкал

меня в темный угол, сообщив по секрету:

— Я пришел ради пролетарской солидарности… только не выдавайте меня! От своих товарищей по партии я узнал, что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в «похоронную команду», которую из Эссена направят в Бельгию. Вряд ли следует отказываться. Питание там будет намного лучше. Да и хоронить покойников легче, нежели перебрасывать тонны угля…

Спасибо Руге! Если силикоз не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми «героями» немецкой истории. Епимаху Годючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в «похоронную команду».

— Типун тебе на язык! — не соглашался вахмистр. — Чтобы я дохляков всяких таскал за ноги… да ни в жисть!

Я все-таки уговорил его и даже показал карту, на которой границы Бельгии смыкались с нейтральной Голландией:

— Не ерепенься: из Бельгии бежать легче, а из Голландии недалеко до нейтральной Швеции, считай, ты уже дома.

— Ну, ладно. Связался я с тобой, теперь не развяжешь. Ты, ворюга паршивая, видать, все ходы-выходы знаешь…

Годючий, как и все мужики, был бережлив, и свои марки на пиво не тратил. Однажды — уже перед отъездом из Эссена — мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ноги, перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в каких перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Калека менял сто наших рублей на десять немецких пфеннигов. Я спросил его:

— Камарад, откуда деньжата?

— Из русского казначейства в Калише.

— Повезло же вам, — с умыслом сказал я.

— Еще как! Все мы взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули.

— А ногу-то где оставил?

— Да там же… под Калишем. Когда отступали.

Смотрю, мой кавалерийский вахмистр даже позеленел.

— В хозяйстве-то, чай, не пфенниги, а рубли понадобятся, — слишком уж страстно заговорил он, расстегивая ширинку штанов, где он берег от жуликов свой кошелек. — Брать аль не брать?

Я даже растерялся с ответом и махнул рукой.

— Нну-у… бери, — сказал я. — Ведь я же тебе,

дураку, обещал, что вернешься домой веселым и богатым…

### 7. Через бочку – в Париж

Не мной замечено, но давно замечено: у себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит; он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома, где его держат в тисках полицейского надзора. Зато «все дозволено» немцу, если он идет солдатом по чужой земле — тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине: режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй — тебе за это ничего не будет, даже не оштрафуют (ведь ты не дома!)…

Наш знаменитый психиатр профессор В. М. Бехтерев в 1914 году усмотрел в немцах проявление «массового психоза», охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им — немцам! — все простительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались, словно разбойники. Бехтерев спрашивал: чем объяснить, что немецкие писатели и немец-

кие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам, исключить из сердец всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства, а потом, как писали немецкие философы, «мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера».

По «планам Шлифена» первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная Германии, но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. «Геройство Бельгии, — писал В. М. Бехтерев, — выше всякой меры, так как это движение души всего народа, а не одной лишь его армии…» Армия отступала, а народ достался кайзеру — на растерзание! Прекрасные древние города уничтожались, самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть, случалось, что солдаты сами предупреждали жителей:

— Убегайте от нас, мы будем уничтожать всех…

Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром, а роженицам сам король подносил «праздничные пироги». Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, Льеж и Лувен дышали довольством брабантской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит — Хлебная, Мясная, Булочная, Сливочная, переулок Сочной Печенки или Жареной Курицы; живопись Джефа Ламбо давно затмила тучных красавиц с полотен Иорданса, и могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий…

Все это разом исчезло! Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра — там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающую в развалинах, Германия слала «похоронные команды», чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской

военщины…

Мы прибыли! Нас обрядили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок, каждому выдали по номерной бляхе с указанием: «ПОХОРОННАЯ КОМАНДА», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было, в основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами донельзя. Я удивился, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер с заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Нюбекур — родину Пуанкаре:

— Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы — прямо на его бабушек и дедушек…

Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения; он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви; мне запомнилась убитая девочка, на грудь которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с размозженным черепом. Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жары, а наш инженер не уставал радоваться:

— Мы всех научим уважать Германию! Пройдет тысяча лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного — пример Чингисхана!

Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом «похоронной команды» Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывезти все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, отвертками и гаечными ключами, мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен д'Артаньяна и его мушкетеров; инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни единой бронзовой ручки на дверях.

— Победа Германии близка! — возвещал он…

Терпимо, если дома стоят пустыми, покинутые бежавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, вывинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама-бельгийка внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала:

— Вижу, что Германия близка к победе…

От стыда я готов был провалиться сквозь землю.

— Да, мадам, — ответил я со значением, — осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан.

— Вы… не бош! — вдруг догадалась женщина.

— Да, русский. Имел несчастье попасть в плен…

— Чем я могу вам помочь?

— Спасибо, мадам. Помочь нам уже никто не может.

— Если я вам дам булку? Не обижу вас?

— Нет, мадам, мы теперь редко обижаемся…

В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам. Жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека. Я пытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах.

— Чего же псина на ласку не идет? — удивился Епимах.

— Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми…

Здесь к нам подошел местный священник (думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку).

— Запомните название местечка: Бален-сюр-Нет, — тихо сказал он. — Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу… Желаю вам удачи, дети мои.

* * *

Нас выручали бляхи с номерами «похоронной команды» и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечка с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия, которая, как я понял из разговора немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убирались прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверения с фотокарточкой и указанием домашнего адреса. Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропускался ток высокого напряжения, а через каждые сто ярдов дежурили немецкие часовые… Староста деревни сказал

нам:

— Много беженцев погибло на проволоке. Могу посоветовать лишь одно: когда немцы дают ток высокого накала, тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи. Но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу.

Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Маастрихту, что в провинции Лимбург; конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку «прокатиться» на трамвае в нейтральное государство.

Нам оставалось только лезть через проволоку…

Епимах Годючий измучил меня, спрашивая:

— Ну, што? Пойдем на рыск, али как?

Я ответил, что «рыск» возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы постоянно держать проволоку под высоким напряжением. А трупы с их треском — как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой Епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявые днища.

— Во! — просиял он. — Коли эту бочку подсунем под проволоку, так и пролезем… приходи, кума, любоваться!

Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на «рыск».

— Трещат? — спросил я Епимаха.

— Трещат, проклятые, будто горох в пузыре.

— Рыск? — спросил я.

— Благородное дело, — по-книжному отвечал Епимах…

Мы залегли. Труднее всего было перекатить бочку так, чтобы ее не заметили часовые. Но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки — образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольные, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролись

на патруль голландских пограничников. Я никак не ожидал от этих «нейтралов» такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наши объяснения:

— Мы русские, бежали из плена, но между Россией и Голландией добрые отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас. А лучше, если вы найдете способ предупредить о нашем появлении русское посольство…

Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно — в руки немцев:

— Поймите и нас, голландцев. Мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседней Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева. Да, все понимаю, да, во многом сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте.

— Постойте! — остановил я его, уже потянувшегося к телефону. — Вы не будете звонить немцам, а мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, проделав тот же рискованный путь — через бочку. Вас это устроит?

— Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть…

Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки, образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь с другой стороны ограждения уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат.

— Грех на твоей душе, — сказал я голландцу.

— Ползи! — отвечал тот. — Мне до вас нет никакого дела…

— Чур, я первый, — сказал я Епимаху Годючему.

— Храни тебя Бог, — отвечал тот понуро…

Немец с другой стороны границы делал призывные жесты:

— Давай, шевелись… мы только вас и ждали!

Я просунулся через бочку, он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбираться из бочки.

Тут я догадался крикнуть немцу:

— Камарад, ты сначала спроси, кто мы такие!

Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в «похоронную команду»:

— Затем и ползали в Голландию, чтобы разжиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Эссене одна картошка с «селедочным бульоном»? Или у тебя в семье никто не голодает?..

Немецкий солдат сразу переменился.

— Катитесь отсюда, — сказал он. — Только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я. Другой бы на моем месте…

В этот момент трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии…

— Рыск! — сказал вахмистр, передернув плечами.

— Не подведите меня, — пугливо заговорил немецкий солдат. — Вон, уже идет моя смена… проваливайте подальше!

И мы «провалились», словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал

ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей в доисторические времена… О боже!

* * *

После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начинала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург, откуда она вторгалась во Францию и в Бельгию, но в герцогстве Люксембург, ставшем для них как бы «проходным двором» на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии, уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера… Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее.

— Куда ты опять меня потащил? — негодовал Епимах.

Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах.

— Если все сойдет, как надо, — убеждал я вахмистра, — так мы плевать хотели на «Василия Федоровича»…

Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в Великое герцогство. Любой фронт всегда имеет разрывы между войсками противников; важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров, за мощными першеронами тарахтели походные кухни, на привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки, и горе тому солдату, у которого недоставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной — палкой! На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось… Однажды, пропуская мимо себя обоз, я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трехцветными лентами:

— В этих ящиках дум-дум, запрещенные Женевской конвенцией.

— Дум-дум… А что это такое?

— Разрывные пули. Влепят в ляжку — и прощай ноженька; как треснут в голову — и череп разлетается вдребезги.

— Диву даешься, — отвечал Епимах, поразмыс-

лив. — Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим…

Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря — молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках.

— Нашли место, где валяться, — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. — Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель, и без того уже не раз ограбленную всякими проходимцами.

Мне с Епимахом оставалось только покориться.

— Мы не станем смущать ваш покой, — отвечал я аббатисе. — Но помогите отыскать верный путь… Наш дом очень далек, мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране.

Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо:

— Идите вот этой дорогой до громадного камня, на котором высечен крест, от него тропинка в лес… Только не воровать!

Я покорно склонил голову, ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по

шее, эта же палка благословила вахмистра ниже спины, что заставило нас поторопиться.

— Вот бисова баба! — говорил Епимах. — Не иначе как скаженная… мужа бы ей хорошего, чтобы поучил вожжами!

Аббатиса не обманула: указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора — солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерения.

— Vive la France! (Да здравствует Франция!) — провозгласил я.

Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют, однако французские «паулю» оказались слишком жесткосердны: нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где два дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из 2-го бюро (французской разведки). Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена, но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец это вызвало у меня горький смех.

— Наверное, я вам очень опротивел, — сказал я,

— но вы мне надоели тоже. Найдите способ связаться с русским посольством в Париже, где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев.

— Откуда граф Игнатьев может знать вас?

— Мы с ним почти одногодки, только Игнатьев окончил Академию российского Генерального штаба раньше меня…

**Постскриптум № 7**

Конец приближался… 1 сентября 1944 года, едва опомнясь после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своем «Волчьем логове», затаенном в лесах близ Растенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обведя всех глазами.

— Все ясно, — сказал он. — Здесь сижу я, здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел… капкан! Будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Растенбург две-три парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка…

Гитлер удрал вовремя. Началось победоносное наступление нашей армии, войска 2-го Белорус-

ского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил:

— Гроб! Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга! — закричал он. — Немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга… взорвать!

Гинденбург был спешно извлечен из своей «Валгаллы».

Тяжеленный бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в Пиллау (ныне Балтийск), где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера «Эмден».

— Полный вперед! — послышалось с мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. — Гроб прибыл! — доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине…

Отсюда — опять на колесах — гроб умчался в Потсдам.

Эсэсовцы спрятали его в бункере, чтобы, не дай Бог, он не погиб при очередной бомбежке.

Гинденбург-Бенкендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами.

Но Советская Армия уже подходила к Берли-

ну, и пора было драпать дальше… Гинденбурга довезли до Тюрингии, и там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей-королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями.

Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии. Эсэсовцы, проклиная свою судьбу (а еще более невыразимую тяжесть гроба), снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. Семафоры дали зеленый свет — к отправке, и началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать…

Наконец решили везти покойника на запад:

— Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев!

Громадный и несуразный гробина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико был их разо-

чарование, когда они увидели…

— Лучше бы и не смотреть! — говорили бравые ребята, зажимая носы и отбегая подальше от гроба…

Война завершилась, в Нюрнберге уже заседал международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга.

— Как не знаете? Где-нибудь закопайте, и дело с концом…

Совет был мудрый. Так и поступили. Конец.

# Глава вторая
# Крутые перемены

*Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась и что вчерашний день утонул навсегда. Vaf virtis![18]*

***М. Е. Салтыков-Щедрин***

НАПИСАНО В 1943 ГОДУ:

…охранявшие здание сталинградского универмага, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулюс со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано: «Положение в Сталинграде без изменений, мужество защитников непреклонно».

Чувствую, пора представить свою семью: Луиза Адольфовна имела дочерей, Анхен и Грету, учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на

---

**[18] notes: 18**
Горе побежденным!

вокзале; после всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплом и сытном, казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам — добрый дядюшка Клаус, обязанный делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца.

Все складывалось хорошо и по службе, если бы… Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной «семьей» было не сладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил «семью» на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат, отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были.

— Как-нибудь проживете, — сказал я на прощание. — Никуда не трогайтесь с места, будет надо — я вас найду…

Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде; здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, испанцы,

румыны, а также, военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корффес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона:

*Зачем я шел к тебе, Россия,*
*Европу всю держа в руках?..*

Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне:

— Вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветам моего деда — никогда не соваться в Россию…

Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корффесу или рукоплескали внуку «железного канцлера». У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок, с мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер!». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как иг-

роки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих «игроков» лучше нас: хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба, им давали туалетное мыло, хотя я — генерал — мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров (ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера). Раз в неделю пленных гоняли строем в монастырскую баню, и, печатая шаг, они с небывалым упоением распевали из надоевшей мне «Лили Марлен»:

*Возле казармы*
*у больших ворот*
*столб торчит фонарный*
*уже не первый год.*
*Так приходи побыть вдвоем –*
*со мной под этим фонарем…*

Вольнонаемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием пленных: «Я с утра до ночи горбачусь тута, — говорил старый плотник, — а мне сахарку в стакан никто не насыпет». В городе ходили

разные слухи, и я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его «самосада», что в монастыре держат силу нечистую — самого Геринга с Геббельсом, но Сталин еще не придумал, что с ними делать — сразу удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном приделе монастыря обособленно проживали сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранее учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера:

— Фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта.

Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравируя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле.

— Это не так уж остроумно, — однажды заме-

тил я ему.

— Но что же делать, — отвечал Шмидт, — если меня сегодня опять кормили овсяной кашей?

— А какой еще каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет…

Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в «котле» Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона… Новикову я сказал:

— Терпение мое лопнуло! Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящей вши или полудохлой гниды, чтобы он сутки-другие посидел в карцере?..

Вообще ладить с этой публикой было нелегко. Я, со своей стороны, вел себя корректно и осторожно. Отношениям с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря — полковник Новиков.

— Ты мерзкий фашист! — заявил он как-то одному немцу.

— Я? — возмутился тот. — Никогда не был фашистом и не стану им. Я убежденный национал-социалист. А фашисты… можете полюбоваться, вон они стоят, — и показал на итальянцев.

Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера:

— Посмотрите на меня — я же порядочный фашист, и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею…

Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово «фашист» для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных — на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию, почему гитлеровцы называли их «антифами» или «кашистами» (Kaschisten — продавшийся русским за лишнюю миску каши). Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом:

— Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен!..

В таких условиях честному немцу было нелегко отстаивать свои убеждения, и я уважал генерала Отто Корффеса, который не боялся говорить о Гитлере стихами Генриха Гейне:

*В Берлине я видел дряхлого пса,*
*Умел он когда-то резвиться,*
*Теперь же лишился зубов и горазд*
*Лишь лаять на всех и мочиться…*

Битва на Курской дуге многое переменила, а на мундирах генералов появились бледные просветы — от споротых «орлов». Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая:

— Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда. А там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию, так и сдохнем на сталинских стройках…

Летом 1943 года был образован национальный комитет «Свободная Германия», издавалась газета «Фрайес Дойчланд»; осенью же возник и «Союз немецких офицеров», порывающих с Гитлером, президентом «Союза» стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья

лежал кусок гусеничного трака от танка, вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб свои сапоги, а войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии.

— Что вы этим жестом хотели сказать, фон Зейдлиц?

— Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака…

* * *

Да, высоко прыгала его «собака», так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных!

Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттеном, водил в атаки прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по «котлам». Так, в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре и сам угодил в «котел» Сталинграда, из которого вырваться не удалось. Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку «За Демянск», и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Паулюса:

— Или вы стали хуже?

— Мы остались прежними. Зато вы стали луч-

ше…

Кольцо наших войск еще только смыкалось вокруг Сталинграда, когда он призывал не исполнять приказов Гитлера и самим убираться от Волги подальше. Я сказал Зейдлицу:

— Из вас получился бы дальновидный политик.

— Нет. В политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии…

Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей. Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель (любимец фюрера) пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во «Фрайес Дойчланд» достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя.

Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой и перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей.

— Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке: они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг…

Вечерами Паулюс в своей «келье» переводил статьи из «Красной звезды», и я, узнав об этом, выразил свое удивление.

— Мне трудно, — отвечал он. — Но, как утверждал Декарт, «чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». Можете не проверять цитату — у меня отличная память, — заметил он с небрежной усмешкой.

Над его столом была приколота записка со словами: «Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил:

— Эпитафия с могилы опозоренного генерала Марвитца…

Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот Марвитц. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроениям Паулюса. Фельдмаршал казался мне

морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран, Паулюс не был солдафоном, скорее напоминал интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом, ковырялся во фруктовом саду; в частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию — мог со знанием дела судить о целебных водах Давоса, смело критиковал выводы, немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек.

— Интересно, куда они едут, едут и едут?

— Добровольцы. Чтобы восстанавливать Сталинград.

Паулюс тяжело и надолго задумался.

— Им будет там тяжело… Впрочем, — сказал он, — если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде… в новом, где не останется следов войны.

Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте, на школьной карте он — ведущий стратег вермахта, автор плана «Барбаросса» — делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец.

— Не думайте, что я переигрываю войну, — сказал он мне. — Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну…

Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой:

— Вы напрасно представляете Гитлера психом или придурком. Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что это человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией.

— Согласен, — отвечал я. — Наша пропаганда перегибает палку, и если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги…

Паулюс завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного «ржанья» начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное шутовство выговором:

— Шмидт, я устал от ваших концертов! Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу, но мы же здесь не в берлинском «Адлоне», где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам — хуже нас с вами! У них дети не имеют и доли того, что имеем здесь мы, сидящие за колючей проволокой. Так

постыдитесь же, камарад, ржать!

Паулюс заметил мое внимание к нему, особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения.

— Но зачем вам это? — спросил он меня.

— Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок…

Вальтер фон Зейдлиц, человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям. Но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии, по доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом — свергнуть Гитлера и его партийную камарилью, после чего наступит мир…

* * *

Я догадывался, что, объявленный на родине

мертвецом, Паулюс душевно страдает от того, что его семья повергнута в траурную печаль по нему, еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня — совсем об ином:

— Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из «котла» группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них?

— Знаю. Из сообщений берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фельдфебель. Он был принят Гитлером в ставке, даже награжден. Но вскоре умер, истощенный переживаниями.

— Вы, значит, слушаете берлинское радио?

— Почти ежедневно.

— А ваше радио извещало Берлин о том, что я жив?

— Нет…

Паулюс не стал продолжать разговор и, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но все-таки душевный нарыв в нем прорвало:

— Меня возмущает, что по мне отслужена панихида, сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию. От имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к Рыцарскому кресту. Но… ах, моя бедная жена! Но… ах, мои бедные дети и внуки!

Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издалека:

— Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса… Разве не так?

— Откуда вам известно это родство?

— А ваша жена — Елена-Констанция из валашского рода бояр Розетти-Солеску имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции… Так ведь?

— Удивлен, — отвечал Паулюс. — Кто вы?

— Не скрою. Я офицер еще старого русского Генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы, фельдмаршал, лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера.

Из сада хорошо благоухало созревшими фруктами, в окне «кельи» фельдмаршала виднелись

звонницы древнего Суздаля. Искоса посматривая на меня, Паулюс ожидал продолжения разговора.

— Поверьте, я прибыл не ради «вытягивания» из вас каких-либо данных военного порядка, дабы провоцировать вас на отступление от пунктов присяги. Я предлагаю иное…

Паулюс очень подозрительно спросил меня:

— Что же именно вы можете предложить мне?

— Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса.

— Позволено ли Адамсу сопровождать меня?

— Адамс вам не помешает, — ответил я…

На стареньком «газике» мы выехали подальше от Суздаля, с нами не было никакой охраны, ни я, ни солдат-шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники, каждый имел лукошко. Паулюс при очках и в ватнике напоминал не фельдмаршала грозной 6-й армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или опятам, я тоже забыл, что передо мною человек, стратегически разработав-

ший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастаясь трофеями, на костре готовили скудный ужин, и все в этот день было чудесно… Паулюс неожиданно сказал:

— Странно, что сегодня меня никто не конвоирует.

— Позвольте, я отконвоирую вас… недалеко.

Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все пленные в «котле» Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы из состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину. Красный Крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются гестапо, а полное молчание еще более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены… Паулюс сухо кивнул:

— Я об этом догадывался. Каков, по вашему мнению, выход?

Я пояснил: наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных «по адресам» — прямо над Берлином или над Дрезденом, но их собирала городская полиция.

— Впрочем, — сказал я, — какая-то часть писем все же дошла до родственников, когда мы стали

«бомбить» конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию… Понятно, что за вашей семьей в Берлине на Альтенштайнштрассе установлено особое наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас.

Паулюс долго и напряженно молчал. Думал.

— Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но… что я могу сделать в условиях своего заточения?

— А вы напишите жене, и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят.

— Догадываюсь, как это будет трудно…

Письмо было отправлено. Потянулось время — мучительное для Паулюса (и для меня тоже). Наконец однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт:

— Узнаете почерк, господин фельдмаршал?

— Да, почерк моей жены.

— Это для вас. Сугубо личное. Можете взять его…

Паулюс удалился к себе, отказавшись в этот день от ужина, не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом, он переживал свою любовь — обычную любовь, чисто человеческую.

* * *

А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою «семью» прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких «фашистов». Volens-nolens мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирили не в меру разыгравшийся «патриотизм» моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать… особенно девочек! Я помогал Луизе Адольфовне чем мог. Пишу вот это, а сам думаю: как-то сложится судьба моих записок? Не растопят ли этими страницами сырые дровишки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появятся некрологи о «безвременной» кончине, не будет и слез над могилой, ибо — так думаю — и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном:

*Да возвеличится Россия,*
*Да сгинут наши имена!*

## 1. Сердечное согласие

Меня никогда не тянуло в Париж, но, попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густав Эрве печатали в газетах заглавия боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурою (остались одни их заглавия). Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно, бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов, зато часто встречалась «пара гнедых», запряженных с зарею, будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами — слепые затворы жалюзи, на дверях магазинов болтались неряшливые записки: «Жан Кошен с пятью сыновьями на фронте», «Не стучите напрасно — весь персонал фирмы мобилизован».

Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали, зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую.

Много приходилось читать о ночных кафе Парижа, но теперь все бистро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали, за пение на улицах штрафовали, смех исчез. Все оркестры (и даже в ресторанах) умолкли, кабаре сделались безголосы, префектура Парижа постановила: преступно сидеть в ложах и бисировать всяким глупым «флон-флон», если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов!

Я так много был наслышан о толпе Больших Бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшей, многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянные, сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой, их обычные уловки обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая:

— Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?

— Благодарю. Но я озабочен иными проблемами.

— Жаль, — ответила девушка. — Любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скид-

кой… едва хватает на хлеб. Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты, а кому будут нужны потом мои кости?

Я предложил ей поужинать. Благодарная, она сказала:

— Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию…

Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительны, они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни апашей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. Я тоже не раз попадал в их облаву. Но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость «Entente cordiale» — верой в «сердечное согласие» коалиции стран Антанты.

Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались

вкривь и вкось, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм, были забыты прошлые обиды — эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь, она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизе Реклю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания.

— А у вас есть паспорт? — часто спрашивали меня.

— Откуда? Я прямо из плена.

— А я — с волчьим! Бежал из России после пятого года, имея честь принадлежать к партии эсеров.

— Которые тут без паспорта, лучше не стойте.

— А что? Вешать станут?

— Лучше уж без штанов, но с паспортом, а всех без «папира» сразу в Иностранный легион — и прощай молодость!

— Да, в легионе забьют… как собаку. Пронеси, господи. Что угодно, только б не таскать красный аксельбант.

— А я вот матрос с броненосца «Потемкин»! Желаю вернуться, чтобы верой и правдой… как положено русскому человеку.

— Вернись. Там тебя сразу на парашу посадят.

— А вы, сударь, кто будете? Эсер? Эсдек?

— Я бедный еврей, спасался из Кишинева… от погрома.

— Так спасайся и дальше. Тебе-то чего от России?

— Желаю служить в русской армии.

— А-а-а… тогда стой. Дождешься!

Епимах наслушался подобных речей и заскучал:

— Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу — так семи потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее…

Связи с Россией были прерваны фронтами. В очереди часто поминали новорожденный Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск), куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата, я пробился к воротам посольства и тоном

приказа велел швейцару:

— Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в Генеральном штабе. Так и доложи. Граф Игнатьев поймет, о ком идет речь.

Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал свое подлинное имя. Алекскей Алексеевич указал рукою на кресло:

— Не ожидал! Итак, слушаю вас.

— Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова, пленен как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой.

— Желаете вернуться домой?

— Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в Генштаб о моем появлении в Париже, и я не откажусь исполнить новые поручения Генштаба, ежели таковые последуют…

Игнатьев прошелся по кабинету. Потом выдвинул ящик стола, издали перебросил мне на колени пачку франков.

— Это вам, чтобы вы обрели божеский вид, — сказал он. — Вы извещены, что погубило армию Самсонова?

— Тут немало причин…

— Но главная в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддается расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении…

В облаках под Парижем медленно плавала «колбаса» германского цеппелина, с верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизонные пулеметы. Я сказал Игнатьеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Годючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатьев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнадеженный, снова напряженный в чаянии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Годючего, который, как и все, стоял, задрав голову, наблюдая за полетом цеппелина, бросавшего на крыши Парижа меленитовые (зажигательные) бомбы.

— Пойдем, — вытащил я его из очереди.

— Я все уже сделал. Будь спокоен. Через месяц ты повидаешь семью…

Я приоделся сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чем ему не отказывал. Мы с ним как

следует пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно… Я сказал:

— Епимах Иваныч, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю ивановскую… Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер Генерального штаба. Что я мог для тебя сделать, я все сделал. Граф Игнатьев не сегодня так завтра приготовит для тебя нужные документы, и, вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы повидать своих деток. А в конце всей этой истории давай, мой милый, поцелуемся…

Мы расцеловались. Епимах заплакал. Я тоже прослезился.

* * *

Очевидно, в Генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике, и там, на берегах Невы (где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград), долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить.

— Наберитесь терпения, — утешал меня Игнатьев. — Потерять офицера Генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока

еще генштабист обретет опыт работы… ждите! Так что не волнуйтесь. Генштаб вас никогда не забудет.

Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатьев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать.

В томительном ожидании решения Генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии, и тогда же я впервые услышал это имя — Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти!», вдруг круто переменил фронт, начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали: «Chi paga?» (Кто платит?). Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников — Австро-Венгрии и Германии. Но, помимо власти и денег, Муссолини уже тогда снедала жажда

величия. Будущий дуче провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист, Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатаем сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушение музеев, который — еще в Москве! — пьянел от трехчасовых речей и трезвел от трех литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриеле Д'Аннунцио, остроносый карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн; иногда я встречал Д'Аннунцио в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа «вамп» с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, «лансировали» (то есть содержали) эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений встрепенулся и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому «величию Римской империи»; вот что он тогда возвещал своим «макаронникам»:

— Довольно Италии быть складом древностей для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобрачных, где они проводят медовый

месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей…

Примерно так — уже тогда! — исподволь вызревал фашизм с диктатурой дуче, но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня, русского офицера, вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории, тем более надежной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы — княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весною 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом А. А. Игнатьевым; по выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в Генеральном штабе решен.

— Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии, — сказал Алексей Алексеевич.

— Простите, — обомлел я, — но я ведь уже давно в этом чине, а теперь не пойму — повысили меня или разжаловали?

— Очевидно, ошибка, — искренно огорчился

Игнатьев. — Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое ни дай им дело, все изгадят. Вы уж, ради бога, меня извините.

— Да вы и не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены…

Игнатьев ознакомил меня с шифровкой: мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать Ставку о подлинном положении дел на Балканах.

— Но там же полковник Артамонов, — напомнил я.

— Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича и, кажется, слишком опутан побочными влияниями сербской разведки… Вы меня поняли?

— Так точно, ваше сиятельство. Понял.

— Не мне учить вас, — продолжал Игнатьев.

— Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить: в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев, там же работает отряд врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии сто пятьдесят тысяч винтовок, хотя…

Хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию, генштаб которой «Чифрарио Россо» уже предупрежден о вашем появлении…

На всякий случай Игнатьев предложил мне «пуговицу», которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде — как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего. Но я отказался:

— Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать…

Перед самым моим отъездом Игнатьев известил меня, что Генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом:

— Теперь-то вы имеете право носить галоши…

(В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника.) Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым, я встретился с ним позже, когда он, уже генерал Советской Армии, работал в Воениздате. При встречах со мною он всегда заманивал меня в уголок:

— Сознайтесь, как на духу, что пишете мемуары?

— Упаси меня Бог! — неизменно отвечал я.

— Напрасно. А то бы мы их напечатали.

— Сомневаюсь. Еще не пришло время как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые еще не родились…

* * *

Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами… Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту Катарро морем, но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. «Чифрарио Россо» доверило мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италии аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку:

— Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома. У нас отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы Жюкмесса.

При всем моем уважении к загадочному Жюкмессу я ответил, что все парашюты надежны, но

я еще ни разу не слышал, чтобы парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели:

— Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет…

Тут англичане дружно заговорили, что знают русских как самых отчаянных храбрецов, которым море по колено, им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинства нового парашюта.

— Мы же деловые люди, — сказал майор Диксон, — и еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски…

Меня задели слова англичан, заподозривших меня в трусости, и, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылью с крепким бренди.

— А где этот зонтик, на котором я должен спускаться?

Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством.

— Видите, как все просто? Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить

бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя... Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже.

Про себя я подумал, что англичане настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалованья. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабиною самолета. Всю дорогу до цели я осужден был лежать, спрессованный, как жалкая килька в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли:

— Не бойтесь. Парашют раскроется сам после того, как вы оторветесь от нас на двести метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины: «Дружно идем к победе!»

Это был девиз коалиции стран «сердечного согласия».

Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил бога, чтобы меня не сбросили на высоте

ниже 200 метров, иначе мое «ведро» сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленая система Жюкмесса, чтоб ему ни дна ни покрышки…

Сверху — из кабины — раздался голос майора Диксона:

— У вас осталось что-либо в бутылке?

— На один или на два глотка… А — что?

— Допивайте скорее. Мы приближаемся…

Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв:

— Дружно идем к победе!..

Далее случилось то, чего я никак не ожидал: гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы, я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло — парашют раскрылся. В этот же момент все содержимое бутыли выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина, и смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков лишенный даже капельки алкоголя.

Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу, уже поджидая меня, торчали острые пики виноградных кольев. Мое личное дело —

заранее выбрать любой из них, чтобы усесться на него как раз тем местом, каким сажали на кол еретиков во времена инквизиции. В последний миг я извернулся, давя под собой сочные виноградные гроздья… Неподалеку стоял старик-крестьянин и, сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы. Я со злостью пихнул ногой алюминиевый цилиндр, загудевший, словно церковный колокол, зовущий к обедне.

— Эй, отец! — крикнул я по-сербски. — Бери… это твое. Где еще найдешь такое отличное ведро, чтобы давить виноград для молодого вина? Все соседи станут тебе завидовать.

Во всей этой истории до сих пор не могу понять одного: зачем человеку, решившемуся прыгать с парашютом, англичане так настойчиво советовали опустошить целую бутылку виски? Но мне никогда не хотелось узнавать, кто такой был этот Жюкмесс, и был ли он вообще на белом свете…

## 2. Пламя над балканами

Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавней бедою Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты еще надеялись на мирное разрешение

июльского кризиса…

Славный многолетним опытом по уничтожению мух, император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками, обставил Дунай мониторами — и столица сербов рушилась под бомбами, сметало с домов крыши, горели театры и библиотеки, жители вместе с кроватями падали в раскрытые провалы лестниц, трупы женщин провисали с балконов длинными волосами, которые факелами сгорали в пламени пожаров… Так началась трагедия многострадального города, так открылась для сербов эта война. Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян, и сербы все — как один человек — встали под ружье в едином порыве. Не было квартала в Белграде, даже самого нищенского, куда бы «старый и добрый монарх» не швырял свои бомбы; из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, воссылавших молитвы, чтобы кара господня постигла всех сербов без исключения:

— Господи, уничтожь эту нацию убийц и насильников, а мы волею твоей пошлем всех сербов на виселицы…

Как бы отвечая своим убийцам, сербы — и стар и млад — провозглашали в храмах свои

молитвы:

— Чужого не хотим, своего не отдадим! Верую во единого бога — русса, который победит шваба и прусса…

Венский генерал Потиорек форсировал Дрину и Саву; правительство Пашича перебралось в Ниш, а командование сербской армией — в Крагуевац, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал:

— Поклон России! Сама нуждаясь в оружии, она отдала нам полтораста тысяч винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более ста выстрелов в резерве…

Что там «чудо на Марне», если сербы устроили «чудо на Дрине»! Они так ударили по захватчикам, что Потиорек бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархии Габсбургов, осыпаемые цветами своих сородичей. Черногорский король Никола тоже объявил войну Вене, но лезть в драку не спешил, ибо боялся, что Карагеоргиевичи — в случае победы — приберут Черногорию к своим рукам, а его самого спустят с Черной Горы вверх тормашками. Пока же хитрый Никола получал деньги из Петербурга, пересчитывал крепкую обувь, получаемую из Лондона, а

Париж завалил его склады в Цетине солдатским обмундированием. Никола имел свои планы, как бы ему — без лишнего шума, пока все заняты войною — оттяпать кусок земли от Албании.

— Если, — рассуждал он в своем конаке, — Карагеоргиевичи пекутся о создании «великой Сербии», то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании «великой Черногории»?

Потиорек сдавал сербам одну позицию за другой, он сбрасывал в ущелья свои пушки и безжалостно рассыпал по канавам запасы крупы — только бы скорей убежать. А русские моряки Дунайской флотилии, отражая атаки Венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагою античных воинов, и потому, когда армия нашего Брусилова громила австрийцев в Галиции, армия Габсбургов была скована на Балканах атаками сербов. Позор для мухобоя-императора был слишком велик. Потиорек надеялся, что учинит в Сербии обычную карательную экспедицию, перевешает непокорных, перепорет недовольных, а вместо этого пришлось заново формировать армию, разбежавшуюся по кустам, подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством силы огня в 10-20 раз. Сербская

армия была измотана уже до предела, когда Потиорек почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен, ибо — через покоренную Сербию — Берлин желал устроить «военный и политический мост» для связи с союзной Турцией. Людендорф не считал, что с сербами все покончено, как заявлял Потиорек:

— Потиорек слишком разбегался, но австро-венгерские войска я уже не считаю полноценными для наступательных операций. Не лучше ли оставить сербов корчиться от ран и голода, а все боевые части Потиорека перебросить на русский фронт… именно против генерала Брусилова, который опасен для всех нас!

Ошибались многие. Не только враги, но даже друзья.

Русский посланник в Сербии, князь Григорий Трубецкой, предсказывал полный развал фронта. Он видел, что сербы истощены, дороги переполнены беженцами, женщины бросают свой скарб, чтобы нести раненых солдат, и потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград: «Переутомление физическое и нравственное после четырех месяцев непрерывной борьбы

овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября (1914 года) катастрофа кажется мне неизбежной…»

Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Виселицы не пустовали, а всех, кто еще смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шепперт спрашивал офицеров из штаба генерала Потиорека:

— Господа, зачем вы казните сербских женщин?

Австрийские офицеры это отрицали:

— Вы плохо осведомлены! Да, мы уничтожаем сербских собак-мужчин, но мы не трогаем сербских кошек-женщин…

Получив новую помощь от России и Франции, сербская армия неожиданно оправилась, воевода Путник подписал приказ.

— Лучше смерть, нежели стыд оккупации, — сказал он.

В канун 1915 года сербы снова перешли в наступление. За двенадцать дней свирепых боев сербы — в который раз! — снова наголову разбили войска Потиорека, от армии которого осталась едва ли половина того, что было. При развернутых знаменах победоносная армия Сербии

вернулась в поверженный Белград, и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя… В эти дни Потиореку доложили:

— Что делать? Наши солдаты ложатся на землю и не встают. А если их бить, они вскакивают и убегают в тыл…

А на что тогда пушки? Потиорек распорядился:

— Все отступающие полки расстреливать из орудий тяжелой артиллерии. Если они боялись умереть от сербской пули, так пусть их разнесут свои же крупнокалиберные снаряды…

Вена погрузилась в траурное уныние. «Старый и добрый монарх» шлепнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армии на Балканах. Английская газета «Морнинг пост» сообщала, что Франц Иосиф при этом известии «склонился над письменным столом и горько заплакал…».

Ну, так ему и надо!

* * *

Я попал в Сербию, когда линия фронта на Дрине стабилизировалась, шла позиционная война, сдобренная лихостью партизанщины. Сербия снова была очищена от австрийцев, теперь, сами голодные, сербы не знали, чем прокормить

многотысячные оравы пленных. Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, выхоленных на конских заводах Венгрии, сербские солдаты делили между полками трофейные пушки (без снарядов) и пулеметы (без патронов), а знамена дивизий армии Потиорека отдавали бедным — на тряпки. Полы мыть, что ли?..

Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне, австрийская армия укреплялась за счет свежих германских дивизий генерала Макензена, а сербское воинство, обескровленное в боях, едва насчитывало сто тысяч штыков. Сама же идея «великой Сербии» тоже давала трещины, словно корабль, выброшенный бурей на рифы и осужденный развалиться на куски. Я сам не раз слышал, как говорили вислоусые сербские ветераны:

— Великая Сербия нужна королям, но пусть лучше возникнет ЮГОСЛАВИЯ, страна южных славян, чтобы серб с хорватом, а словенец с македонцем не кидались один на другого с ножами…

Не ясно было еще положение Болгарии, хотя поезда из Одессы по-прежнему ходили в Софию строго по расписанию, а от Софии до греческих Салоник, как в мирные дни, мчались комфортабельные вагоны международных экс-

прессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Крагуеваце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя, и обругал царя Болгарии:

— Фердинандишко, собачий сын, не сегодня так завтра продаст всех «братушек» «Василию Федоровичу» из Берлина, и тогда на Балканах начнется такая заваруха — хоть беги…

Я заметил в Артамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенес на королевича Александра. Сам же Александр, огрубевший от загара, отнесся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника — в таких словах:

— Господа, вот этот человек тратил на меня в Петербурге карманные деньги, чтобы угостить меня мороженым с вафлями… Мы вместе постигали уроки правоведения на Фонтанке!

Уже извещенный о перипетиях моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь Гальбе, а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевич осведомился, кто, по моему мнению, самый даровитый из немецких генералов:

— Гинденбург? Или все-таки Людендорф?

— Макс Гоффман, — ответил я.

— А что вы знаете об Августе Макензене, который начинает подпирать Потиорека с тыла? Это правда, что он был адъютантом самого Шлифена и потому нам следует его бояться?

— Бояться не надо, ибо наш генерал Куропаткин тоже ведь был адъютантом великого Скобелева, но страха японцам не внушал... Ученик не всегда превосходит своего учителя!

Обычный разговор, ни к чему не обязывающий. Но для себя я отметил подобострастие Артамонова и заискивающий тон речей королевича, который не постыдился помянуть даже порцию мороженого, купленного на мои копейки. Александр обращался ко мне в таком тоне, словно вдруг пожалел реставрировать нашу детскую дружбу. Невольно думалось: к чему бы это? Мне, честно говоря, не хотелось бы услышать вопрос королевича — ради чего я появился в Сербии, но он почему-то не спросил меня об этом, и тогда я сам сказал — как бы между прочим:

— Мне желательно видеть батальон русских добровольцев... молодежь! Студенты, еще не обстрелянные.

— Да, средь них немало потерь, — кивнул королевич...

Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей ерундой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами; средь них, в таких же условиях, ничуть не отличаясь от беженцев, без жалоб умирали тысячи раненых. Возле складов Красного Креста сербы уже не стояли в очереди, а — лежали, ибо стоять уже не было сил от истощения, и эта лежащая очередь полумертвецов терпеливо выжидала от общины Международного Милосердия кусок хлеба или обрывок бинта, чтобы перевязать свои раны. Сыпной тиф свободно гулял по дорогам, не щадя ни генералов, ни даже врачей. Все беженцы устремлялись в Ниш, где размещалось правительство Сербии, но именно в Нише люди здоровые становились больными.

Я вернулся в Крагуевац — повидать Аписа, который может сказать мне то, чего не знали другие. На окраине города был развернут в палатках госпиталь русских врачей, приехавших в Сербию от имени Славянского Общества. Меня встретил хирург Николай Иванович Сычев, плотный здоровяк, который еще издали по какому-то наитию сразу определил во мне русского.

— Вы по какой части? Из Москвы или из Пите-

ра? Каким чертом занесло вас сюда? — засыпал он меня вопросами.

Я показал доктору на тихо плывущие облака:

— Свалился прямо оттуда… совсем недавно.

Сычев вдруг проявил сильное волнение:

— Если так, то где же ваш парашют?

— Удивлен, что вы о нем спрашиваете. Парашют отдал местным крестьянам. Наверное, сгодится на рубахи.

— С ума вы сошли! — закричал хирург. — У нас давно идут комки пакли вместо ватных тампонов, а из вашего парашюта, знаете ли, сколько бинтов мы смогли бы нарезать?

— Извините. Не догадался. Да и откуда мне знать о вашей нужде в перевязочных средствах. Неужели все так плохо?

Сычев злобно растоптал каблуком окурок, прислушался, как заливается криком раненый на операционном столе:

— Без наркоза! А вы и в самом деле свалились недавно?

— Да, прямиком из Италии.

— Ох, не верят сербы в этого союзника!

— А почему, как вы думаете, доктор?

— Боятся, ибо у наследников прегордого Рима еще не пропал давний зуд к величию. То им пода-

вай Сомали, то Абиссинию, то Ливию, а теперь не откажутся и от Далматинского побережья. И вот что самое удивительное: чем больше бьют макаронников, тем сильнее растут их претензии… Пойду! — заключил Сычев. — А то, чувствую, мой ассистент совсем зарезал бедного серба… Слышите, как надрывается? Ну, а где мы возьмем наркоз?

Маленькая доля статистики, думаю, не помешает: к лету 1915 года в Сербии — от тифа и голода — умерли около 130 000 человек. Это — не считая тех, что убиты на фронте.

* * *

Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приемы доводил до совершенства. Едва я попал в его кабинет, как сразу же — от самых дверей! — уперся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис, все такой же могучий, как мифический бык, и черный от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле.

— Не испугался, друже? — спросил он меня.

— Нет.

— Молодец, если так… Любой австрийский шпион, от самых дверей напоровшись на меня,

сразу шалеет, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета. А тут…

На полу кабинета — вниз лицом — валялся мертвец.

— Он еще нужен? — спросил я о нем.

— Держу эту падаль для опознания, — кратко пояснил Апис. — Какой-то паршивый македонец служил в нашей армии, а продавал нас турецкой разведке. Садись.

— Куда?

— Прямо на стол. Поговорим, друже… Всем шпионам, утверждающим, что они «ничего не знают», кажется, что этим они спасают себе жизнь. Но жизнь они могут спасти только в том случае, если они что-то знают и об этом буду знать я!

Мертвый македонец не мешал нам говорить откровенно, наша беседа напоминала разговор старых друзей, которые повидались после долгой разлуки. Та зловещая ночь в королевском конаке, когда вылетали в окна трупы короля и королевы Драги, эта историческая ночь связывала меня и Аписа страшным единством. С крайним раздражением Апис признал, что его разведка, отлично налаженная до войны, стала давать перебои во время войны.

Помнится, я ответил Апису примерно так:

— Чем больше расширяется театр войны, тем шире раскрываются глаза профессионалов разведки, и не только у нас, но и во всех враждующих странах разведка ослепла, а сами разведчики зачастую выглядят как прожженные авантюристы…

— Где у вас самое слабое звено? — спросил Апис.

— Кажется, в Варшавском округе.

— А где самое сильное?

— Точно не могу ответить. Но, насколько я извещен в этом вопросе, мы стали сильны в лабораториях заводов Круппа, там работают русские генштабисты самого высокого класса.

— Ты хоть одного из них встретил в Эссене?

— Если бы и встретил, то я бы отвернулся…

Неожиданным был следующий вопрос Аписа:

— Предупреждал ли тебя о чем-либо Артамонов?

— Случая для серьезного разговора еще не возникало.

— Но скоро возникнет, — строго предупредил Апис. — А как прошла встреча с королевичем Александром?

— Он был крайне любезен…

Апис надолго замолк. Мы сидели на разных кон-

цах стола, оглядывая один другого с непонятным для меня напряжением. Затем полковник Апис сказал, что в сербской армии стали таинственно исчезать люди, которые слишком много знали:

— И я думаю, что враги «Черной руки» связаны даже не с Николой Пашичем, их опекает кто-то повыше… более хитрый и более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения… В меня однажды уже стреляли, — тихо добавил Апис. — Советую и тебе, друже, быть внимательнее, не обольщаясь любезностями королей, королев и королевичей.

Мне было нелегко подобрать слова для ответа:

— Война… к чему нам лишние страхи?

— Лишние? — внезапно выкрикнул Апис.

— Так смотри…

Он извлек из-под стола бумажный сверток круглой формы, и сначала мне показалось, что в этом ворохе старых белградских газет Апис бережет головку деревенского сыра.

— Узнаешь, — вдруг спросил он меня.

Посреди письменного стола, как раз между нами, он водрузил голову майора Войя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам — правым и неправым, светлым и темным. Отчаянный вождь сербских партизан-комитатджей,

так много сделавший для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми, глазами мертвеца.

— Откуда его голова? — спросил я.

— Могилу Танкосича осквернили австрияки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя комитатджей. Вот здесь, — показал Апис, вращая голову, словно драгоценную вазу, — именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок… Да, в затылок, когда Танкосич ночевал в лесу. В лоб — это еще понятно, но пуля в затылке всегда подозрительна. Потому я говорю тебе — берегись… особенно по ночам! Железные пальцы нашей «Черной руки», собранные в мощный кулак, медленно разжимаются…

В эту ночь мне совсем не хотелось возвращаться в Ниш, переполненный тифозной заразой, не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивуак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собирались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которой еще не было на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад, ярко и

жгуче полыхал костер, по кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы-комитатджи, мерно покачивались в такт песни:

*Быстры, как волны, дни нашей жизни.*

*Что час, то короче наш жизненный путь.*

*Налей же, товарищ, заздравную чашу.*

*Кто знает, что будет у нас впереди?..*

Впереди всех их ожидала неминуемая смерть!

...Апис предупредил меня, что «Черная рука», ослабев, уже разжимается, но Апис еще не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас крепчает другая рука — «Белая».

### 3. «Белая рука»

Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их, как бесплатное мясо. Однако еще со времен Марата и Робеспьера слишком памятны слова вопроса, обращенного в будущее: «Неужели революция — это гидра, пожирающая собственных детей?» На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро

совокуплялось со злом. Свержение королевской четы Обреновичей в 1903 году сербы считали «революцией», но в каждой революции заводятся гнилостные черви, и, сначала невидимые, тихо ползающие в погребах высшей власти, для них еще недоступной, они постепенно разрастаются в жирных дремучих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля, рожденная революцией, разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал, и втайне она ликует, почти со сладострастием наслаждаясь бессилием своих жертв…

В числе убийц династии Обреновичей был и малозаметный поручик Петар Живкович[19], который, будучи одним из пальцев «Черной руки», сумел полюбиться Александру, сделавшись при нем «ордонанс-офицером» королевской гвардии. (Советский историк Ю. А. Писарев не щадит этого мерзавца: «Это был прожженный делец, не уступавший в искусстве интриги самому Александру. У него не было ничего святого, ему были чужды такие понятия, как честь, чувство долга

**[19] notes: 19**

Петар Живкович (1879-1947) — при короле Александре стал премьер-министром, министром внутренних дел и военным министром, проводя политику репрессий в борьбе с народом. В марте 1941 года возглавил государственный переворот, а в апреле того же года, при нападении фашистской Германии, бежал из страны и умер в Париже.

и т. п. Сблизившись с Александром, он предал своих прежних соратников — Дмитриевича-Аписа и других участников заговора 1903 года… Александру он, Живкович, внушал мысль об установлении единоличной диктатуры».) Конечно, прежде всего им мешал Апис…

Теперь-то я понимаю, что им мешал даже я!

Виктор Алексеевич Артамонов имел с Живковичем какие-то потаенные шашни, но со мною военный атташе сделался осторожным; его поведение я мог объяснить лишь тем, что он подозревает во мне негласного ревизора, а может, и хитрого карьериста, который желает спихнуть его, чтобы занять его место. В беседах со мною атташе предпочитал делать намеки, но открыто не выражал своих мыслей. Между нами возникла странная игра, схожая с шахматной, и мне совсем не хотелось бы видеть в Артамонове соперника, обдумывающего коварную комбинацию, чтобы загнать меня в угол доски. «Очевидно, — размышлял я, — партия будет разыграна кем-то другим».

— Но знать бы мне — кем? — не раз спрашивал я себя…

Никола Пашич был человеком, желающим знать все, и, пожалуй, он знал все, что ему требовалось. Но выходить на контакт с ворчливым

и хитрым стариком не входило в мои планы. Я вдруг ощутил себя в нежелательной изоляции, и единственное, что удерживало меня на поверхности событий, — это проверенная связь с Аписом и его подпольем, доставляющим немало тревог, но зато дающая мне здравое ощущение силы и правоты в разрешении общеславянских задач. Кого еще я мог бы назвать своим конфидентом? Старого короля Петра? Но король совсем одряхлел и уже заговаривался. Александра? Но делаться королевским сикофантом я, офицер российского Генштаба, не имел морального права, да и не придавал значения тем шаблонным любезностям, что сыплются, словно карнавальное конфетти, с высоты престолов. В ту пору мне казалось, что еще нет особых причин для беспокойства, ибо сам воевода Радомир Путник горою стоял за Аписа. Доктор Сычев — совсем нечаянно — надоумил меня:

— Какой раз мне велят осматривать воеводу Путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я как врач должен лишь подтвердить его непригодность по болезни.

— И вы?

— А что я? Воевода здоров как бык. Но моим диагнозом, кажется, не совсем-то довольны. Требуют

еще раз посмотреть Путника, вот я и смотрю… самому стыдно!

Невольно закралось подозрение: Путника хотят видеть больным и, отставив от службы, лишить Аписа поддержки воеводы. От кого же исходило желание устранить генералиссимуса, чтобы он не мешал удалению Аписа? Вопрос темный, как темна и воровская ночь, созданная для взлома с убийством. Но мрак этой ночи вдруг рассеялся, освещенный явлением Петара Живковича, внешне очень доброжелательного. Однако «ордонанс-офицер» желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик Коста Печанац[20], обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя ожерельями, браслетами, медальонами и серьгами.

— Разговор серьезный, — предупредил Живкович, — и я не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица.

— Королевича Александра? — сразу расшифровал я.

---

**[20] notes: 20**

Коста Печанац — в 1914-1915 годах поручик, занимал пораженческую позицию; в годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами, был агентом гестапо на Балканах, руководил отрядами фашистских «четников», боровшихся с народной армией маршала Тито.

— Допустим, — нехотя согласился Живкович.

Он сказал: «Поражения на фронте, хаос в тылах, общий голод, повальные эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах — все это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви».

— Согласен, — сказал я, чтобы не сказать большего.

— В нашем всеобщем развале, — продолжал Живкович, — усиливается влияние «Черной руки», которая вторгается не только в дела войны, но и в сферы той политики, где давно воцарилась народная мудрость Николы Пашича, признанная всем миром. Коста, не дергайся, — неожиданно закончил речь Живкович.

Замечание было правильное, ибо при каждом движении Косты Печанаца на его поясе стукались четыре бомбы.

— Продолжайте, — сказал я, экономя слова.

— Рука-то белая, только перчатка черная, — вдруг произнес Печанац. — Я сам подчинен полковнику Апису, но…

Продолжения фразы не последовало. Печанац вынул расческу и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое.

— Но и черная рука может стать чистой, если поверх нее натянуть белую перчатку, — заговорил Живкович. Мне эта игра в кошки-мышки надоела, я просил выражаться точнее. — Точнее, — ответил Живкович, — эта «Черная рука» стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец еще терпел выходки Аписа, то Александр Карагеоргиевич готов ампутировать всю «Черную руку», чтобы гангрена разложения не распространялась далее... Сейчас на карту поставлено все!

— И даже наши жизни, не так ли? — спросил я...

Все ясно, как божий день. Петр Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник агнца перед закланием, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей.

— Ты, друже, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизль?

— В этом уверены даже в Петербурге, — отвечал я.

— Напрасно! — съязвил Живкович. — Гартвига отравил Апис, ибо Гартвиг вступался за автори-

тет премьера Николы Пашича.

Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он — хитрая бестия! — сразу ощутил мое недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо — будто по секрету от Печанаца:

— Да, это Апис отравил Гартвига. Но зато Апис отказался отравить королевича Георгия, хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра…

Нужны слова. Я решил отделаться шуткой:

— Вижу, что не все благополучно в королевстве Датском, — кажется, так говорил еще старина Гамлет?

— Среди сербов полно всяких Гамлетов, — отпрянул от меня Живкович, — и они еще ждут своего Шекспира.

— А может, и… прокурора, которого явно не хватает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах.

— Вот именно! — не растерялся Живкович. — Так давайте сообща отмоем свои руки, чтобы из черных они стали белыми…

Я предупредил Живковича, что обо всем слы-

шанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла — князя Григория Николаевича Трубецкого.

— Артамонов и так все знает, — проворчал Печанац, громко продув расческу от волос, застрявших между ее зубьями, — а посла в наши дела не впутывайте. Иначе кончится плохо…

Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне.

* * *

Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой, стараясь донести до него лишь самую суть событий.

Даже на стенах домов Ниша были размалеваны броские надписи: Vivent les allies! (Да здравствуют союзники!), но союзники безнадежно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в сто тысяч штыков для отправки в Сербию, однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли. На пристанях Дуная работали наши матросы, русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах дунайских фарватеров.

Австрия сама уже не могла справиться с ма-

ленькой Сербией, и задушить ее взялись немцы во главе с Макензеном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами, пять тысяч свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. Два дня шли уличные бои, заодно с сербами геройски сражались за Белград русские матросы. Над Дунаем задувал ураганный ветер «кассава», разбрасывая немецкие паромы и пароходы, затем хлынули проливные дожди, дивизии Макензена форсировали Дунай и Саву — началось наступление противника, хорошо подготовленное. Никола Пашич издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи, но лондонская «Дейли мейл» ответила ему передовицей с характерным названием: «Уже поздно…».

Поздно! Макензен давил на Сербию с севера и запада, а с востока фронт Сербии был обнажен, и в эту «прореху» фронта «собачий сын» царь Фердинанд, продавший Болгарию немцам, бросил свои войска. Они сразу вломились на станцию города Вране, разбросали лопатами полотно, взорвали телеграф — отныне сербы лишились связи с Салониками, где союзники выстраивали новый фронт, дабы не пропустить Макензена в Турцию. Между армиями сербов и союзников «собачий сын» вбил крепкий клин.

В союзных штабах Антанты академически рассуждали:

— Сербия сама виновата! Будь сербы благоразумнее, они бы заранее уступили Македонию царю Фердинанду, а теперь… Теперь поздно! Пусть сербы бегут куда глаза глядят…

Правда, англичане и французы пытались вернуть станцию Вране, но были отброшены обратно в Салоники, где маршировали под сводами триумфальной арки времен Марка Аврелия, прелестные гречанки дарили союзникам очаровательные улыбки, а заводы «Метакса» гнали для них превосходный коньяк. Черноморский флот держал давление в котлах, чтобы прийти на помощь. Петербург — устами Сазонова — взывал к странам Антанты:

— У нас собраны сто тысяч людей, но им не хватает винтовок. Дайте нам оружие, и мы вышвырнем немцев из Сербии, словно нашкодивших щенят… Только оружия! А кровь будет наша…

Радомир Путник принял решение, и оно было правильным, ибо оно было единственным, спасающим сербов от окружения…

— Будем отходить на Черногорию — через Албанию…

Из Ниша правительство перебралось в Кралево, за ним тронулся дипломатический корпус. Наступили осенние холода, послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов:

— Это вам для разведения костров… погрейтесь! Теперь от секретов политики одна польза — лишь бы горели пожарче…

Войска перемешались с беженцами, и часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а босая крестьянка несла на плече ружье. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу — в один голос с сербами. Иные, обессилев, рыдали на обочинах, нищенски моля о подаянии:

— Сербы! Я не хотел вам горя… не виноват… меня послали! Поймите меня, простите. Хоть кто-нибудь… хлеба!

Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключенные подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеги отставших детей. Я застал доктора Сычева на окраине Кралево, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой-Радецкой он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора.

— Я еще не сошел с ума! — закричал он мне. —

Но я скоро сойду с ума, ибо нет инструментов для операций… Видите, из вилки у меня получается великолепный скальпель!

Социал-демократ Данила Лепчевич, депутат народной Скупщины, писал, что особенно много беженцев было из Белграда и его окрестностей, бежавших от диких зверств, творимых солдатами Макензена: «Сейчас, когда неприятель наступает со всех сторон, бегство происходит днем и ночью, на лошадях, по железным дорогам, пешком. Многочисленные беженцы не имеют кровли над головой, никто не получает даже краюхи хлеба. Детишки, полуголые и босые, пропадают в холодные ночи. Все трактиры и погреба переполнены. Люди повсюду — за столами, на столах, под столами на полу, а некоторые научились спать стоя…»

Артамонова я встретил в пути лишь однажды.

— Видите, что творится? — показал он вдоль дороги. — Сахара славится своими песками, Россия сугробами снега, Карпаты ветрами, а Сербия грязью, какой нет нигде в мире… Что там люди? Вы посмотрите на лошадей, тянущих пушки. Это же бесформенные груды липкой грязи, и даже сразу не разберешь, где тут лошадиная морда, а где ствол орудия…

На этом мы и расстались; по слухам, Артамонов

примкнул к свите Александра и Пашича, которые в авангарде драпающей армии спешили к берегам Адриатического моря, итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадежно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубецкого, которого знал еще в Петербурге как сотрудника газеты «Русские Ведомости» (в неурожайные годы князь публиковал статьи о помощи голодающим). Сейчас он сидел на облучке, изо всех сил стараясь подражать залихватскому кучеру.

— Не удивляйтесь, полковник! Наверное, нечто подобное испытывали наши предки во времена нашествия Тамерлана… Вы случайно, — спросил князь, — не умеете ли материться?

— Умею, да только зачем вам это?

— Голубчик, поматеритесь, пожалуйста, как московский извозчик, чтобы мои пегасы воспрянули… Просто беда! Анатолий Дуров в цирке даже на кошках ездил, а мои клячи…

— Перестаньте, князь. Лучше сбросьте с коляски свой гигантский кофр с никому не нужными бумагами.

— Хороши бумаги! Тут миллионы лежат.

— Откуда? — удивился я.

— Русские люди по копеечке собирали, дабы

помочь братьям-славянам[21], а вы говорите «бумаги». Ннно, дохлые! Ннно-о…

Студенты-добровольцы приволокли пленного немца из дивизии Макензена, и меня, оборванного, грязного и голодного, больше всего удивило, что пленный был гладко выбрит.

— Допрашивать будете? — спросил студент-химик.

— Нет. И так все ясно. Обыщите его.

В ранце солдата обнаружили «железный паек» (в русской армии он назывался «неприкосновенным запасом»). В пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей, две коробки пресных галет, пачка отличного кофе и фляжка со шнапсом; затем следовала всякая мелочь: спички, табак, катушка ниток с иголкой, бинты и сверток лейкопластыря. Но для меня, офицера разведки, интереснее всего оказалась найденная в кармане солдата свежая «Берлинер тагенблатт», в которой четко говорилось: «Было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны БЕСПОЛЕЗНО…» Иначе

**[21] notes: 21**

Эти миллионы русских рублей, собранные в России от добровольных пожертвований, до сих пор хранятся в подвалах Народного банка Югославии как память о старой дружбе русского и сербского народов.

говоря, в этих словах я сразу усмотрел намек на то, что Сербия еще может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира.

Тут я взялся за «железный паек».

— Иди, — сказал я пленному немцу.

— Куда? — оторопел он, наблюдая за мной, мирно жующим.

— Проваливай ко всем чертям. А если еще раз попадешься, я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу…

Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твердо запомнил их имена — Алеша Румянцев и Коля Колышкин, оба из Московского университета. Вскоре мне встретился доктор Сычев, сообщивший об их гибели.

— Королевич Александр принуждал меня лечить воеводу Путника, совершенно здорового, а теперь он и впрямь заболел. Но в госпиталь его не заманить. Путник решил разделить судьбу армии, и солдаты несут его на носилках…

Сербская армия отступала и дальше — по трупам!

### 4. Весь народ в эмиграции

Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал?

Именно это и случилось с сербами…

Все, кто мог идти, те еще шли, а которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города — это еще можно представить, но когда весь народ покидает родину, чтобы не оставаться под пятою врагов, — это уже национальное бедствие, катастрофа.

Это попросту очень страшно…

Великий исход возглавлял престарелый король Петр Карагеоргиевич — с посохом в руке, обутый в опанки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то, что ему давали как милостыню, а если не давали, он ничего не просил, механически передвигая ноги, как заведенный истукан, ничего не видящий, ничего не желающий слышать. Многим казалось, что старый король превратился в тихо помешанного, до его сознания вряд ли уже доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей, обреченных за ним следовать.

А за ним шли солдаты и чиновники, профессора и депутаты Скупщины, рабочие и министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты, шли

иностранные дипломаты, с почетом аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами — крики страданий, плач детей, стоны раненых, проклятья и ругань… Вся эта гигантская толпа (числом не менее *четверти миллиона*) поднималась все выше и выше — в нелюдимые ущелья Черногории, и люди еще не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах…

Черногорский король Никола еще сидел на мешках с деньгами в своем Цетине, как старый орел в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы стремились в Шкодер, ближе к морю, где ожидалась помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса, и люди томились слабой надеждой:

— Союзники не оставят… из Бриндизи уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками…

Надеялись на склады в Призрене, но их захватили болгары; с севера Черногорию обступали немецкие войска, и сербы, рассеянные ими, спасались высоко в горах, где еще долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печ, где в хлевах — по слухам — полно всякой скотины,

но скот уже выгнали в горы, животные погибли на вершинах гор от бескормицы и безводья, и мимо их замерзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные старожилы, и беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах, воздев над собою руки, как застывшие в трагической муке изваяния.

Немецкие корреспонденты, словно шакалы, шли по следам отступающего народа, интригующе сообщая берлинским и венским читателям: «Кровь эрцгерцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови. Мы присутствуем при торжественном акте исторического возмездия… В канавах, вдоль дорог и на пустырях — всюду мы видим трупы, распростертые на земле в одеждах крестьян и солдат. Здесь же лежат скорченные фигуры женщин и детей. Были ли они убиты или сами погибли от голода и тифа? Наверное, они лежат здесь не первый день, так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами…»

Под навесом скалы я случайно увидел Сычева, который, чтобы не замерзнуть, сжигал книгу.

Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете ее доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал ее от первой, уже догорающей. Так страница за страницей: одна горит, другая читается.

— Вставайте! — велел я ему. — Не надейтесь, что одной книги вам хватит до утра. Вставайте и можете опереться на меня. Здесь недалеко черногорская деревня. Может, накормят…

Увы, в хижинах черногорцев, похожих на сакли наших кавказцев, было хоть шаром покати, а если что и оставалось, то никто не отдавал за сербские динары, уже обесцененные. Но я достал русский червонец, оживив взор старика-черногорца.

— Ты прав, отец, что Сербии больше не стало, — сказал я. — Но Россия непобедима, как и этот рубль. Дай нам кусок сыра, уступи до утра место на своих полатях…

Был уже конец декабря, когда беженцы из Сербии, вместе с остатками армии, перевалили Черную Гору, заметенную снегами, и, оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов Шкодера я застал королевича Александра, который давно покинул свою армию

на произвол судьбы, считал ее обреченной (но вместе с армией оставил и своего отца). В горнице было тепло и чисто. Сытый албанский котище терся о ноги его королевского высочества. Не в меру услужливый Петар Живкович кулаками взбивал на постели пестрые подушки для ночлега, и без того пышные. Албанская «Шкодра» (она же итальянское «Скутари») почти граничила с морем, здесь когда-то жили турецкие властелины, насыщая свои гаремы славянскими одалисками, а теперь на оскудевшем базаре города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких янычар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки.

— Воевода Путник болен, — сразу сообщил мне Александр, — и потому, уважая его чин и былые заслуги, я удаляю воеводу в отставку. Дни черногорского короля Николы сочтены, с моря его «гнездо» обстреливают дальнобойные пушки австрийских дредноутов. Но старый хитрец так удачно сосватал своих дочерей, что его всегда примут и в Риме и в Петербурге. А его сын Данила, женатый на Мекленбургской принцессе, уже мотает деньги на лучших курортах Европы… кстати, ваши деньги!

Данила транжирил русские дотации, полу-

чаемые из России регулярно, словно чиновник жалованье. Я молча кивнул.

— Но принц Данила, — продолжал Александр, — уже предал великое славянское дело. Он ищет связи с Веною, чтобы Черногория заключила с Австрией сепаратный мир, и, снова сидя на Черной Горе, они будут спокойно наблюдать, как в низинах немцы станут доколачивать нас — сербов…

Все было так. Но из сказанного я выделил самое главное, что касалось и меня лично: убирая с дороги воеводу Путника, королевич готовит падение Аписа, а премьер Пашич, увидев Аписа падающим, спихнет его в пропасть. Цетине скоро взяли австрийцы, в подвалах королевского конака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами — вот куда ссыпал Никола «дотации» от русских царей. Мое молчание становилось уже неуместным, я должен был что-то сказать:

— Да, я знаю, что Франц Иосиф согласен на перемирие с Николой, но горные племена моравчан, васоевичей и сами черногорцы еще не выпустили ружей из своих рук…

Но Черногория уже подписала акт о капитуляции.

* * *

В этом разговоре, который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова (а значит, мне следовало удалиться), осталось что-то недосказанное, и я решил выложить все начистоту, но не Артамонову, который сделался клевретом Карагеоргиевичей, а самому посланнику — князю Трубецкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петаром Живковичем, включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом:

— Война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее в глубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Ни молодой Александр, ни маститый Пашич не желают даже слышать о создании «Югославии», утешаясь мыслью о возрождении «Великой Сербии», чтобы подчинить себе всех балканских славян. Вообще-то, — вдруг сказал князь Трубецкой, — я не верю здесь никому — ни королевичу, ни министрам Пашича, ни вашему Апису. Не стоит забывать, что Сербия — классическая страна заговоров, а нравы времен Борджиа иногда

воскресают с кинжалом под плащом, повторяя историю…

— Вы имели честь беседовать с Пашичем? — спросил я.

— Да. Старик сказал, что, если союзники не окажут помощи, капитуляция Сербии неизбежна. Только в новогоднюю ночь от голода умерла рота сербских солдат… От голода! А эти проклятые итальянцы не дают кораблей для подвоза хлеба. Как будто в Европе все сговорились уморить народ Сербии…

Ради пущей достоверности процитирую очевидцев. «Изнуренные солдаты входили в Скутари малыми группами без намека на военную организацию… многие без оружия. Все выглядели крайне плохо, двигались с крайним трудом, как живые трупы. Худые, хмурые, черные лица, погасшие взоры… хлеб — вот единственное слово, слетавшее с их почерневших уст». Так писал французский корреспондент, а историк Ф. Дейта распахнул занавес трагедии еще шире: «Скутари и весь албанский берег — обширный госпиталь под открытым небом, где умирали тысячи, истощившие себя отступлением. Улицы Скутари завалены трупами, немецкие аэропланы бросают бомбы на этих несчастных, а у них нет даже сил,

чтобы поднять винтовку...»

Да, так было. Но не только мне, а даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится, беженцы опомнятся от пережитого. Однако сербам мешали сами албанцы, они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих пустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей, ни мольбы, ни слезы не трогали потомков безжалостных янычар: «Мы вас сюда не звали! — был один ответ. — Если вам здесь не нравится, так убирайтесь кобыле под хвост...» Чужбина никак не может быть отчим домом, но земля Албании стала братской могилой для многих тысяч сербских семейств, — недаром же в памяти сербского народа пребывание в Скутари сохранилось навеки под именем «АЛБАНСКОЙ ГОЛГОФЫ». Англичане с французами давно обещали Пашичу насытить голодных, Италия бралась доставить провизию и медикаменты морем. Но все грузы так и остались валяться на причалах Бриндизи, ибо итальянские адмиралы страшились австрийского флота, дымившего в Триесте из труб могучих дредноутов. Франция, правда, дала Италии двенадцать миноносцев, но зато Англия, державшая на Маль-

те большую эскадру, не ударила палец о палец, совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии.

— Мы люди простые, — рассудил Никола Пашич, — и питаемся соками народной мудрости, которая гласит издревле: если корыто не идет к свинье, свинья сама бежит к корыту…

На основании этого афоризма сербские изгои тронулись до порта Сан-Джованни-ди-Медуа, куда итальянцам легче доставить провизию. К сожалению, этот городишко с таким прелестным названием был не готов принять беженцев, которые остались под открытым небом, а пшеничная мука таилась в трюмах итальянского парохода. Впрочем, капитан-итальянец оказался умнее всех:

— Да берите сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получатся, но поджарить лепешку любая баба сумеет…

Вдруг появился английский миноносец, с завидной лихостью подхвативший с причала казну Карагеоргиевичей. Королевича Александра я застал за укладкою чемоданов. Тут я выслушал от него все-все, что было недосказано им ранее:

— Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные происки афериста Аписа. Это он,

это его проклятая «Черная рука» сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро — нутро анархиста, карбонария, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве бы я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше… Но чтобы разжать его «Черную руку», — быстро договорил королевич, — потребуется усилие «Белой руки», сцепленной в клятве перед престолом.

Все это Александр выпалил залпом, как давно продуманное, потом привлек меня к себе и поцеловал в лоб.

— Надеюсь, — сказал он тихо, — Петар Живкович уже предупредил вас, что я меняю свои перчатки. Советую и вам отбросить иллюзии о мифической «Югославии», чтобы верить, как верю и я, в божественный ренессанс «Великой Сербии». Не стану говорить вам — прощайте, ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным, мы еще встретимся…

Только тут я понял, что мое отречение от Аписа — главное условие для существования на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александре я увидел… врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся

Аписа, сознательно льстил ему, сам напросился в губительное подполье «Черной руки». Но и ненавидел он Аписа, как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошел Петар Живкович и, присев на корточки, стал защелкивать замки королевских чемоданов, при этом каждый щелчок напоминал мне щелчки взводимых курков…

За горизонтом растворился дым отличных британских кардиффов, миноносец увозил прочь Александра и премьера Пашича, а войска и беженцы остались на берегу… Чего ждать?

* * *

— Надо ждать, что завтра снова явится британский миноносец и заберет всех нас… со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, — сказал мне Артамонов.

— А что армия? Что, наконец, массы беженцев?

— С ними все ясно. Как только флот австрияков перестанет вонять перед нами дымом и уберется в Триест, всех сербов союзные корабли эвакуируют на остров Корфу… Вы там были?

— Никогда.

— Это рай, — сказал Артамонов. — Недаром же

все миллионеры Европы понастроили на Корфу свои великолепные виллы. Очаровательные гречанки, прекрасный климат. Природа как в ботаническом саду. Нет картошки, зато апельсинами кормят свиней…

Возвышенный панегирик красотам Корфу я перебил словами, что королевич Александр предложил мне свою «Белую руку». Надо было видеть, какой ужас исказил лицо Артамонова при этих словах — он даже отступил в угол, сжался:

— И вы… вы… неужели вы отказались?

По его страху я понял, что Артамонов уже изменил Апису, впредь согласный тешить свое честолюбие монархическим пожатием «Белой руки». Овладев собою, он строго предупредил меня:

— Учтите, на карту поставлено очень многое, и, может быть, даже покатится в канаву чья-то дельная голова…

Сначала я расценил эти слова чересчур упрощенно, ибо слишком уж много людей теряло головы, но по выражению лица Артамонова я понял, что он вложил в свою речь слишком жестокий смысл. Следовало дать достойный ответ на его угрозы.

— Не пугайте меня, — сказал я как можно

развязнее. — Я ведь не шпион в стане врагов, которого могут повесить, я русский друг в стане союзников. Так кого мне бояться?

Артамонов помедлил с ответом:

— В полковника Аписа вчера опять стреляли.

— И конечно из-за угла?

— Вы догадливы.

— И конечно стрелявший остался неизвестен?

— Было бы глупо остаться ему известным…

Решено! Я застал Аписа спокойным (или почти спокойным). Он сказал, что армия и народ неуправляемы, об Александре и Пашиче солдаты говорят как о дезертирах и предателях, бежавших вместе с казной государства, и офицерам приходится сдерживать солдат, выступающих против монархии:

— Если бы не мое состояние, я бы сейчас запросто свергнул Карагеоргиевичей, как когда-то мы ликвидировали династию Обреновичей. Но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если бы вы, русские, свершали ее не у себя дома, а на островах Таити… подождем!

— Значит, вас все-таки ранили?

— Да. Прямо в мясо. Но ты же сам знаешь, какой я везучий, умеющий ловить пули руками и бро-

сать их обратно в рыло тому, кто стрелял. Если королевич Александр решил от меня избавиться, то прежде я избавлю страну от его высочества…

Я ответил, что цветовая символика двух враждующих «рук» слишком выразительна по своей социальной разнице: первая возникла из Дунайской казармы офицеров, вышедших из низов народа, вторая же бесшумно явилась из потемок королевского конака. Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно.

— Я дьявольски устал за эти проклятые дни, — ответил он и, присев на постель, сковырнул с ног сапожищи. — За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остается прежним: «Уедненье или смрт!» Через горы трупов, наваленных вокруг меня, словно мусор, я уже прозреваю в будущем новую страну без королей — ЮГОСЛАВИЮ! Кто осмелится мешать мне в этом деле — тому пуля в лоб, и катись в яму…

### 5. Любовь и братание

Напиши, так не поверят, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали

гитлеровцев. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая с шумом вынырнула на нашем курсе. Молодой немецкий офицер в свитере и с лицом, обрамленным шотландской бородкой, поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров.

— Имею указание снять всех русских, после чего можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу…

Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев. Но все они молчали, не желая оказаться в плену. Молчал и я. Вперед осмелился выступить один лишь Николай Иванович Сычев, сказавший подводнику по-немецки:

— Молодой человек, я русский врач. Вряд ли я составлю вам приятную компанию, чтобы заодно с вами нырять в этой дурацкой железной бочке. И вы не имеете права арестовывать меня, лишая тем самым больных людей медицинской помощи.

Немецкий офицер учтиво козырнул Сычеву:

— Извините, герр доктор! — И его субмарина погрузилась…

Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным, в своем убежище, римская Консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохнули, никому не мешая. Англия, правда, обещала отличную санобработку, но при условии, что сербы грудью станут на защиту подступов к Суэцкому каналу. Франция же сговорилась с Россией, чтобы сербы сначала отдохнули на греческом острове Корфу, а потом их отправят для укрепления фронта в Салониках.

Вот мы и плыли…

Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось; скажу лишь одно: с нами плыли ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь лирику старых преданий. Когда эскадра адмирала Федора Ушакова сражалась в этих краях, русские создали здесь Республику Семи Островов, многие переженились на гречанках, увезя их в Россию, на острове Корфу свято хранилась память о благородстве русских людей.

Нынешний Корфу был облюбован титулованной знатью, остров напоминал экзотический

парк, наполненный ароматами, в кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы и климатические курорты. Но в самом городе немудреные дома-коробки (которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье) излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло — я устроился в дешевом отеле, на самой окраине, и по утрам меня будила «пиккола-итальяна», девочка лет семи, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра — из двух гитар и пяти мандолин. Но райский Корфу, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбищ не хватало, потому мертвецов топили в море, подальше от берегов, а крохотный островок Вид с древней крепостью превратился в «покойницкую»: сюда свозили тех, кто еще не умер, но должен умереть, и люди знали, что они обречены, а над «островом смерти» с утра до ночи кружили тучи стервятников, орущих от восторга небывалой сытости….

Вот уж не думал я тогда о любви! Но она пришла, неожиданная, как удар молнии при ясном небе; одно лишь имя женщины — Кассандра — напоминал мне о взятии Трои, где Кассандра

досталась в добычу мне, новому Агамемнону в заплатанных штанах и в раздрызганных опанках. Нас свел случай. Я познакомился с Аристидом Кариади, который до войны спекулировал в Одессе оливковым маслом и теперь крайне сожалел, что война поневоле принудит русских полюбить масло подсолнечное. Кассандра была его дочерью, уже овдовевшей, но бездетной. Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертва, угодившая в сплетение щупалец осьминога.

Кассандра жаждала любви и получила ее. Не жалею! Сколько счастья испытал я в эти краткие душные ночи, когда рядом со мною засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы Салоникского фронта. Плачущая навзрыд, облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до пароходной пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза.

— Мы обязательно встретимся, — горячо убеж-

дала она меня. — Обещай, что ты вернешься на Корфу… я буду ждать!

— Обещаю. Жди, — отвечал я.

— Когда? — допытывалась Кассандра.

— В шесть часов вечера после войны…

Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я, уверенный, что в шесть часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья и на развалинах Трои каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру… Что я мог сказать тогда на прощание?

— Жди. Вернусь. Если ничего не случится…

Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу!

* * *

Греция пока считалась нейтральной, а древние Салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, что имена наших просветителей поминались лишь всуе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя. Здесь ценилось совсем другое! Салоники сделались тогда центром международ-

ного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная «биржа секретов». В закоулках города таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета…

Я появился в Салониках весною, когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса — там, во Фландрии, на берегах тишайшего Ипра, немцы впервые применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы «Фарбениндустри», которые я пропускал через погранзаставу Граево, обернулись для миллионов людей сущей трагедией.

Настроение у меня было угнетенное. Радиостанция русских фронтов резко оборвала работу, из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать. Но он предупредил, что прежний шифр — не составляет тайны для немцев. Я спросил — не ошибается ли он?

— Вряд ли, — сумрачно ответил Артамонов. — Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма

кукурузной муки в один килограмм на каждого человека… Кто-то, очевидно, гадит нам сверху.

— Может, снизу?

— Нет. Снизу гадят мелко, а сверху всегда крупно…

1915 год был для России крайне тяжелым. Весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появясь в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для Салоникского фронта, а про англичан сказал:

— Британский эгоизм известен. Они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему: сколько им нужно солдат? Львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе…

Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт — от Риги до Багдада, а когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась

изолированной от союзников с юга. Черное море, как говорили моряки, действительно, стало для них «бутылкой», пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями белилами — по-русски: ДОРОГО ЯИЧКО КО ХРИСТОВУ ДНЮ. Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалась…

Артамонов закупил в Салониках допотопную типографию, пригодную лишь для печатания визиток с приглашениями на свадьбу, полковник решил издавать газету «Русский Вестник».

— У вас все уже есть, — сказал я, — не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию.

— Не спорьте, — отвечал он мне, — скоро здесь, в Салониках, будет испытана союзная дружба, именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов.

— Ну-ну, — сказал я. — Чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка меж ними… почитайте Дарвина!

— А что мне Дарвин? Что он понимал в наших

делах?..

Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств, взяли под контроль полицию, подчинили себе почту и телеграф в Салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей — пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане образовали сущие пиратские шайки для свершения диверсий (прообраз будущих отрядов «коммандос»). Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал: «Это были бесстрашные, мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками, они выходили на войну целой общиной, с женами, детьми и стариками; бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений». В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал:

*Мы ребята-ежики, в голенищах ножики,*

*по две гири на весу, револьверчик в поясу.*

*Я отчаянный родился, вся деревня за*

*меня,*

*вся деревня бога молит, чтоб повесили меня…*

— Кто эти горлопаны? — спросил я Артамонова.

— А кто их знает. Наверное, бежавшие из плена. Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам, которые не брезгают ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить…

Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приоделся пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигареты, а два пистолета, болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек, никак не вселяли в меня уверенности в безопасности. Я жалел, что не знаю греческого языка, иначе с моей «наполеоновской» внешностью вполне мог бы сойти за прожигателя жизни, мелочного спекулянта кокаином, туалетным мылом или презервативами, столь драгоценными в это любвеобильное время.

Салоники очень красивый город — особенно,

если на него взирать издалека. Но внутри города, казалось, живут самые нечистоплотные люди на свете, которым, как во времена дичайшего средневековья, ничего не стоит выплеснуть содержимое ночной посуды из окна прямо на головы прохожим. Я мирился со зловонием и нечистотами Салоник, где Европа, казалось, собрала все религии мира, я не раз оставлял свою обувь на порогах мусульманских мечетей, навещал христианские молельни, а порою слушал дивное пение еврейского кантора в древней синагоге под «звездою Давида». Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия, а в тени этих кипарисов, может быть, не раз отдыхал апостол Павел, диктуя своим ученикам «Послания к Солунянам». Боже милостивый, сколько здесь, в этом городе, перебывало апостолов, но еще более деспотов…

Сейчас Салоники видели новых властелинов!

В это время лорд Китченер, посетивший Салоники, настаивал перед союзниками вообще плюнуть на Балканы, оставив сербов и греков на съедение немцам, а все войска, включая и русские, перебросить в Синайские пустыни — для охраны Суэцкого канала и Египта. Русская ставка, вкупе с французской, доказывала обратное: если

оставить Балканы на растерзание, тогда шаткая политика Румынии сразу подчинится диктату Германии (как это и случилось с Болгарией) и германский фронт — при подобном повороте политики — вплотную сольется с турецким, дивизии генерала Макензена могут оказаться на Кавказе.

Неожиданно в Салониках появился и Апис, а на мой вопрос, где его носила нелегкая, он скупо пояснил:

— Торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, мешавший переброске сербов с Корфу в Салоники.

— Ну?

— Все в порядке. Штаба не стало. Перебили там всех, а циндарская ярмарка в Битолии веселилась, как прежде…

Казалось, что Апис в эти дни — дни создания союзного фронта в Салониках — переживал нервное состояние, близкое моему.

— Я не знаю, кто за мной охотится, но вечерами лучше не высовываться на улицы этого вонючего городишка. Не буду удивлен, — сказал Апис, — если я стал персоной нон грата не только для австрийцев или для Карагеоргиевичей, но даже… для англичан. Ты, друже, заведи себе хорошую

гадючью нору, чтобы на всякий случай в ней можно было отсидеться…

В мае 1916 года сербская армия стала осваивать позиции под Салониками, добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус — около сорока тысяч русских солдат. Арматонов нервно сообщил мне:

— Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными. Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств, от сербских офицеров скрывают штабные документы, английские и французские солдаты, эти «томми» и «паулю», каждый вечер гуляют в публичных домах Салоник, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла…

Горькая правда. Союзники не говорили «сколько штыков», а ядовито спрашивали: «Сколько у вас едоков?» За каждый обрывок бинта или таблетку аспирина они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспирином. Больно мне было слышать,

как жаловались сербские ветераны:

— Под немцем погано, а под союзником еще гаже. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая…

Вскоре на фронт прибыла Особая русская пехотная бригада, уже обстрелянная в боях за Францию, где она прославила себя бесшабашной храбростью и кровавыми бунтами.

— А кто против нас? — спрашивали. — Немаки аль австрияки?

— Болгарская армия, — отвечал я с чувством стыда.

Узнав об этом, наши долго не думали: вешали на штык полотенце и махали им над окопом, крича в сторону противника:

— Эй, братушки окаянные! Вы на кой хрен немакам продались, в такую вас всех? Али не мы за вас кровь ведрами проливали? Мой дед до сей поры на деревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывая…

Со стороны «братушек» слышалось — ответное:

— Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? Да нас послали, как скотину на выгон… вот и гнием здесь…

Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города, вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Марокко.

* * *

Я был причислен к Особой бригаде, ко мне иногда приволакивали «братушку» с другой стороны, для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал:

— Номер полка? Кто командует?

Мне, откровенно говоря, было их жаль, но еще больше я жалел сербов, которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого — по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали:

— И когдась эта чехарда кончится? Опять нафаршировали народу стока, что бумаги на «похоронки» не хватит…

Я усердно отписывал в царскую Ставку на имя начальника штаба генерала Алексеева: «Все зи-

ждется на доблести и работе сербских и русских войск, постепенно тающих, так как на них возлагаются самые ответственные задачи…» Когда в дело вступала германская артиллерия, между наших окопов возникали воронки, в которые мог бы свалиться автомобиль. Снаряды большого калибра мы называли «чемоданами», а в английской армии их именовали «Джек Джексон» (по имени негра, знаменитого чемпиона по боксу, которому в Америке разрешили жениться на белой женщине). По вечерам марокканцы и сенегальцы с лязгом открывали банки с сардинами и пили кофе с коньяком, а мы, братья-славяне, жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградной самогонки…

Ей-ей, не скрою, я иногда начинал думать так же, как думали и мои солдаты: «И когдась эта чехарда кончится?» Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного «братушку». Я спросонья встряхнул его за воротник шинели, впотьмах размахнулся что было мочи и, как следует пугнув, крикнул:

— Номер полка? Кто командир?

— Здравствуй… — был ответ. — Номер полка

семнадцатый, а командиром я — полковник Христо Иванчев… Неужели забыл?

Я торопливо засветил лампу и обомлел: передо мною стоял мой давний приятель Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию российского Генштаба.

— Извини, брат, — сказал я. — Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался.

— Так не в гости же я к тебе набивался, — ответил Иванчев, — только отошел в сторонку, тут на меня твои пластуны и навалились. Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей Особой бригады стоит как раз мой семнадцатый?

— Садись, — сказал я. — Плевать на всю эту дислокацию, лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина… Такая кислятина — как раз для исправления наших косых глаз!

Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный:

— Слушай, из-за чего мы воюем?

— А вы ради чего? — спрашивал Иванчев.

— На нас напала Германия, а на вас никто не нападал.

— Но мы, болгары, имеем исторические права на Македонию, которую оторвали себе эти за-

знавшиеся Карагеогиевичи.

— Иди ты к бесу, Христо! Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечетей, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства… Уж если кому и сражаться за Македонию, так это — грекам, только грекам!

— Так чего же вы, русские, застряли в Македонии?

— Этого и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем.

— За что?

— Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию, словно лягушку, и пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные, немца на подмогу позвали.

— Не мы! А наш царь Фердинанд…

— Так гоните его в три шеи.

— То же самое могу и тебе посоветовать… Гони своего царя, если ты такой уж храбрый! — отвечал мне старый приятель.

Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я сетовал на большие потери в бригаде. Иванчев признал большие потери в своем 17-м полку. Мы конфиденциально — без свидетелей — дружески договорились щадить людей, тем более что Россия и Болгария — как две родные

сестры, надо беречь их нерушимые узы.

Утром я вывел Иванчева на бруствер окопа, часовому сказал:

— Болгарский полковник приходил по делу… не стреляй!

Иванчев сдержал слово, и наши потери уменьшились. Исподтишка, как бы ненароком, я вразумлял своих солдат:

— Вы не особенно-то прицеливайтесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали палить поверх ваших черепушек, а вы тоже не старайтесь калечить людей напрасно. Им еще пахать надо…

По ночам случались сцены «братания», о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты Салоникского фронта тишком от начальства сходились на нейтральной полосе, иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры, там они судачили о своих делах, обменивались всякой ерундой — табаком или спичками, а утром снова сидели в окопах как ни в чем не бывало и даже постреливали:

— Эх, мать твою так! Опять промазал…

Братание коснулось и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории, всякие

связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи болгарам, а те брались доставить их по адресам.

Артамонов уже выпускал в Салониках «Русский Вестник», до наших окопов иногда доходили разрозненные номера «Военной газеты для русских войск во Франции». Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемые под рубрикой «В стане врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь, к ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью, а на перронах вокзалов кисли зловонные лужи дизентерийного поноса. Венские врачи так спешили, что ампутации рук и ног проводили без анестезии.

Об этом я счел нужным поведать своим солдатам.

— Ну, совсем как у нас! — отзывались они…

### 6. В шесть часов вечера после войны…

Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка, — так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыво-

ротка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что, лишенный информации из Генштаба, изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мною меч свой. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам — как контрразведчик…

Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем — через Сибирь, грузилась же на корабли в китайском порту Дальний (близ Порт-Артура), откуда морем и прибыла в Марсель, где на удивление публике, встречавшей ее, бригада маршировала, распевая из Пьера Беранже — такое знакомое:

*Грудью подайся,*
*плечом равняйся!*
*В ногу, ребята, идите,*
*смирно, не вешать ружья!*
*Раз-два, раз-два…*

Готовилась и новая партия русских войск, которые из Архангельска — дорогою древних викингов — плыли в Брест французский, а вскоре ожидались в загаженных окопах под Салони-

ками, где им вместо привычных щей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет тридцать тому назад еще резвились на фермах Техаса... Теперь и эта заваль пригодится: русские такие, что все сожрут!

Но сразу усилилась работа вражеских разведок; по ночам стали пропадать с постов часовые, австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии — через Архангельск или через Дальний; в соседних деревнях были умышленно отравлены колодцы, и теперь, куда ни ступи, всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса. Зараза не коснулась меня, а прибытия войск русской бригады я не дождался. Виною тому обстоятельства, не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все ее бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии, а из Америки приплывали в Салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины.

Братание с болгарами было выгодно нам, русским. Но оно становилось опасным для немцев, подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы. Не нравилось оно и

союзникам, которые в миролюбии русских заприметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска, марокканцы часто прочесывали из пулеметов нейтральную полосу, пресекая возможные встречи братьев-славян; заприметив же в траншеях крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались…

Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатили тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская «почта», был разнесен вдребезги. При этом один великобританский «Джек Джексон» вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет божий — словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали — конец, не стало полковника. Но меня лишь контузило. Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне, помню, что меня навестил с вражеской стороны

полковник Христо Иванчев и, плачущий, оставил мне полную фуражку смятых перезрелых слив…

Мне очень не хотелось тогда умирать!

* * *

Наверное, это мое счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста; за ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис.

— Артамонов проговорился, будто тебя отзывают в Россию… как я завидую тебе! Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не будет. «Черная рука» ослабела и сочится кровью. Александр раскассировал нас по разным фронтам, многие погибли, и при очень странных обстоятельствах. Помнишь, я показывал тебе голову майора Танкосича? А в меня недавно опять стреляли.

— Где?

— Здесь же, в Салониках. Не знаю, как случилось, но королевич Александр сдружился с главнокомандующим Салоникского фронта генералом Сэррайлем, и тот убежден, что я главарь шайки предателей, желающих открыть фронт

перед немцами.

— Невероятная глупость, — сказал я.

— Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят.

— Попробуй сам объясниться с Сэррайлем.

— Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша «Черная рука» с третьего года боролась за создание единого югославянского государства, в котором Карагеоргиевичи получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане, а их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда.

Я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру:

— Старик благороднее сына, и Петр наверняка не забыл твоей личной услуги, когда ты освободил для него престол в белградском конаке… такие услуги не забываются.

— Э! — отмахнулся Апис. — Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халкидике, где его содержат в изоляции как умалишенного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власть и деньги… Честолюбие Александра тебе известно!

Из этого разговора с Аписом, могучая фигу-

ра которого невольно привлекала внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Обреновичами…

— Договоримся так, друже, — сказал Апис, — когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон»… Не будем даже подходить один к другому. Но я должен знать, что ты еще жив, а ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже… Драхмы есть?

— Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже.

— Прямое попадание. Понимаю. Подозрительно точное…

Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. Но я уже понял: если охотятся на Аписа и его друзей, значит, я тоже попал в проскрипционные списки, лажащие на рабочем столе королевича Александра Карагеоргиевича. Я покинул греческий госпиталь раньше времени — после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно

укрылся в еврейском квартале Салоник, а мой «наполеоновский» профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на иврит я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на жаргоне идиш, отзывался охотно[22]. Я снимал комнатенку в бедной семье еврея-перчаточника, кормился же в еврейской харчевне с «кошерным» мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Угрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик Генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру…

Моя «отсидка» в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот «хвост» отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул свое «убежище Монрепо», провонявшее чесноком и луком, но разом — почти стремительно — изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине Салоник, после чего, благоухая

**[22] notes: 22**

Здесь необходимо сделать маленькое примечание, слегка поправить автора. Салоникские евреи зачастую придерживались в разговоре испанского или даже староиспанского языка, которого автор мемуаров не мог знать.

«белой сиренью» марки Броккаров, разыскал Артамонова в штабе Сэррайля, и он непритворно обрадовался мне:

— Наконец-то и вы! Сознайтесь, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях.

— Просто шлюха, — ответил я. — Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий триппер.

— Тогда все ясно, — расцвел Артамонов, — и никаких претензий к вам не имею… Слушайте! Завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении.

— В Марсель? — неуверенно хмыкнул я.

— Да. Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваше отплытие весьма кстати, — со значением произнес Артамонов. — И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его «Белую руку», а «Черная» оставила здесь немало кровавых следов… Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину: нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева…

На прощание Артамонов сказал с небывалою грустью:

— Завидую вам! Увидите родину — передайте ей нижайший поклон от меня… заблудшего. Мне очень горько. Прощайте…

Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь «специалистом» по русским делам, в которых сам черт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг — день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался путынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал:

— Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню?

— Да, пожалуйста, можете воспользоваться.

— Благодарю, — отвечал я, добавив шепотом: — Завтра отплываю в Марсель и на всякий случай… прощаюсь.

Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шепот:

— Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас… на всех, кто верит в «Уедненье или смрт».

Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал

себе легкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канотье, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чем-то бурно дискутируя. Вслед за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке; она сразу направилась к моему столику, без тени смущения сказав:

— Господин секретный агент российского Генштаба, наверное, изнывает в одиночестве. Ах, бедняжка! Надеюсь, за вашим столом найдется место для меня… и для моих друзей.

— Вот тех, что стоят в дверях? — спросил я.

— Да. Они не хотят мешать нашему разговору…

От женщины исходил приторный запах дорогих духов; садясь, она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта бабенка напичкана секретами с ног до головы, ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их вроде отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что-либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомою тяжестью ее компаньонов. Красавица достала

зажигалку и щелкнула ею под самым моим носом. Но вместо языка пламени из зажигалки выскочил забавный чертик, высунувший длинный красный язык, словно этот чертик решил поиздеваться надо мною.

— Итак… — начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из-под левого локтя бельгийский «юпитер» с семью пулями в барабане, что не дадут мне выхватить из-под правой подмышки и браунинг «Астра» с очень мощными патронами.

Мужчины сдвинули стулья плотнее; я оказался зажатым между ними, а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок.

Перед моим лицом часто прыгал забавный чертик!

— Я готов услужить такой прекрасной даме, как вы, — сказал я женщине. — Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены.

Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая.

— Забавный парень нам попался сегодня, — хохотали они.

Женщина без улыбки спрятала в ридикюль зажигалку.

— Все это очень мило с вашей стороны, — сказа-

ла она. — Но отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миролюбиво и готовы вести деловую беседу… с авансом наличными.

Меня покупали. Очень нагло. Как последнего подлеца.

Смешно! Эти твари не жалели даже аванса…

— Но прежде, мадам, вам придется снять с себя юбку.

— А это еще зачем?

— Ее крахмальная трескотня уже стала надоедать мне…

Два выстрела Аписа грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила.

— Сядь, — велел я ей.

— Что вам от меня нужно? — в панике бормотала она.

— Ничего. Мы только выстираем тебе юбку.

— Отпустите меня! — вдруг истошно завопила она.

Но мощная длань Аписа уже провела по ее лицу сверху вниз, ото лба до подбородка, смазывая с лица густую косметику, отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы.

— Говори, сука, какие чернила? — спросил ее

Апис.

— Колларгол, — призналась женщина, зарыдав.

— Это можно проявить вином, — подсказал я.

Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков.

Еще выстрел — в упор! Женщина упала. Апис сорвал с нее юбку, смоченную вином, скомкал ее в кулаке и быстро вышел.

Я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету.

— Тут какая-то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения, — сказал я. — К счастью, я лишь случайный свидетель и впервые вижу эту женщину…

* * *

Впервые я видел эту женщину, но в последний раз я видел и полковника Аписа! Итак, все кончено…

Приняв сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых.

На пыльной вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некра-

сивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она еще станет моею.

Но только «в шесть часов вечера после войны».

Мне стало паскудно. Я и сам не знал, где я буду в шесть часов вечера после войны… и буду ли я вообще?

### Постскриптум № 8

Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернадотт Шмит:

— Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию сараевского убийства?

— Нет, — отперся Артамонов, — я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну?

— Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках.

— По этому вопросу, — огрызнулся Артамонов, — можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки…

В. А. Артамонов вовремя сменил перчатки, и потому остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. «Черная рука» разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а «Белая рука» приголубила его высокой монаршей милостью…

Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета, облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. «Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь женщинам» — так описывал его советский историк Н. П. Полетика.

Потребовалось время, и немалое, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Карагеоргиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру и тогда меня уберут со сцены, как освистанного актера, а может быть, я стану неугоден и самой «Черной руке», которая тоже будет вынуждена учинить надо мною расправу.

Апис знал слишком много, и королевич Александр — в сговоре с Николой Пашичем — арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 1916 года. Драгутину Дмитриевичу предъ-

явили обвинение — будто он желал открыть перед немцами Салоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного — укрепить свою личную власть диктатора…

В таких случаях очень легко шагают по трупам!

* * *

Процесс закончился лишь в 1917 году. Но демократы Сербии и комитет эмигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено:

— Если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь.

На королевича был проведен сильный нажим с трех сторон — России, Франции и Англии. Русский Генеральный штаб и русская Ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведчикам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его

более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших:

— Что угодно, но смерть — ни в коем случае!

Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями:

— И вы, министры мои! — и вы против меня…

Сына поддержал только его отец — король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный:

— Убей их, иначе они убьют самого тебя!

Предателем Сербии был не Апис — предателем был сам королевич Александр, который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа…

Ночью осужденных вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий овраг для погребения. Но когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно.

— Придется подождать до рассвета, — сказали палачи.

В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным, — писал он. — Пусть Сербия будет счастлива и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян — тогда и после моей смерти я буду

счастлив, а та боль, которую я ощущаю оттого, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь!»

— Уже светает, — сказал начальник конвоя…

Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага.

— Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна — ЮГОСЛАВИЯ! — были их последние слова.

Дали первый залп — Апис вздрогнул от пуль.

Дали второй залп — Апис лишь пошатнулся.

Дали третий залп — Апис опустился на корточки.

— Сербы, вы разучились стрелять, — прохрипел он.

— Добейте его! — раздались крики офицеров. — Добейте, иначе этот бык сейчас снова поднимется…

Его добивали пулями и штыками. И — добили!

Правда от народа была сокрыта, а королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил «революционную организацию», желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в

Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа — правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии…

В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами «злодеев».

Тогда же Верховный суд Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич (он же и Апис) был посмертно реабилитирован!

Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов.

Из числа классических «злодеев» Апис перешел в историю под именем «национального героя».

Так бывало в истории. И — не раз бывало…

# Глава третья
# Последняя ставка

*Рыдай, буревая стихия,*
*В столбах буревого огня!*
*Россия, Россия, Россия, -*
*Безумствуй, сжигая меня.*
***Андрей Белый***

НАПИСАНО В 1944 ГОДУ:

...мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но мое здоровье она нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами подивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил свое любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос:

— Надолго ли я буду в отлучке?

— Пожалуй, до конца войны, — отвечали мне.

Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил

женщину с двумя дочерьми, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире.

— Это ваша семья?

— Нет. Беженцы, которых я приютил у себя.

— Вопрос отпадает, — указали мне. — Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женой, тогда…

Тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжелораненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали, а постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины.

— Никак и вы объявились? — с трудом разогнулась старуха. — Подкинули мне жильцов, а сами пропали невесть где…

За чаем, разложив на столе засохшие в пути бутерброды, я — в присутствии дочерей — сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления:

— Я не претендую на ваши женские чувства, да это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве — к вашим услугам, а положение моей жены нельзя сравнить с

нынешним…

В городском загсе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого загса, Луиза Адольфовна разрыдалась:

— Господи, да что же это со мной происходит?

—

Успокойся, — ответил я. — БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ, а в наших загсах только ставят печати в паспортах…

По дороге домой Луиза тревожно допытывалась:

— А разве твое сочетание со мной, ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей судьбе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми?

— Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно…

Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась.

— Мои предки из бедных богемских гернгутеров выехали на Русь еще при Екатерине, я не

знала иной родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты… Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки, Анхен и Грета, не погибли на этом проклятом вокзале.

— Не благодари. Со мною еще многое может случиться.

— Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю!

После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет двадцать-тридцать, чтобы справедливое время отсеяло все злачные плевелы…

…Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Вари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий. Однако я переживаю очень странные впечатления! Порою мне кажется, что сейчас я

обрел вторую молодость и мне опять предстоит встреча с драконом — в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь.

* * *

Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш «дуглас», чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград — я не ожидал этого! — уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения, а вокруг него — на множество миль — война раскидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпей скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд

ли это удастся…

Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас, русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом, жестокий порицатель политики Уайтхолла.

— Черчилля, — рассуждал он, — еще смолоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Тито и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держит в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом…

Я ответил дипломату, что согласен с ним:

— Но, извините, не во всем! Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересованно, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю — хотя бы политически.

— Понимаете? Но, позвольте, почему?

— Так сложилось… Стрелка компаса Европы, как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именуя Балканы «подвздошиной Европы». Гитлер всюду вызвал сопротивление народов, но, скажите, где он встретил самое мощное противодействие? Только в южных славянах да в России. И, пожалуй, одни лишь русские да сербы способны сражаться до последнего, ибо никогда не сдаваться — этому их научила сама великая мать-история…

Над калмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня, раненного, мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь — тишина, солнце, облака, впереди Астрахань; мой сосед-дипломат уже нервничал:

— Генерал, вы не боитесь летать над морем?

— А вам не все ли равно, куда падать?

— Я, честно говоря, побаиваюсь…

«Дуглас» уже пронизывал жаркий воздух над Ленкоранью, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан:

— Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония?

— Не откажусь от меню блаженного старца, ес-

ли в его рацион не входят сороконожки, саранча и сколопендры…

Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского.

А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры, и даже отчаянные заслуженные партизаны, искренне волновались, где бы им тут, в Тегеране, отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их:

— Да идите в любую харчевню! Вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье… А продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет.

Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля, перегретым моторам нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. «Дуглас» совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успе-

ли подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот:

— Товарищи, будьте бдительны! Здесь живет знаменитый «багдадский вор», которого все мы видели в кино…

Меня в Багдаде волновало совсем иное, попутчикам я объяснил причины своего лиричного волнения:

— Вы, молодые люди, знаете Тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам «закона божия» в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда — в Кутэль-Амаре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда…

После этого один из врачей прощупал мой пульс.

— С таким возрастом не шутят, — сказал он. — Даже мне, вдвое моложе вас, нет сил переносить эту жарищу…

Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно, мы купались в озере Хабанийи. Дипломат нагнал меня саженками подальше от берега:

— Простите, а кем же вы были в шестнадцатом?

— Увы, всего лишь полковником.

— А сейчас?

— Увы, молодой генерал-майор.

— Трудная карьера, — пожалел он меня. — Это надо же так: с шестнадцатого до сорок четвертого сидели в полковниках.

Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом «дугласа» открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти «палестинский цикл» нашего знаменитого живописца Поленова… Под нами — в знойном мареве — уже простирались Синайские пустыни, и врач, снова проверив мой пульс, сказал, указав на иллюминатор:

— Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди?

— Между тем, — ответил я, — библейский Моисей сорок лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить

только те, кто никогда не знал оков рабства.

— Пульс нормальный… Неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой?

— Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более что теперь можно любоваться дельтою Нила… Каир!

Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков: тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов, встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения — англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме «Каиро-Вест» они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые и веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту — лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров:

— Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них ча-

сика два-три, после чего можно смело тонуть?..

Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня — на этот раз Ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом; все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но… пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море! Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли: что будет с нами при встрече с немецкими «мессерами»? Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля.

Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Ла-Валлетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих — нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил:

— Летим в Бари! А то все здесь сопьемся…

Южная Италия переживала дни освобождения.

Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло больше месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее:

— Сюда ходил пароход под флагом Палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари тогда знали русский язык.

— Откуда вам это известно? — удивился дипломат.

— У меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил Академию старого русского Генштаба, а мы, генштабисты, были обязаны знать очень многое… Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни вряд ли могли пригодиться. Но знать надо!

Барийский аэродром был плотно заставлен союзными «дакотами», «мустангами» и «аэрокобрами»; здесь же ютились итальянские самолеты типа «савойя», моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось танцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальян-

ской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу…

Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием:

— Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташи-четники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи…

Время ожидания я решил употребить с пользою для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию.

— А что здесь смотреть? Нищета, и только.

— За нищетой Бари увидится многое. Достойна всеобщего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Боны Сфорца, известной

отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвили ядом.

— Вы здесь бывали раньше? — спросил дипломат.

— Никогда.

— Так откуда вы это знаете?

— Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только «закон божий», как многим теперь кажется…

В один из дней американцы сообщили, что в районе Медено-Поле нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров… Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и, кажется, я нашел их — самые верные:

*Как хороши, как свежи будут розы,*
*Моей страной мне брошенные в гроб…*

* * *

Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), возглавляемой подлинным героем славянского мира — маршалом

Тито.

По сути дела, южные славяне создали в Европе даже не «сопротивление», образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии.

Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташи провели шесть мощных наступательных операций против НОАЮ — с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства.

Примерный подсчет времени показывает: наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли седьмое наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким…

## 1. Дома и солома едома

Вот она, жизнь офицера российского Генштаба — можете смеяться надо мною, но иногда можно и пожалеть меня…

Я отбывал домой в самом возвышенном настроении, часто поминая народную мудрость: дома и солома едома! Не помню названия парохода, но запечатлел в памяти компанию «Мессаджери

Маритим», которой он принадлежал. На столе в каюте лежала инструкция «Как вести себя при торпедировании», — немецкие субмарины брали реванш в море за поражения кайзера на суше. Стюард сразу же снабдил меня спасательным жилетом, показав, как его надувать; в этом жилете, оказавшемся очень удобным, я завалился на койку и, прошу верить, до самой Мальты спал как убитый, ибо потрясения последних дней повергли меня почти в летаргическое состояние. Лишь иногда я слышал размахи бортовой качки, звонки аварийных тревог и четкую топотню ног матросов по трапам — мне все было глубоко безразлично.

До Марселя добрались нормально, каюта на пароходе с надувным жилетом показалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатьев не сразу узнал меня, настолько я изменился, но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровушки на своих же фронтах:

— Да, мы просили у них оружие, это верно. Но Россия ни разу не снизошла до того, чтобы клянчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр во фронте, хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзни-

кам…

Я, в свою очередь, рассказал Игнатьеву о горестном положении наших воинов под Салониками, где из полотенец сначала крутят портянки, а потом из портянок режут бинты для перевязывания ран; союзный Санитет ломится от изобилия медицинских инструментов, но русские врачи используют в качестве стерилизаторов жестяные банки из-под автомобильного бензина.

— В каком амплуа решили возвращаться в отечество?

— Для удобства лучше под видом серба…

Игнатьев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее — до Романова-на-Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда. Алексей Алексеевич предупредил, что англичане хорошо освоили путь до нашего Мурмана, где чувствуют себя хозяевами, а консерватизм их общества нисколько не пострадал даже после очень сомнительных успехов в Ютландском сражении на море.

— Один мой приятель, когда ему подали телятину с желе из смородины, осмелился — экий нахал! — заменить желе обычной горчицей, после чего в Лондоне на него смотрели как на

дикаря, желающего вкусить человечины. На этом его карьера офицера связи при англичанах закончилась, и он сам догадался убраться домой, где с горчицею все в порядке!

В Кале шла посадка на миноносец № 207, я — в форме сербского офицера — никаких подозрений не вызвал. Но мне, как едущему в Англию, дали ознакомиться с путеводителем, из которого я узнал прописные истины для всех глупорожденных. Так, например, мне стало известно, что Англия находится на острове, что не мешает ей играть большую роль в политике материковой Европы. Если я страдаю морской болезнью, то в плавании через Ла-Манш придется потерпеть. Вино, гласил путеводитель, в Англии гораздо дороже, нежели на материке, но жажду можно утолять и простою водой. Если же вы не владеете английским языком, то пребывание в Англии может показаться для вас утомительным… Ну, спасибо за иноформацию!

На северных морских путях, ведущих в Россию, недавно взорвался крейсер «Хэмпшир», на котором британский лорд Гораций Китченер спешил в Петербург, дабы побудить наших генералов к большей активности. В книге Джона Астона сказано: англичане «надеялись, что присутствие

этого сильного и беспристрастного человека будет способствовать принятию разумных решений» в русских военных кругах. Я знал Китченера как жесточайшего колонизатора, и, наверное, прибыв в Россию, он бы навсегда запретил нам потребление горчицы. Я появился в Англии, когда вся страна была погружена в печаль по случаю его гибели; в поезде, идущем в Портсмут, я наслушался всяких вздорных речей от морских офицеров, для меня оскорбительных:

— Как не уберегли тайну выхода в море «Хэмпшира»? Если же русские знали о визите к ним Китченера, не могли ли они за бутылкой водки подсказать немцам, где удобнее расправиться с их гостем, чтобы избежать его визита в Россию?..

Дикая нелепость подобных слухов была очевидна. Я плыл на родину тем самым путем, который в войне с Гитлером оживили союзные караваны с поставками по ленд-лизу. Думаю, нашим североморцам приходилось тут нелегко, но мое тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно-нервозным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я четко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Паче того, ради условий секретности они все время

дурачили меня, будто наш корабль плывет в Америку. В кают-компании часто повторялись рассуждения:

— Россия уже шатается. Наша святая обязанность — или подтолкнуть ее, падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью, благо эта богатая сырьем держава еще может нам пригодиться… Дальний Восток более интригует японцев, зато вот Кольский полуостров, по данным ученых, таит в своих недрах удивительные сокровища…

Они рассуждали в моем присутствии столь откровенно, ибо я выдавал себя за дипкурьера с корреспонденцией от Пашича к сербскому посланнику Спалайковичу. Думаю, что хозяевам кают-компании было не очень-то приятно, когда однажды — в конце такой дискуссии — я сказал им на английском языке:

— Качка была сильная, но ваш корабль не потерял устойчивости, ибо в его трюмах полно артиллерии, из чего я понял, что вы решили Россию еще не толкать, а поддерживать…

Мурманск (Романов-на-Мурмане) остался для меня в тумане, как сказочное видение; хорошо запомнил только ряды унылейших бараков, возле которых дружно мочились какие-то лох-

матые типы явно преступного вида, слишком подозрительно озиравшие мое парижское пальто и мой чемодан из желтой кожи. Провожаемый их долгими и алчущими взорами, я выбрался к станции, которая тоже была бараком, но здесь уже пыхтел на путях состав из пяти вагонов с окнами, заклеенными бумажками.

Конечно, за кратчайший срок построить железнодорожную магистраль от Кольского залива до столицы попросту невозможно, и потому пассажиры героически выносили рискованные крены вагонов, грозившие перевернуть состав кверху колесами, а на синяки и шишки даже не обращали внимания. На редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги — люто-мрачных германских военнопленных и русских землекопов.

Первые весьма охотно объяснили мне суть этой трассы:

— Под каждой шпалой — скелет померанского гренадера. Еще канцлер Бисмарк доказывал в рейхстаге, что все Балканы не стоят костей одного померанского гренадера, а здесь…

Кладбище! Русские мужики говорили о том же:

— Сколько тута шпал до Питера — столь и

могилок. Округ болота, хоронить негде, так мы усопшего под шпалу какую ни на есть сунем — и далее гоним, а паровоз всех придавит…

До самой Кеми я не вылезал из вагона-ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл в Европе: черная икра, осетрина, медвежьи окорока, налимы, рябчики и куропатки величиною с цыпленка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах, изобилием товаров и провизии в магазинах, — казалось, местные жители совсем не ведали лишений войны. Итальянский дипломат Альдрованди Маскотти, проезжавший через Петрозаводск чуть позже меня, тоже попал под очарование этого волшебного города — с его особой неяркой красотой, со множеством храмов и музеев. «За двойными стеклами окон, — писал Маскотти, — видно множество гиацинтов в полном цвету. Несмотря на жестокий холод, мы встречаем на улицах красивых женщин, одетых по последней моде, как в Париже или в Риме: короткие платья, у всех прозрачные чулки…»

— Когда будем в Петербурге? — спросил я проводника.

— В Петрограде, — поправил он меня, — будем

точно по расписанию — в десять утра. Дорога славится точностью…

Что первое я заметил в военном Петрограде и чего не видел ранее в мирном Санкт-Петербурге? Мужские профессии доблестно осваивали женщины. Я видел их кучерами на козлах пассажирских пролеток, они браво служили кондукторами в трамваях, обвешав свои груди, словно орденами, разноцветными свертками билетов, наконец, они же сидели в подворотнях домов — их называли тогда не «дворничихами», а «дворницами»…

Господи, помилуй Акулину милую! С непривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу.

* * *

Проходят годы, минуют столетия, люди свято хранят память о великих певцах, славословят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам, но имена шпионов, за очень редкими исключениями, пропадают втуне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары.

Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов Отчизны, так или иначе, но все-таки верят, что их имена останутся на скрижалях

истории. Иное дело — офицер разведки Генштаба, остающийся безымянным, как бы навеки погребенным в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так! И чем долее он никому не известен, тем больше ему славы, но эта слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит поминать людей нашей профессии, словно на них наложено гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но, скажите, найдется ли такой актер, который бы согласился всю жизнь играть лишь «голос за сценой», оставаясь невидим и неизвестен публике? А вот агент разведки умышленно таится за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность — это гибель, и для него, разоблаченного и казнимого, нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему ордена и почести? Что они могут значить, если офицер разведки не осмелится надеть их в «табельные дни» народных празднеств, ибо он не вправе объяснить людям, за что им эти ордена получены…

Агентов уничтожают без жалости. Враги! Но иногда их умышленно уничтожают свои же — тоже без жалости, ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации,

для государства невыгодной. Знаменитая шпионка кайзера «фрау Доктор» (Элиза Шрагмюллер) была добита в гестапо, ибо не могла забыть то, что забыть обязана. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавелль, расстрелянной немцами, высечены ее предсмертные слова: «Стоя здесь, перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Много было домыслов по поводу этих слов, и если разведчику «одного патриотизма недостаточно», то спрашивается, что же еще требуется ему для того, чтобы раз и навсегда ступить на тропу смерти? Думаю, все дело как раз в патриотизме самого высокого накала, который толкал людей на долгий отрыв от родины, на неприемлемые условия чужой и враждебной жизни, чтобы в конечном итоге — вдали от родины! — служить опять-таки своей родине…

Я никогда не считал свою профессию выгодной в денежном или карьерном отношении. В конце-то концов, будь я инженером путей сообщения или грозным прокурором, я зарабатывал бы гораздо больше, а пойди я по штабной должности, угождая начальству, я бы выдвинулся в чинах скорее. Но я никогда не раскаивался в избранном мною пути, и не потому, что любил риск, вроде

акробата под куполом цирка, — нет, мне всегда казалось, что я делаю *нужное* для народа дело, за которое не всякий (даже очень смелый человек) возьмется.

Я всегда был очень далек от политики, не вникал в социальные распри, не уповал на грядущее благо революции, но, смею думать, что именно любовь к отчизне и к справедливости ее народных заветов повела меня туда, где я должен быть, и не кому-нибудь, а именно мне, бездомному бродяге, пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем…

Если угодно, эти слова можете считать *моей исповедью!*

* * *

От вокзала я пешком прошел до Вознесенского проспекта, где долго стоял перед дверями своей старой квартиры, в которой меня ожидало лютое одиночество и… пыль, пыль, пыль. Подергал ручку двери и горько рассмеялся. Пришлось звать швейцара и городового с улицы, дабы в присутствии понятых-соседей произвести взлом дверей собственной квартиры.

— Вы уж меня извините, — сказал я людям, когда под натиском лома и топора двери слетели

с петель. — Был у меня ключ. Был! Еще старенький. Но потерялся. Что тут удивительного, дамы и господа? Сейчас не только ключи — и головы теряют…

Было неприятно, что в ванне лежала мертвая иссохшая мышь. Наверное, она попала в ванну случайно, а погибла в страшных муках — от жажды, ибо краны были туго завернуты.

Я позвонил в Генеральный штаб, доложив о своем прибытии.

Интересно, где-то я теперь понадоблюсь?..

## 2. Мышиная возня

Где только не приходилось спать в годы войны, но самой дикой была первая ночь, проведенная в своей же квартире, на скрипучем отцовском ложе, где никто, казалось бы, не мешал наслаждаться желанным покоем. Никто, кроме этой соседки за стеною — мыши! Бедная, вот уж настрадалась она… и некому было ей помочь. Никогда не был сентиментален, но сатанинские муки крохотного зверька, не сумевшего выбраться из глубины ванны, ставшей могилой, были так мне понятны, будто я сам пережил страдания этой жалкой мыши.

Вскоре меня стала угнетать неопределенность

моего положения. Генштаб, безусловно, зафиксировал возвращение своего агента, но более ничем не беспокоил. Это меня удручало. Иногда стало мниться, что я не оправдал доверия Генштаба, что там, в самых высоких инстанциях, мною недовольны, как простаком, а порою даже думалось, что, останься я в Салониках, ко мне бы отнеслись с бульшим вниманием. А без дела я был — как тот мышонок, который в поисках воды погиб от жажды. По чину полковника я теперь щеголял по слякоти в новеньких галошах, как бы давая понять нижестоящим, что эти блестящие галоши прокладывают мне прямую дорогу к генеральским чинам…

Смешно, не правда? Но я тогда не смеялся.

Без вызова я сам побывал на верхнем этаже здания Главного штаба на углу Невского, где и без меня забот всяких хватало. Поговорив с коллегами, я с немалым огорчением убедился, что наша агентурная разведка ныне занята не столько разведкой, сколько борьбой с агентурой противника, умело пронизавшей наш военный и государственный аппарат — сверху донизу, вдоль и поперек. Дело дошло до того, что недавно в столице открыто проводилась через швейцаров подписка на помощь сиротам-беженцам, а все со-

бранные денежки спокойно уплывали в Берлин — на развитие подводного флота Германии.

Разговор с начальством был для меня тяжелый и неприятный, я сорвался, нервы мои не выдержали попреков:

— Послушайте, я ведь старался не ради того, чтобы дослужиться до галош. Если для меня не сыщется никакого дела, я могу просить отставки, не отягощая в дальнейшем свою судьбу тяжким бременем генеральских эполет. В конце концов я могу довольствоваться и пенсией полковника.

На это мне было сказано:

— Во время такой ужасной войны просить об отставке могут только совсем уж бестолковые люди.

— Так и считайте меня таковым. Я согласен на все, лишь бы не выслушивать ваших глумливых сентенций…

В самый острый момент разговора вдруг появился Николай Степанович Батюшин и, отвесив поклон в мою сторону, присел к подоконнику, листая какие-то бумаги. Потом сказал:

— Вернулись? Глаза целы? Руки-ноги на месте? Ну и скажите судьбе спасибо, что живым оставила.

— Благодарю. Но вы, Николай Степанович,

появились не ради того, чтобы присыпать мои раны солью.

— А придется! — ответил Батюшин. — Ваше имя неожиданно попало в швейцарские газеты, в них обрисован — и довольно-таки точно! — ваш внешний портрет. Швейцарская полиция работает на руку германской, что вас, надеюсь, никак не обрадует.

Я уже привык балансировать на острие ножа, однако подобное сообщение меня достаточно обескуражило:

— Когда и где меня подцепили — не знаю. Очевидно, мое имя возникло чисто случайно… Хотя, — вдруг догадался я, — на фронте под Салониками англичане имели немало поводов для недовольства мною, и, чтобы дезавуировать меня как русского агента, они могли дать обо мне информацию в Швейцарию, дабы навсегда закрыть мне пути в Германию, а заодно уж сделать из меня кусок отвратительного дерьма.

— Похоже на правду, — согласился Батюшин. — Да, похоже. Тем более что майор Нокс, как очевидец гибели армии генерала Самсонова, не нашел ни одного доброго слова о вас лично. По его словам, вы занимались там всякою ерундой.

— Простите. Какой ерундой я мог заниматься?

— Нокс заметил: вы искали опору в поляках или в мазурах, всегда расположенных к России, а вам следовало вербовать агентуру среди местных жителей — пруссаков.

— Чушь! — отвечал я. — Не вербовать же мне было разъяренных прусских мегер, которые ошпаривали крутым кипятком наших солдат из окон. Там все население с детских яслей воспитано в ненависти к нам, русским. Местных славян немцы превратили в своих рабов, и тамошние юнкеры не уберутся из Пруссии, пока не вышвырнем их оттуда…

Среди офицеров разведотдела скромно посиживал и капитан Людвиг фон Риттих, который даже без злобы заметил:

— Любить свое отечество никому не запрещено. Мои предки вышли на Русь из той же Пруссии, два столетия верой и правдой служили династии Романовых. Но это не значит, дорогой вы мой, что я стану обливать вас из окна крутым кипятком.

Я постарался сохранить полное спокойствие:

— Вам легче, господин капитан, нежели мне. У вас в запасе имеется вторая отчизна, из которой вы явились на Русь и в которой снова укроетесь, если с Россией будет покончено. А куда… мне? — спросил я, сам дивясь своему вопросу.

Но фон Риттих оказался способным больно ужалить:

— Пока в Сербии существует полковник Апис, запятнавший себя цареубийством, вы всегда сыщете дорогу до Белграда…

Я почему-то опять вспомнил несчастную мышь, которую так и не выкинул из ванны, моя рука невольно вздернулась для пощечины, но Батюшин (спасибо ему) вовремя перехватил ее:

— Господа, мы же не извозчики в дорожном трактире, где сивуху заедают горячим рубцом. Оставайтесь благородны…

— Останемся, — сказал я, натягивая перчатки. — Но я чувствую, что наша разведка превратилась в какую-то лавочку, и потому будет лучше, если я завтра же стану проситься на передовую. Лучше уж погибнуть полковником с именем, нежели тайным агентом без имени… всего доброго, господа!

Я вернулся к себе на Вознесенский и, пересилив брезгливость, первым делом выбросил из ванны дохлую мышь, которая высохла, став почти бестелесной. Звонок по телефону вернул меня в прежнее бытие. Батюшин сказал:

— Я вижу, что Балканы вас здорово потрепали. Ваши нервы уже ни к черту не годятся. Знаете, в

таких случаях иногда полезно общение с умными и приятными женщинами.

— Извините, Николай Степанович, по бардакам не хожу.

— Так в бардаках и не встретить приятных и умных женщин. А я зову вас вечером посетить салон баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбандт, урожденной Лутковской, которая в первом браке была за дипломатом Глинкой… Помните ее портрет Ильи Репина? Во весь рост. В красной кофточке. Широкой публике он известен под названием «Дама под вуалью».

— А к чему мне лишние знакомства?

— Я думал, вам будет весьма любопытно взглянуть на женщину, из-за любви к матери которой наш великий поэт Лермонтов стрелялся на дуэли с Эрнестом Барантом…

Тогда я не понял, что в разведотделе для меня готовили новое дело, почти домашнее, дабы я малость поостыл после всего, что мне довелось испытать вдали от родины.

— Ну, так что вы решили? — спросил Батюшин.

— Хорошо, Николай Степанович, я приду… О чем мне хоть говорить-то с этой баронессой?

— Да она сама разговорит любого…

* * *

Вечером я появился в особняке баронессы на Кирочной улице. Знаменитая «дама под вуалью» была, естественно, без вуали, а в ее прическе элегантно серебрилась прядь седых волос. Я слышал, что в числе многих имений Варвары Ивановны одно, доставшееся от мужа, было в Лифляндии, почти под самою Ригою, и называлось оно «Икскуль», где сейчас шли жестокие бои…

— Предупреждаю, — с вызывающим юмором сказала Варвара Ивановна, — что все баронессы в театральных пьесах — злодейки и распутницы, а во время войны все шпионки — обязательно баронессы… Вас это не пугает, господин полковник?

— Меня давно уже так не пугали, — ответил я…

В числе многих гостей баронессы, великих артисток и сенаторов, скромных живописцев и модных адвокатов, я не сразу заметил и Батюшина, зато был рад увидеть в салоне Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, который очень хорошо отозвался о хозяйке дома, как о женщине самых передовых воззрений:

— Она не только дружила с семьей Чехова, но в пятом году вызволила из Петропавловской крепо-

сти молодого Максима Горького. Я не принадлежу к числу ее друзей, мне просто понадобился план имения баронессы «Икскуль», возле которого немцы ведут активное наступление. Там же, возле имения, железнодорожная станция, и если немцы возьмут ее, то сразу перережут важнейшую магистраль Рига — Петербург…

Комнаты салона напоминали музей, так много было в них итальянских скульптур и живописных полотен, а во множестве женских портретов я распознавал черты самой владелицы дома. Ее салон был украшен редкостной коллекцией бронзовых часов — буль, ампир, люисез, форокайль, и все они бессовестно выстукивали свои мотивы, назойливо напоминая об уходящем от нас времени. Заметив мой неподдельный интерес к старине, Варвара Ивановна пояснила:

— Я имела несчастье быть женой дипломатов, которые торопились покинуть меня, дабы поселиться на другом свете. Многое тут осталось от них… А вы, как я слышала, лишь недавно вернулись в Питер? Что более всего вас удивило на родине?

Если бы об этом спрашивал Бонч-Бруевич, я бы сознался, что в столице заметил «немецкое засилье», но женщине, носившей фамилию

Икскуль фон Гильденбандт, я не мог так отвечать и высказал свое мнение о социальном разброде в обществе:

— Народ в оппозиции к правительству, министры в оппозиции к царю. Дума в оппозиции к министрам. Мне, свежему человеку, многое кажется странным… Не знаю, насколько это справедливо, но, как говаривал еще Бенжамен Констан, «даже если народ не прав, правительство все равно останется виноватым». Можно лишь гадать — чем все это закончится.

Варвара Ивановна поправила седую прядь волос с некой небрежностью, как бы намекнув мне о своем возрасте, а следовательно, и о более глубокой ее житейской мудрости.

— Все кончится, как в опере Мусоргского «Борис Годунов», — услышал я неожиданный ответ дамы. — Под звоны колоколов царь умирает, народ восстает, но тут является самозванец, и, окруженный ревущей от восторга толпой, он входит в храм, а жалкий нищий-юродивый прозревает, становясь мудрецом, и при этом он начинает петь… Вы разве не помните его слов?

Мне пришлось сознаться в своем невежестве:

— Признаться, баронесса, забыл.

— А вы вспомните: «Плачь, святая Русь, плачь,

православная, ибо во мрак ты вступаешь…»

— Страшно, — ответил я баронессе.

— Еще бы! — усмехнулась она. — Ежели все началось Ходынкой, так Ходынкой все и закончится… Сейчас, пока мы столь мило беседуем, немцы снарядами разносят мой древний замок на станции Икскуль, и что там уцелеет — не знаю…

Я покинул салон, озвученный биением ритма уходящего времени, заодно с полковником Батюшиным, и на улице между нами возник деловой разговор. Батюшин рассказывал о невосполнимых потерях среди кадровых офицеров на фронте.

Чтобы хоть как-то пополнить их убыль, началось массовое производство в подпрапорщики и прапорщики всех более или менее грамотных и смелых солдат, вчерашних рабочих, канцеляристов, детей лавочников и священников…

— Ну и пусть! — сказал я, думая о чем-то своем.

Николай Степанович встряхнул меня за локоть:

— Сразу видно, что вас давно не было в наших питерских Палестинах, иначе бы вы не остались равнодушны. Пусть-то оно пусть, но случись революция, и это новое офицерство, весьма далекое от старой кастовости, может породить таких

Бонапартов, что от Руси-матушки одни угольки останутся.

— А как бои под Икскулем? — спросил я.

— С переменным успехом, — ответил Батюшин. — Впрочем, об этом гораздо лучше меня знает Бонч-Бруевич…

* * *

…Ныне же станция Икскуль-Икшкиле — тихое дачное место под Ригою, и пассажиры поездов, равнодушно поглядывая в окна, никогда не задумываются, что здесь шли страшные бои, вся земля тут пропитана кровью латышских стрелков и русских солдат из штрафных батальонов и что именно здесь когда-то жила в древнем замке репинская «Дама под вуалью».

### 3. Детская игра

Ко времени моего возвращения на родину в политике слишком обострился «румынский вопрос», и я втайне надеялся, что скоро предстоит вернуться на Балканы, но — совсем неожиданно — меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Первые же его слова были расхолаживающими:

— Никаких серьезных дел за кордоном пока не предвидится, а посему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков…

Бонч-Бруевич занимал пост начальника штаба Шестой армии, составленной из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и Псковского направления.

— К сожалению, — продолжил Михаил Дмитриевич, — в Питере меня не жалуют, именуя «немцеедом». Причиной тому, что среди подозреваемых в шпионаже я обнаружил немало сановных персон, занимающих высокие придворные должности… Разве вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах?

— Заметил! Мало того, некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро «русифицировались»: фон Ритты сделались Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми.

— Но говорить об этом опасно, — сказал Бонч-Бруевич. — Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморощенных либералов, обвиняющих меня в великодержавном шовинизме и даже в черносотенстве. Однако мне все-таки удалось сослать в Сибирь для катания тачек немало остзейских немцев, мечтающих об

«аншлюсе» Прибалтики к Германии…

Бонч-Бруевич подтвердил, что функции русской разведки растворились в насущных проблемах контрразведки. Пока что, дабы я не сидел без дела, он просил меня помочь разобраться в результатах хаотической эвакуации промышленности из Риги; при вывозе оборудования заводов выявилось, что самые ценные станки были сброшены из вагонов под насыпь, а кто виноват — не докопаешься. Запасы ценнейших цветных металлов вообще куда-то пропали, будто их никогда и не было.

— Так спешили, что умудрились где-то утопить даже памятник Петру Великому… Латыши держат нашу, русскую, сторону, формирования латышских стрелков показали себя на фронте превосходно, — рассказывал Бонч-Бруевич, — но первую скрипку в рижском концерте играют все-таки немцы… Впрочем, все это лишь предисловие, а суть дела вам доскажет Батюшин.

Батюшин встретил меня довольно-таки мрачно:

— Тут у меня в арестантской комнате штаба сидит капитан артиллерии Пассек с Двинского плацдарма, которым командует генерал Черемисов. Пассек явился с повинной… сам виноват,

дурак! Не желаете выслушать его исповедь?

Пассек, явно страдающий, рассказал нелепую историю. В лифляндском городе Венден (ныне Цесис) имел жительство ротмистр фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Невзирая на «сухой закон», вин и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Керковиуса, где их любезно привечала хозяйка, очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали картишки, откровенные разговоры о делах на фронте, иногда в Венден наезжал «отвести душу» и сам генерал Черемисов, у которого ротмистр Керковиус состоял в роли офицера для особых поручений… Пассек рассказывал:

— По-моему, в вино добавляли какой-то дурман, ибо многие из нашей компании не выдерживали, хотя в окопах спирт лакали как воду. Таких оставляли отсыпаться до утра, а утром они объявлялись должниками в карточном проигрыше. Вестимо, никто не смел возражать, потому что ни бельмеса не помнили. Так случилось и со мною. Я понял, что мне не отыграться, хотя специально навещал Керковиусов в надежде «сорвать карту».

— Сорвали? — спросил я.

— Напротив, еще более запутался в долгах. Но при этом у меня возникли некоторые подозрения, — признался Пассек.

В глазах Пассека блеснули слезы.

— Мне стыдно, — сказал он, — даже очень стыдно… Когда все офицеры засыпали мертвецки пьяные, жена Керковиуса — внешне вполне пристойная дама! — проверяла их полевые сумки, даже рылась в офицерских бумажниках.

— Но денег, конечно, не брала?

— Нет. Деньги ее не волновали.

— А с каких пор вы знаете ротмистра Керковиуса?

— С начала войны. Еще с Либавского плацдарма.

— А его жену?

— Она появилась при нем тогда же…

— Какова ваша задолженность? — вмешался Батюшин.

— Страшно сказать. Уже под восемь тысяч рублей, или…

— Что «или»? — вдруг рявкнул Батюшин.

— Или передать план расстановки батарей возле станции Икскуль, где развернулись бои. Понимаю, что я достоин презрения. Что делать — не знаю. Помогите… такой позор…

— Ясно! — пресек его стенания Батюшин, выкладывая на стол пачки денежных купюр. — Карточный долг — это долг чести, даже дурак понимает: если проиграл — расплачивайся…

* * *

— Поедете в Венден? — спросил Батюшин, когда Пассека снова увели в арестантскую комнату.

— Это же детская игра, — ответил я. — Достаточно одного жандарма, чтобы Керковиусы оказались в Сибири… Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пассека, поеду вместе с ним, заодно он меня и представит.

— Представит вас командиром шестнадцатого стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно под видом интендантского чиновника с вами поедет военный юрист Шавров.

— Вы думаете, один я не могу разорить это гнездо?

— Нет, а Шавров мастер производить обыски…

Шавров, уже пожилой человек, я и Пассек дневным поездом отъехали в «Ливонскую Швейцарию», где меня нисколько не могли тешить красоты древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своем желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне ней-

трализовать винный дурман.

— Не дрожите, будто к вам подключили провода высокого напряжения, — заметил Пассеку. — Умели грешить, так умейте расплачиваться, если вы офицер и еще не потеряли чести.

— Извините. Я не знаю, как вести себя.

— С нами? Как можно проще.

— Нет, не с вами, а с мадам Керковиус.

— Проще простого, — надоумил его Шавров. — С самым нахальным видом вручите этой халде деньги, а потом ведите себя как обычно. Коли угодно, так продуйтесь срова на восемь тысяч! Наша контора давно обанкротилась и расходов не считает…

Навстречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов, в них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться «под немцем». Проселочные дороги, ведущие к Двинеку, были забиты беженцами и подводами с их имуществом, что очень живо напомнило мне отступление сербов. В Венден поспели к вечеру. Пассек указал дом на Плеттенбергской улице, где царило шумное веселье. Моя полевая сумка не таила в себе ничего секретного, но в нагрудном кармане походного френча лежала диспозиция

для моего полка с указанием сроков начала его развертывания. Среди множества подписей под документом легко угадывалось факсимиле командующего Шестой армией генерала Фан дер Флита, которое с легкостью базарного фокусника подделал сам Батюшин. Изнутри дома Керковиусов слышались вздохи граммофона, нетрезвые голоса банкометов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов, но желавших в винном и картежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголочке, даже незаметный в тени громадного фикуса, а я проследил, как Пассек вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения оттого, что «птичка» так легко вырвалась из ее «когтей».

Я был представлен даме, и тот же Пассек вполне к месту намекнул, что с прибытием моего полка возможны перемены в боевой обстановке у станции Икскуль. При этом я выразительно похлопал себя по нагрудному карману френча:

— Господин капитан Пассек прав — мой полк, составленный из резервистов столичного гарнизона, отступать не станет.

— Желаю успеха, — отозвалась мадам Керко-

виус. По расширенным зрачкам красавицы я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошею дозой кокаина. Пассек, оглядевшись среди гостей, вслух заметил отсутствие ее мужа, и женщина пояснила, что муж вернется позже — заодно с генералом Черемисовым. Я постоял в сторонке, оценивая общую картину дешевого и малоприглядного веселья. «Сухой закон» здесь был не в чести, толстая служанка Хильда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса, только огонек его папиросы, вспыхивавший в потемках, будто сигналил мне о его непрестанной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкою дома, сидящей на диване с видом прожженной «львицы». Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионок, подготовка которых к роли соблазнительниц была очень схожа с той «школой», что проходили высокооплачиваемые проститутки для фешенебельных борделей. За картежным столом возникла ссора, я прикрикнул:

— Господа, ведите себя пристойно. Вы здесь не на конской ярмарке, а между нами находится обворожительная женщина…

На диске граммофона сменили пластинку, и

комната наполнилась повизгиванием кафешантанной певички:

*А я люблю военных!*

*Военных – дерзновенных…*

Керковиус в томной позе перекинула ногу на ногу, покачивая носком туфли, — словно метроном, отбивающий ритм музыки:

— Вы смутили меня, господин полковник… так смутрите! Я пожалуюсь мужу. Он у меня страшный ревнивец…

Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хильда перетирала стаканы.

— У меня есть бутылка чудесного вина, — сказала Керковиус, присаживаясь подле меня за низенький столик. — Хильда, проверь двери, чтобы сюда не совались пьяные рожи…

Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, но удар алкоголя с дурманом был столь силен, словно меня по затылку огрели оглоблей. Я еле ворочал языком, решив отдаться во власть событий, и, как последний забулдыга, уронил голову на стол.

Впрочем, сознание не покинуло меня, я слышал:

— Хильда, загороди нас от окна…

Осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал, зато из нагрудного кармана с нежным шелестом был извлечен секретный пакет, и Керковиус, уходя, строго наказала Хильде:

— Не отходи от окна, чтобы его не видели с улицы…

Мне оставалось ждать, когда она вернется. Ожидание затянулось, и я пришел к выводу, что копировальная фототехника у Керковиусов не самой лучшей берлинской марки. Наконец моя дульцинея вернулась и, вложив пакет с приказом в карман моего френча, была столь заботлива, что даже застегнула на мне пуговицу. Только теперь я оторвал голову от стола.

— Работа вполне профессиональная, — сказал я, — за которую вам, фрау Керковиус, наверное, хорошо платят…

Хильда с криком метнулась к дверям, но они уже были заперты снаружи. Я понял, что Шавров не сидел без дела, однако где же он сам? Молчание затянулось. Керковиус, чтобы выгадать время, нужное для обдумывания обстановки, медленно вытаскивала папиросу из моего раскрытого портсигара.

— Обычное дамское любопытство, — сказала

она.

Но в этот момент из потаенной комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров, на вытянутой руке он держал еще мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа.

— Подобное дамское любопытство, — возвестил он, — карается всего лишь восемью годами каторжных работ… Сущая ерунда!

У мадам Керковиус прорезался грубый голос:

— Этот бандитский налет дорого вам обойдется… я буду жаловаться Фан дер Флиту и генералу Черемисову.

С улицы раздался гудок автомобиля, возле дома погасли фары штабной машины, освещавшие Плеттенбергскую улицу.

— Как по заказу! — сказал я. — Кстати прибыл генерал Черемисов с вашим супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дергалась, а сидела, держа руки поверх стола.

Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты и царило пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно. Я появился в гостиной как раз в тот момент, когда из сеней входил плотный здоровяк генерал Черемисов, движением

плеч скидывая шинель на руки своего адъютанта Керковиуса. Тот принял шинель с плеч генерала, уже отыскивая на вешалке свободный крючок.

Меня даже прознобило. Но… сомнений быть не могло!

Керковиус, сопровождавший Черемисова, был не кто иной, как майор фон Берцио, когда-то схваченный мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кенигсберге.

— Добрый вечер, господа! — басом произнес Черемисов.

Берцио увидел меня — наши глаза встретились.

Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель, и генерал беспомощно взмахивал руками, силясь освободиться от нее.

В руке Берцио тут же сверкнул револьвер.

— На память… тебе! — выкрикнул он.

Пуля вжикнула над моим локтем, а Берцио исчез в темноте коридора, выводящего в уличный сад. Одним ударом я опрокинул на пол тушу Черемисова и, перепрыгнув через него, болтающего ногами в сапогах со шпорами, выскочил в коридор.

В раскрытых дверях — четкий силуэт убегав-

шего Берцио.

— На! На! На! — трижды выкрикнул я, стреляя…

Когда он упал, я еще постоял над ним, наклонившись, и, помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было — да, передо мною лежал он, именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все мигом протрезвели и теперь смотрели на меня с некоторым испугом.

— Господа! — объявил я. — Ваше казино прогорело, советую разъехаться по своим частям. Но прежде я позволю себе составить список присутствующих, отметив звание каждого.

— А это еще зачем? — стали галдеть офицеры.

— Затем, — пояснил я, — что своим пребыванием в грязном притоне вы нарушили правила благородного поведения, и всем вам предстоит суд офицерской чести. Полковников разжалуют в подполковники, подполковники станут капитанами, капитаны штабс-капитанами, а штабс-капитанам предстоит снова служить поручиками… Господин Пасейк, где вы? Идите сюда. Прошу вас к столу, и сразу начинайте составлять список.

Командующий боевым Двинским плацдармом

наконец-то выпутался из шинели, которую в ярости разодрал кавалерийскими шпорами. Вскочив на ноги, Чермисов начал орать на меня:

— Это мы еще посмотрим… морда жандармская! Привыкли трепать честных людей, и даже на фронте легких лавров взыскуете? Не выйдут… хамло! Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал подле его величества?

В дверях появился невозмутимый юрист Шавров:

— Не спорьте. Суд будет справедлив, и, лишившись эполет генерала, вы можете ездить в Могилев и далее… обедать.

Офицеров переписали, затем по одному выпускали из притона. И каждый из них на пороге дома Керковиусов тщательно обходил труп убитого Керковиуса-Берцио, который глядел на своих вчерашних партнеров пустыми стеклянными глазами, а в раскрытом рту мертвеца ярко поблескивала золотая коронка.

— Вы, наверное, из «Правоведения»? — спросил Шавров.

— Нет, окончил Военно-юридическую академию.

— Почти коллеги! Я ведь в юные годы был «чижик-пыжик», но ни Спасовича, ни Кони из меня

не получилось.

— Сожалеете? — усмехнулся Шавров.

— Да как сказать… В компетенцию военного человека тоже ведь входят вопросы милосердия и возмездия. Кстати, очень ли плакала мадам Керковиус, когда услышала мои выстрелы?

— Совсем нет. Сразу понюхала кокаину, после чего глаза у нее стали громадные, как у кошки, завидевшей собаку…

Я позвонил в жандармское управление Вендена:

— Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга… Зачем? Чтобы поставить клизму одной очаровательной дамочке.

— Сволочь! — послышался голос мадам Керковиус.

Отвечать на ее ругательства я не счел нужным:

— Берите с собой зимние вещи. Меха и прочее.

— К чему они мне?

— К тому, что Сибирь славится морозами…

Из морга прикатил фургон, и мортусы, закутав покойника в простыни, увезли его в анатомический театр. Вот уж не думал, что именно так закончится эта «детская игра», в которой я рассчитался с фон Берцио за свое былое поражение.

## 4. Лукулл угощает Лукулла

Вот и снова Питер, что «народу бока повытер», звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснущие на «колбасе», все извозчики с утра нарасхват, а лихачи заламывали столько, что в публике слышалось:

— Скоро наши Ваньки да Маньки так возгордятся, что за один проезд по Невскому станут драть не меньше, нежели Матильда Кшесинская за тридцать два своих бесподобных фуэте…

После возвращения из Вендена мною опять овладело жуткое одиночество, и не было даже дохлой мыши в ванне, чтобы разделить мою тоску. Думалось! Если каждый человек — кузнец своего счастья, то я, наверное, лишь кузнечик, усердно стрекочущий на чужих полянах, не способный создать для себя даже примитивного семейного уюта. Мне все еще казалось, что главное в жизни — дело, а счастье где-то еще поджидает меня за поворотом туманной улицы. Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за сорок. Увлеченный событиями, я пропустил свою жизнь, но теперь, на пороге зрелости, словно споткнулся о камень. Возникло какое-то бессилие и даже пустота в душе. Разре-

шение подобных кризисов одни видят в поисках истинного Бога, другие уходят в толстовство и в политику, а мне… что мне? Осталось лишь навесить эполеты генерал-майора и на этом успокоиться — в отставке на пенсии.

Никто не знал дня моего рождения, следовательно, и гостей ожидать не стоило. Я позвонил в Елисеевский магазин, заказав множество дорогих деликатесов с доставкою на дом, и в полном одиночестве, ничего не желая, сказал сам себе:

— Если Лукулл не угощает своих гостей, тогда Лукулл угощает сам себя, и это должно быть приятно одному Лукуллу…

В одиночестве здраво думалось, но думалось, черт побери, опять-таки не о том, чтобы позвать с улицы первую попавшуюся Аспазию, — нет, события мира уже обглодали меня, словно голодная собака мозговую косточку. Отныне я не мог мыслить о себе, не связывая личной судьбы с тем, чту вокруг меня сегодня и чту мне и моей стране предстоит испытать завтра.

Весь прошлый год посвятив разгрому России, австро-германцы сумели овладеть лишь небольшой частью ее западных рубежей, почти не затронув исконно русских земель. Немцы оказались неспособны изменить ход войны на востоке,

ибо Россия, даже ослабленная поражениями, сохранила свою боевую мощь, все поля ее были засеяны, как в мирные дни, заводы работали с небывалой активностью, приноровясь к нуждам фронта. Но пока русская армия сражалась один на один с врагом, союзники накапливали резервы, и в 1916 году кайзеру пришлось развернуть свои силы на запад, где его армия сразу напоролась на неприступные стены Вердена, который стал символом стойкости французского солдата. Между тем наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании: великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ, Ставка перебралась из Барановичей в Могилев-на-Днепре, а главнокомандование водрузил на свои плечи сам император…

Бонч-Бруевич — при встрече со мною — спросил:

— А где вы успели нажить себе так много врагов?

— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй, — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

Разговор получился искренний. Я не скры-

вал, что служу ради чести, а значит, обязан из самых лучших побуждений делать карьеру, и мне не всегда приятно видеть своих однокашников по Академии Генштаба уже генералами. Бонч-Бруевич признал, что мое производство задерживается Ставкой:

— Государь утвердил законоположение, единое для всех: никакой полковник Генерального штаба не может претендовать на генеральство, не прокомандовав полком не менее года.

— Но известно ли государю, — отвечал я, — что полковник разведки Генштаба нигде не получит целый полк, чтобы целый год гонять его с песнями. Даже под Салониками, где застрял русский батальон, я так и не понял — кто кем командовал: я батальоном или сам батальон командовал мною?

— Ходят слухи, будто вы в этом батальоне устраивали сцены «братания» с нашим противником — болгарами.

— Так не грызть же им горло... Болгарам не хотелось стрелять в нас, а для нас болгары навсегда остались «братушками», ради свободы которых Россия в крови уже выкупалась.

Бонч-Бруевич не утаил от меня, что кто-то сознательно затирает мое продвижение до службе,

хотя генерал Алексеев, начальник штаба при Ставке царя, человек рассудительный, хотел бы иметь меня в Могилеве. Я сказал, что удивлен.

— Напрасно! Алексеев достаточно наслышан о вас, и он даже советовал поручить вам какое-либо дело с выходом за кордон, чтобы вы смогли отличиться… для генеральства.

Мне было ясно, что в лице Михаила Дмитриевича я имею доброго советника, но планы Алексеева, пожелавшего видеть меня в Ставке, показались чересчур химеричными. Скоро в разведотделе Генштаба мне предложили работу, далекую от дел домашних, и, казалось, откажись я от нее, мне всю жизнь таскать бы по слякоти галоши полковника. Первый вопрос был таков:

— Знаете ли вы британского генерала Туансайда?

— Как пишут в учебниках по изучению иностранных языков, нет, я не знаю генерала Туансайда, но зато я имею двоюродную тетку, которая хорошо играет на виолончели.

— Не шутите! Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии, близ Багдада, сейчас он застрял в аулах Кут-эль-Амара, где его корпус окружен турками и курдами. Однако вышенареченный Туансайд решительно отверг

помощь нашей кавалерии князя Баратова, идущего к нему на выручку со стороны Кавказа, а сам не смеет пошевелиться в этом Кут-эль-Амаре.

— Отверг? Почему? Мы же союзники.

— Липовые. Или вы не знаете англичан? Они согласны претерпеть унижения турецкого плена, лишь бы не допустить нас в нефтеносные районы Месопотамии, Аравии или Южной Персии…

Тут я понял, что мои генеральские эполеты уже подвешены под куполом цирка, мое дело — не сорваться с трапеции, свершая тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывают глаза.

— Когда прикажете выезжать?

— Первым же поездом до Тифлиса, а в Карсе для вас приготовят проводника из армян и конвойных казаков. Все!

Чтобы изучить обстановку, времени не оставалось. До отхода поезда я уяснил лишь одно: англичане уже делали три попытки деблокировать корпус, но все они окончились неудачей, а вместе с Туансайдом в Кут-эль-Амаре парились еще пятеро британских генералов, которым Багдад только снился.

Сборы были недолгими. В самый последний

момент, уже готовый покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдет подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Кажется, все. Ключ от квартиры я оставил у швейцара, и старик проводил меня низким поклоном.

* * *

…ранняя весна. Но Тифлис встретил меня таким оглушительным градом, — словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень, который я пережидал под крышей вокзала. Тифлиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную речку, и, громко лая, низверглась с водопадом в каком-то кривом переулке.

Пассажиров ожидала пересадка на карсский поезд, а громадная толпа военных, ожидающих посадки, не слишком-то высоко оценивала мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещавшего начало посадки, стремительная река многолюдья подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносила бездомную собачонку. Офицеры, их жены, солдаты, чиновники и сестры милосердия с такой быстротой заполняли

вагоны, словно шла ускоренная киносъемка в комическом кинофильме. В этой железнодорожной суматохе XX века невольно вспоминалось лирическое «Путешествие в Арзрум» Пушкина — очевидно, еще и по той причине, что недавно наши войска отвоевали Эрзерум.

Минувшая зима в горах была на диво морозной и снежной, мой сосед по купе, участник эрзерумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полушубком и альпийскою обувью:

— А ишо дали нам по два березовых полена, чтобы опосля победы над вражиной обогрелись у костерка…

Я соображал как генштабист: потеря турками Эрзерума заставит султана оттянуть войска из пустынь Синая, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды омытый русскою кровью. В этих краях когда-то процветало могучее Армянское царство, но сейчас деревни армян напоминали пещеры троглодитов; убогие сакли не имели даже окон, я не видел ни огородов, ни даже цветочка, и только громадные кладбища предков подсказывали, что люди здесь жили очень давно.

Как жили — не знаю, но «царство» у них было… Я дремал возле окна с выбитыми стеклами, а встречный ветер надул мне великолепный флюс. Карс, будь он неладен, оказывается, имел не только православный собор, но еще и памятник русским солдатам, отвоевавшим этот паршивый городишко, где — согласно преданию — Каин укокошил своего брата Авеля…

С невеселыми мыслями, пристыженный флюсом, я объявился в штабе Кабардинского полка; дежурный адъютант, чертыхаясь, никак не мог разобраться в ворохе телеграфной ленты.

— Только что получили, — сказал он мне. — Мы вас ждали. Это для вас. Впрочем, читайте сами, господин полковник…

Я прочитал и понял, что флюс заработал напрасно.

— Что вы опечалились, господин полковник?

— Печалиться станут в Лондоне… Генштаб извещает, что моя посадка в Кут-эль-Амар отпадает в силу тех причин, что генерал Туансайд сдался туркам на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новороссийск.

— Хлопотная у вас служба, — пожалел меня адъютант.

— А у вас?

— О, мы в Карсе живем как в раю… Правда, сердечников тут прихватывает. Иные через месяц уже на кладбище. А иные, которые желают получать пенсию побольше, крепятся изо всех сил, но больше трех лет тоже не выдерживают.

— А как же вы, кабардинцы?

— А мне-то что? Я здесь родился…

Ох, и проклинал же я тогда Туансайда, по вине которого сорвался мой великолепный прыжок «под куполом цирка», а теперь следовало ехать в Новороссийск. Как раз в это время наши десанты готовились к высадке в Трапезунде, вся Новороссийская бухта была заставлена транспортами, на которые грузилась кавалерия кубанских казаков. Для сохранения тайны от самого Дуная до Батуми радиостанции хранили молчание, а на почтах лежали громадные мешки неотправленных писем. Но казаков провожали в «Туретчину» их деды и бабки, жены и молодухи, все это кубанское общество столько пило и так отчаянно плясало на пристани, что тайна будущей операции вряд ли укрылась от взоров вражеской агентуры. Я печально смотрел на красивых кубанских казачек, лихо отстукивавших каблуками в неуемном веселье, а самому думалось: сколько же их здесь, которые вскоре накроют свои головы черными

вдовьими платками… Из газет мне стало известно, что германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» недавно обстреливали Поти, Сухум и даже курорты в Сочи, а отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам в их битве на Сомме, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцка…

Пожилой комендант города встретил меня со вздохом:

— Как бы я хотел побывать в Трапезунде, да вот… годы уже не те. Завидую молодежи. Восток. Яркие звезды. Дивные ароматы. Шеншины… ах, какие шеншины! Говорят, они от страсти даже не целуются, а сразу начинают кусаться.

— К этому добавьте, — сказал я, — скопища чумных крыс, несметные тучи блох, миллиарды заразных мух и москитов да еще лихорадку по названию «хава». Правда, если верить легендам, то именно в Трапезунде знаменитый Лукулл закатывал свои пиры, а древние хроники смутно намекают, будто из Трапезунда выехали на Корсику предки не менее знаменитого Наполеона Бонапарта, который закончил свой пир в Москве.

Мой краткий экскурс в историю изумил коменданта.

— А кто вы такой? — удивился старикашка.

Я ознакомил его с документами:

— Нет ли у вас чего-либо на мое имя из Петрограда?

— Есть, — отвечал он, порывшись в бумагах, — вам следует ожидать тральщик под номером триста второй.

— Все? — спросил я.

— Все.

* * *

Тральщик № 302 пересек Черное море точно по диагонали, причалив в Одессе, где меня с нетерпением ожидал чиновник министерства иностранных дел Повалишин, первым делом показавший мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом.

— Эту дешевку, — сказал он, — от имени его императорского величества я обязан вручить румынскому министру Братиану, дабы он скорее подсадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же еще ждать, когда румыны включатся в общую борьбу? Правда, в Бухаресте желают за свое участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но… В таком деле мелочиться не станем. Ведь портсигар от русского царя тоже чего-то стоит!

Повалишин передал пакет из Генштаба, соответственно просургученный печатями. Мне вменялось в обязанность проследить, чтобы портсигар от имени Николая II не затерялся, а в разведотделе Генштаба будут ожидать мой подробный отчет о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее…

— Как сказано в Священном Писании, «мертвое — мертвым, а живое — живым…». Наверное, мы еще поживем.

Эти мои слова повергли чиновников в трепет:

— Послушайте, к чему вы это вспомнили?

— Да так, — вяло ответил я. — Порою мне кажется, что я давно устал жить. Но это ведь несуразица, ибо я еще ни разу не жил… как живут все нормальные люди. Вот тут сказано, чтобы проследить за доставкою портсигара по назначению. Так что, прикажете мне и за вами следить? Чепуха…

Повалишин истово перекрестился:

— Да Бог с вами, полковник! Какая-то мистика… меня даже прознобило. Уж вам-то, офицеру Генштаба, чего бы не жить?

А в самом деле — почему бы мне еще не пожить?

## 5. Возвышение

Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба-злодейка тем и хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион-конькобежец Панин-Кломенкин…

Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты (как и германский блок) усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкою на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию «вооруженного выжидания», как бы прикидывая — кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее? Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I (из династии Гогенцоллернов), что выгоднее ехать в «русской телеге», которая увезет далеко — даже туда, где не сыскать ни одного валаха.

Повалишин называл румынского короля «хапугой»:

— Теперь, по слухам, ему уже мало Трансильвании, он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет

выклянчивать у нас и Бессарабию[23]...

Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что Генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет:

— Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги...

Ладно! Расскажу о личных своих впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная, заплатанная рубаха. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими

**[23] notes: 23**

Бессарабия дважды (в 1812 и 1878 годах) была закреплена за Россией; Братиану явился главным зачинщиком отторжения ее от нашей страны, и Парижским протоколом 1920 года Бессарабия была признана румынской территорией. Возвращена, вместе с Буковиной, в состав СССР в 1940 году, ныне она является частью Молдовы.

задворками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы — не от бремени любви, а от питания мамалыгой. Бухарест иногда называли «балканским Парижем», но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это неверно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом, но… что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих метресс, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова.

— Жалко! — сказал я Повалишину. — Безумно жалко отдавать великолепный портсигар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку когтей, хрящей и сухожилий…

Семенов неожиданно огорошил меня новостью: в подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а в человеке фурункулез, — эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него.

— Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армий Макензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах, после чего румынские офицеры принимают пылкие поцелуи от своих дам… Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами! — предупредил Семенов в конце информации.

— А что? — наивно спросил я.

— Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы три-четыре раза. Мне страшно бывать на приемах, ибо сидишь, как дурак, между женщинами и никогда не знаешь — кто с нею рядом, вчерашний муж или сегодняшний? Бухарест — это такой Содом, что им не воевать, а судиться надобно!

Семенов советовал избегать свиданий с русским послом С. А. Козелл-Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось, и я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте — самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире:

— Наверное, вы обладаете умом Спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со сво-

им бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала.

— Увы, это так. А вы зачем в Бухарест пожаловали?

— Как будто ради сопровождения портсигара.

— Вещь отменного вкуса, — сказал посол. — Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара…

Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братиану уже хвастал перед дамами своим портсигаром, но, желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, считая это политической наглостью.

— Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить — сразу стащат! Но Братиану, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось давать отчет в Генштабе, что бы вы там выразили… как самое главное?

— Так и доложите, что через месяц после начала войны Макензен будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров…

Грешен, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить

читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке, желая образовать новый — более серьезный и страстный… именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать! Все подобные намеки я геройски отражал ссылками на сложность политической ситуации, говоря:

— Мне было бы очень больно оставить вас вдовою в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне…

Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно что побывать в Париже и не увидеть Елисейских Полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном ландо, поименно перечисляя румынских Ганнибалов заодно с их женами — бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию.

— О чем загрустили? — спрашивал атташе.

— Да опять о той же Бессарабии! Это очень плохо, если глаза у Братиану намного больше его желудка…

Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семенов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был пред-

ставлен королю Фердинанду I, еще молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине, весьма значительной, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден «Короны Румынии» с латинским девизом: «Через нас самих», после чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга.

Орден был величиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели как на бухарского принца. В Генеральном штабе меня ждали и, естественно, ждали моего доклада.

Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен.

— Позволю высказаться в двух словах, — сообщил я. — Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется пятнадцать дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется тоже пятнадцать дивизий, чтобы спасти Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь пятнадцать боевых дивизий…

(Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. Но удивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Э. Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах: «Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали, в общем, слабее».) В эти дни Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич посматривал на меня иронически:

— Из вас никогда не получится хорошего дипломата.

— Почему?

— Орден-то не шире блюдечка… Вон чиновник Повалишин! Он до того понравился Братиану, что вывез на Русь румынский орден величиной с суповую тарелку.

— В любом случае — посуда! — парировал я.

* * *

Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист,

прибывший на место преступления, я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и… ужаснулся!

В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса, а днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чешуевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, оторопев, и молча смотрел — то на эту крысищу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевшая от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти, мелко и противно щелкавшей зубами, торчали два желтых клыка.

Из прихожей вдруг стал названивать телефон.

Телефон надрывался. Он звонил, звонил.

Но мне сейчас было не до разговоров…

Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал. И — по-

нял: это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса-аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особями. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая! Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебея. Ясно и происхождение свалки крысиных останков — плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на съедение, чтобы их королева была сыта.

Телефон истошно и надрывно звал меня к себе!

Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул…

Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны.

Боже, какой писк… боже, какое визжание!

Выстрела я почти не слышал, но с этого момента я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу.

С револьвером в руке, еще дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос:

— Поздравляю…

— С чем? — выкрикнул я, размахивая револьвером.

— С редкостным возвышением…

По тону говорившего я понял, что со мною не шутят. Только что прикончивший крысу, я возвышался… я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать с той головокружительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшая на меня снизу вверх, как эта крыса из ванны.

Впрочем, сейчас вы все узнаете сами…

## 6. Последняя ставка

Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя — как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров.

Странная жизнь! Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась, как старик по лестнице с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило свершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек,

и меня вознесло выше меры, а для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской Ставке. Это случилось со мною в сентябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники — танки… Мне предстояло переселение в Могилев-на-Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для «высочайших» докладов.

Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской Ставке, и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве — невелика заслуга, а более скучной и постылой жизни, чем в Ставке, я никогда не испытывал. Люди, мало искушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что Ставка состояла сплошь из оголтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние генералов Ставки, то и отречение Николая II от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности… Иногда меня даже спрашивали:

— Вас изгнала из Ставки, конечно, революция?

— Точно так, — отвечал я. — Но если назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь…

Впрочем, лучше не забегать «вперед батьки в пекло», как принято говорить среди щирых украинцев. Начну с начала.

* * *

Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то бывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 тысяч человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора, свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами.

Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день, и не один раз — в общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочный с бутылками и обеденный. Лакеев изображали солдаты,

стеклянной посуды не было (ибо Ставка считалась на походе), а к бутылкам первым подходил царь, и по лейб-гвардейской привычке, никогда не морщась, он выпивал чарку, мы следовали его примеру (тоже не морщась и не спеша закусывать), после чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным агентом полковником Леонтквичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг-капитану и адмиралу Косте Нилову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом:

— Скоро все будем болтаться на уличных фонарях! Россию ждет такая заваруха, что даже пугачевщина покажется всем нам лишь забавной оффенбаховской опереткой…

Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад, Николай II тоже смолчал, хотя в Ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Леонтквич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов Ставки давно сложилось мнение, что Николая II лучше

бы заменить его братом Михаилом, командиром «Дикой дивизии», чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции, и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке, и этот военно-политический «комплот» поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции и, пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила…

Мне, признаюсь, в это не особенно верилось!

Я был выше головы загружен делами, поглощенный событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам Ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитывалось полтора миллиона дезертиров (почти сто полнокровных дивизий!).

— Что случилось? — недоумевал я. — Эскадра адмирала Рожественского плыла к Цусиме на явную гибель, имела долгие стоянки в чужих портах, никто не держал матросов в клетках, но вся

эскадра имела лишь одного дезертира, а тут…

Генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат если не дезертиры, то попросу отлынивающие от фронта.

— Зажрались они там на всем готовом, бесплатно катаются на трамваях по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до пятнадцати тысяч человек, так что в казармах возводят для них уже четырехэтажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и, ничем не связанные, они — уже готовый горючий материал для любого возмущения…

Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его «дворцу». Николай II был в черкеске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но и не забывает наливать и его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги, и сообщал о делах итальянской

армии при Трентино.

— А что слышно из Петрограда? — спросил его царь…

3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией (после потопления ею лайнера «Лузитания»), вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но Ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву:

— Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. И я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу…

Эти слова я мог бы и закавычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из Царского Села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Рузский, командующий Северным фронтом, который

вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Рузский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно:

— Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина, народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены… Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок и не лучше ли сдаться на милость победителя?

Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему:

— Прекратите, Николай Владимирович! Да и где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?

— Уже стоит за дверью, — невнятно отвечал Рузский…

Что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской Ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной «Пляски смерти», но… Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант Ставки, генерал Воейков, начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда

жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои — непременно желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил:

— Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке…

Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много. Даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника — со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства: «Совсем нехорошо в городе… волнуюсь относительно города… революционное движение продолжается… вчера революция приняла ужасающие размеры… известия хуже, чем когда бы то ни было…» И, наконец, последняя ее телеграмма — словно истошный вопль: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Войска уже перешли на сторону революции…»

— Баба! — помнится, сказал я тогда.

Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу — прогуляться. Был вечер, Могилев осветился огнями окон, ти-

хо падал снежок, ожидалась оттепель. Я думал, что в Ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам — и все останется как прежде. Почему-то в Ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов. Но я-то уже точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала…

«Тут что-то не так!» — сказал я сам себе.

В окнах обывателей уже погасли теплые огни, Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали — телеграммы царицы совсем об ином, более важном, нежели «хвосты» возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра.

Давно я заметил в себе одно странное свойство.

В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом:

*Какие ж сны тебе, Россия,*
*Какие бури суждены?*
*Но в эти времена глухие*
*Не всем, конечно, снились сны…*

* * *

Понедельник 27 февраля остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции.

В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя ганерала Н. И. Иванова, носителя бороды лопатой, истинно русского, воистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал «тайной мадридского двора», и вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне,

украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал:

— Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С тем и еду, дабы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а «голубой» поезд его величества проследует на столицу через Лихославль — прямо на Тосно, прямо в Царское Село…

Все ясно. И невольно думалось нечаянным каламбуром: «Вот она, последняя ставка последней Ставки царя…» А больше ничего не хотелось думать, и в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запорошенный снегом, вошел генерал-путеец Цабель:

— Я за вами! Собирайтесь. Два литерных, государев и свитский, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их.

— Когда надеетесь быть в Царском Селе?

— Первого марта…

Во вторник два литерных поезда А и Б (свит-

ский и царский) миновали Смоленск и Вязьму, где все было спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута, взамен ей в Петрограде образовано «временное правительство». В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение, я тоже не понимал, что может означать «временное»? Мы рассуждали, что война продолжается и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны:

— Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает реку вброд… Это же абсурдно!

Наконец нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в Царское Село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул:

— Кем подписана эта телеграмма?

— Каким-то казачьим сотником Грековым.

— Ну, знаете ли, — заговорили все разом, — если уж такая мелюзга решает, куда нам надо поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма и нам лучше туда не соваться…

Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит

императору, что далее ехать опасно; разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Рузского предоставит гарнизон для защиты Ставки.

При этом в свитском вагоне все дружно согласились:

— Да, да, да! Псков — городок тишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих «временных»… потом-то и развернемся!

— Куда? — спросил я, думая о своем.

— Ну, хотя бы обратно… в Могилев.

Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться «голубого» поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в Царское Село. Решили подчиниться, а в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любань и Тосно уже в руках революционеров.

— А где же Иванов с Георгиевским батальоном?

— А черт его знает. Я сам едва удрал на дрезине…

Станция была по-ночному ярко освещена, но

людей — ни души. Мы вышли на платформу, и лишь в два часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой; с тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул:

— Кирилл Анатольевич, а где же все?

— Дрыхнут, — отвечал Нарышкин.

— Так разбудите! Теперь власть «временная», Любань и Тосно уже заняты. А на бороду Иванова все плевать хотели…

Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев, кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал. Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался.

— Сам я ничего не решаю, — сказал Воейков.

— Так доложите его величеству…

Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного Рузскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял — передо мною список членов «временного правительства», которое в кратком резюме, об-

ращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили: что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе?

Мне было скверно. Я ответил:

— Поздравляю, господа… дослужились! Теперь у нас новый военный и морской министр — Александр Иванович Гучков, и отныне все мы, как никогда, близки к победе…

Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить, если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил — да, а я отвечал ему — нет, и разошлись мы врагами.

* * *

Пассажиры (назовем так) двух литерных А и Б на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Н. И. Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились, на каждой

станции требуя петроградских газет:

— Коли нас везут, так хотим знать, на што везут?..

Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона:

— Стрелять в свой народ мы не станем, и даже в том случае, если прикажет стрелять сам император…

Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной Вырицы, и здесь солдаты отказались повиноваться.

— Так хоть постройтесь ради прощания, — обратился к ним Иванов; а когда они построились, он стал плакать: — Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко?

В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих… никогда не увидел он больше и царя!

### 7. «Великая и бескровная»

Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились: царский поезд притих, загнанный в тупик псковской станции. Между

тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров, в Ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадные инстинкты толпы… Само слово «отречение» перестало быть крамольным, а Родзянко телеграфировал в Ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всеобщий кавардак. Стало известно, что Николай II вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией; ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейб-хирургом Федоровым:

— Сколько лет проживет мой сын?

— Не долее сорока, — ответил ему врач.

— Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец…

Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошел чиновник Суслов — из штаба министра двора графа Фредерикса.

— Вы, наверное, многое знаете? — прошептал он, намекая на мои функции при Ставке верховного главнокомандования.

— Допустим, — нехотя согласился я.

— Скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они, закаленные в боях, мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию?

— Можно, — не отрицал я, обрадовав Суслова.

— Тогда я побегу… спасибо… так и скажу…

— Постойте! Но в этом случае мы вынуждены оголить фронт перед немцами и, спасая престиж монархии, сдать Россию под ярмо вражеской оккупации… Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами, что важнее сейчас — или судьба престола, или честь Российского отечества?

— Вы меня не так поняли, — смутился Суслов, но его бред продолжался: — Разве нельзя пригласить в Петроград и немецкие войска, чтобы они совместно с нашими…

Он не договорил, остановленный моим вопросом:

— Вы по морде когда последний раз получали?

— В детстве, — лепетнул он и на цыпочках удалился…

Николай II еще уповал на генерала Рузского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился — согбенный и

бледный, он был в форме генштабиста и как-то нелепо-расслабленно шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Рузский едва козырнул нам в ответ. Но, заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой:

— А что, господа? Прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям…

При этом мне снова вспомнилась «Пляска смерти» Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе Рузского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил, напротив, повышенным тоном он высказался, что вся политика за последние годы была дурным сном, а русский народ, самый терпеливый на свете, терпение потерял. Он же сообщил царю и о том, что карательная миссия генерала Иванова завершилась анекдотом.

— Итак… отречение? — тихо спросил царь.

— Иного и быть не может.

— В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флота-

ми. Соблаговолите поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Могилева…

Связь Ставки работала хорошо, и вскоре все командующие (и даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта) подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то «воздержался», что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Гучкова…

На перроне вокзала я встретил профессора Федорова[24].

— Сергей Петрович, — спросил я его, — это правда, что наследник престола не доживет до сорока лет?

— Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алексею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком, сажая розы и воспитывая сына. Вряд ли ему позволят оставаться в стране, где он

---

**[24] notes: 24**

С. П. Федоров (1869-1936) — остался на родине, и уже в 1928 году стал заслуженным деятелем науки РСФСР. Известный хирург-новатор, он до конца своих дней состоял профессором Военно-медицинской академии в Ленинграде, оставив немало научных трудов, имевших большое значение для развития отечественной хирургии.

оставил немало позорных пятен…

Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянко, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодряще-морозным, дышалось в такой день легко и приятно. Я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов, из личной охраны царя, часто плакавший:

— Государь-то еще как-нибудь уцелеет, его и «Василий Федорович» примет, а вот что будет с нами?

Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле, и, казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял «голубой» вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос: быть или не быть? На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень, продуктов было много и все по дешевке, улицы Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу, юнкера из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому, а в витрине москательной лавки я увидел недорогие обои:

— Надо бы подсказать Воейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве: желтые и

с розанчиками.

— Голубчик! — зарыдал Невдахов. — До обоев ли тут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнуть красить… Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смирным, а дай ему волю, так он… Знаете, что он с нами сделает?

На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко:

— Во, хитрая хохлятина! Сам-то со своим мурлом испугался ехать, так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов — Гучкова да Шульгина… Теперь вот околевай, жди их!

— Когда они обещали прибыть во Псков? — спросил я.

— Да как будто часа в четыре… дерьмо собачье!

Но лишь около восьми вечера прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами донельзя, и машинист едва сбавил скорость, как на перрон, спотыкаясь и падая, уже посыпалась публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами, очень далекими

от политики:

— Фунт хлеба — пятачок, а масло — в полтинник… Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее!

Конечно, Шульгина с Гучковым в этом «обжорном» поезде не было, а разъяренная толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского «благочиния», и откуда-то из недр гулкого вокзала слышался сдавленный женский вопль:

— Вера-а! Да тут даже ветчина с укропом… шницеля шире лаптя… и все — с гарниром!

А из хвоста очереди, мигом вытянувшейся вдоль перрона, звучало ответное — почти с трагическим надрывом:

— Надя! Хватай все, что видишь… еще настрадаемся…

* * *

Поезд с депутатами Государственной думы прибыл в Псков лишь около десяти часов вечера, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди, был одинокий выкрик «ура», а какой-то пьяненький даже спел: «На бой кровавый, святый и правый…» Я стоял поодаль от свиты, но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков

и Шульгин — попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенные пышными красными бантами, за ними, косолапо ступая, вышел Гучков, а потом и Шульгин в котиковой шапке. Чувствовали они себя так неловко, как люди, испытывающие нужду, но стесняющиеся спросить: «А где здесь… это самое?» Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб Рузского, но граф Фредерикс взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя:

— Извольте сюда — государь давно ждет…

Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство, ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то гадливым выражением на лице удивленно протянул слова:

— Ах, это вы… вот где! Уже в Ставке… ладно…

Сцена отречения императора описана во множестве книг, и потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя, в его «голубом» вагоне были министр двора Фредерикс, много плакавший, генерал Рузский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже

имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но Воейков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки:

— Александр Иванович просил больше никого не пускать…

Я не сразу сообразил, что Гучков — на правах военного министра — уже начал распоряжаться в Ставке, как у себя дома, и мне на миг стало даже смешно от такой его прыти.

— Передайте Воейкову, что в одной из лавок Пскова я случайно видел обои… как раз такие, какие он искал.

С этим я удалился, но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появясь из вагона и увидев людей, он, не сходя с тамбура, произнес краткий спич:

— Русские люди, обнажите головы и перекреститесь, как положено православным… Только что государь-император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша великая Русь вступает на новый путь демократического обновления…

Черт меня дернул снова попасться ему на гла-

за!

И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся:

— О, уже генерал-майор… быстро, быстро вы скачете! Впрочем, хвалю служебное рвение… буду вас помнить!

Ночью в пятницу 3 марта оба литерных А и Б повернули назад — в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался… Перрон могилевского вокзала, как обычно, был ярко освещен электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мертвым, а фигура Алексеева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, омертвелой. Помнится, я сказал Цабелю:

— Сергей Александрыч, не кажется ли вам, что это лишь начало, в котором и конца не видно? «Временные» так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву.

— Погодите, — мрачно отвечал Цабель. — Это сейчас радуются, что царя спихнули. Пройдет срок, и все эти болтуны из Думы еще взвоют,

поминая его царствие, яко блаженное…

Внешне в Ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой, стрекотали телеграфные аппараты, под настольными лампами, сладко потягиваясь, мурлыкали приблудные кошки. Наконец в субботу рог столичного изобилия высыпал в Ставку свежайшие деликатесы: Михаил продержался на престоле всего шесть часов и отрекся, обиженно считая, что брат «навязал» ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что — рядом с Временным правительством — возник Совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал, офицеры в недоумении спрашивали один у другого: «- Власть или не власть? Плевать или не плевать?» Затем телеграф принял свежую ленту — знаменитый Приказ № 1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжений офицеров, прежде не обсудив их в своем кругу; они могли смещать офицеров и назначать новых — по своему усмотрению; отдавать офицеру честь стало не обязательно, а титулы вообще отменялись.

Алексеев полтора часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского Приказа № 1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию.

Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам:

— Как говаривал светлейший Потемкин-Таврический, «все наше, и рыло в крови». Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уже не до чести, а как бы уцелела физиономия…

Приказ № 1 был подписан каким-то Н. Д. Соколовым, и в Ставке гадали — кто этот хорек, так здорово навонявший? С этим же вопросом обратились и ко мне.

— Не знаю, — отвечал я. — Но думаю, что большей ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот эн-дэ Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщине…

— Да-а, — призадумались в Ставке, — вот и повеяло долгожданной свободой. Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит… Только не для нас! Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали.

Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под

Пензой, чтобы там в тишине провинции пересидеть это смутное время, — «пока все не уладится», говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты, искренне удивлялись:

— Как? Вы еще при погонах? А в Петрограде нас мордуют на каждом углу, на флоте творится что-то ужасное, офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы еще с погонами, и на них — вензеля бывшего императора…

С передовой неожиданно нагрянул в Ставку генерал Черемисов, слишком памятный по встрече с ним в лифляндском Вендене, где мне довелось покончить с его адъютантом Керковиусом-Берцио. Человек мстительный, Черемисов сказал мне:

— А вам, жандарму, я бы не советовал щеголять царскими вензелями… как бы беды не вышло!

Меня замутило от подобного оскорбления:

— Я не жандарм! Я офицер разведки Генерального штаба.

— Может быть, — усмехнулся Черемисов. — Но сейчас при Гучкове уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов, так что, милейший, соберитесь с духом…

Цабель уже спарывал со своих погон царские

вензеля, в которых буква «Н» была украшена римскою цифрой «II».

— И вам советую, — сказал он. — Лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата…

8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в Царское Село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти «варяги», самовольно явившиеся в Ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, а по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих «орателей» с их примитивными «лозунгами» восседал в президиуме и свой брат-генштабист — полковник Плющик-Плющевский, которому сам Господь велел бы не позориться. Наконец, однажды меня навестил странный тип, который сначала выдул целый графин воды, после чего сказал:

— Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Федоровича… от Керенского!

При нем оказалась справка, отпечатанная на «ремингтоне», примерно такого содержания: гражданин такой-то по случаю наступившей эры свободы выпущен из психиатрической клиники д-ра Фрея и ныне назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки.

— Так вот, — сказал я этому господину, перенасыщенному самой трезвой водой, — с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов, а сюда, гад, не лезь… Понял?

Нет, не понял. Пришлось встать и, треснув его по мордасам, выставить за дверь с приложением колена. Этим поступком я вызвал большое недовольство Плющик-Плющевского:

— Разве можно так обращаться с представителем свободного народа? Подумайте о себе… Как бы вам не пришлось стоять на углу улиц, продавая газеты!

— Я не пророк, — обозлился я, — но я уже вижу вас в Варшаве торгующим папиросами поштучно. Более я вас не знаю…

Но Черемисов оказался прав: Гучков поклялся «освежить» армию, устроив генералам «большую чистку». Все это он проделал канцелярским

способом, где, как известно ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил «птички», которыми отмечал, кто годен, а кто негоден. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, оставшихся на бобах без пенсии, и они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая 1917 года, а в канун своей отставки Гучков наградил «птичкой» негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, почасту беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами — занятие не только рискованное, но даже преступное.

— Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен… Прощайте, Михаил Васильевич!

Звезда Гучкова уже померкла, но разгоралась звезда Керенского, и, помнится, я простился со Ставкой сразу после 1 мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пуришкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов.

Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и заплеванном тамбуре, и, глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль…

*Роковая страна, ледяная,*
*Проклятая железной судьбой, –*
*Мать-Россия, о родина злая,*
*Кто же так подшутил над тобой?*

А в тамбуре вагона слышались глупейшие разговоры:

— Пущай уж энта республика, яти ее мать, останется, тока бы царя нам дали хорошего… чтобы с башкой был!

Впереди длинного состава истошно стонал паровоз.

* * *

Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, затертый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь — где бы перехватить извозчика? Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплевывая

шелухой семечек, уже приглядывались ко мне чересчур подозрительно.

— Гляди-кось, недобитый… — услышал вдруг я. — Видать, ишо порядков новых не знает. При погонах… А ну, — крикнул мне со злобой, — сымай сам, пока всего не растрепали!

Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеваться семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были вырваны с отвратительным хрустом, а потом меня попросту избили, как последнюю собаку. На прощание, очень довольные, солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану, он раскрылся, из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое!

— Тыловые крысы… окопались тут… сволочи…

В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха-нищенка. Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрошайка сочувственно оглядела меня:

— За што ж тебя эдак-то, сердешный?

— За карьеру, бабушка… я карьеру делал.

— Так ступай с оглядкой, ныне за эфто самое и убить могут!

«Великой и бескровной» назвал Керенский эту Февральскую революцию, но сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненной гневом, сложилось иное мнение: «Все наше, и рыло в крови!» Утешаясь этим потемкинским афоризмом, рожденным еще в пугачевщину, я поплелся домой… пешком, пешком, пешком — как птица дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев…

Да и не было у меня крыльев — оторвали их с мясом!

### 8. Кому я теперь нужен?

Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть «Черную книгу тысячи имен», хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в «Черную книгу тысячи имен» вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей, достаточно авторитетных в самом респектабельном обществе. Книга рассказывала, кто пьяница или наркоман,

картежник или растлитель малолетних, кто живет (или жил) на содержании женщин, кто берет (или брал) взятки, кто не откажется от услуг проститутки или подвержен содомскому пороку. Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент путем грубого шантажа использовать слабости человека в своих целях. Уверен, что моего имени в «Черной книге тысячи имен» никогда не было, да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чужался…

Вы спросите, к чему я вам все это рассказываю?

А вот к чему. Так или не так, попал я в эту «Книгу» или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, и мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь, звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. Он не стал развешивать у меня под носом тряпье благородных декораций, чтобы в их тени разыграть спекулятивную сделку с моей совестью, — нет, он резал правду-матку в глаза, и меня от этой правды корежило. По его словам,

наша разведка осталась без хозяина, связи ее центра с заграницей прерваны, а «временным» в Петрограде нет никакого дела до таких специалистов… как я, например!

— Где сейчас ваше место? — напористо говорил Робинс. — Кому нужны вы теперь у себя дома, если армия вас отвергла? Всю жизнь вы знали только свое дело, а другого и знать не можете.

— Да. Так. Увы.

— Между тем ваша агентура может быть крайне полезна нам, и не только нам, а всем союзникам по блоку стран «сердечного согласия»[25]. У вас, русских, многолетние связи, не только в Европе, но даже в Азии, и центры вашей разведки, освоенные еще до войны, немцы даже не колыхнули, так отлично они законспирированы. Наконец, вы, русские, владеете такими трюками своего ремесла, каким можно лишь позавидовать.

— Благодарю. Приятно слышать.

— Чтобы не быть голословным, — учтиво подолжал Робинс, — я скажу, что самая сильная ваша агентура на заводах Круппа уже работает

---

**[25] notes: 25**

Здесь, на мой взгляд, автор мемуаров допускает преувеличение. Русская агентура Генштаба, хорошо внедренная в Германию и даже в немецкий генштаб, с 1917 года стала работать на секретный американский отдел «Q.2 — B», но американцы не говорили, в пользу какой страны они работают.

на нашего «дядю», и нам здорово повезло, ибо именно от ваших коллег мы получили ценнейшие сведения о германской пушке «Колоссаль», способной издалека обстреливать Париж… Подумайте над моим предложением!

Невольно припомнилось подневольное житие в бараках Эссена; да, я видел там толпы изнуренных рабочих, но мог лишь догадываться, что среди этого «быдла» скрываются мои же коллеги с отличным академическим образованием. Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня, а наша агентура в Эссене, оставленная за бортом России, уже перекуплена «на корню», как отличное зерно для будущего прибыльного урожая. Теперь понадобился и я, генерал-майор старой чеканки, а Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меду на меня не пожалеют…

«Заманчиво! Но… где же моя честь?»

Робинсу надоело мое молчание.

— Время идет, а вы слишком долго думаете, как и все русские… О чем думаете, позвольте спросить?

— Конечно, о своей родине… Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы: мы сейчас никому не нужны. Но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образуется,

и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами словно злобная мачеха.

— Разговор окончен? — резко поднялся Робинс.

— Нет! — резко ответил я. — Я верю, что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчиво, ибо я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня… Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента!

— Извините за оплошность, — откланялся Робинс.

Я закрыл за ним двери на все запоры, потом в ужасе подумал, что мне угрожало, если бы я сгоряча дал согласие.

*И тут я проснулся и вскрикнул: «Что, если*

*Страна эта истинно родина мне?*

*Не здесь ли любил я? И умер не здесь ли?*

*В зеленой и солнечной этой стране…»*

…Я тогда скрывался на Почтамтской, дом № 5.

* * *

Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота, но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице.

Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, уповая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. Все писавшие о Февральской революции не забыли упомянуть, что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек. Их грызли на Руси всегда, но теперь сугробы (не преувеличиваю!) шелухи, в которых утопали ноги прохожих, казалось, навеки погребут под собой самые светлые идеалы человечества. Никакой историк не брался объяснить, как и почему возникла эта массовая эпидемия грызения семечек, ставших вдруг столь популярными в публике, и вообще — откуда взялась эта шуршащая зараза, покорившая Петроград именно в лето 1917 года? Еще я заметил, что мусор и помои не вывозились, как раньше, а копились в кучах и лужах на задних дворах, отчего зловоние стало чуть ли не главным ароматом послефевральской столицы… Наконец, я — по дороге домой — видел много митингующих,

но ликующих не встречал. Напротив, на лицах прохожих лежала несмываемая печать испуга и неуверенности; люди ходили скоробежкой, оглядываясь, словно их преследовали. Одну революцию они сделали, но теперь ожидали другую, и если первая не принесла радости, то второй просто боялись. Об этом я услышал в разговоре двух женщин:

— Со второй или с третьей, а Россия тогда кувырнется в канаву! Ни одного камушка не оставят, всех пронумеруют, одни шоферы выживут, развозя питание по начальникам…

Наконец-то, усталый, я поднялся на третий этаж, держа ключ наготове, чтобы отворить квартиру, но двери ее были распахнуты настежь. Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры:

— Дядя Петя, а к нам лезут… с чемоданом!

Только тут выяснилось, что «дяди Пети» с окраин столицы уже теснили «классового врага» в его буржуйских пустующих квартирах, и явившийся на зов девочки дядя Петя, гордясь чистотою своих кальсон, внятно и толково объяснил мне, дураку:

— Будя! Попили нашей кровушки, а нонеча весь мир насилья мы разрушим. Но мы же не звери, а пролетарцы вполне сознательные, потому все барахлишко твое в угловушку спихачили, вот и живи себе на здоровье… Плохо, что ли?

Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносые и юркие старушенции, шушукались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними… Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохани, где недавно царила пирующая крыса, теперь свалены дрова вперемешку с книгами из моей библиотеки.

Да, жильцы, конечно, не звери. Но они еще и не люди…

— Не слишком ли это жестоко, — спросил я, — греть свое пузо сгорающими мыслями людей, которые были умнее нас?

На это дядя Петя с апломбом отвечал, что у него в голове полно новых мыслей, созвучных новой эпохе, а щи варить тоже ведь надо? Я скинул шинель (без погон) и остался в мундире генерал-майора при золотых эполетах; моя метаморфоза вызвала такой переполох, что юркие старушки

мигом убрали носы из дверей, а дядя Петя, кашлянув, даже отдал мне честь.

— Прошлого не вернуть, — сказал я ему. — А к пустой башке руку не прикладывают. Бог с вами, живите. У меня лишь одна просьба. Позвольте постоять на балконе… одному!

— Тока без задержки, — предупредил дядя Петя. — Балкон после революции общий, как и уборная. Мало ли кому из соседей тоже захочется подышать бурей революции…

На балконе, вцепившись в перила, я дал волю слезам. Память живо воскресила праздничный день моего раннего детства, когда из летних лагерей возвращалась на зимние квартиры непобедимая русская гвардия. А я, еще маленький, видел ряды ее штыков, чувствовал блаженное тепло материнских рук… Как давно это было! Но и тот день, наверное, тоже ведь не пропал для меня даром, словно заранее наметив главную стезю моей жизни. Я вытер слезы, подхватил чемодан и, ничего никому не сказав, навсегда покинул свою квартиру, в которой родился.

Почти бесцельно я брел вдоль Вознесенского, по врожденной привычке все видя, все запоминая, все оценивая на свой лад. За мною топали двое, и я невольно слышал их разговор:

— Темные силы не дремлют, Ваня! Ты, милок, эти темные силы разоблачить должен… Теперь наше время.

Я обернулся, дабы лицезреть «светлые силы», и сразу понял, что ночью в пустынном переулке им лучше не попадаться. Конечно, я оставался при оружии, хотя имеющий оружие рисковал тогда очень многим. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной «Астории», которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. На улицах полно было солдат с винтовками, которые шлялись просто так, но спроси любого — ради чего они шляются, ответ был бы одинаков: «Охраняем революцию от темных сил!» Возле памятника Николаю I площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемяшивал в толпу свой основной тезис:

— Мы за мир, но без аннексий и контрибуций! Это непременное наше условие на время текущего момента истории…

Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата — кту такие аннексия и контрибуция?

— Эх ты… *темнота!* — отвечал он. — Не знаешь, что эфто два острова в окияне, вот капиталисты

из-за них и грызутся, а мы за Аннексию и Контрибуцию кровью истекаем…

Я присел на скамейке в Александровском сквере. Возле меня оказался сухощавый малоприметный господин в сером костюме, с бородкою в стиле французского короля Генриха IV.

— Вы меня, конечно, узнали? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство. Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках.

— Я, кстати, шел рядом с вами, — сказал Трубецкой, — и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда.

— Ваша правда. Даже голову приклонить негде.

— Сочувствую. Я ведь вас помню… мимолетно встречались в Ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады…

Так я оказался на Почтамтской улице, по дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову.

* * *

А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объеда-

лась на войне дармовой курятиной и свининой, а казенную кашу выбрасывали. Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупа миновала их желудки, и потребовали за нее деньги — наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графою «негоден».

Теперь он говорил с усмешкою:

— В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, а в конце жизни… крупа. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации…

«Главноуговаривающим» в стране сделался Керенский, который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать, но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех:

— Армия хороша, когда исполняет полученные приказы, но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать…

Меня, как и князя, раздражали красные банты, пришпиленные поверх пальто и кацавеек людей, до Февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, неда-

леких от истины. Жена князя, тихая болезненная женщина, рассказывала, что в продаже не стало кускового сахару:

— А русский человек привык пить вприкусу. Так из Таврического дворца «временные» министры дали мудрый совет: завернув сахарный песок в тряпочку, можно с успехом сосать его, создавая сладчайшую иллюзию обкусывания рафинада.

Изменился даже язык, исковерканный временем лихорадочной торопливости. Прощаясь, люди стали говорить «Пока!», вместо ясных названий учреждений замелькали идиотские аббревиатуры, и перед обычной табличкой на дверях с надписью «вход» люди невольно замирали, гадая, что бы это могло значить? Скорее всего, что ВХОД — это «Высшее Художественное Общество Дегенератов». А что удивляться, если вскоре появилось «замкомпоморде» (заместитель командующего по морским делам)! Театры еще работали, но ходить в театры не всякий осмеливался. В самый разгар трагедии на сцену обязательно вырывался откуда ни возьмись Лев Троцкий и в бурной речи излагал партеру всю великую важность «текущего момента», а заканчивая речь, не забывал погрозить кулаком

сидящим в ложах. Когда же публика разбредалась из театров, на улицах и в подворотнях ее грабили, убивали, насиловали. Выпущенные из тюрем уголовники образовали множество шаек; переодетые в солдатскую форму и украшенные красными бантами, они производили в квартирах самочинные обыски с липовыми «ордерами» на конфискацию имущества «для блага трудового народа». Юрий Иванович, набродившись по городу, вечерами рассказывал:

— Гришки Отрепьевы из числа «временных» назначили ноябрь для созыва Учредительного собрания. Но, думаю, учреждать ничего не придется, ибо к тому времени все само по себе развалится ко всем чертям. Партийные разногласия отныне будут разрешаться кровавой резней, как в турецком меджлисе…

Мои скромные сбережения давно кончились, а надо было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист П. Н. Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас стало очень модным «кооперироваться» по любому случаю:

— Я уже не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят как на людей самых передовых воззрений…

С легкой руки Якоби составилась компания, в которую, помимо меня, вошли генерал Н. Н. Шрейбер, сын сенатора, и адмирал И. Ф. Бострем, бывший помощник морского министра. Мы сообща облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Труднее было добыть разрешение властей на прокручивание фильмов. Юрист и генерал с адмиралом дружно убеждали меня:

— Кроме вас, это никто не провернет. Что мы? Жалкие остатки «проклятого прошлого» — и все, а вы, как агент разведки, уже наловчились людей обдуривать…

Если при большевиках в искусстве царствовала несравненная М. Ф. Андреева, то при Керенском музами руководила его жена — Ольга Львовна, бывшая патронессой всех зрелищ столицы. У меня об этой женщине сложилось такое впечатление, что, будучи женой «главноуговаривающего», она и сама легко поддастся на уговоры. Мне хватило трех минут, чтобы произвести должное впечатление, и против создания кинокооператива она возражать не стала, после чего я поцеловал ей ручки.

Мы, вышеназванные, стали эксплуатировать

«Свет и тени», имея по вечерам миллионные выручки («керенками», конечно!). Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти», «Отдай мне эту ночь», «Под знаком Скорпиона» или «Смертельный поцелуй». Мы даже усовершенствовали немое кино, озвучив его за счет талантов людей, согласных на все — лишь бы не подохнуть с голоду. Так, например, когда на экране герой с героиней сближали губы в единую «диафрагму», наши голодающие за кулисами громко причмокивали губами, а в сценах ужаса они потрясали зал такими бесподобными воплями, от которых слабонервные падали в обморок… Короче говоря, наш кооператив процветал! Правда, совсем не было выпивки, чтобы достойно отметить наши успехи, но мы быстро научились через комок ваты насасываться бензином, ради приличия именуя его «автоликером».

Однажды в поздний час я возвращался с актером Карновичем-Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до кальсон. Я был переполнен дневной выручкой, имея при себе два-три миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в Саперный переулок, когда меня задержал патруль из трех матросов-клеш-

ников с винтовками. Еще издали они — мать в перемать и размать! — велели остановиться.

— Стой, падла, в такую тебя… Оружие е?

Я не сомневался, что это бандиты, нарочно принаряженные во флотские бушлаты. Они как тряхнули меня, так и посыпались мои миллионы. Двое кинулись подбирать «керенки» с панели, а третий — явный ворюга — сразу нащупал на мне оружие:

— Братва, шмон… да он, гад, с начинкой!

Даже не вынимая револьвера из кармана пальто, я через сукно перестрелял всех троих, а потом сказал покойничкам:

— Котята… с кем связались?

Но вскоре после визита полковника Робинса вдруг арестовали князя Юрия Ивановича, жена носила ему сухари в Петропавловскую крепость. За что посадили хорошего человека — не знаю. Княгиня все дни плакала, а взрослые дочери притихли, даже не разговаривали. Я счел своим долгом поддерживать семью Трубецких, благо доходы у меня были.

Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало! Новые владыки столицы, Зиновьев, Штейнберг, Урицкий и Бокий, все силы террора

обрушили именно на «бывших», первым делом истребляя инакомыслящую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории, эти людишки, Бог весть откуда взявшиеся, тащили на Гороховую в Чека правых и виноватых, по ночам расстреливали тысячами. Петроград опустел, скованный ужасом. Вот тогда-то и началось стихийное бегство людей из Петрограда на юг, где формировалась белая гвардия. Я тоже был близок к тому, чтобы скрыться, но я не решался покинуть семью Трубецких, давшую мне приют в самую трудную минуту моей жизни. Да, я плевал на «временных», но и новую власть не принимал тоже:

— Большевики считают насилием то, что происходило по вине чиновников царя, но свое насилие над людьми возвышают до уровня геройства, полагая, что от имени народа им все дозволено. Но у народа они никогда не спрашивали. Эти мерзавцы уничтожают людей, говоря, что это необходимо «во имя светлого будущего». Но какое же будущее ожидает Россию, если его строят на грудах трупов людей, ни в чем не повинных?

Я перестал понимать что-либо. Обещанная свобода превратилась в террор, братство — в

гражданскую войну, а равенство кончилось возвышением новой бюрократии — более алчной и более прожорливой, нежели она была при царском режиме. В эти черные дни я начал замечать в людях отсутствие былой сердечности, исчезли все «душевные» разговоры, люди боялись говорить открыто, ибо страшились доносов. Мне порою начинало казаться, что уже сбывается давнее пророчество Пушкина:

*Но дважды ангел вострубит,*
*На землю гром небесный грянет –*
*И брат от брата побежит,*
*И сын от матери отпрянет…*

Новые власти рассылали повестки бывшим богачам, требуя от них внести контрибуции «на благо народа». Но это было уже невозможно, ибо деньги с их банковских счетов уплыли куда-то еще при Керенском. По вечерам я с княгиней раскладывал пасьянс, гадая, что будет дальше, и рассуждал:

— Какая б ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает деньжат на строительство Вавилонской башни социализма, в рай которого они созывают всех нас следовать обязательно семимильными

шагами.

Только я это выпалил, как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватилась за сердце:

— Это он… Юра… мой Юрочка вернулся!

Вошли трое. Все в коже. И все при наганах:

— Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого!

Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся:

— Ах, господа-товарищи, до чего же паршиво работаете! Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается… Вы опоздали — его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок — декабрист князь Трубецкой. А вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича…

Чекисты куда-то звонили по телефону, потом точно назвали мою фамилию и мое звание генерал-майора Генштаба:

— Известно, что он здесь, должный быть арестованным.

Я сложил карты и отбросил колоду от себя.

— Вот это другое дело, и разговор между нами становится серьезным, — ответил я. — Искомый

вами сатрап и душитель трудового народа здесь… Отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения, я сейчас его разбужу…

В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу.

Во мне все клокотало от неуемного бешенства:

— Котята… не умеют даже арестовать человека!

## 9. На запасных путях

Полковник Апис… Гаврила Принцип… Выстрел в Сараево…

Боже! Как легко бывает вызвать войну, зато до чего же бывает трудно, почти невозможно выбраться из войны, тем более если война была коалиционной… Первая мировая бойня — это чувствовалось! — близилась к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали: во Франции на 28 человек приходился один убитый, Англия лишилась одного солдата из 57, а в России недосчитались одного на 107 человек. Так что, можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками (чего никак нельзя сказать о второй мировой войне, тоже коалиционной).

Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывалось мощное движение белой гвардии, а в ноябре 1917 года Ленин выступил с Декретом о мире. Но генерал Духонин, тогдашний главнокомандующий, отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в ее составе (что меня безмерно удивило) был и мой прежний коллега — полковник Владимир Евстафьевич Скалон…

Чтобы не забыть, сразу скажу, что сталось с князем Ю. И. Трубецким. Он был освобожеден из Чека по личному решению Урицкого, который — в обмен на свободу — потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал…

* * *

Заодно с Керенским давно исчезли и семечки,

как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. «Свет и тени» прикрыли, а после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами «кооператива», чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу… Насущным оставался вопрос: что делать и как жить? Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к оврагу. Пробираться на белогвардейский юг, «разрывая нитки» фронтов, на это у меня не хватало сил — даже физических.

Я голодал. Кормился от случая к случаю. Крохами!..

Между тем мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раттеля, Гутора, Зайончковского и прочих, а ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он, дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил — по случаю революции — сродниться с простым народом посредством примитивного «опрощения»,

для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил, по-мужицки потягиваясь: «Ой, Марья, чевой-то мне хоцца, може, водицы студеной испить вволюшку?..» Ну его к черту! Дурак какой-то.

Разве одним рыганием можно породниться с народом?

Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь св. Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу хорошо вел статный красивый дьякон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там церковным кагором. Будущий епископ Нафанаил, сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим предназначением.

— Не удивляйся, — сказал он мне. — Хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания…

Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил:

— Будь осторожен и не сделай глупости…

— Какой? — не понял я.

— Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучьи тенета… Ты ведь, насколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем?

— Да.

— Так вот, — тихонько пояснил Оболенский, — его личный вагон давно стоит на *запасных путях* Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают… тайком, словно воры.

— Кто?

— Подобные тебе… Ты стал непонятлив! Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в Совнаркоме, вот два братца и спелись…

— Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мною предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении. Кто я? Кому я нужен?

Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом:

— Всевышний да наведет тебя на путь истинный…

Не кто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути Царскосельской дороги, на которые я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки, я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потемках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном… Все было тихо. Но вот взвизгнула дверь, тень человека, появясь из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое.

— Стой! — крикнул я.

Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы, но я все же нагнал его и остановил, чиркнув спичкой, чтобы увериться.

— Я не ошибся. Это же ты…

Да, это был Володя Вербицкий, однокашник по Академии Генштаба, с ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда, мы вместе ломали шеи на парфорсной охоте в Поставах (и не знал я лишь

одного — что встречу его потом агентом абвера).

— Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили… Можно узнать, о чем вы там говорили?

— Лучше бы этого разговора и не было, — пылко отозвался Вербицкий. — Я пришел узнать, каковы условия приема в большевистскую армию, которая пока еще только на бумаге, а этот старый дурак начал попрекать меня и все старое офицерство за поругание заветов святой отчизны, мол, мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и…

— Постой, — перебил я Вербицкого. — Но, может, Михаил Дмитриевич и прав, ибо все-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину.

— Милый! — воскликнул Володя, едва не плача. — Да где ты видишь родину, если вместо нее осталась костлявая и крикливая уродина. Жрем павших лошадей. Сожрем собак и кошек. Примемся жрать крыс… это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождется. Махну на юг, а там… что Бог даст. Прощай.

— Прощай, — отозвался я, и Вербицкий скрылся во мраке, ныряя под товарные вагоны, мерзнувшие на путях станции…

По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих… Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться!

* * *

Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мною, и я нашел пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова:

— Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох.

— Я вас давно ждал, — последовал странный ответ.

— Вы? Меня? Давно?

— Прошу садиться. Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки Генштаба приглашения, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением… для разговора о буду-

щем. Их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но… увы.

— Я теперь живу не там.

— Скрывались?

— Естественно.

Бонч-Бруевич опять-таки нисколько не удивился.

— Правильно делали, — сказал он. — Попадись вы теперь на Гороховой два, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения отечеству.

— Вы уверены в этом? — усмехнулся я.

— Да! Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам… Как вы относитесь к новой власти?

Я душой не кривил, оставаясь предельно честным:

— Это не власть, а чума какая-то… зараза! Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник, а в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная беда народа, которая, боюсь, завершится для всех

нас гибелью нации, истории, культуры и религии… Других ценностей в народе я не вижу, эти суть самые главные!

— Мне тоже не все по вкусу, — согласился Бонч-Бруевич. — Умный любит ясно, а дурак любит красно. Тошно от демагогии! Перегибов и свинства уже достаточно. Но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки…

Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура Генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу.

— Признаюсь, без службы мне тяжело, — сказал я. — Тянет в армию… без нее нет мне жизни! Но… кому служить? Родине — да, я готов отдать всего себя и все свои знания. Но служить хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале… нет!

— Хамства много, — не возражал Бонч-Бруевич. — Нечто подобное пережил и я сам, когда меня выдвинули в командующие Северным флотом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору?

— Для этого я посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное: я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь «гидрой контрреволюции», которую надо душить рукою пролетариата.

Бонч-Бруевич поставил на плиту чайник с водою.

— А я разве не гидра? — проворчал он совсем по-стариковски. — Я ведь тоже служил царю согласно старинной немецкой поговорке: «У меня в Пруссии есть любимый король».

— Да, — отвечал я, — эта поговорка оправдывает всех нас, но я, простите, всегда ценил и слова Герцена: «У меня в России есть любимый народ». Пожалуй, ради этого и сижу подле вас и не откажусь от стакана горячего чая…

Чай пили молча, как извозчики в трактире,

которые все знают друг о друге. Разговор, сначала острый, казалось, увял. Михаил Дмитриевич как бы между прочим спросил:

— А вы являлись на регистрацию офицеров?

— Чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я!

— Документы у вас старые?

— Новейшие, — не скрывал я, тут же предъявив их. — Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника.

— Догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь.

Это меня просто ошарашило:

— Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны?

— Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти.

— И...?

— И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг — к Каледину! А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бро-

саться такими драгоценными кадрами. С другой же стороны, — договорил Бонч-Бруевич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных «чрезвычайках», что у них психика давно сдвинулась набекрень, а обид накопилось выше козырька фуражки.

Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч-Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег.

— Понимаю, — отвечал я с искренним вздохом…

Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч-Бруевич удивился.

— Что-то новенькое, — сказал он. — Хотя бы предупредили с вечера… Еще завезут куда-нибудь в лес за Вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?

— Конечно.

— Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. — Документы у вас

бухгалтера с Путиловского завода. Выбриты как следует. И даже при оружии.

— Так давайте решать, — настоял я. — У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести, и, если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы… вы боитесь поручиться за меня?

Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира.

— Поручусь! А вам знаком этот умник?

— Да. Это генерал Макс Гоффман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта.

— Мало того, — добавил Бонч-Бруевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а

полковник Владимир Евстафьевич Скалон[26], наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гоффмана… Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?

— Я бы на месте Скалона стрелял не в себя.

— Но и в Гоффмана стрелять тоже нельзя…

Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с сего вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну.

— Интересно, куда мы поехали? — насторожился я. — Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях…

Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели:

— Не стоит! Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня, вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мною все тяготы и приятности нашего путешествия.

---

**[26] notes: 26**

В. Е. Скалон (1872-1917) — полковник Генштаба, по матери потомок знаменитого Леонарда Эйлера, родственник композитора С. В. Рахманинова; служил в русской разведке, считался отчаянным монархистом; как офицер, всегда имел безупречную репутацию. Впрочем, существует версия, будто Скалон покончил с собой, узнав об измене любимой жены.

— Но… куда? — снова спросил я.

Паровоз быстро набирал ход, под вагоном железно прогрохотал мост через Обводный канал, и скорость увеличивалась.

— Не советую прыгать на ходу, — заметил Бонч-Бруевич. — Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии…

Укладываясь спать, я вдруг расхохотался.

— Что вас так сильно развеселило?

— Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли «генеральской ловушкой».

— Вот вы и попались в нее… Спокойной ночи!

Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провел спокойную и благотворную ночь.

## Постскриптум последний

В конце этой книги мне очень не хватало… конца!

Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи,

что сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении: финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Тито.

Но все-таки где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог (и даже не хотел) по той простой причине, что меня бы там сразу спросили:

— Позвольте, откуда вы знаете этого человека?

А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины, и следует начинать… Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля — помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама?

— Какая? Их было немало тогда на вечеринке.

— Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты, как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое.

— Постой, постой… я что-то припоминаю, — сказал приятель. — Да, среди моих гостей была немка.

— Немка? — удивился я. — Это все, что ты о ней знаешь?

— А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ею рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь.

— Пожалуй, ты прав, — был вынужден согласиться я. — Но пойми и меня тоже: я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает мощного удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека.

— Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам как знаешь. За это ты и гонорары получаешь…

Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы. Я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно

сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они по крайней мере необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях в азарте работы я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала:

— Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя…

Прошло еще какое-то время, работа была мною отложена — не хватало конца! Но вот однажды (как в хорошем романе) с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной.

— Говорит — по делу. Ты ей нужен.

— Да не знаю я никакой Анны, тем более — Фрицевны.

— Но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок…

В моем кабинете появилась незнакомая пожилая дама, еще по-девичьи стройная, и, словно

не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил я.

— Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали.

— Признаться, нет… не узнал!

Но, вглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь, и тут многое прояснилось.

— Значит, это были вы… именно вы!

— Я. И опять я. Снова я.

— А сейчас проживаете в Германии… так?

— Так. Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы. Нередко навещаю свою родину, вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе.

— Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины?

— Причины имеются… Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа.

— Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем.

— И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал.

— А если я вас немножко пошантажирую? — спросил я.

— Попробуйте, — согласилась гостья.

На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала.

— Все верно, — не удивилась она. — Но я уже заметила на полках вашей библиотеки и «Бархатную Книгу», из которой вы сделали правильный вывод… Впрочем, и это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить.

— Наверное, перед самым отлетом в Бари?

— Да, в России удобнее жить под русской фамилией, и он сам отлично понимал это…

Я кивнул, охотно соглашаясь с нею:

— Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но

вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую толику немцев, а уж потом — при общей нашей безграмотности — всех потомков степных колонистов стали называть одинаково «немцами».

Анна Фрицевна невесело посмеялась:

— Вы правы. Вопрос запутанный. Но в сорок первом не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Выслали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя…

Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы:

— Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась…

Она потянулась к сумочке, на которую я давно

уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее — как когда-то из муфты! — вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна: мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона… Я даже сказал:

— Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица. Я представляю его себе, но я не вижу его.

Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом:

— Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое… такое, что вряд ли доставит вам удовольствие.

*Да, в тот вечер все смешалось,*
*И этот сплав неразделим,*
*И то, что истиной казалось,*
*И то, что вымыслом моим…*

Но, помимо этих стихов из «Югославской тетради» Николая Тихонова, следовало помнить и другое…

* * *

1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение НОАЮ маршала Тито сделалось трагическим. Партизаны отступали, их армия, рассеченная на части, всюду сражалась в окружении врагов, НОАЮ выдерживала последний — седьмой! — натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции, партизаны отбивались от озверелых банд усташей-четников. На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты — наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный «мост», пронизанный струями огня зениток и острыми, почти режущими глаза лучами прожекторов противника.

Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!», и ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали «Мы стоiмо постоiано као клисурине...» («Мы стоим неколебимо, как утесы»...).

Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду, в горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи; перегруженные самолеты садились на

гибельных «пятачках» — между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти, они торопились вывалить груз и вывезти раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков: наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами «Живео руски войници!», а провожали словами «Живео Црвена Армия!». Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов… Я не выдумываю — так было!

* * *

Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию.

— Что это? — поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени.

— Купрешково Поле… Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?

— Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари, маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву.

— Это все в самых общих чертах, — сказала Анна Фрицевна. — Но подробности дрварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитанны… Я оставлю вам эту страшную фотографию.

— Откуда она у вас?

— Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине — уже после войны! — похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя! Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой.

Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал.

Мы долго молчали, и наше молчание понятно.

— Подробности сохранились? — наконец спросил я.

— Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо…

Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека.

Я догадываюсь, что двадцать второму, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего «дугласа». Наверное, потому он и остался здесь… именно на этом Поле!

— Вы ошиблись, — поправила меня женщина. — Транспортный «дуглас» имел гарантию фирмы на двадцать одного пассажира, но забрал… не поверите! Он забрал даже ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для тридцать третьего. Вы меня поняли?

— Не совсем. Объясните, пожалуйста…

Бой тогда шел почти рядом с самолетом, летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо…

— А конец истории очень прост, — сказала Анна

Фрицевна. — Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывезти в Бари и моего отчима, он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот… не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. «Дуглас», приняв тридцать два человека, так и улетел — без него.

— Почему?

— Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок.

— А дальше?

Дальше мой вопрос был попросту неуместен.

Дальше могла быть только смерть в неравном бою.

Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле…

Вот она, эта могила! Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи, и сюда в начале сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное.

Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской Матери.

Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх мо-

гилы свежие ароматные розы.

— Лако ночи! — желает она всем усопшим, и я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа.

Мне хотелось рыдать — это конец романа:

*Как хороши, как свежи будут розы,*

*Моей страной мне брошенные в гроб…*

Кажется, я сказал все, что знал.

Прощайте. Честь имею!